

Что в действительности случилось
с "правой рукой" президента Никсона.

Чарльз

Рожденный

в Белом

Колсон

**COLSON PLEADS GUILTY TO CHARGE
IN ELLSBERG CASE AND IS EXPECTED
TO AID JAWORSKI AND RODINO PANEL**



MOVE IS SURPRISE

Watergate Prosecutors
to Seek Dismissal of
Other Counts

By THEODORE LEVINE
WASHINGTON, June 22 (AP) — John Edgar Hoover, director of the Federal Bureau of Investigation, today announced that he had asked the Justice Department to seek dismissal of the Watergate case against President Richard Nixon's former aide, John Edgar Hoover, Jr., who pleaded guilty to the same crime last week.

Time to Religion

Religion, it is said, is the only thing that can save the world from the chaos and confusion of the modern age. It is the only thing that can give us a sense of purpose and direction. It is the only thing that can help us to understand the meaning of life and death. It is the only thing that can help us to find peace and happiness in a world of pain and suffering.

Portland Press Herald

PORTLAND, MAINE WEDNESDAY MORNING, JULY 3, 1974

PRICE: FIFTY CENTS

Рожденный заново

“Рожденный заново” - взгляд изнутри на Белый Дом времен президента Никсона.

Это первая книга, написанная одним из самых близких людей к бывшему президенту, которая повествует о Уотергейтском скандале - одном из крупнейших правительственных кризисов в истории США.

Но это не просто книга о Уотергейтском деле. Это книга о духовном преображении человека, который нашел Бога в атмосфере пустоты и безразличия.

**Religion, Prison Re
Plans of Colson, 'E**



Star-News

**Colson Says
Feared CIA Po**

The Weather
The Sun
The Moon

**Colson Gets
1-to 3-Year Ter**



Post

Accuses Preside
Of Pressing for
Sincar of Ellsberg
Nixon Has Had
Name Thru
Cable From
Linda's Wife

Colson has zest for intri

THE W
Nixon Hatch
Call It What
Chuck Colson
President's

's Going-In P

lashing

Colso

**The con
Charles**

Detro

**Waterga
Furns to**

Чарльз У. Колсон

Рожденный заново



Издательство "КРЕДО"
Санкт-Петербург
1997

Моему отцу, чьи идеалы я пытался воплощать, пусть не всегда успешно, в моей жизни и чью поддержку я ощущаю поныне.

Патти — нежному Другу, который утешает меня в тяжелую минуту, помогает оставаться смиренным в дни удач, всегда щедро дарит себя — с любовью.

Чарльз У Колсон

Рожденный заново. Пер. с англ. — СПб • «Кредо», 1997 — 400 с. ил

Название оригинала

Charles W Colson

Born Again

© 1976 by Charles W. Colson

© 1997 Gospel Literature International (GLINT)

ISBN 3-89254-014-6

© 1997 Издательство «**Кредо**» (включая перевод и оформление).



Бабочка — самый яркий пример второго рождения, данный нам в природе. Бывшая некогда бесформенной, ползающей по земле гусеницей, бабочка вылетает из своего кокона, поражая нас удивительной красотой расцветки, и исчезает в небе. Она испытала второе рождение, стала свободной. То же может произойти и с нами, если мы через Христа обретем второе рождение в Духе.



Содержание

<i>Прежде чем мы начнем...</i>	7
1 Что-то не так	11
2 "Годен"	20
3 "Разнеси все к ... матери"	35
4 Президент идет на концерт	49
5 Исполнитель грязной работы	59
6 "Потухший вулкан"	80
7 Долгое жаркое лето	98
8 Незабываемая ночь	119
9 Коттедж у моря	129
10 Возвращение в Вашингтон	143
11 Братья	160
12 Христос в заголовках	174
13 Одинокий дом	190
14 Подпольное движение	219
15 Обвинение	230
16 Решение	244
17 Виновен, Ваша Честь	264
18 В ожидании решения суда	274

19	Удар судьейского молотка	286
20	За решеткой	293
21	"Не вмешивайся"	307
22	Никаких привилегий, пожалуйста	319
23	"Когда двое или трое собраны во Имя Мое"	330
24	Рука помощи	343
25	Неожиданный дар	359
26	Духовное противостояние	368
27	Время быть свободным	382
	<i>С тех пор...</i>	394
	<i>С благодарностью...</i>	396



Прежде чем мы начнем...

Корнями эта книга уходит в один знойный августовский день 1974 года. Незадолго до того президент Никсон подал в отставку; правительство было в растерянности, а страна — в шоке от небывалого Уотергейтского скандала. Я, одна из жертв величайшего политического кризиса в американской истории, отсиживал томительный срок в одной из алабамских тюрем.

Я переживал внутреннюю агонию. Как все это могло случиться? Мысленно я оглядывался на два последних десятилетия, начиная с тех дней, когда я был коротко остриженным лейтенантом морской пехоты, до тех лет, когда я сидел в Овальном кабинете рядом с президентом Соединенных Штатов. Все это время я служил своей стране верой и правдой.

Как могли мы, облеченные доверием народа, зайти так далеко? Нужно было извлечь необходимые уроки — для себя самого, для других, для оказавшейся в трудном положении страны. Что мог я предложить?

Вокруг меня в ужасных тюремных камерах были сотни людей, скованных жизненными обстоятельствами так же крепко, как цепями наручников. На их печальных, потерянных лицах читались бесчисленные человеческие трагедии. Я вспоминал людей, с которыми работал, — Хальдемана, Эрлихмана, Митчелла, Никсона. Они тоже

были несвободны: пленники властных амбиций, они пали жертвами собственных человеческих слабостей.

Пытаясь докопаться до глубинного смысла того, что произошло со мной и многими другими, я начал писать — давал оценку людям и событиям, делал выводы, нащупывал спасительные мысли. Я обращал свое внимание в основном на устройство государственных заведений, и когда я перечитывал написанное, все казалось мне тяжеловесным, заумным и лишенным чего-то главного.

Молитва по-прежнему была для меня новым делом. Чувствуя, что мне необходима помощь, я просил ее у Бога. Прежде всего, я хотел понять — нужно мне писать книгу или нет? У меня было несколько предложений, а одно даже очень заманчивое — написать книгу о годах правления Никсона. Но, чем больше я искал ответа и молился, тем яснее мне становилось, что писать нужно о том, что я пережил сам. К чему же я пришел в своей жизни?

Ответы я получил неожиданным образом. Я писал письма своим новым друзьям-христианам в Вашингтон, в которых пытался объяснить, насколько реален Бог для некоторых из нас в тюрьме. Каким-то образом Господь помог моим письмам зазвучать по-настоящему, искренне, и я понял: да, надо писать книгу, только постоянно искать в работе Его руководства.

В какую форму следовало мне облечь то, что я хотел сказать? Опять я обратился в молитве за помощью. Однажды, когда в письме к друзьям я описывал одно из тюремных происшествий, я почувствовал, как Господь положил мне на плечо руку. "Отложи на время все их теории, — словно услышал я, — и расскажи историю всего одной жизни — твоей".

Но мог ли я читать людям мораль, мог ли проповедовать? Я обанкротился, будучи одним из непосредственных виновников Уотергейта, и сидел в доказательство этого в тюрьме. С другой стороны, именно мое заключение, а также некоторые необычные события моей жизни могли подсказать мне нечто такое, что оказалось бы полезным другим людям. Не может ли быть так, что все произошедшее со мной вовсе неслучайно?

И затем все стало проясняться; нация зашла в тупик; в стране царили разочарование, горечь и злоба. Если сам я был склонен думать в масштабах больших реформ, то Бог, казалось, говорил, что истинное обновление духа страны может начинаться с обновления духа каждого человека в отдельности. "Если хочешь что-то сделать,

подчинись Мне, и Я направлю тебя", — вот какие слова отпечатались в моем сознании.

Подчинись. Отцы-основатели Америки построили страну на том принципе, что человек — ничто, если он не умеет зависеть от Бога. Пуритане прибыли на новый континент именно для того, чтобы образовать на нем подлинное общество верующих. Еще где-то в море, на борту *"Арабеллы"*, Джон Уинтроп сформулировал свое видение: "Бог Израилев с нами... мы будем как город на холме". Эти люди считали себя не политическими завоевателями, но учениками Иисуса Христа.

"С твердой надеждой на защиту Божественного провидения", — вот священные слова Декларации о независимости. А наш величайший президент Авраам Линкольн смиренно признавал, что без Бога он "потерпит крах".

Как удивительно Бог исполнил завет наших отцов, как щедро благословил Он нашу нацию! Как глубоки наши религиозные корни, но как далеко мы отошли от них!

По мере того, как я продолжал писать, мне становилось понятно, что Уотергейт может послужить делу очищения нашего народа, если только будет правильно понято. Были ли м-р Никсон и его люди хуже, чем кто-либо из их предшественников? То, что они были виновниками Уотергейта — правда. Но разве не является это лишь частью некой большей правды, состоящей в том, что все люди могут говорить как добро, так и зло, что темная сторона нашей природы может возобладать в любом человеческом существе? Если люди поверят, что простым изгнанием из Белого дома кучки подлецов можно решить проблемы нашего общества, то главный урок из этого ужасного скандала так и не будет извлечен, а это грозит нам еще худшей трагедией.

Уотергейт поднял множество вопросов. Может ли гуманизм стать ответом для общества? Существует почти что священная заповедь, гласящая, что человек может все, если только по-настоящему захочет. Некогда я считал так же. Но, увидев на примере Уотергейта, как уязвим человек, я больше не считаю, что являюсь хозяином своей судьбы. Мне нужен Бог; мне нужны друзья, с которыми я мог бы честно разделить горечь поражений и неудач.

Когда я писал эту книгу, я был одновременно и неопытным писателем, и новорожденным христианином, но я подчинил себя Всемогущему и молился о том, чтобы другие могли научиться на том

опыте, что пережил я, и почерпнуть из этого надежду. Благодаря молитве, я получил необходимую помощь от опытных редакторов и профессиональных издателей.

Также в результате молитвы появилось и название книги — "Рожденный заново", которое может показаться смешным тем, кто считает *его* затертым протестантским клише. Однажды в воскресенье, когда я сопровождал свою жену в католической церкви, которую она посещала, Патти открыла сборник гимнов, улыбнулась и подтолкнула меня. В тот момент мы оба уже знали, что, наконец, нашли название после долгих и безуспешных недель поиска; гимн на открытой нами странице назывался "Рожденный заново".

Для меня эти слова — все что угодно, но не клише, подразумевающее, что человек достиг определенно; о духовного превосходства; для меня они означают возможность начать все снова и наладить свою жизнь — что возможно только через обновление моего духа.

Я усиленно молился о том, чтобы писать честно, заранее хорошо зная, что по природе захочу представить себя в наиболее выгодном свете. Терпя неудачи, поднимаясь и падая вновь, я прекрасно понял за последние годы, что Бог может делать нам больно, чтобы изменить к лучшему. И от чувства, что я завишу от Него, родилось ощущение удивительной свободы, и мой дух возликовал.

Все время во мне жило необыкновенное желание донести все это до других. Я надеюсь, что, путешествуя со мной по этим страницам, вы обратитесь к Богу с просьбой о том, чтобы Он вел вас по жизни. В это судное время я смиренно и искренне молю Бога, чтобы Он возродил наш ослабевший национальный дух. А произойти это может только в одном случае: если каждый из нас смирится пред Ним и Всемогущий выведет нас из тьмы в свет, чтобы вновь мы стали единым народом, живущим под руководством Божиим.

Чарльз У. Колсон

31 октября 1975



1

Что-то не так

Я стоял на праздничном приеме озадаченный, с женой Патти и сыном Уэнделлом Этот вечер — вечер выборов 1972 года — должен был быть счастливейшим в моей жизни Несомненно, мы были Партией победителей — Ричард Никсон с подавляющим перевесом был переизбран президентом Соединенных Штатов.

С обстановкой все было в порядке. Большой зал с высокими лепными потолками в вашингтонском отеле "Шорхем" был набит видными людьми в шикарных серых костюмах, элегантными леди в дорогих мехах Тем не менее, чего-то не доставало Что-то было не так.

Я стоял, размышляя о том, что, в отличие от всех прочих торжественных вечеров, на которых мне довелось побывать за 20 лет в политике, этому приему не доставало радости На лицах людей не было улыбок, напротив, на них читалось разочарование и даже подавленность. Возле больших табло, на которых появлялись данные голосования, показывающие, что Никсон побеждает с рекордным отрывом, не царил никакого возбуждения

Мысленно я вернулся на четыре года назад, в сходный по обстоятельствам вечер в отеле "Уолдорф", Что за контраст! Тогда в 1968 году это действительно была Партия победителей, тогда был успех. Я отчетливо вспомнил, как все было — зал в "Уолдорфе" переполнен энергичными молодыми людьми, которые многие месяцы упорно работали, чтобы опередить демократов. Всю ту долгую ночь,

по мере того, как Белый дом становился для них все реальнее, росло напряжение, пока, наконец, в воздухе не запахло победой. Когда на табло появлялись данные по очередному избирательному округу, как они кричали от радости, вздыхали, смеялись, хлопали друг друга по спине!

Но сегодня?

Патти обернулась ко мне: "В чем дело, Чак? Ты такой притихший".

"Я не знаю, в чем дело. Наверное, просто устал", — кивком я указал на толпу, собравшуюся у бара: "Кажется, единственное, до чего этим людям есть дело — это бесплатная выпивка".

"Давайте пройдемся, — предложил Уэнделл. — Посмотрим, что говорят люди". Всего за две недели, что Уэнделл проработал в качестве агитатора-добровольца, он многому научился. Теперь он искал новые идеи, чтобы подумать над ними в Принстоне, где он изучал политологию.

Мне тоже хотелось новых идей.

В части зала, предназначенной для особо важных персон, комментарии были захватывающие... Где Никсон? Разве не стоили их двадцатипяти тысячные пожертвования рукопожатия в день выборов? Затем перед нами предстал сенатор Боб Доул, председатель Исполнительного комитета Республиканской партии. Он сердито ткнул в меня пальцем: "Президент даже не упомянул комитет в своей предвыборной речи".

После этого нас обступили угрюмого вида ветераны партии. "Я хочу поговорить с вами о моей работе", — серьезно сказал один крепкий старик, пожимая мне руку. Никого больше из числа главных работников администрации Белого дома на приеме не оказалось, и через минуту меня уже засыпали просьбами.

Нет, кислая атмосфера вечера вовсе не была плодом моей фантазии. Но также что-то было не в порядке и со мной. Все во мне омертвело, как и воздух в зале, и приглушенный ритм музыки. Отсутствие во мне особого энтузиазма было совершенно непонятно. Всю жизнь моей сокровенной мечтой была работа в избирательной команде президента. В течение трех долгих лет я отдавал всю энергию, какая у меня была, все до последней крошки, делу Никсона. Все остальное не имело для меня значения. Мы мало бывали вместе с семьей, никуда не выходили, не ездили в отпуск. Так почему же я никак не мог насладиться долгожданной победой?

В ту же секунду зазвонил маленький зуммер, который я всегда носил на поясе, когда рядом не было телефона. Я вставил мини-динамик в ухо и услышал команду: "Колсон, Колсон, ответьте оператору Белого дома".

Мне звонил президент. Он хотел, чтобы я немедленно зашел в его кабинет, сообщил мне оператор, когда я с ним связался. Лимузин повез Патти, Уэнделла и меня сквозь темноту, мимо почти опустевшего парка Рок Крик в центр Вашингтона, и вскоре мы въехали в железные ворота, ведущие к Белому дому.

Одетый в синюю форму охранник с блестящим в отсветах прожекторов галуном отдал честь и сообщил, что президент находится в своем "рабочем" кабинете в Главном административном здании, сокращенно Г. А. 3. Традиционный Овальный кабинет, расположенный в западном крыле Белого дома, Никсон использовал преимущественно для формальных встреч, работать же предпочитал в тихом и уютном кабинете в Г. А. 3., которое отделялось аллеей. Это гигантское серое здание в викторианском стиле, с густым орнаментом, арками и башенками когда-то вмещало целиком Государственный и Военный департаменты, теперь же было занято только персоналом Белого дома.

Когда мы вошли в него, то в отделанном мрамором холле застали только одинокого агента секретной службы. Он жестом пригласил нас войти и наблюдал за нами, пока я размещал Патти и Уэнделла в своем кабинете, соседнем с президентским. "Я только на минутку, — сказал я им. — Потом мы все поедем домой спать".

В полутемном холле агент секретной службы тихо сказал мне: "Он ждет вас, м-р Колсон". Я открыл высокую десятифурговую дверь и увидел Ричарда Никсона, удобно расположившегося в своем любимом мягком кресле. Президент улыбался и удовлетворенно попыхивал трубкой. На нем был клетчатый голубой спортивный пиджак, который он всегда надевал, оставаясь один в своем кабинете, и я невольно моргнул от этого тяжелого для глаза сочетания голубой клетки и темно-синей полосы брюк.

В нескольких шагах за антикварным столиком сидел Боб Хальдеман, глава администрации президента, пристально изучавший результаты выборов. Он сидел спиной к двери и даже не обернулся когда я вошел.

Президент поприветствовал меня широкой улыбкой и сказал: "Отличная работа, старина, отличная работа". Хальдеман по-прежнему не поднимал головы.

— Присаживайся, Чак, и выпей со мной.

Президент позвонил, и Манола, его кубинский слуга, принес нам два виски с содовой.

Хальдеман никогда не пил, и я предположил, что президент с нетерпением ожидал моего прихода. "За тебя, Чак. Это благодаря тебе мы получаем сейчас голоса — католиков, профсоюзов, рабочих, — благодаря тебе, старина. Эта была твоя тактика, и мы побеждаем с огромным преимуществом", — Никсон поднял стакан и затем опрокинул в себя одним глотком почти половину содержимого.

"Если голоса в вашу пользу будут поступать в таком же темпе, то вы наберете больше 61%, м-р президент. Это рекордная цифра", — сказал я и напомнил президенту о скромном пари, которое мы заключили накануне.

Хальдеман был по-прежнему занят подсчетом голосов и только однажды схватил телефонную трубку, чтобы отчитать своего молодого помощника, Ларри Хигби, за то, что тот не сообщал последних данных. Глядя на озлобленное лицо Боба, я сразу вспомнил лица собравшихся в отеле Шорхем. Можно было подумать, что мы проигрываем выборы.

"Мы тут с Бобом разговаривали как раз перед тем, как ты пришел, — продолжал президент. — Десять лет назад почти день в день нас списали, как проигравших. Тогда в Калифорнии нас считали покойниками, думали, что мы безнадежны. А теперь, погляди, мы на вершине успеха, с рекордным отрывом выигрываем выборы, — радостно фыркнул он. — Полагаю, мы хорошенько их проучили! Как думаешь?" Он с размаху ударил кулаком по раскрытой ладони.

Никсон снова выпил, на этот раз до дна, и пошел в большую уборную, вход в которую находился в дальнем конце комнаты. Я повернулся к Хальдеману, сидевшему со скептически сжатыми губами. Что его гложет?

Боб резко оторвал свои холодные голубые глаза от бумаг и в первый раз посмотрел на меня; я увидел глубокие складки, прорезавшие его лоб; его коротко стриженные волосы тоже, казалось, ошетились. "Я пытаюсь подсчитать подлинные цифры, и не надо говорить ему о своих предположениях", — отрезал он.

Хальдеман, решил я, устал. Возможно, он также немного завидовал тому, что я разделяю с президентом радость победы. Разумеется, в Белом доме всегда кто-то кому-то слегка завидовал.

— В чем дело, Чак? Почему ты сидишь серьезный, не празднуешь? — спросил меня президент, садясь обратно в кресло.

— Думаю, я немного подавлен таким успехом, сэр.

— Эту ночь следует запомнить. Налей себе еще выпить. Давай будем радоваться победе.

Я всегда исполнял приказы президента, но нельзя быть счастливым по приказу.

Президент затем стал придумывать одну за другой версии телеграммы, которую следовало послать побежденному сопернику, сенатору Джорджу Мак-Говерну. Время уже приближалось к двум ночи. Мак-Говерн признал свое поражение уже несколько часов назад, и, по правилам игры, Никсон уже давно должен был послать ответ. Но он никак не мог подыскать нужных слов, отвергая тут же все возникавшие варианты: "Как я могу написать ему что-нибудь приятное, после того как он без конца сравнивал меня с Гитлером?"

Хальдеман вручил ему еще один вариант, составленный помощником. Никсон изучил его: "Нет, этого я говорить не стану". Он бросил листок на стол между мной и Хальдеманом.

Неумение быть снисходительным к побежденному в минуту триумфа усугубило парадокс Ричарда Никсона. В 1960 году появились свидетельства в пользу того, что решающие голоса на выборах были у Никсона украдены. "Требуйте повторного подсчета", — настаивали помощники. Но Никсон отказался: это создало бы обстановку недоверия, пагубно сказалось бы на стране, поэтому свою задачу Никсон видел в том, чтобы объединить разрозненный электорат под руководством человека, одержавшего над ним победу. Проявивший благородство в поражении, в час своего триумфа он не проявлял милости.

Много раз я бывал свидетелем того, как президент проявлял удивительное мужество в те моменты, когда все вокруг немели от страха. Это вызывало мое глубочайшее восхищение. Испытывая уважение к президенту за то, как он ведет себя в свои лучшие моменты, я одновременно научился принимать его таким, как он есть, в худшие. Я полагаю, преданность, как и любовь, видит человека в каком-то особом свете.

Если бы кто-нибудь подглядывал за нами в ту ночь, скажем, через отверстие в крыше президентского кабинета, то какую любопытную картину он увидел бы: президент-победитель, ворчливо подбирающий слова, которые он скрепя сердце скажет своему

побежденному врагу; недовольный и язвительный глава администрации; главный политический стратег президента, находящийся в состоянии какого-то непонятного ступора. Да, чего-то действительно не доставало. Если это — победа, то как выглядят эти люди в поражении?

Никсон распорядился, чтобы Манола принес нам что-нибудь поесть. Это означало, что придется разбудить пару человек из обслуживающего персонала Белого дома. Вскоре они появились, с закрытыми глазами, держа в руках тарелки с яичницей с ветчиной. Я бы очень хотел, чтобы они принесли что-нибудь Патти и Уэнделлу, но решил более не беспокоить усталых официантов. Президент рассказывал одну за другой истории о сенатских гонках, да еще с таким энтузиазмом, что мы легко могли просидеть в его кабинете до рассвета. Как мне увезти Патти и Уэнделла?

Ответ принес помощник Хальдемана: телеграфные службы Ассошиэтед Пресс и Юнайтед Пресс закрывались на ночь, что означало, что цифры по голосованию прекращают поступать до утра. Эта долгожданная новость да еще мои слипающиеся глаза, вероятно, убедили президента, что на дворе — ночь.

Когда мы уже собрались уезжать, Никсон задержался на серых цементных ступеньках, ведущих к аллее. Прямо перед нами величественно возвышался в темноте белоснежный особняк. "Чак, — сказал он, — я просто хочу, чтобы ты знал, как я..."

Зная, как непросто ему всегда было выражать эмоции, я перебил: "Спасибо, м-р президент. Удачного дня".

Тогда он повернулся и зашагал вниз по ступеням, сопровождаемый агентом секретной службы, который механически посматривал направо-налево. Я задержался на секунду, наблюдая, как тридцать седьмой президент Соединенных Штатов, получивший величайший в истории народный мандат, спускается впереди меня. Огни, еще горевшие в нескольких окнах, бросали оранжевый отблеск на зелень кустов и гладко подстриженные газоны. Ночной воздух был чист. Вдалеке гордо возвышался монумент Вашингтона, вид которого никогда не оставлял меня равнодушным. Но в ту ночь даже он не мог разбить охватившее меня непонятное оцепенение...

В ушах пронзительно звенело. Я скинул с головы одеяло, протер глаза и посмотрел на часы — 8 утра. Звонил телефон для связи с Бе-

лым домом, стоявший рядом с кроватью. Я чуть не столкнул телефон со столика, когда пытался ухватить трубку.

— Прости, Чак, но *он* хочет видеть тебя немедленно, — это был Стив Булл, секретарь президента.

— Да брось, Стив. Я спал только четыре часа. Выборы позади, и у меня раскалывается голова.

— Извини, но президенту нужно, чтобы ты зашел.

Второпях порезавшись за бритвем и проглотив на ходу две чашки кофе, я выехал полусонный из дому, с гудящей головой. Когда я приехал в Белый дом, старшие члены администрации уже собирались в комнате Рузвельта для встречи с президентом. *Если президент хочет нас поблагодарить*, подумал я, *то почему он не сделает этого, позволив поспать подольше?* Он должен быть на седьмом небе от счастья: утренний подсчет голосов подтверждал наши самые оптимистичные прогнозы: за Никсона проголосовало рекордное число штатов — 49, в целом 61% избирателей.

Собравшиеся члены администрации, большинство с такими же красными глазами, как у меня, встали, когда президент вошел, и радостно зааплодировали. Никсон улыбнулся и жестом пригласил садиться. Аплодисменты не смолкали, и главный на секунду потупил глаза, взявшись за спинку своего стула на том конце длинного стола. Ричард Никсон выглядел свежим, на удивление отдохнувшим. Он говорил метко и по делу.

"Мне кажется, что люди, занимающиеся управлением страной, выдыхаются, сами того не сознавая", — начал он. Обратившись к своему излюбленному периоду в истории — середине 19 века в Англии, Никсон привел пример Дизраели, сместившего Глэдстоуна сразу после того, как тот закончил большой труд по реформированию Британского правительства. Глэдстоун был "потухшим вулканом", а Дизраели накопил заряд. Параллель, на которую указывал Никсон, была очевидной: мы хорошо потрудились, но не превратились ли мы в потухший вулкан, в котором уже нет огня для предстоящих сражений?

Президент повернулся к Бобу Хальдеману, сурово смотревшему на собравшихся: "Боб объяснит несколько процедур, которые мы разработали. Нам нужны новые идеи, свежая кровь. Перемены для нас очень важны".

Зачем он это делает, недоумевал я, быстро разглядывая собравшихся за столом.

"Вы — моя первая команда, — продолжал президент, — но сегодня мы заново выступаем в четырехлетнюю дорогу. Перед страной стоят большие задачи, и нам нельзя терять ни минуты. Боб, начинай". С этими словами он улыбнулся и направился к двери, ведущей в холл. Целое мучительное мгновение потребовалось, чтобы осознать, что президент уже закончил свою речь которая длилась всего 12 минут, и аплодисменты, на этот раз более сдержанные, едва слышались, когда он вышел.

Хальдеман говорил резко: "Заявления об отставке должны быть поданы каждым членом администрации секретарю по кадрам к полудню в пятницу. Также подайте записки, в которых будут указаны пожелания, касающиеся новых назначений". Он прочистил горло, сделал паузу и добавил: "Это, разумеется, традиционная любезность, которую президент делает при наборе новой администрации". Затем он раздал конверты с бланками и подробными инструкциями.

Последнее замечание не вполне устранило неловкость сказанного. *Хорошо, Боб, думал я, любой назначенный президентом работник служит, куда президенту он нужен. Но зачем это делать так быстро и так грубо?* В течение целого года перед выборами я запрещал своим подчиненным брать отпуск, обещая им в случае нашей победы шикарный праздник, длинный отпуск и помощь в подыскивании лучшего места. Теперь, по замыслу Хальдемана, я должен был собрать все тридцать человек в своем кабинете и сказать им, чтобы они искали себе новую работу.

Я сказал себе, что мне все равно. Я уже в июле объявил президенту, что ухожу из администрации и возвращаюсь к адвокатской практике. Но даже так я чувствовал себя словно обманутым. Возможно, я надеялся, что странная ущербность вчерашнего дня исчезнет в ярких утренних лучах. Но я был шокирован, ощутив в этой комнате прежнюю унылую атмосферу.

Люди смотрели друг на друга, не веря своим ушам, пораженные неожиданностью происшедшего. Затем послышался ропот, сперва похожий на приглушенный шепот удивления, потом все, казалось, заговорили в один голос. Недовольство брало верх над недоверием. Херб Кляйн, пресс-атташе президента, преданно работавший с ним в течение 25 лет, тихо вышел. Голова его была опущена, пружинистая обычно походка обмякла.

Как раз в тот момент, когда гомон в кабинете готов был достигнуть высшей точки, Стив Булл вызвал меня в Овальный кабинет,

служивший президенту для формальных встреч. Чувствуя неловкость, м-р Никсон объяснил, что я не принадлежу к одной категории с остальными. Он пояснил, что еще до отъезда в тот день в Ки Бискейн хотел попросить меня не уходить из администрации.

Я собрал своих подчиненных и сообщил им, что, несмотря на такую формальность, как подача заявления об уходе, я каждому из них помогу занять соответствующее место в новой администрации. Затем я сказал, что они могут идти в отпуск.

Но состояние духа людей было подавленным. Победа, доставшаяся путем многомесячной изнурительной работы, теперь казалась лишенной вкуса.

В тот день я видел Никсона, наблюдавшего за тем, как президентский вертолет, *Морской пехотинец №1*, величественно поднимается в воздух с Южной лужайки. Затем я направился в свой кабинет, медленно шагая по левому крылу здания. Когда президент отправлялся в поездку, всегда становилось тихо, потому что половина администрации отправлялась вместе с ним. В обычные дни здесь слышался бы стук печатных машинок, рабочие чинили бы в коридорах свет, и несколько человек из администрации стояли бы, разговаривая. Но в тот день там был только один печальный полицейский, стоявший у открытых дверей Овального кабинета. Пустота была какой-то нереальной, тишина — гнетущей, словно некая опустошающая эпидемия прокатилась по этим коридорам... Я почти явственно слышал вдалеке приглушенный рокот артиллерии.

Президент говорил о великих целях, и теперь, наконец, они казались достижимыми. Впервые за многие годы в жизни страны появилась стабильность. Вьетнамская война подходила к концу, и мы получили подавляющее большинство голосов на выборах, означавшее твердую поддержку избирателей. Что же тогда мешало нам, проникая прямо сюда, в средоточие государственной власти?

Или точнее, что изменялось в худшую сторону внутри меня? Была ли это просто усталость? Или что-то было действительно не так?



2

"Годен"

Вечерние газеты трубили о подавляющей победе Никсона и уже содержали сведения о переменах в администрации. Я на минуту задумался о своем решении. В прошлом всегда именно желание покорять новые вершины придавало жизни смысл. Но что делать, когда больше нет гор, которые можно покорять? Мне был только 41 год. Наверняка, в запасе у жизни были для меня еще какие-нибудь интересные и трудные дела — но какие? Что в принципе могло быть важнее и ответственной, чем помогать в избрании президента, чем быть в числе горстки людей, ежедневно определяющих будущее целой нации?

Тем не менее, я понимал, что должен двигаться дальше. Я был одним из тех "потухших вулканов", о которых президент говорил в своей странной речи. Может, вернуться к адвокатской практике? Такое решение было бы очевидным и полезным для моей семьи. Таким образом я мог бы пополнить наш банковский счет, изрядно поуменившийся за то время, пока мы существовали на государственную зарплату. Но деньги — неужели они могут быть целью жизни?

Нет, чем больше я думал об этом, тем больше одно слово, казалось, воплощало в себе все то, что было мне дорого в жизни. *Гордость*. Чувство гордости, присущее Ричарду Никсону, было тем качеством, которое вызывало мое наибольшее восхищение. Именно

гордость лежала в основе правления Никсона, всей его устремленности к исторической значимости и масштабности. Та же гордость лежала в основе и моей жизни с тех самых пор, как я себя помню.

В солнечный день начала июня 1949 года в Браунн и Николе, маленькой частной школе Кембриджа состоялась церемония выпуска. На футбольном поле близ тихой Чарльз Ривер поставили ряды деревянных стульев. В полумиле виднелись построенные в колониальном стиле, увитые плющом кирпичные здания Гарвард Ярда. Я, как редактор школьной газеты и почетный ученик, признанный одноклассниками наиболее многообещающим выпускником, был избран для произнесения торжественной речи от лица покидающих школу. Позади меня на деревянной платформе сидели все сорок моих одноклассников, половина из которых готовилась стать осенью первокурсниками в Гарварде.

Гордость была основной темой моей речи: "Мы гордимся, очень гордимся теми уроками, которые были нам преподаны в демократической обстановке школы и класса". Оглядывая ряды видных бостонцев, я не находил в них лиц, более исполненных гордости, чем лица моих отца и матери, пожертвовавших очень многим, чтобы поместить меня в школу, никак не соответствующую нашим доходам и положению.

Пример родителей определял мое поведение в молодости. Папе пришлось оставить школу, так и не получив аттестата, с тем, чтобы материально поддержать мать и сестру после того, как его отец умер во время эпидемии гриппа после Первой Мировой войны. Он женился на моей матери и затем в течение 12 лет посещал вечернюю школу, изучая сперва финансовый учет, затем юриспруденцию и все время работая за 32 доллара в неделю бухгалтером на мясопакетном предприятии. Как впечатляюще выглядел отец, одетый в черную мантию и с судейской шапочкой на голове, когда я увидел его на выпускной церемонии в Северо-Западной Юридической школе.

Когда отец не учился, скажем, поздно вечером в воскресенье, мы беседовали. "Много учись, много трудись; ленивый ничего не достигнет в этой жизни, — любил говорить он. — Быстрого успеха не бывает; какой бы незначительной ни была твоя работа, главное — делать ее хорошо". Эта была пуританская рабочая этика. И затем он неизменно добавлял: "Всегда говори правду — ложь губит человека". Я старался следовать его совету, и с ним мне всегда это удавалось.

Мы жили в квартире, которую снимали в старом викторианском доме без лифта. Наш маленький небогатый городок Уинтроп располагался на небольшом полуострове на северном берегу Бостонской гавани. По стандартам времен депрессии мы жили сносно, что значит весьма бедно: виной тому отчасти была моя мать, всегда тратившая несколько больше, чем зарабатывал отец. У нас были какие-то деньги, но были и долги; когда же долги превышали допустимый уровень, мама распродала мебель и прочие вещи. Я помню испытанный мной шок, когда однажды, вернувшись домой из школы, я увидел, как совершенно незнакомые люди выносят стулья из нашей гостиной. Постоянные долги, незнание наперед, как заплатить ренту, создавали ту неуверенность, воспоминание о которой, в сочетании с наставлениями отца, вдвое усиливало мое желание преуспеть.

Получив юридическое образование, мой отец быстро пошел в гору как бизнесмен, но вскоре его стремительное продвижение было приостановлено пошатнувшимся здоровьем. Он был вынужден оставить работу в "Дженерал Фудс", компании, приобретшей мясоупаковочное предприятие, на котором отец некогда работал. В то время, когда я оканчивал школу, отец пытался свести концы с концами, работая независимым адвокатом в городе, юридический рынок которого почти полностью контролировался выпускниками Гарвардского университета. Только по чистой случайности отцу удалось весной 1949 года получить небольшое дело, благодаря которому он смог внести последний взнос за мое обучение в Браунн и Николс. Без этого я не окончил бы школу.

Несмотря на всю гордость, какую я испытывал, застегивая на себе новый двубортный костюм, я также ощущал неуверенность относительно того, как же мне удастся оплатить расходы на обучение в колледже. Каждое лето с тех пор, как мне исполнилось одиннадцать лет, я подрабатывал, чтобы помочь с платой за обучение в школе, но обучение в колледже было ровно вдвое дороже, чем в Браунн и Николс. Я получил высокооплачиваемую работу в качестве посыльного в одной брокерской конторе в Бостоне и с нетерпением стал ждать ответа на заявления с просьбой о стипендии, отосланные мной в Гарвард и Браунн.

Первыми ответили из Браунна. Мне сообщали, что я буду в полном объеме получать стипендию морской Службы подготовки офицеров резерва, плюс 50 долларов в месяц на расходы. Затем в начале

июля меня пригласили на собеседование с деканом по вопросам приема в Гарвардский университет.

Ровно в назначенный час меня ввели в уютный угловой кабинет, расположенный в двухсотлетнем административном здании, выходящем с одной стороны на тихий Гарвард Ярд, с другой — на запруженную Гарвардскую площадь. В кабинете стоял едва заметный запах ветхости, было много потемневшей старинной бронзы, поблескивал паркетный пол. Изящный письменный стол в колониальном стиле стоял между прогнувшимися книжными полками, помещавшими собрание памятных вещей Гарварда.

Декан, идеально подходящий для своей роли человек, был одет в мешковатый твидовый пиджак и волосы имел седые и курчавые, коротко подстриженные. От него исходило ощущение легкого превосходства, превосходства человека, получившего утонченное воспитание, что было очень характерно для гарвардцев тех лет.

"Я счастлив сообщить Вам, м-р Колсон, что Вам очень повезло и Совет попечителей постановил полностью оплатить ваше обучение в Гарвардском университете". Он сделал паузу, давая мне возможность выразить мой восторг.

И я действительно его ощущал, но одновременно с этим я чувствовал, как во мне растет другое чувство — годами копившееся озлобление по отношению к высокомерию, присущему Гарварду, к снисходительности, с какой смотрели аристократы на выходцев из менее престижных слоев общества. Я вежливо поблагодарил и стал ждать.

Последовала пауза, в течение которой он разжигал трубку и долго затягивался. "Ну, я полагаю, у Вас есть множество вопросов — где Вы будете жить и каким будет расписание Ваших занятий", — сказал он.

"Но, господин декан, я еще не решил, выберу ли я для обучения именно Гарвард", — возразил я.

Какое-то время он смотрел на меня, ошарашенный. "Я не могу себе представить, чтобы кто-то отказался от бесплатного обучения в Гарвардском университете", — сказал он наконец.

Гордость. Мальчиком я часто стоял на устланном галькой берегу, глядя на возвышавшийся за зелеными водами бухты город, которым тогда правили Брахмины — люди с Бикон Хилл, прямые потомки переселенцев с Мейфлауэра, за спиной которых стояли многие поколения гарвардских выпускников. Мы же не принадлежали ни к но-

вым поселенцам — итальянцам или ирландским католикам, игравшим все более значительную роль в бостонских коридорах власти, — ни к старой гвардии. "Болотные янки" — вот как нас называли. Больше всего нам не хватало уважения, а именно к нему мы сильнее всего стремились. Теперь я обрел его вместе с допуском в элиту. Но гордость подсказывала мне, что в запасе у меня есть еще лучший вариант — отказаться от всего этого. Конечно, эта гордость была наносной, но предубеждение против восточного интеллектуализма осталось во мне и стало причиной некоторых драматических событий моей дальнейшей жизни.

Итак, в сентябре того года, имея двадцать долларов в кармане синего выпускного костюма, я отправился в университет Браунн в Провиденс на Род Айленде — учебное заведение, на которое гарвардцы смотрят как на бедную родственницу по Айви Лиг.

Гордость вместе с искренним патриотизмом, жившем во мне с детских лет, также стала причиной моего вступления в морскую пехоту. Когда я учился на втором курсе, Корейская война как раз достигла своего апогея и нас сильно агитировали записаться в морскую пехоту, нуждавшуюся в добровольцах. Билл Малоуни, тоже стипендиат, которым я всячески восхищался и который был старшим в нашей компании, решил вступить в морскую пехоту. Билл отзывался о морской пехоте с такой гордостью и восхищением, что уже через неделю я стоял у стола, за которым сидел записывавший добровольцев офицер — высокий, с идеальной осанкой младший лейтенант по имени Косгроув.

"Корабельный гардемарин Колсон, — отчеканил я. — Хотел поинтересоваться насчет морской пехоты".

Косгроув, выпускник Морской академии, нахмурился, смерил меня взглядом и резко сказал: "Вам еще рановато, Колсон. Сначала мы должны убедиться, что Вы *годитесь* в морские пехотинцы".

Целое мгновение я стоял перед столом, не в силах вымолвить ни слова. Что он хотел этим сказать — "гожусь ли я"? По всем дисциплинам я был в своем классе одним из первых. Два последующих месяца я мучительно переживал отказ Косгроува. Раз в неделю курсанты, обучавшиеся по стипендии, в класс и на вечерние занятия должны были являться в форме. С момента разговора с Косгроувом накануне таких смотров я до блеска начищал ботинки, надраивал форменную медь и тщательнейшим образом готовился к предстоящим занятиям: начал пытаться подражать манере Косгроува — хо-

дить с прямой спиной и втянутым подбородком. Я замечал, что на каждом занятии Косгроув наблюдает за мной.

И вот однажды весной я увидел на доске объявлений напечатанную записку: "Корабельного гардемарина Колсона вызывает лейтенант Косгроув". На секунду я заколебался: я так до конца и не решил, хочу ли я в морскую пехоту; я просто хотел доказать, что я "гожусь".

Я стоял перед столом Косгроува и напряженно ждал, а он сидел, откинувшись на спинку старого вращающегося кресла и крутил перед лицом карандаш. Затем он резко выпрямился и, сильно нахмурясь, произнес: "Колсон, мы считаем, что ты годишься".

Не дав ему продолжить, я сразу перебил: "Где я должен расписаться, сэр?" Позже я узнал, что Корпус морских пехотинцев не набрал положенной квоты и сильно нуждался в новобранцах.

Насколько иначе стал выглядеть мир, когда я надел форму зеленого морского цвета и фуражку с приколотой эмблемой в виде земного шара и якоря! В качестве молодого командира взвода я был приписан дивизии генерала Пуллера, просоленного морского волка, чьи героические подвиги сделали его единственным кавалером пяти морских крестов. Грубоватый Пуллер был подлинным морским пехотинцем. Солдаты его любили и готовы были идти с ним на смерть. Как и тысячи моих товарищей, я, не задумываясь, шагнул бы в пропасть, вздумай он отдать такой приказ, что, в принципе, я однажды почти и сделал. Во время учений в Карибском море (Корейская война к тому времени закончилась) мой взвод высадился на маленькой полоске земли на гористом островке под названием Виекес. К условной цели было два пути: один по петляющей тропинке, бегущей по достаточно плоской местности, другой — напрямик по 20-метровым скалам. Последовал приказ: "Идти по скалам".

Несколько секунд я не верил своим ушам: это было всего лишь упражнение, а глядя на ненадежную вулканическую породу, я понимал, что это не только глупо, но и невозможно. *Кто-то, вероятно, погибнет, но морская пехота может все*, напомнил я себе и повел 45 человек на приступ; весь путь мы проползли, цепляясь за выступы кирками, веревками и голыми руками. Когда мы взобрались на вершину и я посмотрел вниз на берег, на море, то понял, что Пуллер был прав. Когда человек вкладывает в дело всего себя, он может совершить невозможное.

Тем же летом 1954 года, находясь в Кемп Лежене, я получил приказ: "Прибыть немедленно в распоряжение части. Тревога". В считанные часы мой батальон погрузили на "старое корыто" времен Второй Мировой войны, миноносец "*Милетт*", и отправили с несколькими тоннами амуниции к берегам Гватемалы, где происходило коммунистическое восстание. Наша официальная миссия заключалась в защите американских граждан на территории этой страны. Неподалеку от скалистых берегов этой крохотной латиноамериканской страны войскам раздали вооружение, и командиры взводов получили указания относительно предстоящей операции. Окончательный приказ должен был поступить из Вашингтона.

Море в ту ночь было гладким как стекло, воздух — тяжелым и жарким. Стоя на палубе, я не видел ничего, кроме зеленых и красных огоньков других участвовавших в миссии кораблей и тысяч звезд, мерцавших в небе. Я никогда раньше не видел такого количества звезд, такого дождя крошечных огоньков, похожих на фейерверк Четвертого июля.

Приближалась полночь, и мне было не по себе при мысли о том, что ждало нас завтра, я не был уверен, смогу ли справиться с ответственностью — ведь от меня зависела жизнь сорока пяти человек. Вглядываясь во Вселенную, я внезапно почувствовал себя каким-то незначительным, маленькой точкой на чуть большей точке, плавающей в море, которое казалось мне бескрайним и огромным, но было все же таки не больше, чем точкой, в сравнении с бездонными просторами космоса. "Где все это кончается?" — спрашивал я себя.

Когда я был мальчиком, мои родители водили меня в Епископальную воскресную школу, но эти посещения не производили на меня особого впечатления. Но в ту ночь я твердо знал, что там, в этой звездной бесконечности, есть Бог. Я был убежден, что Он правит Вселенной, что для Него нет тайн и что каким-то чудесным образом Он все это содержит в порядке. Еще неумело, неуверенно, я помолился, зная, что Бог есть, и лишь сомневаясь в том, найдется ли у Него время, чтобы меня выслушать.

Позже той же ночью тревога была отменена: проамериканский режим в Гватемале справился с коммунистическим переворотом без нашей помощи, хотя мы еще в течение шести недель на всякий случай не покидали места дислокации. Постепенно мое ощущение Бога притупилось под действием вновь возникших личных устремлений.

Чувствуя, что достаточно испытал себя на службе в морской пехоте, подталкиваемый желанием испытать себя в новых областях жизни, я перевелся в резерв. Манила школа юристов. Также политика. Работа по широко разрекламированной программе внутреннего управления в Морском департаменте в Вашингтоне позволила мне по вечерам посещать юридическую школу в университете Джорджа Вашингтона.

В первый год пребывания в университете я познакомился со старшим сенатором от штата Массачусетс Левереттом Салтонстолом, почтенным, похожим на патриция джентельменом, который предложил мне работу в его офисе, а два года спустя, несмотря на мою молодость и неопытность, назначил меня своим главным помощником.

Салтонстол был видной и влиятельной фигурой в Сенате, но пренебрегал политическим тылом у себя на родине, где итальянцы и ирландцы уже подменяли "старую гвардию". Джон Ф. Кеннеди, младший сенатор от того же штата, был восходящей звездой демократов и ведущим кандидатом в президенты от этой партии.

Начало моего обучения практической политике в бостонском духе относится к 1948 году, когда я поступил агитатором-добровольцем к терявшему свои позиции губернатору из Массачусетса Бредфорду. Я получил понятие о всех уловках, некоторые из которых зачастую выходили за пределы законности. Подложные письма, срывание рекламных плакатов соперника, компрометирующие статьи в газетах, несуществующие голоса "мертвых душ" и всевозможная слежка за противниками — все это было обычным делом.

Когда приблизились выборы 1960 года, Салтонстол попросил меня возглавить его кампанию. Опросы показали, что он идет в хвосте у популярного демократического губернатора Фостера Фурколо, первого американца итальянского происхождения, занявшего губернаторское кресло в "чайном" штате. Положение Салтонстола было безрадостным, в особенности учитывая, что президентскую гонку выигрывал Кеннеди. Поэтому мне его предложение казалось особенно заманчивым.

Мы уговорили Тома О'Коннора, молодого и никому не известного мэра Спрингфилда, стать альтернативной Фурколо кандидатурой от демократической партии на первом туре выборов. Его успех был столь велик, что он опередил губернатора и, к нашему ужасу, оказался еще более популярным, чем до того был Фурколо.

Тогда я собрал команду на совещание. Когда твой кандидат — человек такого масштаба, как Салтонстол, занимающийся проблемами высокого порядка, то ему не уследить, чем там занят на поле сражения глава его выборной кампании. После серии подложных писем и спровоцированного нами взрыва недовольства налогоплательщиков в родном городе О'Коннора Салтонстол почти догнал О'Коннора по популярности.

Опрос в конце сентября показал, что мы приобретаем все больше сторонников-ирландцев, голоса которых были решающими. Это диктовало совершенно особую тактику. Я втайне арендовал несколько комнат в третьеразрядной бостонской гостинице, сменил в них замки и разместил там группу волонтеров, которым поручил прямо по телефонной книге отправлять письма всем, чьи фамилии звучали хотя бы приблизительно по-ирландски. Ирландских семей в нашем округе проживало около трехсот тысяч.

Затем мы обманом добились, чтобы шесть видных демократов ирландского происхождения подписали письмо, в котором кандидатом в президенты от демократической партии назывался Кеннеди (соперник Никсона), а в Сенат — Салтонстол. Два сенатора, хотя и принадлежали к разным партиям, так много работали вместе над домашними проектами, что связка Кеннеди-Салтонстол невольно ассоциировалась со всеми федеральными благами, полученными Массачусетсом в последнее время. Письмо было откровенным провинциальным подлогом, целью которого было провести Салтонстола в Сенат за счет популярности Кеннеди. В своих публичных выступлениях Салтонстол, разумеется, продолжал поддерживать Никсона.

В пятницу вечером накануне выборов я навестил мой секретный отель. Двадцать почти выдохшихся волонтеров вручную пытались справиться с горой писем. В полночь к черному входу должны были подъехать два фургона, в которые ребята забросят ящики с письмами и отвезут на незаметную почтовую станцию, где знакомый почтальон обещал их отправить.

Но возникло одно непредвиденное обстоятельство. Том, первокурсник из Гарварда, ответственный за проект с письмами, сказал, что хочет поговорить со мной наедине. Мы вышли из комнаты и зашагали по полутемному коридору. "Чак, — сказал он, — я не уверен в одной из наших девушек. Ее отец — ярый республиканец, а она считает, что мы предаем Никсона. Я слышал, как она говорила, что

собирается пойти в штаб партии и рассказать председателю обо всем, что мы здесь делаем".

"Нет, только не это, — простонал я. — Это нас убьет. Весь проект взлетит на воздух, если хоть что-то станет известно. У Никсона нет ни единого шанса в этом штате, и я рассказал его людям о том, чем мы заняты. Мы всего лишь пытаемся спасти республиканского сенатора, не больше того".

Я стоял, глядя на запятнанный палас под ногами, ощущая внутри сосущую пустоту. Мы не можем допустить, чтобы кто-то узнал о том, что за письмами стоит комитет Салтонстола; сомнений в том, что письма отправлены подлинными сторонниками Кеннеди, быть не должно. Весь исход выборов мог зависеть от этого последнего маневра, на который нашим соперникам просто не хватит времени ответить.

"Вот что, Том, — я взглянул в его уставшие глаза. — Возьми-ка вот это". Я протянул ему десять десятидолларовых бумажек, все, что было в моем бумажнике: "Выведи сегодня девчонку в ресторан и хорошенько напои. И каким угодно способом отвлекай ее мысли от политики вплоть до дня выборов".

Том, падкий на женщин, с радостью согласился. В понедельник утром все ирландские семьи штата получили наше письмо. Салтонстол, надежно прикрепленный к рукаву Кеннеди, был переизбран как раз за счет примерно трехсоттысячного большинства.

Окрыленный своим успехом в проведении предвыборной кампании Салтонстола, я отклонил настойчивые просьбы сенатора, желавшего, чтобы я остался его административным помощником — надежная, хорошо оплачиваемая работа на ближайшие шесть лет. Я также отказался от предложений некоторых юридических фирм Бостона. Вместо этого, имея на счету всего пять тысяч долларов, я объединил усилия с Чарльзом Морином, блестящим молодым адвокатом, с которым я познакомился в одной из политических поездок и который вскоре стал моим лучшим другом. Чарли, хотя и окончил Гарвард, был католиком канадо-ирландского происхождения и, подобно мне, не вписывался в систему, пытаясь жить независимо. Мы открыли юридическую фирму, которая должна была вести дела в Бостоне и Вашингтоне. Я заведовал двухкомнатным офисом в Вашингтоне, Морин — трехкомнатным помещением в Бостоне.

К счастью, клиенты появились прежде, чем успели иссякнуть

пять тысяч долларов; к середине года мы даже наняли первого адвоката, талантливого молодого человека по имени Джо Митчелл, которого нам порекомендовал Эллиот Ричардсон, наш близкий друг, работавший тогда прокурором. Джо был необыкновенно квалифицированный специалист, и любая фирма с радостью предоставила бы ему работу, если бы не один недостаток Митчелла: он был черный. Через два месяца после того, как мы его наняли и стало очевидным, что он отнюдь не "повредил" нашему бизнесу, несколько бостонских фирм уже хотели его переманить. Мы не только заполучили одаренного адвоката, но и сумели преодолеть расовый барьер в бостонской судебной практике.

Фирма росла быстро, но не обошлось и без драматичных эпизодов. Незадолго до Рождества 1962 года мы с Чарли провели долгий вечер в нашем бостонском офисе, сидя с закатанными рукавами за арендованным столом, разбираясь в счетных книгах нашей молодой фирмы. Уже за полночь, нахмурившись, Морин подвел итог: "Мы по-прежнему должны десять тысяч долларов за мебель, зарплата сотрудникам достигает двадцати тысяч долларов в месяц, мы нанимаем слишком много людей, крупные фирмы ставят нам палки в колеса, и я не вижу достаточного количества работы, чтобы нам протянуть до лета".

Я ничего не мог возразить Чарли. Мы двигались очень быстро, может быть, слишком. На следующий день я летел в Вашингтон и смотрел из окошка "ДС-6" на заснеженные деревенские пейзажи. Но я вовсе не видел сонных городков Новой Англии, скорее мне мерещилась голубая вода Карибского моря, белая полоса пляжа и крутой утес, на который я карабкался восемь лет назад. Я начал длинное письмо Чарли: "На следующей неделе я повидаяюсь с другом, работающим на "Груман Эйркрафт"; уверен, что он наймет нас. Одной поездкой в Калифорнию можно убить двух зайцев; там есть две компании..." Письмо состояло из нескольких страниц, на которых перечислялись все возможные клиенты. Я знал, что мы сможем их заполучить, если только поставим на карту все. Чарли много лет хранил это письмо; нам удалось договориться о работе с каждым из перечисленных в нем потенциальных клиентов.

Хотя я и пытался отрицать этот факт, но моя личная жизнь сильно страдала от моих занятий политикой и бизнесом. Ненси Биллингс, милая бостонская девушка, на которой я женился в день окончания учебы в колледже, совсем не разделяла того восторга, ко-

горый я испытывал, занимаясь политикой, и все свое время уделяла воспитанию наших троих маленьких детей — Уэнделла (1954), Кристиана (1956) и Эмили (1958). По мере того как шли годы, у нас оставалось все меньше и меньше общего. Хороший дом ее родителей и их социальное положение, венчание по всем правилам, пусть подсознательно, но импонировали моему стремлению добиться почетного положения в жизни; но неуверенность, владевшая мной в годы учебы, давно уже сменилась самоуверенностью и убежденностью, что я совершенно самодостаточен. После нескольких лет жизни порознь в январе 1964 года мы развелись.

В том же году я женился на Патти Хьюз, жизнерадостной и добросердечной девушке из Спрингфилда, штат Вермонт, которая, благодаря лучезарной улыбке и обаянию, была одной из любимых секретарш на Капитол Хилл. Ее жажда жизни и любовь к политике были такими же, как у меня. Единственной проблемой было то, что она происходила из семьи ирландских католиков. Патти, некогда ставшая победительницей конкурса красоты, вынуждена была пройти обряд формального венчания; нас обвенчали на простой гражданской службе в Армейской часовне при Арлингтонском кладбище. Некоторое время я изучал католицизм, но мой развод оказался непреодолимым препятствием для получения благословения ее церкви, поэтому со временем я это занятие оставил.

Несколькими годами позже мы с Патти, не имевшие собственных детей, подали заявление в Вашингтонский центр усыновления. Важная дама, беседовавшая с нами, проверяла малейшие факты нашей биографии: "Вам, как мне кажется, удалось сделать очень завидную карьеру, м-р Колсон. Почему Вы считаете, что Вам необходимо иметь больше детей, чем у Вас есть?"

После нескольких безуспешных попыток объяснить, я почувствовал, что она хочет сказать, что я слишком занят для того, чтобы иметь детей и что я, вероятно, не очень-то хорошо справился с воспитанием первых трех. Я объяснил, как сильно люблю Уэнделла, Кристиана и Эмили и что всякую свободную минуту мы проводим вместе, но что мы с Патти хотели бы иметь собственных детей.

— Вы очень ясно представляете, чего хотите, не так ли? Я полагаю, Вы считаете, что ни разу не терпели в жизни настоящую неудачу, — сказала она.

— Совершенно верно, — ответил я запальчиво.

— А Вы не думаете, что Ваш развод был такой неудачей?

Вопрос попал в самую точку. В глубине души я знал, что потерпел в первой женитьбе крах, но не мог признаться в этом даже себе. Отказ в агентстве по усыновлению мог бы послужить мне предостережением и возможностью взглянуть в себя, понять, в какого человека я *постепенно* превращаюсь. Но ничего подобного не произошло. Я списал все на нехватку младенцев, на противозачаточные таблетки и легализацию абортов. Плотный панцирь, покрывший меня за годы трудов и достижений, оказался непробиваемым.

Я впервые познакомился с Ричардом Никсоном, когда он был вице-президентом при Эйзенхауэре. Короткие встречи с ним оставляли глубокое впечатление; это был человек действительно незаурядного ума и мощного потенциала, чье видение страны и партии я охотно разделял. В мае 1964 года мы сидели вдвоем в его аскетическом угловом офисе на двадцать четвертом этаже на Твенти Брод Стрит в Нью-Йорке, и я пытался убедить Никсона, что только он сможет спасти Республиканскую партию от разгрома, который неминуем после назначения кандидатом в президенты Голдуотера.

"О'кей, давай попробуем, — сказал он. — Садись на телефон и посмотрим, на скольких делегатов мы сможем рассчитывать".

Хотя он и пытался казаться равнодушным, но при мысли о собственной кампании у него загорелись глаза: "Джонсону придется встретиться со мной на дебатах, не так ли, Чак? Я ведь, в конце концов, дал согласие на дебаты с Кеннеди". Он отвернулся и стал задумчиво смотреть на город, в котором недавно обосновался.

Мы с Никсоном хорошо понимали друг друга: молодой амбициозный создатель политических королей и старый претендент на трон. Мы оба были людьми, происходившими из нижних слоев среднего класса, оба знали, что такое тяжелый труд, оба хотели насытить свою гордость достижением самой призрачной из целей — добиться принятия и уважения от тех, кто прежде нас высокомерно отталкивал.

"Но в этом году будет очень сложно, — размышлял Никсон. — Вся система против нас. Если мы не пройдем на этот раз — что ж, всегда будет..." Его голос замер.

И, конечно же, в тот год предотвратить выдвижения Голдуотера и последовавшего ноябрьского разгрома республиканцев так и не удалось. Но наша с Ричардом Никсоном мечта осталась жива.

Я, как и следовало ожидать, погрузился в самую гущу предвы-

борной кампании 1968 года — к большому огорчению клиентов и фирмы, в которой я взял четырехмесячный отпуск за свой счет. "Выборы слишком важны для страны. Стране сейчас необходим Никсон. Я вернусь после окончания гонки", — пообещал я партнерам, уже ясно сознавая, чем бы мне хотелось заняться по-настоящему.

Когда после победы Никсона шло формирование новой администрации, мне позвонил мой старый друг, Джон Волп, бывший массачусетский губернатор, а теперь министр транспорта, и предложил занять пост в его министерстве. Заместитель министра иностранных дел Эллиот Ричардсон предложил мне пост своего помощника. Я отвечал уклончиво. Я ждал телефонного звонка, который сообщит мне, что я нужен *президенту*.

Такой звонок раздался в конце осени 1969 года — звонили из Белого дома.

"Сюда, пожалуйста, м-р Колсон", — высокий, образцовой выправки морской офицер с прикрепленным к плечу золотым аксельбантом пригласил меня подойти ближе к стене, на первый взгляд похожей на белую пластиковую стену приемной президентского секретаря. Затем я разглядел в ней едва заметный выступ двери. Часть стены, молдинг, небольшой рельсовый механизм образовывали отдельный вход в Овальный кабинет, которым пользовались только работники Белого дома.

Когда я сделал свой первый шаг по этой залитой солнцем, ослепительно белой круглой комнате, сердце мое так билось, что мне казалось, это слышно окружающим. Я прошел по огромному синезолотому ковру с красочно вышитым по центру изображением Большой печати Соединенных Штатов, который лежал под аналогичным белым лепным изображением на потолке. На фоне окон, занимавших всю стену и выходивших на Южный газон, за большим столом красного дерева сидел президент.

Откинувшись в кресле, он внимательно изучал страницы большой коричневой папки, которую держал в руках. Солнце падало ему на плечи и голову, высвечивая первую седину. Он взглянул на меня поверх знакомых мне очков с узкими линзами и улыбнулся быстрой широкой улыбкой. "Присаживайся, старина. Приятно тебя видеть. Через минуту я закончу, и мы поговорим". С этими словами он вернулся к коричневой папке, на которой виднелась золотая тисненная надпись: *"Ежедневный отчет разведывательной службы"*, а внизу коротко: *"Президент"*.

Президент. Не тот человек, которого я знал много лет, а Президент — здесь, в этой комнате, сооруженной при Теодоре Рузвельте, комнате, имеющей прямое отношение к стольким драматическим событиям двадцатого века. Сам факт того, что ты находишься здесь, уже волнует, а я был в ней *один на один* с Президентом, с самым важным человеком в мире — и еще в качестве члена его команды. То, к чему я стремился все тридцать восемь лет моей жизни, готово было свершиться.



3

"Разнеси все к ... матери"

Большинство работников администрации относилось ко мне с подозрением с самого начала — воспитанник старейших учебных заведений Новой Англии, к тому же выходец из Бостона, цитадели либерализма. Положение ухудшалось еще и тем, что я когда-то руководил кампанией Эда Брука, единственного тогда темнокожего в Сенате. Поэтому калифорнийские консерваторы Боба Хальдемана, придерживавшиеся ультрапротестантских взглядов, смотрели на меня, как на очередного "восточного либерала". Не помогло и данное мной еще в начале работы в администрации интервью репортеру *"Бостон глоуб"*.

Один из заданных мне вопросов касался генерального прокурора Джона Митчелла и его тенденции подбирать на роль судей Верховного Суда выходцев из южных штатов. Я уже сталкивался с Митчеллом во время кампании 1968 года и высказывал недоумение относительно некоторых его решений, поэтому я сконцентрировался на похвалах Никсону и промолчал относительно Митчелла.

Появившийся в газете заголовок был маленькой катастрофой: *"Митчелл вовсе не идеал (Колсон)"*. В течение многих месяцев после опубликования интервью Митчелл не отвечал на мои звонки. Никто в те дни не решался критиковать Митчелла даже в частной обстановке, не то что публично; одно слово Митчелла, и человек сразу же лишался работы. Вероятно, Митчелл был так ошарашен моей дерзо-

стью, которую ошибочно считал преднамеренной, что даже не позвонил Никсону и тем самым избавил меня от участи быть бесцеремонно выброшенным прямо на Пенсильвания авеню. А к тому времени, когда он попытался это сделать (годом позже, осенью 1970 года), я уже прочно окопался. В течение многих последующих лет при одном упоминании моего имени Митчелл начинал ругаться и яростно затягиваться трубкой, пока она не раскалялась докрасна.

На работе я стал заниматься тем, чем всегда занимался в политике — бросался в самую гущу событий. Сперва план реорганизации работы почты, положенный в Конгрессе под сукно, затем угроза забастовки почтовых работников. Лидером профсоюза был мой хороший знакомый. Мы составили компромиссное почтовое законодательство, и я устроил ему неофициальную встречу с Никсоном, на которой сделке был дан ход, и тем самым сделан шаг навстречу новому политическому альянсу с лейбористами.

Как-то в пятницу вечером зимой 1970 года Никсон разразился одной из своих яростных речей против федеральной бюрократии. Уже целый год он просил составить указ о создании комиссии, призванной разобраться в том, как помочь католическим школам. Подобная помощь была одним из его предвыборных обещаний. Несколько помощников уже давно тянули в этом вопросе резину. Митчелл сомневался в Конституционности проекта. Отдел народного образования вообще никак не реагировал. Утром того же дня я устроил Никсону встречу с преподавателями католических заведений; те рассказали президенту о своих нуждах и напомнили о его предвыборных обещаниях. Через несколько часов я был вызван в Овальный кабинет.

"Чак, мне нужно, чтобы комиссия была назначена *немедленно*, — сказал президент. — Я думал над тем, что эти люди сказали мне утром. Уже год, как я отдал распоряжение составить указ, и никто не обращает на это никакого внимания. Займись этим. Разнеси все к ... матери в этом здании, но сделай так, чтобы в понедельник утром указ лежал у меня на столе".

Была пятница, 5 часов вечера. "Понятия не имею, с чего начать", — признался я своей секретарше, Джоан Холл. В те дни она составляла весь мой штат. Джон Эрлихман, главный советник президента по внутренней политике, взял на неделю отпуск и катался где-то на горных лыжах; Боб Финч, глава Министерства здравоохранения, образования и благосостояния, отдыхал на юге. Один из по-

мощников Финча поднял для меня дело о католиках; оно находилось под грудой других бумаг в столе какого-то мелкого чиновника.

Прежде всего, я связался с Министерством юстиции; все указы проверяются и дорабатываются именно там. Но чиновник, чей отдел занимается подобной работой, безапелляционно заявил мне, что министерство закрыто на выходные; люди будут на работе только в понедельник. *Неудивительно*, подумал я, *что президент бьется словно рыба об лед. Он, вероятно, думает, что это он руководит правительством.* Я подумал о том, чтобы позвонить Митчеллу, но даже если бы он и согласился бы со мной поговорить, то, скорее всего, отказался бы помочь.

Итак, в пятницу вечером, пользуясь в качестве образцов какими-то старыми указами, я продиктовал документ Джоан. Это было начало двух непростых дней.

На следующее утро я позвонил Финчу. "Это тот самый указ, о котором босс все время говорил, не так ли?" — спросил он и признался, что много месяцев не мог его найти. Когда я сообщил ему, что документ лежит на моем столе, он дал свое согласие. Затем штатный телефонист Белого дома соединил меня с ответственным по бюджету, которого он оторвал от игры в гольф. Запыхавшимся голосом он подтвердил выделение денег на проект. Эрлихман, находившийся на одном из склонов Колорадо, так и не перезвонил мне; его заместитель находился в командировке, и связаться с ним было невозможно. В соответствии со строгими внутренними инструкциями Белого дома Эрлихман обязан был лично проконтролировать всякое дело, касающееся внутренней политики. Но президент сказал — "утром в понедельник", поэтому в понедельник утром я положил готовый указ ему на стол.

Когда Митчелл и Эрлихман узнали, что произошло, они пришли в ярость. Во всегда спокойных кабинетах на 1600 Пенсильвания авеню это вызвало небольшую бурю. Ричарду Никсону моя работа понравилась. Он нашел человека, который может пробиться сквозь бюрократические заслоны и умеет не оставить камня на камне. Вскоре я был занят этим в других областях — обеспечивал положительное голосование по антибаллистическим ракетам за счет устройства на работу друга одного сенатора, не брезговал шантажом, заключал сделки, помещал в газеты статьи, компрометирующие оппонентов и помогающие продвижению друзей.

Достаточно скоро я стал членом президентской команды. Вскоре

после истории с указом мне был выделен черный лимузин. Это было незабываемое ощущение — лететь в моем первом кортеже по улицам Вашингтона к Капитолию, почти непосредственно за изящным пуленепробиваемым президентским лимузином с маленькими флажками на переднем бампере. По случаю приезда президента в Капитолий палата представителей была набита битком — там был Кабинет Министров, Верховный Суд, дипломатический корпус и все 535 народных избранников. В проходах не было ни одного свободного места, балконы кишели людьми.

Я встал у стены рядом с кафедрой спикера и услышал голос Фишбея Миллера, бессменного привратного палаты: "Г-н спикер, президент Соединенных Штатов". Раздались громоподобные, почти оглушающие и долго не смолкавшие аплодисменты. Мой босс прошел по переполненному проходу, улыбаясь, пожимая руки старым коллегам, и оказался на трибуне, с которой должен был, в соответствии с Конституцией, дать конгрессу (а теперь и миллионам телезрителей) информацию о состоянии страны.

Но по большей части дни были заполнены тяжелой изнурительной работой, бесчисленными рабочими встречами и горами бумаг, на которых излагались противоречивые мнения правительственных комиссий относительно различных домашних проблем. *На этом уровне простых вопросов уже не бывает*, помню, открыл я для себя. Каждый документ требовал мнения, тщательного обдумывания, но часто времени едва хватало на то, чтобы хоть как-то отреагировать. Обилие работы держало в постоянном напряжении, дни сменялись днями, таяли как дым. Но я никогда не сомневался, что мне удастся выполнить поставленную задачу, какой бы тяжелой она ни была. Я просто шел к цели напролом, что всегда было моим правилом.

Однако бывали моменты, в которые я действительно испытывал сомнения; то было беспокойство и даже страх за страну и правительство, которыми мы пытались управлять. Впервые я почувствовал всю тяжесть работы в президентской команде после противоречивого решения Никсона весной 1970 года о вторжении — "проникновении", как мы предпочитали говорить, — в Камбоджу. Президент был убежден, что эта мера необходима для того, чтобы облегчить положение наших войск во Вьетнаме, и также прекрасно сознавал, что она вызовет отрицательную политическую реакцию и новую волну недовольства внутри страны. "Нам все равно придется туго, что бы мы ни сделали, поэтому давайте побыстрее возьмемся за работу", — сказал

нам с Эрлихманом Никсон в ответ на наши предупреждения о том, что лобовая атака вместо ограниченной операции, предложенной Пентагоном, может вызвать в стране бурю.

В речи президента к народу в тот вечер 30 апреля не было ни одной уступки нашим критикам. "США не будут играть роль жалкого, беспомощного гиганта", — заявил он. По стране прокатилась реакция недовольства и возмущения, о решении отзывались отрицательно и губернаторы, и церковные лидеры. Четверо сенаторов — Марк Хатфильд от Орегона, Джордж Мак-Говерн от Южной Дакоты, Гарольд Хьюз от Айовы и Чарльз Гуделл от Нью-Йорка — яростно ополчились против Никсона и внесли предложение об аресте средств, предназначенных на ведение боевой операции.

Но настоящий шок, волнами разошедшийся по всему миру, был вызван событиями в сонном студенческом городке одного из колледжей в глубинке Средней Америки. Четвертого мая дошли первые вести из университета Кент в Огайо — там Национальная гвардия открыла огонь по студенческой демонстрации. Преследуемые воспоминаниями о беспорядках двухлетней давности, возникших после убийства Мартина Лютера Кинга, притихшие президентские помощники толпились у телетайпа в пресс-центре Рона Зиглера, следя за ужасными подробностями трагедии: четверо убито, одиннадцать ранено.

В тот день я допоздна задержался на работе и пошел в столовую для персонала перекусить. В углу отделанной дубом небольшой столовой стоял огромный цветной телевизор, по которому показывали наступающих на толпу сквозь клубы слезоточивого газа солдат Национальной гвардии. Были слышны хлопки выстрелов, тут и там на земле лежали окровавленные тела студентов. Я и по сей день вижу так же ясно, как тогда, жуткую сцену: девушка кричит от ужаса и бессилия, склонившись над телом молодого человека.

Я оглядел полную людей столовую. Словно в стоп-кадре, все замерло: никто не прикасался к тарелкам, официанты застыли, работники Белого дома сидели в подавленном молчании, потрясенные трагедией, разыгрывавшейся на экране. Затем показали искаженное горем лицо отца погибшей Эллисон Краузе. "В этом виноват президент!" — закричал он.

Первой моей реакцией была мысль; *как несправедливо!* Какие ужасные слова. Президент не имел никакого отношения к смерти Эллисон. Но затем я подумал: *предположим, что погибла бы моя Эми-*

ли? Я тоже набросился бы с обвинениями на главу правительства, на символ власти, на того, против кого выступала моя дочь. Может быть, я пошел бы дальше.

И тогда у меня мелькнула мысль, от которой мне сделалось дурно: *если в этих обвинениях есть хотя бы доля истины, то тогда я тоже в ответе за то, что случилось; я помогал президенту с решением насчет Камбоджи.* На какое-то ужасное мгновение мне показалось, что м-р Краузе находится вместе со мной в этой столовой и что его блестящие от слез глаза смотрят прямо на меня. Я почувствовал себя каким-то нечистым и не смог продолжать ужин.

Позже я обнаружил, что если я хочу остаться в Белом доме и продолжать консультировать президента по вопросам, от которых зависела жизнь и смерть отдельных людей, то я должен подавить свои эмоции. Как просто было читать исторические книги, анализируя чьи-то решения, размышляя отвлеченно о заслугах других людей, и как трудно было эти решения принимать и жить с ними. Когда речь заходила о пленных, взятых камбоджийцами в спланированной нами операции, у меня перед глазами тут же возникала бамбуковая клетка и сидящий в ней скрюченный человек, которого беспрестанно кусали крысы и пауки; я почти слышал, как он кричит от боли. Это были мои дневные кошмары, почти неотличимые от реальной жизни.

Скоро я приучил себя мыслить цифрами; и чем больше была цифра, тем безличнее она мне казалась. Сравнительная статистика также действовала наподобие обезболивающего: на прошлой неделе убито только десять американских солдат по сравнению с пятьюдесятью солдатами на той же неделе прошлого года.

В годовщину расстрела демонстрации в университете Кент по студенческим городкам страны — от Стэнфорда до Мериленда — прокатилась волна забастовок учителей и студентов. Два темнокожих студента, застреленные местной полицией, лежали мертвые в студенческом городке университета Джексон в Миссисипи. Реагируя с зеркальной точностью на паническое состояние нации, цены на бирже упали на сто пунктов. Независимый по характеру министр внутренних дел Уолтер Хикель направил Никсону частную записку, в которой критиковал президента за полное пренебрежение интересами протестующих студентов, которых Никсон, забывшись, как-то неосмотрительно называл "задницами". На публике Никсон восхищался "мужеством" Хикеля, в узком же кругу клялся его уволить.

Министр иностранных дел и министр обороны втайне рассказывали знакомым журналистам о том, как они возражали против решения президента. Ушли в отставку некоторые из самых ценных доверенных людей Генри Киссенджера, в том числе эксперт по Вьетнаму Мортон Халперин, который на пару со своим близким другом д-ром Даниэлем Элсбергом делал для Никсона первую редакцию сверхсекретного документа по Юго-Восточной Азии — "Отчет-меморандум о национальной безопасности № 1".

Раздавались призывы к снятию Никсона с поста президента со стороны студенческих лидеров и профсоюзов оптовых, розничных и конторских работников. В кулуарах Капитолия можно было услышать первые разговоры об импичменте. К тому моменту Никсон занимал президентское кресло немногим более 15 месяцев.

Девятого мая толпа студентов, количеством примерно в 150.000 человек, подошла к столице. Улицы, окружавшие Белый дом, были в тот день отгорожены на несколько кварталов по всем направлениям. Мою машину встретили у пропускного пункта на пересечении Девятнадцатой и "Е" улиц полицейские в касках и сопровождали до самой президентской резиденции. На всякий случай территорию около Белого дома заблокировали несколькими сотнями вашингтонских автобусов: по Пенсильвания авеню с севера и по Эллипс — с юга. В ключевых точках за автобусами расположился спецотряд по борьбе с беспорядками; в подвале Главного административного здания был размещен батальон из состава восьмидесят второй воздушной дивизии: солдаты с полной боевой амуницией, со спальными мешками за плечами и камуфляжной сеткой на касках.

В подвале, беседуя на ходу с солдатами, большинство из которых были розовощекие молодые ребята, частью спавшие на холодном мраморном полу, частью читавшие или игравшие в карты, я вдруг подумал, что все это до боли напоминает дважды виденное мной в латиноамериканских странах: солдаты в полном вооружении обороняют дворец президента от врагов. Но здесь — в самой демократичной стране мира?

Позже, стоя на верхнем этаже у окна, разглядывая толпу, заполнявшую улицы, я многое обдумал. Наше общество держится не на силе и даже не на законе, а на моральных убеждениях. И президенты правят отнюдь не с помощью указов, но благодаря согласию свободных людей. Лишись мы доброй воли 200 миллионов американцев,

красиво называемой "общественным доверием", и правительство беспомощно, анархия или еще худшее — неизбежны.

Насколько хватало глаз, я повсюду видел разгневанных граждан, выкрикивающих лозунги протеста. Как бы ни обстояли дела с нашей внешней политикой, это не имело никакого значения, если мы не могли вернуть себе моральное право руководить страной. Может быть, мы действительно оказались "жалким, беспомощным гигантом", о котором говорил Никсон но не в военном смысле, как он это имел в виду, а прямо здесь, где трещало по швам натянутое до предела согласие, объединяющее свободных людей в нацию.

С течением дня напряженное ожидание внутри Белого дома все росло. Где-то в три часа дня из командного пункта в подвальном помещении Белого дома прозвучало тревожное сообщение: большая группа демонстрантов двигалась в направлении северо-западной части территории резиденции. В автобусы полетело несколько камней, зазвенели разбитые стекла. Мне было слышно, как в подвале зашевелились солдаты — подгоняли ремни автоматических винтовок, настраивали прицелы, выкладывали рожки с патронами.

Внезапно — там-там-там — послышались глухие выстрелы слезоточивым газом по толпе, повисло огромное облако дыма. Два автобуса повалились на бок. Полиция, одетая в противогазы и стальные каски, стала наступать на толпу — в воздухе замелькали дубинки, люди побежали, некоторые падали. Слышались крики и вопли, скрежет металла и звон стекла. Легкий порыв ветра донес с запада до окон Белого дома остатки слезоточивого газа; я почувствовал жжение в глазах и носу, запершило в горле. Затем все стихло. Тревога кончилась так же неожиданно, как и началась; толпа отступила, распалась на маленькие группы.

Жесткая решимость Никсона устроить массированную облаву на Северный Вьетнам и их прибежища в "нейтральной" Камбодже и его непоколебимость перед лицом все возраставшего сопротивления со стороны конгресса и общественности, казалось, оправдали себя, когда в результате операции были обнаружены и уничтожены большие склады вражеского вооружения. Военная сила Ханоя сильно пострадала, количество жертв среди американцев пошло на убыль, и вывод войск стал происходить быстрее.

В конце мая по улицам Нью-Йорка прошла сотысячная демонстрация строительных рабочих с лозунгами в поддержку наших

войск, с прониксоновскими стикерами на касках. Несмотря на отрицательную позицию большинства работников Белого дома, видевших в касках символ студенческих расправ, Никсон сказал мне позвонить организатору марша рабочих, здоровенному ирландцу из Бронкса по имени Питер Бреннан. Два дня спустя в Овальный кабинет вошла процессия из подручных, каменщиков и литейщиков с касками на головах и с маленькими американскими флажками, приколотыми к пиджакам. Их встретил улыбающийся, гостеприимный президент. Фотографии этой встречи, положившей начало беспрецедентному альянсу республиканского президента и организованных рабочих, облетели всю страну.

Уже через несколько дней телеграммы в поддержку президента хлынули в Белый дом. Все воспрянули духом, и Никсон укрепил успех, пригласив пятьдесят ключевых фигур с Уолл Стрит на обед в Государственную гостиную. Через два дня цены на рынке поднялись на пятьдесят пунктов: стабильность, казалось, возвращалась, страхи стали утихать.

Но память о девятом мая не исчезла. За железными воротами Белого дома, незаметно для самих обитателей, их умами овладел менталитет людей, находящихся в окружении. Теперь "мы" были против "них". Постепенно, по мере того, как круг "наших" делался все уже, "их" ряды возрастали.

Ни к чему мы не испытывали большей неприязни, чем к средствам массовой информации. В ответ на то, что представлялось нам ежедневными нападками со стороны телеобозревателей и газет *"Нью-Йорк Таймс"* и *"Вашингтон Пост"*, распространялись тайные инструкции, содержащие приказы, подобные следующему, относящемуся к 1971 году: "Членам администрации запрещается встречаться с какими бы то ни было целями с репортерами газеты *«Нью-Йорк Таймс»*".

Однажды я допустил ошибку, приняв приглашение позавтракать вместе с Джоозефом Крафтом, журналистом либерального пресс-агенства. Лин Нофziger, работник Белого дома, придерживавшийся крайне консервативных взглядов, заметил нас в шикарном "Сан Суци". Нофziger подошел к нашему столику и, натянуто улыбаясь, пожурил меня за то, что я обедаю с "ярым либералом". Я считал, что мой поступок совершенно безобиден, небольшое развлечение за чужой счет, до тех пор, пока меня не вызвал к себе в кабинет Хальдеман и не отчитал на полном серьезе. "Если хочешь здесь работать,

держись подальше от этого ..." — резко заявил он. Обескураженный, я последовал его совету.

Осенью 1970 года президент поручил мне совершить несколько негласных поездок в Нью-Йорк и провести встречи с президентами трех телесетей с тем, чтобы просто обсудить технические моменты и объективность освещения жизни в стране. Всесильные внутри своих корпораций, но в финансовом отношении сильно зависящие от Федеральной комиссии по коммуникациям, трое президентов держались необыкновенно радушно. От них не ускользнула важность моего визита. Мы придумали удачную альтернативу программе "лояльной оппозиции", предоставлявшей эфирное время демократам, и решили, что приструнили наших врагов.

Нападки вице-президента Агню на прессу были поддержаны молчаливым большинством, но, к сожалению, углубили отрицательное отношение к нам значительного числа журналистов. По мере того, как телевизионные компании все больше ужесточали ежевечернюю критику Вьетнамской войны и политики Никсона, мы, в свою очередь, потеряли способность к объективности и все больше видели себя жертвами заговора со стороны прессы. Такое отношение только усугубило уверенность журналистов, что мы задались целью уничтожить свободную прессу. Образовался замкнутый круг.

В самом начале 1971 года, после года тщательнейшей работы с людьми на местах, осуществленной советом Джона Эрлихмана по внутренней политике, президент объявил, под знаком "новой американской революции", о начале первой домашней инициативы никсоновской администрации. Распределение доходов, реформа благосостояния и реорганизация органов власти привлекли столько же внимания, сколько и бейсбольный матч команды-аутсайдера в конце сентября. Быстрый провал этой широко разрекламированной домашней инициативы еще раз подтвердил, что положение Никсона полностью зависит от успеха его внешней политики.

План переориентации мировой политики, задуманный Никсоном и его советником Генри Киссенджером вскоре после выборов, был одновременно честолобивым и дальновидным. Президент объявит в Гуаме в июле 1969 года, что Соединенные Штаты более не могут исполнять в мире роль полицейского, что они будут помогать другим странам, только если те захотят помочь себе сами. Значение речи было оценено и в Москве, и в Пекине; Вьетнамов больше не будет. Но в частных беседах Никсон также говорил, что намерен ока-

зывать на Советский Союз давление с целью добиться договора по разоружению и вообще разрядки. Забивая клин в коммунистический лагерь, воздействуя на Советы, соблазняя китайцев, он будет стараться создать в мире новое тройное равновесие сил, которое будет обладать достаточной устойчивостью. *Взаимосвязь* — вот ключевое слово его программы; все было взаимосвязано — договоры по ядерному оружию, напряженность на Ближнем Востоке, торговля и, разумеется, большая кровоточащая рана — Вьетнам.

Но воплотить то, что спланировано на бумаге, было делом совершенно иного порядка, и его удачное завершение будет, вероятно, названо, когда утихнут страсти нашей эпохи, одним из самых ловких дипломатических маневров. "Затягивание времени" для получения достойного мира по Вьетнаму было, как мне позже объяснял президент, кардинальным моментом на секретных переговорах с русскими и Китаем, Сами переговоры должны были вестись в строжайшем секрете. Утечка информации была страшнее хитрости наших противников. Все предприятие было настоящей проверкой нервов.

В мае 1971 года Кремль пошел на уступку в ключевом вопросе, державшем переговоры по стратегическому вооружению в подвешенном состоянии больше года. В середине мая Никсон получил частное послание от Брежнева, подводящее итог четырехмесячных секретных переговоров между Киссенджером и советским послом Анатолием Добрыниным. Обе стороны были теперь настроены всерьез. Договор по вооружению теперь мог быть заключен до конца года. На 20 мая были запланированы одновременные заявления в Вашингтоне и Москве. Содержание заявлений было вполне сдержанным, но сам факт того, что Соединенные Штаты и Советский Союз могли договориться о заявлениях, имел большую важность.

Чтобы отпраздновать это событие, накануне 20 мая президент пригласил Киссенджера, Эрлихмана, Хальдемана и меня на ужин на президентскую яхту "*Секвойя*". Прогулки по спокойным водам реки Потомак были одним из способов президента расслабиться, сбросить с себя тяжкий груз ответственности руководителя страны.

Я поехал вместе с президентом на морскую базу. В уютной атмосфере обитого мягким серым бархатом "Кадиллака" он говорил, не умолкая ни на минуту. Впереди нас ждало еще большее, через несколько месяцев — мир во Вьетнаме (Генри готовился сделать щедрое предложение на тайных переговорах в Париже), затем разрядка, новое понимание с Советами и Китаем, замечательные перспективы

для Америки. Сбывающиеся мечты и — для разнообразия — хорошие новости.

Двенадцать минут спустя мы въехали на территорию исторического Морского оружейного завода и двинулись по направлению к тщательно охраняемому причалу, где стояла величественная старая яхта. Матросы в накрахмаленном белом летнем обмундировании отдали честь. Никсон задержался на верху сходен, козырнул в ответ на приветствие капитана, затем повернулся лицом к корме и с подлинным чувством отдал честь флагу. Это не было показным жестом политика; Никсона видели только несколько матросов и ближайшие соратники. Но уважение к флагу жило в самой глубине этого человека. Позже вечером, ровно в 8.00, Никсон вывел нас на нос корабля, и мы с волнением следили за тем, как вдалеке спускают флаг на Верной Маунт. Колокол "Секвойи" прозвонил в ответ.

Вечер был спокойный, прозрачный; даже загрязненная коричневая вода Потомака весело журчала, обтекая вытянутый белый корпус президентской яхты. Мы сидели на верхней палубе; Никсон, Киссенджер и я пили виски с содовой, Эрлихман и Хальдеман потягивали лимонад. Я предложил тост за президента, затем за Киссенджера, который довольно улыбнулся. Настал момент, которым можно было по-настоящему наслаждаться.

Мысли о триумфе напомнили, однако, о критиках, которые так яростно нападали на президента. "Может быть теперь эти ... в Конгрессе оставят нас на какое-то время в покое, — предположил Никсон. — Ты думаешь, они сумеют оценить значение этого, Чак?" И прежде чем я мог ответить, он продолжил: "Нет, полагаю, что нет. Они видят только Вьетнам. Им никогда не понять, что поставлено на карту. Мир, настоящий мир, конец гонки вооружений — надежда для ваших детей и внуков".

Уже было намного больше семи, когда мы, наконец, спустились в обшитую красным деревом кают-компанию и уселись за длинный стол, накрытый жесткой скатертью, на которой поблескивало лучшее столовое серебро на флоте. Никсон заложил салфетку за воротник и занял место во главе стола. Я удивленно на него посмотрел. *Не все ли равно президенту, если он поставит пятно на галстук*, недоумевал я, покуда не понял, что это, как и честь флагу, было у Никсона в крови. Это была типичная черта выходца из среднего класса, привычка, оставшаяся после многих лет сидения за кухонным столом с Пэт и девочками.

За нежным нью-йоркским бифштексом и початком кукурузы президент обрисовал свои планы относительно Советов и разрядки. Это был блестящий рассказ, удивительно ясный, несмотря на обилие выпитого вина, холодный и тщательно взвешенный, блестяще переданный. Неожиданно он повернулся ко мне и подмигнул: "Как считаешь, Чак, удастся тебе заполучить сверхзвуковой лайнер для моего визита в Китай?"

Это был язвительный намек на мою неудачную попытку мобилизовать общественное мнение с целью оказать давление на Конгресс, не хотевший субсидировать разработку сверхзвукового пассажирского самолета. Но Киссенджер тут же запротестовал, боясь, что Никсон, потеряв бдительность, выдаст какие-то детали готовившейся поездки в Китай, все подробности которой были известны только Киссенджеру и Хальдеману. "Успокойся, Генри, успокойся, — прервал его президент. — Если либералы из твоей команды не перестанут выбалтывать все подряд *"Нью-Йорк Таймс"*, то мне вообще никуда не придется лететь. Утечки, утечки!.. Вот что мы должны остановить любой ценой. Ты меня слышишь, Генри?"

Киссенджер, не всегда хорошо понимавший, когда над ним подшучивали, бросился самоотверженно защищать своих работников. В утечках виноваты "утратившие лояльность бюрократы" Министерства иностранных дел. Хальдеман улыбнулся. Он и я, так же как и Никсон, хорошо знали, что часто Генри сам был главным источником утечек — не серьезных, конечно, не тех, которые угрожали бы безопасности, а таких, которые выставляли его перед прессой в выгодном свете, часто за счет Никсона.

Президент вернулся к разговору о своих оппонентах: "Чак, твоя задача — достаточно долго сдерживать этих сумасшедших на холме, чтобы дать Генри возможность завершить переговоры в Париже. Затем мы начнем настоящую игру с Китаем и Россией".

Одним из наиболее ненавистных Никсону "сумасшедших" был сенатор-первогодка Гарольд Хьюз. Этот дюжий мужчина, в прошлом водитель грузовика, человек, некогда признавшийся в своем алкоголизме, был настоящим глашатаем всех антипрезидентских сил в Сенате и претендентом на роль кандидата в президенты от демократической партии на следующих выборах. В марте он яростно нападал на Агню, назвав того "самым вредным человеком" в американской политике. Он был в первых рядах любой антивоенной демонстрации, застрельщик каждой поправки, направленной на прекращение вой-

ны. Седьмого апреля он был в числе шести демократических сенаторов, участвовавших в телевизионном разгроме внешней политики Никсона, а двумя неделями раньше — в речи, приуроченной к Дню закона, он обвинил администрацию Никсона в "репрессиях, подслушивании, слежке... и попытках правительства запугать средства массовой информации". Ничего не знавший о диктофонах "Sony", запрятанных по всему Белому дому и подслушивающих сетях ФБР, опутавших город, я отмел обвинения Хьюза, как параноический бред *амбициозного политика*.

Палец президента делал медленные круги по кромке бокала: "Когда-нибудь мы их прижмем — положим на обе лопатки. И тогда мы наступим на них большим каблуком, надавим и хорошенько разотрем — как ты считаешь, Чак?"

Затем он резко перевел взгляд на Киссенджера и произнес: "Генри знает, что я имею в виду: точно так же, как ты делаешь на переговорах, Генри, наступить им на горло и надавить — и никакой жалости".

Киссенджер улыбнулся и кивнул в знак согласия. Хальдеман не сказал ни слова, но весь вид его говорил, что он потирает руки в предвкушении. Я сказал от лица всех трех: "Вы правы, сэр, мы их прижмем" Один Эрлихман, неэмоциональный и часто подающий одинокий голос в пользу спокойного компромисса, запрокинул голову и посмотрел в потолок.

И, таким образом, в тот мягкий весенний вечер на "*Секвойе*" была объявлена священная война против всех, кто противился достижению наших благородных целей — мира и стабильности во всем мире. *Их* — тех, чье мнение не совпадало с *нашим*, — следовало смести с пути, и неважно, какими мотивами они руководствовались. Семена разрушения были теперь посеяны — и не в них, а в нас.



4

Президент идет на концерт

Нельзя сказать, что, работая советником президента, я занимался исключительно вопросами внутренней и внешней политики. Я помню вечер октября 1971 года, когда мы с Джорджем Шульцем, ответственным по бюджету, допоздна работали над подготовкой непростого соглашения с лидерами профсоюзов относительно контроля за зарплатой и ростом цен. К девяти часам вечера кабинет Шульца был беспорядочно завален всевозможными бумагами.

Президент только что завершил телевизионное выступление по вопросам экономики, которое мы посмотрели. Я ждал его звонка. Он всегда интересовался моим мнением, и быть начеку относительно этого или чего бы то ни было еще двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю входило в мои обязанности.

В самом начале десятого зазвонил телефон: "Ну, что ты об этом думаешь, Чак? Как тебе понравилась мысль об общественном сотрудничестве? Помнишь, ты так переживал насчет него". Мы начали беседовать. Примерно через четыре минуты президент спросил: "Где сегодня выступает Юджин Орманди?"

"Не знаю", — признался я, недоумевая, какое отношение дирижер филладельфийского филармонического оркестра может иметь к экономике.

Президент пояснил, что несколько дней назад Джули побывала в Центре Кеннеди на концерте Орманди и замечательно о нем отзыва-

лась. "Выясни, не выступает ли он по-прежнему в Кеннеди. Я, может, схожу", — заключил он.

Элементарно, подумал я. Но через оператора Белого дома я выяснил, что люди, в чьи обязанности входило выполнять подобную работу, уже ушли домой. Секретарша Шульца, Барбара Отис, стала просматривать газеты. Был указан репертуар двух других залов Центра Кеннеди — Оперного театра и Театра Эйзенхауэра, но ни слова о Концертном зале или Юджине Орманди.

Я начинал немного беспокоиться; прошло уже четыре или пять минут, и президент, должно быть, начинает нервничать. Видя мое бедственное положение, Шульц отставил выкладки многофункциональной программы, разложенные на его столе, и мы все троим — глава отдела управления и бюджета, его секретарша и советник президента по особым вопросам — стали рыться в газетах и развлекательных еженедельниках.

Операторы Белого дома, соединявшие нас с кем угодно, когда угодно и где угодно, теперь лихорадочно звонили по всем мыслимым и немыслимым телефонам Центра Кеннеди: за кулисы, в административный отдел, на полицейский и пожарный посты — и все безуспешно. (Потом мы выяснили, что Центр не отвечает на звонки после девяти вечера, когда закрываются кассы.)

С тех пор, как звонил президент прошло шесть минут. Как я и боялся, он перезвонил. Президент был очень вежлив:

— Просто хотел поинтересоваться, не выяснил ли ты что-нибудь относительно Центра Кеннеди?

— Пока нет, сэр. Мы по-прежнему пытаемся что-нибудь узнать.

Он издал что-то неопределенное, кашлянул и попросил перезвонить, когда я получу информацию.

У меня явно ничего не получалось в кабинете Шульца, и я решил вернуться в свой собственный. Моя изобретательная секретарша, Джоан Холл, наверняка сможет справиться с этой задачей. У Джоан возникла неплохая идея: через коммутатор Белого дома она позвонила Юджину Орманди домой в Филадельфию..

— М-р Орманди, с Вами говорит Белый дом.

— Неужели?

— Да, президент пытается выяснить, не выступаете ли Вы сегодня в Центре Кеннеди. (Длинная пауза).

— Нет. Я дома, читаю книгу.

— А-а. Понятно... Спасибо. Извините за беспокойство.

Джоан немного пристыженно положила трубку. Я часто впоследствии пытался представить, какие мысли в тот вечер мелькнули у м-ра Орманди относительно президента и того, как замечательно мы управляем страной.

Раньше, выполняя для президента особые задания, я всегда сохранял хладнокровие. И никогда раньше мне не поручали столь простого дела. Но в те несколько минут после второго звонка президента — было уже 9:25 — я запаниковал. Хорошо, Орманди не выступает в Центре Кеннеди, но что если президент захочет узнать, кто там *выступает!* Мне никогда не приходилось заниматься организацией его досуга или путешествий.

В эту минуту позвонила Патти. "Во сколько ты придешь домой?" — спросила она.

"Возьми газету и посмотри, какой сегодня концерт в Центре Кеннеди, — прокричал я в трубку. — Ни о чем меня не спрашивай, просто посмотри и перезвони мне. Я все объясню позже".

По-моему, она даже не ответила. Патти предположит самое худшее, я знал это. Она уже давно просила меня взять отпуск. Тем временем Джоан продолжала обзванивать комитет по общественным связям, газеты, военный отдел и все что угодно, пытаясь выяснить, кто сегодня выступает в Концертном зале. Запутавшийся, измученный, я решил послать сообщение президенту через Манолу, его слугу.

— Манола, это м-р Колсон.

— Да, сэр. Вы хотели бы поговорить с президентом?

— Нет, нет, нет. Он... э-э уже отдыхает?

— Нет, м-р Колсон. Ходит туда-сюда по комнате Линкольна. Кажется, он чем-то встревожен.

— Манола, передай ему, пожалуйста, следующее. Скажи ему, что м-р Орманди — да, да, О-Р-М-А-Н-Д-И — сегодня в Центре Кеннеди не выступает.

Я надеялся, что сообщение Манолы удовлетворит президента. В конце концов, было уже 9:30 вечера, слишком поздно, чтобы куда-то идти. Может быть, хотелось мне верить, он просто решит почитать хорошую книгу. Но моим надеждам не суждено было сбыться.

В 9:35 президент позвонил вновь, и на этот раз раздражение явно звучало в его голосе:

— Итак, Чак, тебе удалось выяснить, что Орманди не выступает сегодня в Центре Кеннеди, не правда ли?

— Да, сэр.

— Это замечательно, Чак, замечательно, — ответил он.

Наступило секундное молчание, а затем последовал вопрос, которого я так боялся: "Как ты считаешь, Чак, ты не мог бы выяснить, что там сегодня играют?"

Я объяснил ему, что ни в одной газете мы не смогли найти репертуара.

"А вы не подумали позвонить в Центр Кеннеди, или, быть может, мне это сделать?" — спросил президент, отчетливо выговаривая каждое слово.

Я сказал, что пытался дозвониться, но никто не отвечал, что буду продолжать попытки и обязательно ему перезвоню.

Он ответил: "Вот и хорошо. Давай". — И повесил трубку.

Теперь я сидел, ослабив галстук и обливаясь потом. Мой помощник, Дик Хауард, также обзванивал из своего офиса друзей в надежде получить от них помощь.

Затем Джоан жестом привлекла мое внимание. Она дозвонилась до старшей официантки ресторана "Ля Гранд Сен" в Центре Кеннеди. Девушка, Ракель Рамирес, оказалась испанкой и не очень хорошо говорила по-английски. Хочу ли я поговорить с ней? Конечно, хочу.

— Мисс Рамирес, меня зовут Чарльз Колсон — Колсон — КОЛСОН. Да, я советник президента по особым вопросам. Президента Соединенных Штатов, то есть — да, совершенно верно — м-ра Никсона.

Я распустил галстук еще немного.

— Вот в чем дело, мисс Рамирес: м-р президент хочет посетить сегодня вечером Концертный зал. Но нам никак не удастся узнать, что сегодня показывают. Не могли бы Вы оказать любезность и сходить в Концертный зал, узнать, что сегодня в программе?

Это абсолютно нелепо, думал я про себя. Она наверняка подумает, что я идиот, что все это какой-то розыгрыш.

"Президент хочет, чтобы я сходила в Концертный зал?" — недоверчиво переспросил тоненький голосок на том конце провода.

Очень осторожно, я стал объяснять все еще раз. "Я буду ждать Вашего возвращения, не вешая трубку", — закончил я в отчаянии.

"Ля Гранд Сен" находится на четвертом этаже огромного здания в дальней южной части. К счастью, это было пока что единственным положительным моментом за весь вечер — Концертный зал тоже находится в южной части здания. От начала Центра Кеннеди до конца добрых десять минут ходьбы.

По какой-то необъяснимой причине официантка мне поверила. Я ждал ее, казалось, целую вечность. Через несколько минут она возвратилась и стала объяснять на ломаном английском, что Концертный зал заполнен военными офицерами в парадной форме и что выступает военный оркестр. Я попросил ее еще об одной маленькой услуге: пойти за сцену, найти кого-нибудь похожего на администратора и сказать, что концерт, вероятно, захочет посетить президент и чтобы они сделали необходимые приготовления.

Получив эту информацию, Джоан позвонила в Пентагон и выяснила, что это был официальный вечер для высшего офицерского состава, плюс там выступали четыре военных оркестра. Вздыхнув с облегчением, я позвонил президенту в 9:53 и сказал, что это был концерт военной музыки, закрытое мероприятие, только по приглашениям.

— Это оркестры, которые часто выступают в Белом доме, сэр; я не думаю, что Вы что-то теряете. Они могут прийти и сыграть Вам, когда угодно.

— Прекрасно, — ответил он к моему ужасу. — Это как раз то, что мне хотелось сегодня послушать. Однако я не одет; если это формальное торжество, то мне придется переодеться.

— Вы действительно считаете, что Вам стоит туда идти... я хочу сказать. Вы, вероятно, устали?.. — предположил я робко. Мне следовало подумать наперед: спросить так — означало только окончательно укрепить его намерение.

— Через пять минут подай машину к Южному входу, Чак.

Какое-то время я не мог пошевелиться от ужаса. С чего мне начать, что я должен делать, чтобы президент мог поехать вечером развлечься? Нужно было предупредить секретную службу и что-то делать с этим сверхважным черным чемоданчиком, в котором находится красная кнопка. Доктора, пресса, радиосвязь. Для того чтобы президент мог перейти через улицу, необходима маленькая армия. Мне никогда не приходилось быть ответственным за передвижения президента.

К счастью, мой помощник полтора года служил охранником. Он позвонил в "W-16", секретную службу, расположенную в подвальном помещении Белого дома. Он позаботится о том, чтобы президент безопасно добрался до Центра Кеннеди, убеждал меня Дик, выталкивая из дверей кабинета: "Поезжайте в Концертный зал и предупредите там кого-нибудь о намерении президента".

Вылетев из дверей Белого дома, как ошпаренный, я запрыгнул в служебный лимузин, который вызвала Джоан. "Давай, давай, жми! Президент уже сейчас выйдет!" — заорал я водителю, забыв дать указания. Водитель посмотрел на меня сперва удивленно, потом с подозрением; на какое-то мгновение мне показалось, что он пытается принохаться к моему дыханию. Наконец, я сказал, куда ехать и мы пулей вылетели за ворота.

Пока мы мчались на скорости семьдесят миль в час по Вирджиния авеню к Центру Кеннеди, по внутреннему радио мне были слышны лихорадочные переговоры диспетчеров "W-16", созывающих обратно в Белый дом агентов, заказывающих президентский лимузин и сопровождающую машину секретной службы. Как я позже узнал, все агенты, за исключением двух, были уже дома.

На несколько мгновений я задумался о нелепости всего предприятия. За годы система всеобщей и беспрекословной преданности президентам значительно окрепла. Глава администрации генерала Эйзенхауэра, Шерман Адаме, отличавшийся упрямством и властью, держал небольшую предельно дисциплинированную команду работников в абсолютном подчинении. Эра "имперского" президентского правления достигла своего высшего расцвета при Джоне Ф. Кеннеди, который доверял только членам семьи. До сих пор рассказывают истории о невообразимых требованиях Линдона Джонсона к своим подчиненным, которых за малейшее прегрешение выкидывали вон и навсегда лишали допуска ко двору.

У меня не было возможности углубиться в эти материи, потому что внезапно в моей голове мелькнула мысль, от которой мне сделалось нехорошо: что если вечер в Концертном зале уже закончился? Я забыл спросить об этом. Отвратительное чувство появилось у меня в животе, когда я представил, как президент приезжает в Центр Кеннеди и застаёт там только расходящуюся толпу. Если не считать услужливой официантки из "Ля Гранд Сен", мы даже не смогли никого предупредить о том, что на концерт приедет президент. А ей кто поверит? Подумав, я пришел в еще большее отчаяние. С какой стати они должны ей верить? Я бы не поверил.

Когда мы подъехали к Южному входу, то я с облегчением отметил, что там стоит хотя бы один агент секретной службы с микрофоном в ухе. К делу подключились профессионалы! За кулисами толпой собрались рабочие сцены, я увидел одетого в красный мундир дирижера оркестра морских пехотинцев, еще кто-то высокий и статный

стоял в тени. Радостным голосом я сообщил дирижеру-пехотинцу: «Президент едет, чтобы послушать Ваш концерт».

Он побледнел и произнес: "Уже слишком поздно. Скажите, чтобы он отменил свой приезд. Сейчас все четыре оркестра играют вместе. Это последний номер. Через шесть минут программа закончится".

"Президент будет с минуты на минуту. Вам придется что-нибудь сыграть. Сыграйте еще раз последний номер", — сказал я убежденно.

Морские пехотинцы подчиняются приказам. Дирижер сделал глубокий вдох, посмотрел на меня и, все еще пепельно-бледный, отправился на сцену. Там он начал что-то шепатать на ухо армейскому дирижеру. Мне казалось, я смотрю немое кино.

Пехотинец яростно кивал головой вверх-вниз.

Армейский дирижер тяжело мотал головой из стороны в сторону.

Послышался еще шепот. Сцена повторилась вновь. Одна голова подпрыгивает вверх-вниз, другая мотается из стороны в сторону. *Эта история сейчас закончится рукопашной*, простонал я мысленно.

Неожиданно дирижеры снова стали шептаться. Затем армейский дирижер закивал головой, и я вздохнул с облегчением.

Во время этой пантомимы я то и дело поглядывал в продолговатый, изящно оформленный Концертный зал. Мужчины были в темно-синих парадных мундирах, украшенных золотыми галунами и блестящими пуговицами; на женщинах красовались длинные вечерние туалеты. На темном фоне зала сценические огни удивительно красиво переливались в блестящих галунах. Затем я подумал о недоумении, которое охватит этот переполненный зал, когда то же музыкальное попури раздастся во второй раз. Эта была первая позабавившая меня мысль за весь вечер.

Дирижер от морской пехоты находился теперь за кулисами вместе со своими коллегами из военно-морских и воздушных сил, разрабатывая дополнительные номера, которые позволили бы растянуть программу еще на полчаса. Только тогда я узнал высокого статного мужчину, стоявшего рядом. Это был Уильям Мак-Кормик Блеир, директор Центра Кеннеди, посол США в Бельгии во время правления Кеннеди, женившийся на родовой датчанке и принадлежащий к видным представителям вашингтонской элиты. Он, вместе со значительной частью вашингтонского истеблишмента, считал нас, людей Никсона, бескультурными людишками, вторгающимися в *его* Центр.

Я представился, в ответ на что Блеир раздул ноздри и сказал: "Это в высшей степени необычно, знаете ли". Я объяснил, что у президента есть в Центре своя ложа. Это *его* ложа, и у него есть право пользоваться ей, когда он сочтет нужным. В будущем следовало позаботиться о каком-то более подходящем способе взаимодействия, появившись у президента неожиданное желание посетить концерт.

"До сих пор у меня была весьма определенная договоренность с Белым домом, что президент будет сообщать о своем намерении посетить Центр за сутки", — ответил он сухо.

Я решил, что у меня нет времени препираться, к тому же я боялся, что в моем взвинченном состоянии могу совершить какое-нибудь насильственное действие — разобью, например, ему нос. Я действительно хотел это сделать, но лишь какое-то краткое мгновение.

Зная, что президент может появиться в любую секунду, я поспешил по коридору по направлению к пожарному выходу, ведущему в вестибюль. Я уже бежал, и не было никакого смысла переходить на шаг. Поэтому я со всего лету обрушился на ручку двустворчатой двери пожарного хода. Бах! Створки распахнулись. Буквально в двух шагах стоял застывший в изумлении президент, чей встревоженный охранник уже потянулся за пистолетом. Я чуть было не сшиб президента с ног!

"А, Чак!" — произнес президент.

Придя в себя, я заметил, что на президенте был красный смокинг с черными лацканами. Я хотел было сказать ему, что он забыл переодеться, но вовремя одумался. "Все в полном порядке, — сказал я задышающимся голосом. — Вы можете идти прямо в ложу".

"Где ложа?" — спросил охранник.

"Я Вас провожу", — сказал я, как ни в чем не бывало, совершенно не зная, где она находится, но надеясь, что каким-то образом мне удастся найти дорогу.

На полпути по длинному коридору, ведущему к входу в зал, президент повернулся и спросил: "Чак, ты сказал им, чтобы они сыграли ... сам знаешь что?" Он сделал в воздухе неопределенный жест рукой, не желая прямо сказать "Да здравствует Главный". В соответствии с регламентом, эту песню должны были играть, когда он входил в зал. Еще раз я поспешил за кулисы к своему новому хорошему знакомому, дирижеру-десантнику, радуясь, что теперь охраннику придется отыскивать вход в президентскую ложу.

Глава оркестра морских пехотинцев был не очень-то счастлив

меня видеть. "Следите за президентом. Когда он появится в ложе, сыграйте «Да здравствует Главный»", — выдохнул я.

Дирижер посмотрел на меня озадаченно. "Все четыре оркестра по-прежнему на сцене. Они никогда не играли "Да здравствует Главный" вместе, и честно говоря, я не знаю, как они смогут это сделать без репетиции".

Должно быть, было похоже, что со мной случится апоплексический удар, потому что он поднял руку и сказал: "Подождите минуту". Еще одно маленькое совещание. Еще одна немая сцена. Затем он вернулся. "Ее сыграет один оркестр морской пехоты", — сообщил он.

Я понесся обратно по длинному коридору к президентской ложе. К моему облегчению, перед дверью стоял охранник. Президент одиноко ждал в маленькой прихожей, находившейся между открытым входом из бельэтажа и собственно ложей. Это очень приятная, обитая красным бархатом комната с ванной, уборной и холодильником.

То, что я в ней увидел, навсегда запечатлено в моем сознании. Президент стоял лицом к стене, примерно в футе от нее. Он смотрел на красный бархат, с безвольно висящими вдоль тела руками, в совершенно обессиленной позе. Я никогда ничего подобного не видел. Я подумал, что он либо считает до десяти, либо без конца повторяет про себя: "Колсон должен быть уволен, Колсон должен быть уволен".

Я зашел в ложу, вывел из нее генерала Хейга, который пользовался ей в тот вечер, и широко — для дирижера-пехотинца — распахнув двери, пригласил президента. Оркестр морских пехотинцев грянул "Да здравствует Главный", и президент махнул рукой приветствующей его толпе.

Медленно я вернулся к ожидавшему меня лимузину. У меня подкашивались ноги. По пути домой я по радио передал секретной службе, что президент находится в ложе и что они должны делать все, что обычно делают, доставляя президента домой после концерта. Я также попросил передать ему в случае, если он захочет со мной связаться, что казалось мне очень маловероятным, что я у себя дома.

Уже дома, за второй стопкой виски, я подумал, что мне, наверное, следовало сообщить еще кому-нибудь, кроме секретной службы, что президент находится в Центре Кеннеди. Я позвонил в пресс-центр Рону Зиглеру и сухо сообщил новость.

"Президента там быть не может, — заявил он уверенно. — В противном случае, меня бы поставили в известность".

Когда я вкратце объяснил ситуацию, Зиглер зло выпалил: "Журналистский корпус будет очень огорчен тем, что никто ничего не сообщил".

Я повесил трубку, выдав достаточно крепкий эпитет, который, как мне казалось, был достойным завершением вечера

На следующий день Хальдеман вызвал меня к себе и устроил мне разнос за то, что я нарушил все инструкции "Знаешь, Чак, это уже не смешно Ты мог подвергнуть жизнь президента опасности Секретная служба не была готова Все это было предельно глупо с твоей стороны"

Я согласился, что это, конечно, было глупо, но спросил, что мне делать в следующий раз, если такое повторится в будущем

Хальдеман ответил "Просто скажи, что нельзя никуда ехать, вот и все. Он все время пытается куда-нибудь вырваться из своей клетки Но ты не имеешь права его выпускать". Пока я размышлял над этой неожиданной метафорой, обычно суровый Хальдеман смягчился "Президент хорошо развлекся, и все обошлось Я думаю, это самое главное"

Когда президент позвонил мне в следующий раз, к моему большому облегчению, это касалось войны во Вьетнаме, инфляции и переговоров с Россией.



5

Исполнитель грязной работы

Дорогой Чак!

Ты, разумеется, знаешь, как я горжусь всем, что ты делаешь. Если бы этот старый швед, мой отец, вдруг ожил, его бы, наверное просто переполнила гордость за успех своего внука. То, что с тобой произошло, могло случиться только в Америке.

Я отложил папино письмо и медленно повернулся в кресле, чтобы посмотреть на вид, открывавшийся из окна. Длинные тени декабряского вечера легли на аккуратно подстриженные кусты Южного газона. Из моего офиса, расположенного в Главном административном здании, мне было видно западное крыло Белого дома, на котором, блестя, полукругом выступали большие стекла Овального кабинета

Когда я только поступил на службу в Белый дом, один мой старый друг, отвечавший при Эйзенхауэре за расписание деловых встреч президента, дал мне мудрый совет. "Время от времени отрывайся от дел, наслаждайся красотой места и архитектурой зданий, дыши поглубже и проникайся духом истории. Это не даст тебе забыть, где ты находишься, и поможет видеть вещи в правильной перспективе".

Я прекрасно помнил, где нахожусь, но почему-то мне не доставало необходимой перспективы. Последние несколько месяцев прошли в лихорадочной работе. Не было времени ни о чем особо подумать, кроме забастовок работников почты, войны в Камбодже, студенческих демонстраций, напряженнейших баталий с Конгрессом по поводу кандидатур в Верховный Суд и выборов 1970 года в Конгресс. Я оказывался в гуще каждого из этих дел, выполняя для президента самую трудную часть работы. Мы сами были слишком заняты историческими делами, чтобы задумываться над историей, делавшейся в этих стенах другими: иногда мы были слишком заняты, чтобы вообще задумываться.

Я прекрасно представлял, какое впечатление произвел на отца мой кабинет, когда он побывал здесь на прошлой неделе. Кабинет был заново спланирован и отделан Правительственной ремонтной службой (ПРС). Цветовая гамма напоминала гамму Овального кабинета — ярко-желтые шторы, глубокий морского цвета ковер; белые стены были украшены большими картинами на исторические темы, взятыми из Национальной галереи изящных искусств. Это была огромная комната с высокими двадцатифутовыми потолками. Подчас вид такого количества неиспользованного пространства беспокоил мою бережливую пуританскую совесть. Двери ручной работы, высотой в десять футов, были сделаны из красного дерева и имели орнамент из золотых листьев с печатью того отдела, который первым занимал это помещение. На моих стояла печать в виде волны, символа Военно-Морского департамента.

Но самое главное, мой кабинет непосредственно примыкал к рабочему кабинету президента, будучи отделен от него только книжными полками, повешенными так, чтобы закрывать существовавший некогда проход между двумя комнатами. Теперь я видел президента почти каждый день, иногда по несколько раз в день. Новый офис был только частью того, что изменилось в моем положении с момента повышения по службе в конце первого года работы. Мне был передан большой штат из двадцати человек, и я посещал заседания Кабинета Министров, а также утренние совещания старших должностных лиц администрации вместе с Киссенджером, Хальдеманом, Эрлихманом — людьми, стоявшими во главе правительства. Довольно волнующее переживание для того, чей дед приехал в эту страну в качестве эмигранта.

Я сводил отца в Государственную гостиную на церемонию награ-

ждения президентом героев операции в Сонтее — отчаянной, но безуспешной попытки освободить пленных в тылу вьетнамцев. Отец был потрясен увиденным — президент стоял под огромным портретом Авраама Линкольна, военные оркестры играли маршевую музыку, величественная люстра переливалась в ярком свете телевизионных юпитеров.

На обратном пути я показывал отцу розарий, когда к нам подбежал Стив Булл. "М-р Колсон, — обратился он к моему отцу, — президент приглашает вас к себе".

М-р Никсон заметил идущего со мной седовласого человека и решил за нами послать. Нас провели в Овальный кабинет, где отец поведал президенту, что голосовал за всех республиканских кандидатов, начиная с Кулиджа, и по возрасту ему не хватило только одного месяца, чтобы проголосовать за Хардинга. Президент, прекрасно знавший историю, высказал несколько глубоких мыслей о Кулидже и затем рассказал отцу, как высоко он ценит советы его сына. Мне показалось, что отец не выдержит такого счастья. Вызвали штатного фотографа, и сделанная фотография, как уверял меня в своем письме отец, была теперь самой большой его драгоценностью.

Резким движением я взял письмо и сунул его в ящик. Я знал, в отличие от отца, что уж если президент и ценил меня так высоко, как сказал, то это потому, что подчас я был готов закрыть глаза на некие этические нормы, мог быть безжалостным в своем стремлении к цели. Этим я приобретал себе определенный статус и влияние, на что указывает и статья из "Ньюсуик"(от 6 сентября 1971):

...человек, быстро и неотступно говоривший что-то в левое ухо президенту, когда тот... направился к вертолетной площадке, — это Чарльз Колсон. Вашингтонские правители начали считаться с его именем, одно упоминание которого "наводит страх наподобие сильной грозы с молниями", по выражению жены одного из членов правительства.

Но то же самое стремление — выполнить указание президента любой ценой — заслужило мне и сомнительное прозвище "исполнителя грязной работы". В "Уолл Стрит Джорнал" 15 октября 1971 года появился такой заголовок: *"Исполнитель грязной работы Никсона. Назовите это как угодно, но Чак Колсон делает для президента всю неприглядную часть работы"*.

В середине статьи была приведена колкость человека, названного

бывшим штатным работником сенатора Сталтона: "Колсон, если потребуется, пройдет по головам своих родных". В тот момент мне это показалось забавным; но в будущем мне предстояло услышать еще много высказываний подобного рода.

В качестве "исполнителя" я часто требовался для того, чтобы расправляться с официальными лицами из правительства, которые выдавали засекреченную информацию прессе, в то время как велось так много секретных переговоров с Ханоем, Пекином и Москвой.

Ранним утром в понедельник 14 июня 1971 года, приехав в Белый дом на брифинг, я застал Киссенджера ходящим взад-вперед по кабинету в таком раздражении, какого я никогда у него не видел. "Это правительство не может вести никакой внешней политики, — начал он запальчиво. — Никакой, это факт. Мы с таким же успехом можем все выложить Советам и покончить с этим навсегда. Эти утечки медленно и верно нас убивают". Он ударил ладонью по старинному английскому столу в стиле чипендель, так что застучали карандаши и подпрыгнули чашки с кофе. "Убивают!" — прокричал он еще раз.

Я и раньше видел Киссенджера в гневе, но эти всплески темперамента быстро проходили, подобно летней грозе. Но в таком состоянии я его еще не заставлял. Он повернулся и яростно поглядел на Боба Хальдемана: "Я тебе говорю, Боб, президент должен действовать — сегодня же. В этом правительстве существует заговор".

Киссенджер имел в виду утечку сверхсекретных пентагоновских документов, первая порция которых была за день до того опубликована в *"Нью-Йорк Тайме"*. Я читал этот газетный материал, и мне он показался просто подборкой старых служебных записок, личных дел и телефонограмм, которая в первую очередь детально показывает, как приверженцы теории Джона Ф. Кеннеди о "новых границах" втянули нас во вьетнамскую войну. Но, слушая негодующего Генри, я осознал, что материал, переданный огласке, мог сорвать наши секретные переговоры.

"Джентльмены, я уверяю вас, что есть силы, которые работают на подрыв существующего правительства. Взгляните вот на это, — продолжил он (три листа бумаги заскользили по столу). — Телефонограммы из Австралии, Великобритании и Канады. В каждой — протест. Они не могут нам доверять. Да и с какой стати? Если уж наши союзники не могут нам доверять, как нам вести переговоры с врагами?"

Вечером того же дня я встретился с Эрлихманом, к которому продолжали поступать такие же тревожные сообщения из Министерства юстиции. Продолжение публикации могло серьезно поставить под вопрос неразглашение некоторых секретов, связанных с государственной безопасностью, и поставить под сомнение шифровальные возможности Соединенных Штатов, предупреждало Агентство Государственной безопасности. Существовала угроза раскрытия некоторых агентов ЦРУ. Отчеты о полетах "U-2" над территорией Китая содержались в некоторых "пока еще не опубликованных" документах. Пекин знал об этих полетах, но опубликование подобной информации поставит Китай в неловкое положение, и ему придется спасти свою репутацию отменой визита Никсона, находившегося тогда в самой тонкой стадии проработки.

То, что утром началось как знакомая вспышка гнева Киссенджера, к четырем-пяти часам вылилось в полномасштабный правительственный кризис. Тогда же было принято решение добиваться через суд запрещения дальнейших публикаций.

Во вторник судья федерального округа в Нью-Йорке запретил "*Нью-Йорк Таймс*" продолжать публикацию документов, но в четверг "*Вашингтон Пост*" возобновила публикацию с того места, до которого она была доведена "*Таймс*". Ее примеру последовали "*Бостон Глоуб*" и "*Лос-Анджелес Таймс*". Копии пентагоновских документов *ПОЯВЛЯЛИСЬ* теперь как грибы отовсюду, а одна из них, к нашему ужасу, попала в советскую миссию при ООН в Нью-Йорке. Через несколько дней советский посол Анатолий Добрынин, с красным лицом, сильно переживавший, чтобы что-нибудь непредвиденное не нарушило намечавшегося согласия между Никсоном и Брежневым, вернул официальные бумаги в офис Киссенджера. Почему бы и нет? Он их мог спокойно прочесть в "*Таймс*" и "*Пост*".

Затем копия *Меморандума по национальной безопасности №1*, совершенно секретный документ, определявший основы нашей стратегии во Вьетнаме, вдруг очутилась в руках сенатора. Мы опасались, что вот-вот произойдет массовая утечка информации, что все доселе напечатанное — это только начало кампании, затеянной против нас Диссидентами.

За всеми этими невзгодами стоял некий Даниэль Элсберг, загадочный молодой человек, работавший у Киссенджера в 1969 над составлением разработок по Вьетнаму. Бывший офицер морской пехо-

ты и откровенный мошенник, увлекавшийся, по собственному признанию, ЛСД, Элсберг в одночасье превратился в героя антивоенного движения. Пресса превозносила его как "решительного защитника права людей *на* информацию".

Из отчетов ФБР Генеральный Прокурор заключил, что Элсберг был частью коммунистической шпионской сети. Президент рассматривал поведение Элсберга не иначе как предательство. "Я хочу вывести его на чистую воду, Чак, — сказал мне Никсон. — Я хочу, чтобы все узнали о нем правду. Мне наплевать, как ты это сделаешь, но я хочу, чтобы ты это сделал. Мы расскажем стране о том, какого рода "герой" этот м-р Элсберг". Никсон взволнованно ходил взад и вперед у дверей розария, тыкал в воздух пальцем и повторял: "Ты понял меня? Это приказ".

"Да, сэр, все будет сделано", — ответил я. Меня не нужно было уговаривать. Насколько я понимал, Элсберг преграждал путь к мирному договору. Многие мои друзья были во Вьетнаме, например Билл Малоуни, уговоривший меня однажды поступить в морскую пехоту, а теперь ежедневно летавший вызволять пленных через линию фронта, подвергая себя смертельной опасности.

Наши попытки остановить публикацию документов потерпели, в конце концов, неудачу; к счастью, газеты воздерживались от напечатания самых откровенных документов, и другие люди не последовали примеру Элсберга, чего мы, надо сказать, боялись. Переговоры с Китаем и Советским Союзом продолжились. Но скандал, возникший на фоне экономического спада и, как казалось, бесконечной войны, стоил нам дорого. Опросы общественного мнения Гэллопа и Харриса показали самый низкий рейтинг президента за все время. Разоблачения Элсберга придали свежие силы антивоенному движению. Вновь были назначены слушания; и 22 июня Сенат 57 голосами "за" и 42 "против" впервые принял антивоенную поправку, в соответствии с которой в девятимесячный срок должен был произойти полный вывод войск. Через четыре дня в Париже вьетнамская сторона отвергла мирный договор, предложенный Киссенджером еще в мае, — это не просто совпадение, решили мы.

Элсберг был для меня не больше, чем фамилией, символом тех злых сил, что пытались помешать достижению наших мирных целей. Поэтому одним июльским утром я собрал своих подчиненных и дал им указание "раздеть" его в прессе. Слова Никсона все еще звенели у меня в ушах, и я с радостью сообщил любопытному газетчику всю

компрометирующую информацию об адвокате Эллсберга, почерпнутую из секретных досье ФБР. Позже я узнал, что ФБР передало эти сведения национальной службе новостей, которое дало им ход. Для ФБР это было вполне обычным использованием средств массовой информации, когда оно занималось каким-либо человеком.

Затем я пригласил к себе всех дружественно настроенных членов Конгресса и предложил провести полномасштабное, освещаемое прессой расследование по Эллсбергу, выяснить его мотивы и связи. Я даже не задумывался над тем, какое влияние подобное расследование окажет на суд, перед которым Эллсберг вскоре должен был предстать по обвинению в краже государственных бумаг.

Во время последнего совещания с Хальдеманом и мной Никсон впервые выказал признаки панического раздражения. Он вышел из себя, ударил изо всех сил кулаком по столу, и краска бросилась ему в лицо, когда, подавшись вперед в кресле, он сказал: "Мне плевать, как вы этого добьетесь. Мне нужно, чтобы утечки информации не было. Не надо передо мной оправдываться — используйте любые средства. Боб, есть у нас тот человек, который сможет с этим справиться? Мне нужны результаты. И быстро".

В тот момент я не придал особого значения вспышке президента. Ричард Никсон просто сорвался. Президенты тоже люди, и время от времени это с ними случается. Тем не менее, именно тогда президент перешел на качественно другие рельсы.

"Тот человек", о котором говорил Никсон, оказался бывшим агентом ЦРУ по имени Е. Говард Хант. Приятный, скромный, с хорошо подвешенным языком, Хант был идеальной кандидатурой. Он разбирался во внешней политике, но, что куда важнее, был подлинным, фанатично преданным консерватором. Я познакомился с ним, когда мы работали над ситуацией в студенческом городке университета Браунн.

Забавно, но фамилия Ханта стояла последней в списке из шести кандидатов, который я подал Хальдеману; прочие пять либо не могли заняться этим делом, либо не подходили для него. Хант прошел короткое формальное собеседование с Эрлихманом и был нанят на полставки за \$100 в день в качестве консультанта. Я и представить себе не мог, какую важную роль будет играть Хант, когда выделял ему крошечный квадратный кабинет в дальнем конце третьего этажа Главного административного здания. "Говард, Вы будете работать со всем, что касается пентагоновских бумаг. Проанализируйте те поли-

тические возможности, какие у нас остались после всех этих передеряг. Работайте с конгрессионными комиссиями, занимающимися утечками и этим сумасшедшим Эллсбергом", — закончил Эрлихман.

Мы с Хантом, одетым в спортивный, в меру мешковатый твидовый пиджак, сидели за моим столом из полированного красного дерева. В ответ на мои слова он понимающе закрывал и открывал глаза. *Какое облегчение*, подумал я, *что всеми этими делами займется профессионал.*

Мне следовало быть поосторожнее со шпионажем после первого задания Ханта — интервью с агентом ЦРУ, участвовавшим в подготовке вьетнамского переворота 1963 года, в результате которого США оказались втянутыми во Вьетнамскую войну. В одном из свободных кабинетов под кушеткой был установлен диктофон, и в пятницу днем работника ЦРУ пригласили туда на встречу. Хант предположил, что бутылка шотландского виски поможет тому почувствовать себя свободнее; как я позже узнал, это был стандартный прием разведывательной службы. За два часа двое мужчин выпили одну пятую лучших запасов Белого дома, в то время как я ждал результатов в своем кабинете.

Был уже седьмой час, когда появился осовелый Хант с распушенным галстуком и стал бормотать извинения. Он не сделал никаких письменных пометок, и пленки с записью также не было. Секретная служба установила микрофон в кушетке, на которую Хант по ошибке сел, раздавив чувствительную аппаратуру.

Через несколько дней Хант был приписан к специальной разведывательной группе под руководством Еджила Крога, молодого, очень серьезно настроенного помощника Джона Эрлихмана. К Ханту присоединился Г. Гордон Лидди, бывший агент ФБР с вороватым взглядом, такой же безоговорочно преданный, как и Хант. Группа, позже известная под названием "водопроводчики", получила большие полномочия по ликвидации утечки секретной государственной информации.

В конце лета группа Ханта-Лидди тайно обыскивала офис известного лос-анджелесского психоаналитика, пытаясь обнаружить какую-нибудь информацию, которую после можно было бы использовать против бывшего пациента — Даниэля Эллсберга. Отбросив всякие правила игры, было уже невозможно проконтролировать методы этих двух идеалистов от политики, чьи опрометчивые деяния вскоре породят соответствующие газетные заголовки.

Наше осадное мышление заставило нас перейти границы дозволенного, привело к появлению "списков врагов" и новому расцвету старой порочной системы поощрения друзей и наказания врагов. На фоне этих и других перегибов постепенно приобретал очертания, как джин, выходящий из бутылки, тот демон, который погубит тридцать седьмого президента Соединенных Штатов.

Тем временем, объявив о визите в Китай и прекратив на какой-то срок утечку информации, м-р Никсон обратил свое внимание на беды национальной экономики. Хотя в ближайшем будущем президент сменит на противоположное свое отношение к системе государственного контроля, которую он всю жизнь считал неприемлемой, в конце июля он по-прежнему пытался вызвать у людей веру в то, что экономический подъем буквально за углом.

Тем не менее, Артур Берне, старый друг и советник президента, а теперь председатель совета директоров престижного Федерального резерва, отказался подыгрывать. В Конгрессе перед совместной комиссией по экономике он засвидетельствовал, что упорное нежелание правительства бороться с повышением зарплат и цен было "тяжелым препятствием" на пути к долгожданному подъему экономики.

Пресса раструбила о критике Бернса в адрес Никсона, который на следующий день на рабочем совещании с несколькими из нас пожаловался: "Почему Артур не хочет нас немного поддержать? Нам нужно поднимать дух людей; уверенность — вот что нужно стране. Артур подчас бывает таким занудой!"

Один из присутствовавших членов администрации, противник политики Бернса, язвительно заметил: "А Вы знаете, м-р президент, о намерении Артура повысить зарплату председателя Федерального фонда до уровня работника Кабинета Министров?"

"Что Вы сказали? — переспросил удивленный Никсон, выпрямляясь в кресле. — Вы хотите сказать, что Артур проповедует государственный контроль за ценами и зарплатой, а сам хочет прибавки?"

Член администрации кивнул.

"Ну, как вам это нравится?" — спросил президент полусердито-полушутливо. Почему-то я почувствовал, что последует дальше, прежде, чем он обернулся ко мне: "Займись этим, Чак. Помести это в газеты".

М-р президент, вы шутите, подумал я. Уолл стрит и без того не хватало устойчивости; хотя бы на публике мы должны были высту-

пать единым фронтом. Стрелять по Бернсу через газеты было рискованно. Я взглянул на Хальдемана и поднял брови, спрашивая, записать ли мне просьбу президента или забыть о ней. Хальдеман утвердительно кивнул.

Позже член администрации добавил, что Бернс имел в виду прибавку к жалованью для своего преемника; сам он никоим образом от этого не выигрывал. Но было уже слишком поздно для таких незначительных подробностей. Желания "подрезать Артуру крылышки" было уже не остановить. Я дал указания одному своему работнику, и тот прилежно поведал журналисту из *"Уолл Стрит Джорнал"* о том, что Бернс, публично выступающий за ужесточение контроля за зарплатой, в частном порядке хочет повесить себе жалованье.

Как и случается с очень плохими идеями, последовал страшный скандал. Берне высказал Белому дому свое резкое недовольство лживым сообщением. Хальдеман пожимал плечами, уверяя бывшего профессора, что "никто здесь не смог бы такого сделать". Зиглер сообщил, что ему ничего не известно о разговорах между Никсоном и Бернсом насчет повышения жалования. Журнал *"Тайм"*, с подачи источника из Белого дома, сообщил, что во всем виноват злодей Колсон. Зиглер в неофициальном разговоре поведал газетчикам, что Колсон действовал по собственной инициативе. Тем временем, как и опасались, скандал начал оказывать отрицательное влияние на Уолл стрит и все финансовое сообщество. На своей следующей пресс-конференции президент Никсон превозносил "ответственную и истинно государственную" финансовую политику своего "очень хорошего друга, Артура Бернса".

Фиаско в деле Бернса дало толчок новой серии статей об исполнителе грязной работы — Колсоне, в которых припоминались все мои старые дела, в особенности резкая тактика кампании 1970 года, за которую я был ответственен. Поток статей породил много желающих взять у меня интервью. Я всем отказывал, наивно полагая, что молчание уменьшит интерес публики к моей персоне; на самом же деле, чем больше я сторонился прессы и избегал социальных контактов, тем вызывал большее любопытство. Невольно я превращался в загадочную, теневую фигуру и подогревал враждебное отношение журналистов ко мне.

В 1971 году мнения в Белом доме относительно политической стратегии разделились. Эрлихман, Митчелл, составитель речей Рэй

Прайс и другие считали необходимым делать ставку на традиционно республиканские сельские районы и либеральных, еще не отдавших никому своего предпочтения, избирателей. Группа оппонентов — составитель речей Пэт Бухан, Майк Бальзано, талантливый работник из моей команды и я отстаивали мнение, что необходимо получить поддержку Средней Америки, той, на которую опирался Уоллес. Мы чувствовали, что ветер социальных перемен, веявший над страной, склонял умы и сердца людей на нашу сторону.

В августе 1971 за ужином в Обществе Нью-Йоркских рыцарей Колумбии президент пообещал радостной, топающей в знак поддержки толпе государственную помощь приходским школам. Высказывания Никсона против либерализации абортотворения стали жестче; наступление на наркотики усилилось. Мы, как могли, эксплуатировали тему автобусной перевозки, позаимствовав ее у Джорджа Уоллеса, которому она принесла оглушительную победу на предварительных выборах в Мичигане и Флориде. Амнистия уклоняющимся от армии стала чем-то наподобие анафемы для нашего нового большинства. Медленно наш рейтинг стал подниматься.

"Законность и порядок" — лозунг, который Никсон впервые развернул в кампанию 1968 года, — был теперь настолько же в американском духе, как флажок в лацкане; напротив, "эра вседозволенности" воспринималась исключительно отрицательно. Наши демократические соперники, чья партийная машина перешла в руки реформаторов и либералов, были вынуждены уклончиво отзываться об автобусных перевозках, идти на компромисс по абортам, избегать темы амнистии и под нашим нажимом "смягчать" позицию по уголовникам и курильщикам марихуаны. В политическом отношении мы захватывали стратегическую высоту и, что еще важнее, верили в правоту своего дела с религиозным пылом.

Отчасти приверженность тем или иным взглядам объясняется политическим упрямством, которым, я подозреваю, страдает в той или иной степени любой консервативно мыслящий человек, взобравшийся на вершину власти. Но под этим были глубокие убеждения. Президент жаждал возрождения былых ценностей, того, на что беспокойная нация могла бы опереться, во что могла бы поверить. Летом 1970 года он заметил мне: "Если даже я ничего другого как президент не сделаю, то, по крайней мере, восстановлю уважение к американскому флагу". А осенью 1971 года, после долгой жаркой дискуссии о приходских школах со своими консультантами по внут-

ценней политике, Никсон поведал мне о тайном стремлении к "подлинным духовным ценностям".

"Знаешь, Чак, — признался он честно, — я мог бы быть римским католиком". Мы сидели в Овальном кабинете одни; время приближалось к семи; мы устали, президентский ужин остывал, но он, казалось, никуда не спешил. "Правда, мог бы. Только если бы я обратился, все сказали бы, что это некий политический маневр, попытка хитрого лиса привлечь на свою сторону голоса католиков. Но знаешь, — продолжал он тихо и задумчиво, — так прекрасно думать, что есть нечто по-настоящему надежное, что-то большое и значимое. Как мне иногда хочется, чтобы у всех нас было что-то постоянное. Вся эта работа с католическими школами, ты знаешь, это не политика. Я верю, верю..."

Осенью 1971 года политическая стратегия на предстоящих выборах 1972 года была твердо определена: курс на Среднюю Америку. Перед последним уик-эндом сентября мне домой позвонил президент: "Чак, возьми супругу, и давай на этот уик-энд съездим отдохнуть в Ки Бискейн".

Это не было указанием, скорее — личным приглашением, к тому же дружеским. Большую часть пути на "Номере Первом" я проделал вместе с президентом в его комфортабельном купе, где мы сидели напротив друг друга за маленьким раскладным столиком. Позже миссис Никсон, Джули, Патти, президент и я вместе сидели в переднем отделении вертолета, который перенес нас с военно-воздушной базы "Хоумстед" на вертолетную площадку в Ки Бискейн.

Наши две Патти болтали не хуже любых домохозяек, в то время как мы с президентом молча глядели на огни Майями, проплывавшие всего в нескольких сотнях футов под нами.

Слушая упорное гудение мощных двигателей, я не мог не вспомнить тот день на острове Виекес, когда я сделал невозможное и взобрался на скалу. Злоба и напряжение лета отошли в прошлое. Ричард Никсон обрел внутренний мир и уверенность в своем месте в истории. Наконец, мы контролировали события. И жест Никсона, внешне нейтральный, — совместная поездка двух семей — был сигналом путешествовавшим с нами работникам администрации и журналистам: я должен был возглавить политическую игру. В те минуты я ощущал вкус победы и даже казался себе неуязвимым для мелких нападков и всяких интриг внутри Белого дома. Подобного подъема мне больше не суждено было испытать.

К началу выборного 1972 года мы шли плечо к плечу с лидером демократов, долговязым сенатором от штата Мейн, Эдмундом Маски. Этот красноречивый, внешне весьма привлекательный католик завоевал большую поддержку в качестве демократического кандидата в вице-президенты на выборах 1968 года. С тех пор он активно выступал по большинству важных вопросов, стараясь оставаться в "центре" партии. Я работал с ним в конце пятидесятых, когда он был еще младшим сенатором, и знал его слабое место — вспыльчивость. Хорошо известно, что прекрасно начавшаяся выборная кампания Маски провалилась в последние дни первого тура в Нью-Гемпшире из-за несдержанной реакции на газетные нападки на его жену и публикацию знаменитого и, вероятно, подложного письма Канука, обвинявшего кандидата в этнической неприязни к канадским французам. (Одного из моих работников, Кеннета Клосопа, газета *"Вашингтон Пост"* обвинила в написании этого письма прямо в передовице. Если это было предвыборным ходом со стороны Белого дома, доказать этого так и не удалось. Я ничего об этом не знал, и уполномоченный прокурор по Уотергейту, после тщательнейшего расследования, очевидно, не нашел доказательств какой-либо связи между письмом и кампанией Никсона, поскольку обвинения так и не были выдвинуты.)

В принципе, смертельный удар был нанесен Маски в январе, будучи результатом старых добрых политических приемов, которым я научился еще на полях сражений в Массачусетсе. Двадцать пятого января Никсон, убежденный, что северные вьетнамцы не пойдут на мир по-хорошему, отказался от тайных парижских переговоров. В полчасовой телепередаче он раскрыл пораженной нации один из самых охраняемых секретов, заключающийся в том, что в течение тридцати месяцев Киссенджер совершал тайные поездки в Париж и делал мирные предложения куда щедрее, чем возвышенные пацифисты в Конгрессе. Никсон объявил о новом предложении и публично призвал Ханой принять его и положить войне конец. Президент восторжествовал, представ терпеливым страдальцем, выдержавшим, как подобает государственному мужу, все нападки незначительных людей.

Мы внимательно смотрели по сторонам в поисках какой-либо возможности максимально использовать такую перемену в общественном мнении, и Маски, обычно весьма осторожный, предоставил нам ее в полной мере. Он прервал свою предвыборную поездку и

прилетел в Вашингтон, где до поздней ночи вместе со своими помощниками трудился над речью, которую прочел на следующий день рано утром перед антивоенным собранием в местной церкви. В ней он яростно критиковал предложения Никсона и предлагал Ханю свой собственный мирный план, еще более щедрый, чем президентский. Джон Митчелл, по-прежнему исполнявший обязанности Генерального Прокурора, но готовившийся вступить в предвыборную гонку, прислал через Джеба Магрудера, молодого честолюбивого помощника Хальдемана, свои указания: не обращайтесь на Маски внимания, любая атака только укрепит его позиции. Мы с президентом считали иначе.

Я позвонил Биллу Роджерсу, министру иностранных дел, человеку благородному и дружелюбному: "Билл, нужно наказать Маски за саботаж мирных переговоров". Билл ответил, что существует утвержденное временем правило не вовлекать министров иностранных дел в политические междоусобицы; я возразил, что поступок Маски заходит слишком далеко. Министр иностранных дел, как это ни парадоксально, согласился.

На следующее утро Билл Роджерс без предупреждения отправился в пресс-центр Министерства иностранных дел. Потрясенное собрание степенных политических обозревателей в полном молчании выслушало заявление Роджерса, в котором он заклеил выступление Маски, как "наносящее вред национальным интересам". Потрясая в воздухе пальцем, он во всеуслышание обвинил Маски в подрыве нашей позиции на переговорах. Ответа со стороны северных вьетнамцев на предложения Никсона еще не последовало, и теперь они будут склонны ждать окончания выборов; в самом деле, если Маски станет президентом, они получат более выгодную сделку.

Несомненно, слышать подобные заявления из уст обычно сдержанного джентельмена было очень непривычно. Сообщения о резкой критике Роджерса в адрес Маски облетели все столицы мира. Реагируя на удар, Маски то оправдывался, то высказывался очень неуверенно, так что профессиональные политики начали сомневаться, достаточно ли у него внутренней силы быть президентом. Маски, должно быть, сам засомневался; его речи стали блеклыми и скучными.

Мне позвонил разгневанный Митчелл: "Я пойду к президенту, если ты не пообещаешь оставить Маски в покое. Обещаешь?"

"Конечно, Джон, — заверил я его. — Беспокоить его уже не понадобится".

И действительно, этот эпизод, более чем все грязные приемы вместе взятые, послужил стремительному смещению Маски с позиций лидирующего кандидата от демократов на пост президента.

Хотя этот инцидент и помог нам устранить главного соперника, он также укрепил вражду между людьми Колсона и людьми Митчелла. Магрудер, работавший теперь в предвыборном комитете, охранял свою территорию, как он позже писал, "из опасения, что ей завладеет Колсон". Я не допускал Митчелла и Магрудера к совещаниям в узком кругу. Подобный раскол станет в последующем причиной многих наших бед.

Поражение Маски сопровождалось визитом Никсона в Китай. Показанное по телевидению многомиллионной аудитории, это путешествие современного Марко Поло стало как политическим, так и дипломатическим "tour de force" — проявлением силы. Наши шансы быстро росли.

Затем было весеннее наступление северных вьетнамцев, угрожавшее не только Южно-вьетнамской армии, но и еще не выведенному шестидесятитысячному контингенту американских войск.

Учитывая наступление выборов, сложные переговоры с Пекином и конференцию в Москве, которая состоится через несколько недель, можно сказать, что президент встал перед самым тяжелым выбором за всю свою карьеру главы государства. Бездействие могло привести к падению Южного Вьетнама и унижению президента, который будет вынужден вести переговоры с Москвой с позиции полного бессилия. Ответить означало подвергнуть опасности срыва Московский договор, а может быть, и пойти на риск расширения войны. Президент принял жесткое решение: заминировать Ханойскую бухту и провести массированную бомбовую атаку по всей территории, вплоть до китайской границы.

Когда президенту сказали, что решение возмутит американский народ и, возможно, будет стоить выборов, до которых осталось всего пять месяцев, я увидел, как напряглись его желваки. "Ну и что! — выпалил он. — Это правильное решение. Если не сделать этого, то не стоит и оставаться на второй срок!"

Позже он признался: "Только Ал и Джон поняли меня. /Ал Хейг, в то время заместитель Киссенджера, а Джон Коннали — министр финансов./ Они единственные во всем правительстве, не считая тебя и Боба, кто поддержали решение". Затем он быстро добавил:

"Знаешь, Чак, кроме них нет людей, которые достойны занять это кресло после меня".*

Бесконечно устав от вьетнамской войны, с самого начала считая, что вся азиатская кампания была ужасной ошибкой, видя, как страдает моя предвыборная стратегия, я все равно восхищался тем, что президент принял решение, основанное на принципе. Мне кажется, это было одним из самых больших триумфов Никсона.

Критика посыпалась на нас отовсюду: из газет, с экранов телевидения, с Капитолийского холма, — но события последующих месяцев не только подтвердили правоту суждений Никсона, но и принесли нам немалый политический доход. Минирование и бомбовые удары остановили наступление северных вьетнамцев, московские переговоры состоялись, как и было намечено, а общество — наше "молчаливое большинство" — так сплотилось в поддержку президента, что позже политические обозреватели назвали вьетнамское решение поворотным пунктом выборов. Несомненно, что смелая и даже жесткая внешняя политика Никсона (вкуче с нашим осторожным обхождением) была значительным фактором в получении поддержки от десятков лидеров рабочего движения и профсоюзов, которые раньше никогда не поддерживали республиканского президента.

К концу мая, учитывая, что Джордж Уоллес, губернатор из Алабамы, получил пулевое ранение и не мог участвовать в гонке, что длинноволосые поклонники сенатора Джорджа Мак-Говерна лишили его обычных сторонников, а Никсон только что одержал свои главные международные победы, исход президентских выборов был практически предreshен. Этого не видели только в узком кругу Белого дома, так жива еще была память о тяжелых кампаниях 1960 и 1968 годов, когда ранние заделы оказались ненадежными и преимущество испарилось.

* Примечание редактора. 1 мая 1973 года, на следующий день после отставки Хальдемана, Чарльз Колсон подал президенту Никсону служебную записку, в которой рекомендовал в качестве главы администрации генерала Хейга. 4 мая 1973 года Хейг был назначен на место Хальдемана. Колсон также убеждал Джона Коннали перейти в Республиканскую партию, обещая ему поддержку Никсона на президентских выборах 1976 года. Коннали был обвинен прокурором по особым делам в июле 1974 года в предложении взятки во время молочного скандала и оправдан в марте 1975.

В начале июня, солнечным субботним утром, когда я намеревался окунуться в нашем домашнем бассейне, зазвонил телефон для связи с Белым домом. Звонил Джон Эрлихман. "Где сейчас твой друг Говард Хант?" — спросил он.

— Думаю, что работает в комитете по переизбранию.

Хант уже несколько месяцев не работал в Белом доме. "А в чем дело?" — спросил я Эрлихмана. Мне было любопытно. В тот день по радио я услышал маленькое сообщение об ограблении Народного комитета Демократической партии, расположенного в комплексе офисов и квартир, известного под названием Уотергейт. Мне было немного забавно думать о разочарованном выражении на лицах грабителей, обнаруживших пустой сейф. Все знали, что демократы "сидели на нуле".

Эрлихман продолжал настаивать: "Ты уверен, что он больше не работает на нас?" Вероятно, в его интонации было что-то особенное, потому что я сразу почувствовал, что внутри у меня словно похолодело.

"Ты слышал об ограблении штаба демократов? — поинтересовался Эрлихман. — Дело в том, что в кармане у одного из грабителей нашли какую-то вещь с именем Ханта. Я позвоню тебе, если узнаю что-нибудь еще".

Я отошел от телефона и сел на краю бассейна; в голове проносились мысли одна хуже другой. Одна из последних моих встреч с Говардом произошла несколько месяцев назад, может быть, в феврале, когда он зашел ко мне в кабинет с Гордоном Лидди. Они с Лидди разрабатывали разведывательный план и хотели получить одобрение Магрудера. *Но ведь это не могло касаться этого, просто не могло*, думал я. Конечно же, Хант был слишком умен, чтобы отважиться на подобную глупость. Несмотря на это, если Хант будет вовлечен в скандал, то пресса притянет к делу и меня, коль скоро я был его другом и покровителем.

На следующее утро в "*Вашингтон Пост*" появился крупный заголовок: "Пятеро задержаны по подозрению в попытке установить подслушивающие устройства в штаб-квартире демократов". Никакого упоминания о Ханте. Но к понедельнику весть о его причастности к случившемуся уже стала широко известна. Телефоны в моем кабинете не смолкали от звонков газетчиков. Советник Джон Дин упорно пытался выяснить, когда именно Хант оставил Белый дом; президент звонил из Ки Бискейн в негодовании от того, что кто-то, свя-

занный с выборной кампанией, оказался замешанным в нечто столь идиотическое. Новость привела Никсона в такое бешенство, что в Ки Бискейн он запустил в стену пепельницей.

Ко вторнику след привел от Ханта ко мне. На первой странице *"Стар"* появился огромный заголовок черными буквами: *"Помощник Колсона причастен к делу Баркера"*. Помощник Колсона — это, разумеется, Хант. Баркер — кубинец, руководитель налета.

Президент, вероятно, почувствовал, что вся ситуация меня чрезвычайно беспокоит, потому что в тот же день вызвал меня к себе в кабинет, чтобы ободрить: "Пусть это не беспокоит тебя, Чак. Они охотятся за мной, не за тобой".

Я сказал, что хочу дать клятвенное показание ФБР, и предложил, чтобы все работники Белого дома сделали то же самое.*

Я не мог допустить мысли, что кто-нибудь в Белом доме, а меньше всего человек, с которым я разговаривал, станет покрывать такие грубые методы. Не то чтобы я осуждал это с моральной точки зрения; просто взлом был слишком глупым средством по нашим стандартам.

Демократы громко кричали о происшедшем, пресса выжимала максимум из малейшего нового вещественного доказательства, делая акцент на том, что Хант работал со мной в одном кабинете и являлся моим лучшим другом. Ларри О'Брайен предъявил нам гражданское дело, заставив многих давать письменные показания под присягой адвокатам, нанятым демократами, каждое из которых подавало повод новым обсуждениям. Тем не менее, летом 1972 года Уотергейт был лишь неприятной запинкой. Предвыборное шпионство было похоже, по словам одного аналитика, на "попытку украсть у другой футбольной команды их секретные знаки прямо на поле".

Все остальное, впрочем, было в нашу пользу. Параллельно со славными победами в международной политике шла на подъем и экономика. Пораженный отказом АФТ/КПП (Американская Федерация Труда и Конгресс Производственных Профсоюзов) поддер-

* Прим. ред. В соответствии с подлинной стенограммой Белого дома от 20 июня 1972 года, Колсон обратился к президенту с такими словами: "Никто /в Белом доме/ к этому не причастен... Это именно тот случай, когда полезно взять клятвенные показания". Эта пленка была затребована прокурором по особым делам, но так и не была использована на Уотергейтском процессе. Стенограмма была предоставлена адвокатами, участвовавшими в деле.

жать, наш оппонент оказался в беспомощном положении, лишившись шанса играть на Вьетнамской карте из-за решительного майского удара Никсона. Смущенный выдвижением в вице-президенты и вынужденный менять коней на переправе, он был в явном затруднении. К сентябрю Мак-Говерн был занят тем, что без конца защищал свой наспех составленный план о 1.000-долларовом доходе для каждого американца от упорных атак членов Кабинета Министров, для которых я ежедневно назначал пресс-конференции. Никсон тем временем прочно удерживал президентский пьедестал. Мы не могли лишиться победы по причине одной единственной осечки, какой являлся Уотергейт.

Но проникновение в Уотергейт предоставило репортерам повод отправиться в газетные хранилища и вытащить на свет старые заметки про "исполнителя м-ра Никсона". Большинство новых статей были просто перепевом старых обвинений в политической нечистоплотности или касались моего заявления о том, что я задавлю собственную бабушку, если это потребуется для избрания Никсона. Я попытался отослать нескольких газетчиков к оригиналу в *"Уолл Стрит Джурнал"*. "Я никогда этого не говорил", — протестовал я, но подобное заявление было очень кстати, и меня никто не слушал.

На самом деле, в конце августа бабушка действительно стала чем-то вроде предвыборной темы. Вернувшись с Республиканской Конвенции, в пятницу утром я, к своему удивлению, обнаружил, что чуть ли не половина моих работников решила взять выходной день вдобавок к уик-энду. На стене в моем кабинете висел огромный плакат, на котором я показывал точное количество дней, оставшихся до выборов. Я взглянул на него — 71 день. Мы неплохо лидировали, но я был не из тех, кто воспринимал победу, как свершившийся факт. Как можно было брать дополнительный выходной, когда до выборов осталось так немного?

Чем больше я думал об этом, тем больше распалялся. Затем меня словно муха какая-то укусила. Я вызвал одну из моих младших секретарш, Холли Холм, умную, привлекательную девушку двадцати четырех лет, родом из маленького городка в Индиане. "Мы положим конец этому безобразию", — пробормотал я и затем продиктовал примерно такую резкую инструкцию: "Никому не покидать города без моего разрешения. Остался только 71 день, и каждый работник на счету. Спрашивайте себя каждое утро, что вы сегодня собираетесь сделать, чтобы помочь переизбрать президента. Предвыборная кам-

пания — это работа на семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Если я кого-то задел, извинюсь после выборов".

Сказав это, я решил немного подшутить над собой: "В последнее время в печати появилось обо мне много несправедливого — но сообщение ЮПИ* о том, что я сказал, что "задавлю собственную бабушку, если потребуется", в точности соответствует действительности".

Я почувствовал себя лучше и даже *смог* улыбнуться. Те, кто со мной работали, знали мою склонность иногда выражать мысль, пользуясь крепким языком. Но моя тихая молодая секретарша побледнела, ее рука, записывавшая мои слова, дрожала. Затем, набрав воздуха, она спросила: "М-р Колсон, Вы на самом деле хотите довести это до сведения всего персонала?"

"Конечно, Холли. Они поймут, что по большей части это шутка, но суть уяснят", — ответил я.

И суть действительно уяснили — почти во всем мире. Не прошло и суток, как копия распоряжения была кем-то передана в *"Вашингтон Пост"*, которая напечатала ужасную инструкцию целиком. Новость подхватили информационные агентства, распоряжение перепечатало множество газет по всей стране и даже парижская *"Гарольд Трибьюн"*. Оно удостоилось комментария в *"Севарейд"* и двух колонок в *"Арт Бухвальд"*.

Моя мама не оценила шутки, решив, что я оскорбляю память матери моего отца. Ко мне пошел поток писем от разгневанных бабушек, некоторые из которых грозили организовать демонстрации протеста. Даже несмотря на то, что обе мои бабушки умерли 25 лет назад (я был очень привязан к обеим), в течение предвыборной кампании состоялись две пресс-конференции "бабушек Чарльза Колсона", на которых они заявляли о своей поддержке Мак-Говерна. Одну из этих пресс-конференций собрала пожилая негритянка, которой удалось привлечь огромную толпу газетчиков прежде, чем шутка была раскрыта.

Неудивительно, что фурор, произведенный моим распоряжением, только усилил уверенность Никсона в моей преданности. "Колсон может все. Он всегда попадает в точку", — хвастался президент на мой счет.

* Юнайтед Пресс Интернешенел, информационное агентство. Прим. пер.

В нашем узком правительственном кругу мужественность и резкость были приравнены к доверию и преданности; это были ключи в долгожданное царство, гарантирующее долгую близость к трону.

Гордость стала отличительной чертой работников Никсона, потому что именно это качество он ценил больше всего. Неудивительно, что молодые честолюбцы вроде Магрудера или не *задающие вопросов*, на все готовые лейтенанты Хальдемана пытались доказать политическую верность Никсону и тем из нас, которые его окружали, дерзкими речами и бесшабашными действиями.

Вероятно, было откровенной глупостью надеяться ускользнуть от ответственности за проникновение в одно из самых охраняемых зданий в Вашингтоне, но дело было именно в гордости. Как я позже выяснил, то обстоятельство, знали ли мы — Колсон, Митчелл, Эрлихман, Хальдеман и даже Никсон — заранее об Уотергейте или нет, станет важным моментом в судебном разбирательстве, но в моральном отношении это не имело особого значения. Мы разбудили силы, которые рано или поздно неизбежно должны были привести к Уотергейту или чему-то похожему.



6

"Потухший вулкан"

В течение нескольких недель, последовавших за оглушительной победой на выборах и переизбранием, Ричард Никсон жил в уединении Кэмп Дэвида. Хальдеман и Эрлихман тоже перенесли туда свои офисы. На обдуваемой со всех сторон горе Катоктин они создавали планы на четыре года вперед.

В следующий понедельник после выборов я присоединился к ним в Аспене, в деревенском коттедже президента, расположенном между высоких сосен. За торжественным обедом президент еще раз поднял бокал своего лучшего вина за мою предвыборную стратегию, в то время как Хальдеман и Эрлихман сидели в полном молчании.

"Оставайся с нами на новый срок, Чак, — сердечно предложил президент. — Впереди новые задачи, много по-настоящему больших дел".

К видимому облегчению сидевших за столом коллег, я вновь отказался: "Я — один из тех "потухших вулканов", о которых Вы говорили, г-н президент". Ничто во мне не изменилось. Я, впрочем, согласился остаться еще на несколько месяцев, чтобы помочь набрать новую администрацию и также, что было важно для меня, избежать видимости, что я ухожу из-за Уотергейта.

Дик Говард, мой проницательный молодой помощник слышал разговоры мелких чиновников о том, что Эрлихман говорил друзьям, что призрак Уотергейта исчезнет, когда уйдет Колсон. Нетерпе-

ние, с которым Боб и Джон ожидали моего ухода, наталкивало на неприятное подозрение, что меня хотят сделать козлом отпущения. Судя по нападкам прессы, это было вполне реально.

Тем временем, Хальдеман и Эрлихман затеяли в Белом доме самую далеко идущую реорганизацию за всю историю, которая не только ускоряла процесс принятия решений правительством, но и концентрировала всю исполнительную власть в руках крошечного круга из шести главных помощников президента. Эти двое контролировали доступ к президенту, определяя, каких министров следует снять, кого назначить на интервью к Никсону в качестве замены, и оберегая его от "ненужных" посетителей — требовательных сенаторов или членов администрации с противоположными взглядами.

Никсона видели редко; представители прессы, работавшие по-сменно в трейлерном лагере на горе Катокин, стали жаловаться. Любимой, хотя и немного грустной, шуткой в почти пустовавшем Белом доме была такая: всенародно избранного президента похитили.

Во время своего путешествия на вершину горы в ноябре я действительно почувствовал, что для восстановления душевных сил мне требуется нечто большее, чем просто отдых. Со мной на одном из президентских вертолетов, направлявшемся в Кэмп Дэвид, был Питер Бреннан, руководитель профсоюза нью-йоркских строителей, которого я порекомендовал в качестве нового министра труда. Сперва мы летели вверх по Потوماку на запад, потом, оказавшись за пределами Вашингтона, направились на север, к горам. Пилот, бывший морской пехотинец, предельно долго вел машину низко, чтобы избежать вибрации от встречного ветра. Казалось, мы летим прямо на горный склон, пока, наконец, пилот не взял круто вверх. Мы взобрались по склону наподобие фуникулера, затем перевалили через вершину и тихо приземлились на поляне, вырубленной в густом лесу.

Вооруженные морские пехотинцы в масках как всегда стояли по краям посадочной площадки. Флотский офицер открыл дверцу через секунду после того, как колеса коснулись земли, отдал честь, поприветствовал Бреннана и быстро провел нас к лимузину, который помчал нас по лесной дороге, мимо военных расположений к Домикам для гостей.

Офицер сказал нам подождать приезда Хальдемана. "Пожалуйста, без сопровождения не покидайте пределов дома", — вежливо Пояснил он Бреннану. В уютной гостиной весело потрескивал огонь, было тепло. Бреннан был впечатлен не только очевидной комфорта-

бельностью Кэмп Дэвида, но и военной слаженностью его порядков. "Да, это что-то", — пробормотал он, посмотрев из окон на другие домики, разбросанные в лесу.

"Да, это точно что-то, Пит, что-то из 1984 года", — отозвался я. Мы с Бреннаном стали неплохими друзьями еще в те непростые дни весной 1970, когда он со своими плотниками и строителями пронес американский флаг по улицам Нью-Йорка, а позже по коридорам Белого дома в Овальный кабинет.

"Это место не для меня, — признался я. — Мне кажется, что за мной следят, что охранники повсюду, даже за деревьями. Мне это напоминает какую-то секретную базу из фильма про Джеймса Бонда — жуть! Страшно хочу поскорей вернуться в город".

Бреннан смотрел на меня в недоумении: "Чак, тебе надо отдохнуть. Тебе что-то не дает покоя".

Мне совершенно точно что-то не давало покоя. Но что же мне здесь не нравилось? Флотские офицеры брали на караул каждый раз, когда я открывал дверь, апартаменты поражали богатством, пейзаж — красотой; изысканная еда, возможность заказать все, что заблагорассудится... Но единственное, что мне хотелось заказать, несмотря на традиционные увещания Никсона остаться на ночь, был вертолет до дома. Пит был прав; что-то было не в порядке, но теперь я начинал задумываться над тем, что мне делать, чтобы исправить положение. По всем понятиям, это было самое лучшее время в моей жизни; как бы то ни было, внутри я чувствовал себя опустошенным.

К нам присоединился Хальдеман, и мы прошлись до Аспена, где непринужденно провели час в компании Никсона. Как только Пит согласился на пост министра труда, я заказал вертолет в Вашингтон.

Новый вьетнамский кризис, разразившийся в декабре, заставил нас забыть об Уотергейте и втором сроке. 24 ноября сияющий от счастья Генри Киссенджер возвратился из Парижа с практически подписанным мирным соглашением. Окончание войны, считал Генри, будет означать победу на выборах. Но президент был убежден, что не следует делать никаких заявлений до выборов, чтобы пресса не заклеила это как очередной политический маневр.

"Я всего лишь дал самую общую информацию Максу Френкелю", — сразу сказал Киссенджер президенту на следующий день, имея в виду своего друга в *"Нью-Йорк Тайме"*.

В кабинете Никсона сидели только мы трое. Я посмотрел на Ник-

сона, когда Генри сказал о газете. Никсон не взорвался, чего опасался я, но было видно, что он едва сдерживается. Он говорил сквозь сжатые зубы, сверля Генри взглядом. Тот, казалось, ничего не замечал.

На следующее утро по парижскому времени, посреди ночи для нас, Северный Вьетнам объявил о соглашении. Было ли то результатом настоятельных изысканий парижского отдела *"Таймс "* или осознанной политикой Ле Дюк То, направленной на то, чтобы усложнить нам жизнь перед самыми выборами, но вред был нанесен, и на следующее утро, после хаотичного совещания с президентом, Хальдеманом и мной, Киссенджер вошел в пресс-центр, чтобы дать, как это представлял себе Никсон, сдержанное объяснение. Но в ходе длинного монолога прозвучала маленькая фраза о том, что "мирное соглашение не за горами", которая, как нетрудно себе представить, сразу облетела весь мир. Несколько дней мы переживали, что это слишком оптимистическое заявление ударит по нам рикошетом. Никсон в своем телевизионном выступлении смягчил тон слов Киссэнджера. К нашей неожиданной радости никто не воспринял соглашение как политический трюк накануне выборов; даже наши критики понимали, что у нас нет необходимости предпринимать какие-то отчаянные попытки, чтобы спасти выборы, по которым мы уже лидировали на 25 процентов.

После ноябрьских выборов соглашение стало терять реальные очертания. Ханой колебался в отношении ключевых вопросов. Президент Южного Вьетнама Тие требовал больших гарантий. Когда в декабре Киссенджер вернулся в Париж в надежде заключить договор, он встретил холодный отказ. На следующий день он отправил в Вашингтон разгневанное послание, в котором рекомендовал прекратить переговоры, возобновить массовые бомбовые удары и предлагал Никсону выступить по телевидению перед американским народом с объяснением причин такого решения.

Президент вызвал меня к себе, чтобы я ознакомился с телефонограммой. "Ну, что скажешь?" — спросил он.

Пока я внимательно изучал все три страницы документа, Никсон нетерпеливо постукивал пальцами по столу. "Я бы посоветовал Генри продолжать переговоры; они просто хотят нас проверить", — сказал я наконец.

"Да нет же, — прервал меня Никсон, очевидно незаинтересованный в моих внешнеполитических суждениях. — Что ты скажешь о выступлении по телевидению?"

"Я бы не советовал этого делать. Создастся впечатление, что октябрьское заявление было рекламным трюком. Страна не поверит новому заявлению", — ответил я.

Хальдеман вскоре присоединился к нам и поддержал мое мнение. Немного спустя, тем же утром, Никсон отправил Киссенджеру телефонограмму: "Переговоры следует продолжить".

Киссенджер вернулся за стол переговоров, но делегация Северного Вьетнама была непреклонна, и 13 декабря Генри прервал переговоры и вернулся в Вашингтон. На следующий день Никсон отправил северным вьетнамцам ультиматум: возврат в течение семидесяти двух часов к переговорам или... Он не блефовал. Когда срок ультиматума истек, один за другим "Б-52" обрушили сотни тонн смертоносного груза на цели в Северном Вьетнаме. Никсон не стал делать никакого публичного заявления из опасения осложнить переговорный процесс и нежелания усугублять положение Ханоя.

Реакцию общественности было нетрудно предугадать — шок и возмущение, за которыми последовал поток резкой печатной критики в адрес Ричарда Никсона. Друзья Киссэнджера в вашингтонской прессе просто не могли поверить, что Генри причастен к тому, что газета *"Вашингтон Пост"* назвала "одним из самых жестоких и бессмысленных ударов, какие одна суверенная нация наносила другой".

Реакция Конгресса, у которого, к счастью для нас, был перерыв в сессиях, оказалась самой ядовитой. В обеих палатах стали раздаваться голоса в пользу резолюции о прекращении финансирования боевых действий в Юго-Восточной Азии. Мы приняли угрозы Конгресса всерьез; мы знали, что время работает против нас: если Северный Вьетнам не прекратит сопротивление и не вернется за стол переговоров к январю, когда соберется новая сессия Конгресса, то нас ожидают серьезные неприятности.

По мере того, как натиск критиков на президента усиливался, он спал все меньше и меньше. Физически он был истощен еще до кризиса. После выборов он отдыхал только один уик-энд; теперь я видел, как он стареет просто на глазах. На много дней его речь потеряла свой блеск, что было признаком полнейшей усталости, которой я очень опасался. Президент никогда себя особенно не жалел, но, за исключением чрезвычайно тяжелых моментов, его речь всегда оставалась ясной, голос крепким. Когда его слова становились расплывчатыми, как это бывало до того два или три раза, я знал, что президент перенапрягается даже с учетом его поразительной вынос-

ливости. Он либо почти, либо совсем не уделял внимания другим вопросам, таким, как назначение новой администрации, что должно было очень отрицательно сказаться в предстоящие месяцы.

Хальдеман и Киссенджер отдыхали в Калифорнии, и мы с президентом несли вахту вдвоем. Я знал истории о Линдоне Джонсоне, который вставал посреди ночи, надевал халат и шлепанцы и шел в Сводку — в штаб Совета Национальной Безопасности, расположенный в подвале Белого дома, — чтобы прочесть последние сообщения из Вьетнама. Джонсон был настолько поглощен ситуацией на полях сражений, что, как потом рассказывали его приближенные, все хуже разбирался в других вопросах и старел на глазах. Ричард Никсон извлек урок из ошибки Джонсона и, насколько я знаю, ни разу не заходил в Сводку. Но я понимаю, что происходило с Джонсоном, потому что то же самое ненадолго стало происходить с Никсоном в конце декабря. Как ни старался президент держать себя в руках, он не мог избежать лихорадочного ожидания каждого нового сообщения от военного руководства Сайгона — сколько сбито бомбардировщиков, сколько человек убито и взято в плен; Ханой все это время упрямо молчал. Напряжение значительно ослабляло Никсона и физически, и душевно. Он сильно хромал из-за ноги, которую расшиб о край бассейна в Кэмп Дэвиде; но, как он никогда не признавался, что страдает сенной лихорадкой, так и в этом случае Никсон запретил врачам лечить свой ушиб.

В 4:30 пополудни 28 декабря президент вызвал меня в свой рабочий кабинет, где встретил улыбкой, какую обычно припасал для массовых телевизионных аудиторий. "Присаживайся, Чак, — сказал он. — У меня есть для тебя новость, но никто больше в этом здании не должен о ней знать. Утечки быть не должно. Северный Вьетнам согласился вернуться за стол переговоров на наших условиях. Они больше не в силах выдерживать наши бомбовые удары. Воздушные силы действительно сделали свое дело". Пока он говорил, улыбка не сходила с его лица, а в голосе слышалась мальчишеская радость.

Бомбовые атаки должны были прекратиться на следующий День — в пятницу. В субботу должен был выступить заместитель министра информации с очень сдержанным заявлением о том, что воздушные удары прекращены и переговоры возобновятся на следующей неделе. Данные мне Никсоном указания были конкретны: мы не должны торжествовать по поводу победы, так как это может дать Ханую повод пойти на попятный.

На Южном газоне уже ждал вертолет, который должен был отвезти президента в Кэмп Дэвид для встречи Нового года; его отсутствие помогло бы нам сдержанно подать нашу большую новость. Генри хотел вернуться и присутствовать при объявлении о договоренности, но Никсон настоял, чтобы он этого не делал, из опасения, что его приезд сделает истинное значение договора более явным. Генри лучше было оставаться в Палм Спринте, где до него не могла добраться пресса. Президент не хотел повторения октябрьской неудачи.

"Проводи меня до вертолета, Чак", — предложил он, поднимаясь из кресла. Я помог президенту надеть пальто, и мы быстрым шагом пошли к Южному газону, где к нам присоединилась миссис Никсон, одетая в слаксы и бежевую спортивную куртку. Я впервые видел ее одетой просто и повседневно, что делало ее похожей на обычную домохозяйку, отправляющуюся за город на выходные. Никсон повторил свои указания насчет субботнего заявления, затем взял Пэт за руку и направился к вертолету. Неожиданно она повернулась, подошла ко мне и, не говоря ни слова, крепко обняла. Она знала, что страданиям мужа пришел конец.

Президентский вертолет медленно поднялся в воздух, резко взял вправо и полетел вверх по реке. Несколько минут я стоял один, дыша холодным, сухим зимним воздухом. Мне очень хотелось поделиться узнанной новостью с кем-нибудь, может быть, с охранником, стоявшим в дверях, или Джоном Скали, работавшим у меня, но никогда не бывшим частью этой долгой истории, но я знал, что не могу поделиться в эту минуту ни с кем.

Субботнее заявление Уоррена было сухим, а появившиеся в газетах отчеты — сдержанными. Днем и вечером того дня мы с президентом несколько раз разговаривали по телефону. Он по-настоящему воспрял духом. Мы оба — и президент, и я — поговорили с Киссенджером, который заверил нас, что ни с кем из прессы общаться не будет.

Утром в воскресенье я встал рано, с нетерпением ожидая прочесть комментарии газет о вчерашнем заявлении. Еще до девяти стали раздаваться звонки. Первый был от Скали, который сам долгое время работал журналистом. "Ты читал статью Рестона? — проревев он. — Это катастрофа. Она может сорвать переговоры еще до их начала".

Я быстро открыл страничку редактора. Все, что писал Джеймс

рестон, главная знаменитость *"Нью-Йорк Таймс"*, бралось на веру и подхватывалось всеми остальными. Рестон изобразил дело так: Киссенджер возражает против бомбовых ударов и уже готов подписать договор от 26 октября, а президент капризно настаивает на необходимости бомбить Ханой с тем, чтобы добиться более выгодных условий. Была ли это попытка друзей Киссенджера спасти его репутацию "хорошего человека"? Опасность заключалась в том, что Ханой могло истолковать ситуацию и, думая, что между Никсоном и Киссенджером есть какой-то раскол, настаивать на своих ноябрьских условиях.

Первую ошибку в тот день я допустил, когда прочел статью Никсону, когда он позвонил мне полчаса спустя. Он вышел из себя и сказал, чтобы я срочно звонил Киссенджеру. (В Калифорнии было 6:30 утра.) "Я не потерплю неподчинения", — рявкнул он и бросил трубку. Генри, когда я позвонил ему, пообещал не разговаривать ни с кем из представителей прессы. Я передал его заверения Никсону.

Обычно Никсон отходил очень быстро, но не в тот день. К вечеру его гнев еще не разошелся, и он был настолько мрачен, что, как рассказывал Манола, даже не смог смотреть матч чемпионата страны по американскому футболу с участием Редскинз. Во время последнего разговора со мной в тот день он сказал, чтобы я дал указание секретной службе записывать все телефонные переговоры ведущиеся на тщательно охраняемой вилле Киссенджера в Палм Спрингс.

Я выполнил этот приказ, и это была моя вторая ошибка. Секретная служба установила, а я передал, что после безуспешных попыток дозвониться президенту Киссенджер еще раз позвонил своему старому другу Джо Крафту, чья статья в *"Вашингтон Пост"*, появившаяся тремя днями позже, описывала отношение Киссенджера к "двенадцати дням кровавой бомбежки" как явно неоднозначное. Крафт обвинял Никсона в компрометировании Киссенджера и считал, что если только Никсон не предложит Киссенджеру пост министра иностранных дел, тому следует уйти. (Два года спустя Крафт скажет, что он был введен в заблуждение Киссенджером.) То, чего мы боялись, произошло. Теперь Вашингтон был наводнен слухами и историями о некой размолвке между Никсоном и Киссенджером. Большинство считало, что это разногласие возникло из-за вопроса о нанесении

бомбовых ударов. Но это было не так. Дело было в тех поспешных статьях, в которых Генри или его друзья пытались отмежевать его от непопулярных мер. Как бы то ни было, а ущерб был налицо.

Недовольство президента не исчезло, он считал дни до того момента, когда Генри вернется в Гарвард. Как-то ноябрьским вечером в Кэмп Дэвиде он признался мне — после того, как Генри дал итальянскому журналисту какое-то особенно эгоцентричное интервью: "Месяцев через шесть-восемь Киссенджер уйдет; человеку вредно так долго находиться на этой работе; так будет лучше для Генри. Настало ему время вернуться к другим занятиям". Тогда, в ноябре, я подумал, что Никсон просто сердился из-за интервью и скоро об этом забудет; в январе я так уже не думал.

В результате "последней штыковой" вьетнамцам удалось отравить отношения между двумя незаурядными людьми, сотрудничество которых привело к одним из самых ярких достижений американской внешней политики за многие десятилетия. По иронии судьбы потребуются Уотергейтский скандал для того, чтобы они вновь объединились: в том обстоятельстве, что Киссенджер пользуется прекрасной репутацией у крафтов и рестонов, Никсон увидит свой последний шанс. Уотергейт упрочит позиции помощника Никсона; в сентябре того года, вместо того чтобы отправить Генри обратно в академию, Никсон сделает его министром иностранных дел в точности, как того требовал Крафт.

И вот эта маленькая кучка усталых, обессиленных, зачастую злых и мелочных людей, завидующих и досаждающих друг другу, открыла второй срок правления тридцать седьмого президента Соединенных Штатов. Инаугурационные торжества были достаточно пышными, даже по меркам Никсона и Хальдемана. Более того, президент максимально наслаждался праздничным вечером, протанцевав за полночь на одном из многолюдных балов и вызвав меня к себе в два часа ночи для того, чтобы прочесть последние изменения, внесенные им в свое инаугурационное обращение.

Только тремя днями позже прозвучало окончательное заявление о том, что "почетный мир" — фраза, заимствованная у двух любимых деятелей Никсона Дизраели и Вудроу Вильсона, — наконец, подписан. Этого момента Никсон ждал с еще большим нетерпением, чем собственного переизбрания. В тот день мы вместе обедали в личном кабинете Никсона, во время которого выпили по "Дюбоннэ" со льдом перед традиционным десертом из ананаса и творога. Почему бы и нет? Речь предстояло произнести только вечером, а ее строки он обдумывал в течение долгих четырех лет. "Это был нелегкий путь, Чак, но мы его одолели", — сказал Никсон, но без того чувства,

которого я ожидал. Приглушенным голосом он вспоминал об одном тяжелейшем испытании за другим, раз посмотрев задумчиво в свой стакан, словно ожидая увидеть в отражении подтверждение того, что игра стоила свеч.

Его голос стал еще глуше, когда он добавил: "Как же было не просто. Кто знает, сколько продлится этот мир — год, может, два. Но мы сдержали слово и вернем наших пленных домой, а южные вьетнамцы... По крайней мере, эти бедняги получат хоть какой-то шанс побороться дальше".

То были искренние и спокойные мысли фаталиста, который прекрасно понимал, как мало было достигнуто и что достигнутое далось ценой больших страданий, потом и кровью. Это не будет похоже на День Победы; не будет развевающихся флагов, ни красочных парадов в честь вернувшихся героев. Конечно, побывавшим в плену окажут самый теплый прием, но за этим последует вздох облегчения 200 миллионов американцев, которые постараются как можно быстрее стереть из памяти ужасные события последнего десятилетия.

На лице Никсона появились длинные морщины, под глазами закрепились тени, ставшие гуще после декабрьских событий. Непрерывное напряжение президентской работы оставило свои страшные следы и на этом чрезвычайно крепком человеке. Раньше меня всегда поражала его жизненная сила, способность закаляться, становиться еще сильнее в испытаниях. Но не теперь. На этот раз он устал и не мог этого скрыть. Это было видно по его лицу, по печальным ноткам в голосе и новым островкам седых волос, блестящим в лучах полуденного солнца, лившегося через окна старого викторианского здания. Я тогда подумал, что худшие испытания были у него позади.

Никсон продолжил задумчиво: "Когда-нибудь люди поймут, почему для нас так важно поступить именно таким образом. Кто-то, занимающий это кресло, обязательно поймет". Сказав это, Никсон встал, подошел к мягкой кушетке, ослабил галстук и прилег: "Чак, попроси Манола закрыть шторы. Мне необходимо немного поспать. Перед сегодняшним вечером. Очень важным вечером".

"Отдыхайте, г-н президент. Вы заслужили это", — произнес я и вышел.

История, конечно, покажет, что смелая позиция президента в декабре 1972 и последовавший затем мирный договор были лишь еще одной страницей в коварном и неослабевавшем в течение тридцати лет стремлении Северного Вьетнама покорить Южный Вьет-

нам. В то же время это представлялось главным положительным сдвигом в десятилетней войне, которую Америка вела в Азии, стоившим всех потраченных президентом физических и душевных сил. Но еще более значительным следствием этого тяжелого достижения было то, что оно отобрало у президента силы, необходимые ему, чтобы пережить главный кризис, который был еще впереди.

В качестве последнего задания, президент попросил меня отправиться в феврале в Москву, чтобы попытаться приоткрыть, если возможно, плотно закрытые двери еврейской иммиграции из Советского Союза. Конгресс, под давлением лейбористов и влиятельных еврейских кругов Америки, грозил не одобрить соглашений переговоров по торговле, если русские не смягчат своей позиции. Перспектива разрядки опять отдалялась, на этот раз по вопросу, который, как заявили возмущенные Советы, нас просто не касался.

Я знал, что президент выбрал меня для этой поездки, полагая, что мне и сопровождавшей меня Патти перемена места пойдет на пользу. По моем возвращении отставка будет официально принята, и я смогу вернуться в свою адвокатскую контору, расположенную только за квартал от Белого дома; мы останемся хорошими друзьями; он хотел, чтобы я возглавил его "кухонный кабинет", состоявший из советников-друзей.

Нельзя было быть сентиментальным и оставаться частью культа силы, который мы так усердно насаждали в Белом доме, тем не менее, у меня чуть не потекли слезы, когда мы прощались в день моего отлета в Москву. Он спас нас обоих, шлепнув меня по спине, приберегая свое прощальное слово для письма, доставленного мне позже (см. след. стр.)

Ричард Никсон — человек неоднозначный, подчас холодный, жестокий и расчетливый, способный манипулировать властью, как и многие его великие предшественники. Но он был и другим — необыкновенно душевным человеком, который все свои шестьдесят с лишком лет почитал мать за святую и был неспособен сделать замечание секретарше, неправильно написавшей слово. Я однажды видел, как он, чтобы исправить ошибку в слове, предпочел еще раз продиктовать письмо, нежели поставить секретаршу в неловкое положение.

Патти, радостно предвкушавшая поездку, ждала меня на заднем сиденье лимузина. По дороге в аэропорт я держал ее за руку, а она

БЕЛЫЙ ДОМ
Вашингтон

10 марта 1973

Дорогой Чак!

С чувством глубокого сожаления я официально принимаю твою отставку с поста советника президента по особым вопросам.

Я не буду останавливаться на своем нежелании давать согласие на твой уход, ибо тебе известно, как высоко я ценю сделанное тобой в последние несколько лет. Позволь мне просто сказать, что нашей администрации честно послужило много замечательных людей, но не многие сравнятся с тобой в мастерстве и преданности, которые ты проявил на посту советника по особым вопросам; тем более, никто не превзойдет тебя в этом.

Наше сотрудничество в течение последних лет было отмечено искренней и глубокой дружбой. Но еще более важным, однако, было сознание общей цели — сделать эти годы лучшими в истории нашего народа. Я всегда буду с благодарностью помнить о твоей преданной дружбе и, в равной степени, о том, как много ты сделал для нашей партии, нашей администрации и народа этой прекрасной страны.

Приятно сознавать, что время от времени мы сможем обращаться к тебе за помощью, и ты можешь быть уверен, что мы воспользуемся твоим великодушием. Думая о твоём возвращении к частной жизни, Пат и я хотим передать твоей Пат и тебе наши самые сердечные пожелания успеха и счастья, которых вы более чем заслуживаете.

Искренне твой,

Многоуважаемому Чарльзу У. Колсону
Белый дом
Вашингтон



засыпала меня всевозможными вопросами. Встретят ли нас в московском аэропорту? Будет ли там очень холодно? Так ли она одета?

Я пытался разделить с ней чувство радости, но знакомое онемение овладевало мной опять. Что я буду искать в жизни, когда уйду из Белого дома? Может быть, я боялся замедлить темп, сойти с этой семидневной двадцатичетырехчасовой карусели, потому что боялся оказаться лицом к лицу с собственной внутренней пустотой? Знал ли я, что действительно для меня важно?

Несмотря на то, что в самолете было тепло, меня бил озноб. Еще несколько месяцев назад я с таким же нетерпением, как Патти, предвкушал бы поездку в Россию. Теперь же я с трудом заставлял себя слушать небольшой инструктаж Стива Лазаруса, блестящего советолога, сопровождавшего нас. Было немногим больше 11 вечера, когда наш "Боинг 707" совершил посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Как сообщил нам пилот, мы были в тот вечер единственным самолетом, которому удалось пробиться сквозь густой туман. Сперва, пока самолет выруливал к терминалу, я ничего не мог разглядеть сквозь серую пелену тумана, кроме случайных огней. Затем неожиданно посреди летного поля я увидел трап, яркие огни и кучку людей, одетых в меховые шапки и длинные пушистые шубы.

"Что мне теперь делать?" — спросил я Стива.

"Очень хорошо. Оркестр здесь, значит они намерены отнестись к визиту всерьез. Очень интересно", — пробормотал он, глядя в иллюминатор.

"Но что я должен говорить?" — упорствовал я; ведь для меня это было первым дипломатическим опытом.

"Что угодно, — спокойно ответил Стив, изучавший толпу. — В данный момент это не имеет значения. Просто улыбайтесь".

Я сделал глубокий вдох и шагнул в холодную промозглую ночь. Русские (по крайней мере, те официальные лица, которых послали в аэропорт) вовсе не оказались, как я ожидал, коммунистами с бегающим взглядом, но гостеприимными, открытыми людьми, в большинстве своем приятно упитанными; их большие шубы и округлые лица делали их похожими на больших дружелюбных мишек. Я даже умудрился сказать одну или две фразы по-русски, которые выучил во время открытых заседаний в Министерстве иностранных дел.

Но по пути в город исполняющий обязанности посла США в СССР Спайк Дабс, представитель Среднего Запада, работающий в отделе кадров министерства иностранных дел, наклонившись к нам,

сказал: "Никогда и нигде — включая эту машину — не говорите того, что Вы не хотите, чтобы *они* слышали. Помните, что прослушивается все, даже посольская резиденция, в которой Вы будете жить. Все, что Вы говорите, записывается. Это относится и к вам, миссис Колсон", — сказал он и серьезно посмотрел на Патти.

Дом Спасо, официальная резиденция американского посла, это большое викторианское здание, расположенное на одной из боковых улочек и окруженное отталкивающе грязными кирпичными зданиями и в равной степени отталкивающими советскими солдатами в их длиннополых коричневых шинелях, красных погонах, черных сапогах и меховых шапках. Внутри темного дома были только двое слуг — улыбающийся старый китаец по имени Янг, служивший в нашем посольстве с тех пор, как мы признали Советский Союз в тридцатых и здоровенный дворецкий, русский.

"Для Агаты Кристи здесь большое поле деятельности", — прошептал я на ухо Патти, когда Янг вел нас по темным коридорам со скрипящими половицами к гроыхающему старинному лифту, который поднял нас к изящно обставленному номеру для гостей. Вместе со Стивом мы были единственными обитателями дома. Дабс, как исполняющий обязанности посла, жил в квартире, расположенной в прилегающем к посольству доме. Мы пристально вглядывались в батареи, картины, орнамент потолка, недоумевая, где могут быть спрятаны микрофоны. Мне и в голову не приходило, что в течение трех лет я работал в здании, оснащенном схожим образом.

Со следующего утра в Доме Спасо началась трудовая неделя; для меня она заключалась в ежедневных встречах с различными советскими чиновниками, для Патти — в подробных экскурсиях по Москве в компании улыбчивой, но мускулистой блондинки, г-жи Улановой (которая, как мы потом узнали, была офицером КГБ). "Полковник", как мы называли ее между собой, ни разу не выпустил Патти из поля зрения, даже когда та находилась в туалете.

Предварительные совещания были только прелюдией к запланированной встрече с Василием Кузнецовым. Дабса, Лазаруса, помощника министра иностранных дел, некоторых других чиновников и меня проводили в продолговатый конференц-зал, находящийся на последнем этаже похожего на замок Министерства иностранных дел. Кузнецов, высокий сухой мужчина с пронизательным взглядом, вошел минуту спустя в сопровождении стайки помощников в темных Костюмах и с важным выражением на лицах. Кузнецов занял место

напротив меня, а делегации разместились слева и справа от нас в точном протокольном порядке.

После краткого обмена любезностями, Кузнецов, говоривший на безукоризненном английском, сказал, что Москву не интересуют внутренние проблемы Соединенных Штатов; что угрозы Конгресса аннулировать договор между двумя странами должны беспокоить нас, а не их. Русские *знают*, что Никсон в состоянии справиться со своей частью сделки, не так ли? Он пристально смотрел на меня, ожидая ответа. *Не очень-то сговорчивый малый*, подумал я. Я сделал глубокий вдох, пытаюсь успокоить сердцебиение: "Г-н министр, ваша уверенность в президенте Никсоне совершенно оправдана. Но вы не понимаете американский народ. Мы все — эмигранты, целая нация эмигрантов. Один мой дед приехал из Швеции, другой из Англии, понимаете, для нас право человека — еврея или язычника, белого или черного — эмигрировать является основополагающим. Оно не может быть предметом торга; его нельзя оспорить. Оно даровано каждому Богом".

На какое-то мгновение мне показалось, что на гладком лице этого убежденного коммуниста промелькнула улыбка. Я продолжил натиск, объяснив, какой это животрепещущий вопрос для наших профсоюзов. Тогда Кузнецов выдал тираду прямо из коммунистического учебника. Я парировал это университетской лекцией по правам человека. После того как мы более часа обменивались подобными любезностями, Кузнецов, расправив плечи, выпрямился на стуле, посмотрел на сидевших слева и справа коллег и объявил: "М-р Колсон, мы сделаем от нас зависящее. Можете передать это г-ну президенту". С этими словами он поднялся. Словно по команде, вслед за ним поднялась и свита. Он учтиво пожал мне руку, повернулся и зашагал прочь из комнаты, сопровождаемый процессией помощников.

— Что он хотел сказать этим последним заявлением? Я правильно расслышал? — спросил я у Стива.

— Будьте уверены. Вот это да! Я насквозь пропотел, но игра стоила свеч. Мы получили то, за чем приехали!

Заключительные слова Кузнецова, пусть и короткие, имели большое значение для искушенных дипломатов из нашей группы, которые следили за словесными нюансами и даже за интонациями; вся дипломатия держится на подобных вещах, узнал я.

После следовавших затем визитов министра финансов и других лиц, эмиграционная квота для евреев была увеличена; более 30.000

евреев покинуло Советский Союз в следующем году. Советы, впрочем, так и не уступили полностью, и в конце 1974 года Конгресс, несмотря на яростное противоборство Киссенджера, принял поправку, ограничивающую торговлю между США и СССР до тех пор, пока Советы не отменят выездные ограничения для евреев. Советы, как нетрудно догадаться, отменили торговое соглашение, не желая, чтобы их внутреннюю политику диктовал Конгресс США.

Мой первый опыт хождения по зыбкой почве внешней политики придал мне духу, но только до последнего дня пребывания в Москве, на который Спайк Дабс назначил пресс-конференцию, открытую для западных журналистов — героических людей, находившихся в спартанских условиях Советского Союза ради того, чтобы давать миру информацию. После моего осторожного, сдержанного заявления о состоявшихся встречах и нескольких общих вопросах относительно торгового соглашения и еврейской эмиграции, журналист задал мне вопрос, к которому я не был готов: "М-р Колсон, в Вашингтоне появилось сообщение, что это Вы отправили Ханта в Денвер для беседы с Дитой Биэрд во время Уотергейтского скандала. Это правда?"

Я почувствовал себя как бейсболист, который приготовился отбить пас и был сбит со спины. Уотергейт облетел уже пол земного шара. В советской прессе о скандале не промелькнуло ни слова, и те советские чиновники, которые о нем знали, были немало озадачены; в их стране прослушивание — обычное дело. Один или двое даже попросили меня передать их личные соболезнования президенту в том, что столько шума поднялось из ничего. Но московский пресс-корпус стран свободного мира следил за каждым новым откровением с жадным интересом. Я попробовал отделаться шуткой, но вопросы по Уотергейту следовали один за другим. Дабс сжалился и ловко прекратил пресс-конференцию.

Вся радость, которую я испытывал от успешно прошедших переговоров, улетучилась. Несмотря на интересный визит в Румынию по личному приглашению президента Чаушеску, помогавшего нам наладить контакты с Китаем, и несколько приятных дней в Вене, чувство тревоги вернулось. Я никак не мог отделаться от плохих предчувствий.

В последний свободный вечер в Вене Патти заметила в окне магазина свежий номер европейской *"Ньюсуик"*. Я сделал большую ошибку и купил газету; там, к моему ужасу, была целая страница,

озаглавленная — "Слухи о Колсоне"; статья обвиняла меня во всех мыслимых грехах, связанных с Уотергейтом, о многих из которых я раньше и не слышал. Стоя на людном венском перекрестке, проглатывая одну за другой ядовитые строки, я чувствовал, что кольцо вокруг меня сжимается; в глазах Патти были сочувствие и жалость. Остаток пути мы сократили на два дня; мне надо было возвращаться в Вашингтон.

Мои предчувствия оправдались. Это был не тот Белый дом, который я оставил три недели тому назад. Хальдеман казался рассеянным и погруженным в дела. Когда я поделился с ним своей озабоченностью относительно Уотергейта и предложил как-то прояснить ситуацию, он попытался отделаться ничего не значащей фразой; несмотря на это, он явно встревожился. Я встретился с Джоном Динном сразу по возвращении, надеясь определить источник статьи в *"Ньюсуик"*. Но едва я открыл рот, как он сказал: "Чак, ты не представляешь, что здесь произошло с тех пор, как ты уехал. Он (почтительный жест в сторону Овального кабинета) вызывал меня к себе каждый день. Я, вроде того, продолжаю с того места, на котором ты закончил".

Я посмотрел на Джона пристальней. Он был одним из самых неприметных членов администрации, занимавшийся всеми запутанными небольшими юридическими вопросами. Он вовсе не был одним из доверенных лиц президента; его длинные волосы, броские подчас костюмы и холостяцкий образ жизни не позволяли ему вписаться в окружение Никсона. Теперь журнал *"Тайм"* попросил у него фотографию; он разложил на столе несколько глянцевых снимков и попросил меня выбрать наиболее удачный.

"Не беспокойся насчет этой статьи в *"Ньюсуик"*, — сказал он непринужденно. — Это только капля в море. Нас теперь со всех сторон атакуют по поводу этого Уотергейта... Эта фотография тебе понравится?" Находясь в радостном возбуждении по поводу ежедневных вызовов в Овальный кабинет и повышения своего статуса, он был не в состоянии вникнуть в мои опасения. Мне было хорошо знакомо это чувство.

В любом случае мне больше нечего было делать в Белом доме, только собрать личные бумаги, отослать окончательные отчеты о поездке и письма благодарности и вместе с Холли Холм, которая была теперь моей старшей секретаршей, перебраться "в дом по соседст-

ву" — в шикарный офис, который сняли для меня партнеры по фирме.

Будет приятно снова оказаться вместе с моим старым другом Чарли Морином; мне его сильно не хватало. К тому же, новые партнеры, в том числе общительный, крепко сложенный Дейв Шапиро, судебный адвокат из Бруклина, уже имеющий определенную известность, распахнули мне навстречу как свои объятия, так и кошельки. фирма из двадцати пяти человек стала теперь называться "Колсон и Шапиро", а в качестве подарка к моему возвращению мне купили "Линкольн Континенталь" и наняли личного водителя.

Клиенты выстраивались к нам в очередь, причиной чего стала серия публикаций, подобных заметке в *"Нью-Йорк Таймс"*, рассказывающей о "первом доверенном лице президента, который намерен стать самым преуспевающим и высокооплачиваемым адвокатом Вашингтона". *Все это — радушный прием, обилие денег — придаст мне новых сил*, думал я.

Во время моего последнего разговора с президентом в качестве особого советника, он сидел, откинувшись в кресле, уютно скрестив вытянутые ноги на массивном резном столе красного дерева. Мы говорили о визите в Москву и других вещах. Затем я перешел к Уотергейту. "Кто бы ни отдал приказ об Уотергейте — расскажите об этом! — сказал я в порыве чувств. — Нужно освободиться от этого любой ценой".*

Едва я успел произнести эти слова, как президент дернул ноги со стола, выпрямился в кресле и произнес: "А кто ты думаешь отдал приказ? Митчелл? Магрудер?" Он глядел мне прямо в глаза, лицо покраснело, в голосе слышалась злоба. Я понял, что тронул открытый нерв, но в ту минуту был убежден, что Никсон в таком же неведении, как и я.

По причинам, которых я тогда не мог уяснить, Ричард Никсон оказался практически парализованным Уотергейтом, будучи не в состоянии или не желая взглянуть в лицо суровой реальности, в то время как петля вокруг нас затягивалась все туже.

* Неопубликованная запись, сделанная в Белом доме 13 февраля 1973. Была прослушана особым прокурором по Уотергейту, но на процесс не вынесена. (Эксплетивные выражения не включены.)



7

Долгое жаркое лето

Через несколько недель после возвращения к адвокатской практике я встречался в Нью-Йорке с продюсерами многообещающей телевизионной системы, которая со временем могла составить телесетям серьезную конкуренцию. Со мной был талантливый молодой адвокат, Фред Лоутер, которого мы переманили с правительственной службы. Речь шла о хорошем гонораре.

Мы встретились в офисном блоке одного из консервативных инвестиционных банков Нью-Йорка. Вскоре Лоутер и я сидели за большим столом для совещаний с президентом компании, председателем совета директоров, тремя вице-президентами и двумя банкирами, которые заваливали нас цифрами, статистическими данными и прочей информацией относительно своего многомиллионного проекта. Им было необходимо создание условий для конкуренции с сетями, для чего требовалось, чтобы Белый дом официально признал их индустрию в своем экономическом отчете.

Лоутер делал тщательные пометки в своей тетради. Я не мог. Впервые в жизни я не мог заставить себя сконцентрироваться на совещании; все, что я мог сделать, чтобы казаться слушающим, это кивать — надеюсь, в нужных местах.

Неужели это нервный срыв, спрашивал я себя. У меня что-то не в порядке со здоровьем; это не может быть по-прежнему усталостью. Один раз я вообразил, что кто-то поставил поперек стола звуконе-

проницаемое стекло и губы напротив шевелятся бесшумно. К концу дня я выбился из сил, пытаясь сохранить видимость присутствия. Президент компании подошел к сути: "Согласны ли Вы представлять нас, м-р Колсон?"

— Мы будем очень рады, — ответил я и назвал шестизначную сумму.

— По рукам, — широко улыбнулся он и попросил одного из вице-президентов подвести нас на своем лимузине в Ля Гардию, откуда самолет компании доставит нас в Вашингтон.

— Фред, ты делал записи? — спросил я молодого ассистента, когда мы расположились в мягких сиденьях самолета "Гольфстрим 2" стоимостью в четыре миллиона долларов.

Лоутер уверил меня, что делал.

— Не мог бы ты к понедельнику подготовить для меня дело? Кажется, я все еще чувствую небольшую усталость после поездки в Европу.

Сказав это, я отвернулся и стал смотреть в иллюминатор, опять один на один с теми же сомнениями и тревогами, что были моими непрошеными компаньонами в последние пять месяцев. В былые дни назначение большого гонорара необыкновенно радовало и было поводом для праздничного ужина с Патти в ресторане. *Где моя бывая хватка, желание обойти конкурентов*, спрашивал я себя.

Многие из тех, кого я знал, попадали в подобные полосы, особенно на пятом десятке, боялись за свое будущее, сомневались в себе. Часто это называют "мужским климаксом". Будучи в некоторой степени начитанным в этой области, я быстро себя проверил: брак — счастливый; алкоголь — без проблем; карьера — состоялась; здоровье — хорошее. По-прежнему недоумевая, я решил, что переход после напряженных лет работы в Белом доме к адвокатской практике просто потребует большего количества времени.

Был один клиент (я представлял его и раньше), возвращению которого я был очень рад: компания "Рейтеон", изготовитель электронных изделий и крупнейший работодатель в Новой Англии. В середине марта я полетел в Бостон, где должен был весь день провести с главными исполнительными директорами компании. Исполнительный вице-президент, Брейнерд Холмс, который когда-то возглавлял правительственную программу по пилотируемым полетам, был моим старым другом. Его босс, Том Филлипс, президент компании,

достиг своего положения исключительно благодаря острому уму и большим способностям.

Сперва я встретился с Брейнердом в штаб-квартире компании, современном кирпичном здании, выходящем на шоссе 128, окружную дорогу вокруг Бостона с плотным движением. Холмс, которого переполнял энтузиазм по поводу новых программ "Рейтеона" и моего возвращения в качестве юридического консультанта, устроил для меня несколько встреч с инженерами и вице-президентами. Позже днем Том Филлипс просил передать, что он тоже хотел бы встретиться со мной перед тем, как я уеду.

Когда я направился в офис президента, Брейнерд остановил меня: "Чак, может быть, мне следует кое-что тебе сообщить относительно Тома прежде, чем ты туда войдешь. Он сильно изменился; это связано с чем-то религиозным". Брейнерд помедлил, подыскивая нужное слово. "Я не совсем понимаю, что произошло, но для него это очень важно. Он может — как бы тебе сказать — ну, показаться не совсем обычным", — заключил Брейнерд с неловкой улыбкой на лице.

Новость меня удивила. Том Филлипс всегда был таким агрессивным бизнесменом, что мне трудно было представить его в роли учителя в воскресной школе. Однажды он сказал мне, что является конгрегационалистом, точно так же, как я называл себя англиканцем. Ничего особенного — просто членство в очередном обществе. Я подумал, что, вероятно, он принимает участие в сборе денег для церковного фонда, чего следовало ожидать от руководителя крупнейшей компании.

Когда я вошел в офис, то увидел совершенно прежнего Тома — черноволосого, атлетически сложенного, работающего как всегда без пиджака. Но улыбка стала теплее, ярче, и он казался куда раскованнее, чем когда бы то ни было. Он и в былые дни был радушен, но тогда у него был взгляд торопящегося человека — звонили телефоны, вбегали и выбегали секретарши, на столе лежали большие стопки документов. Теперь в атмосфере офиса и в самом Томе было какое-то спокойствие.

"Расскажи мне о себе, Чак. Как ты поживаешь?" — начал он.

Было бы честно ответить: "Спасибо, хуже некуда". Но вместо этого я сказал: "Все хорошо, немного устал", Я должен был делать хорошую мину; Том был важным клиентом.

"Тебе действительно надо отдохнуть, Чак. Это очень важно, учи-

тывая, через что ты прошел", — сказал он, и у меня возникло странное ощущение, что это было сказано не поверхностно, а с подлинным чувством.

Мы повспоминали былые дни, затем вновь вернулись ко мне: "Что касается этого Уотергейта, Чак, ты как — держишься? Мне кажется, что тебя пытаются втянуть в это дело".

Я сказал Тому, что ни прямо, ни косвенно не имею к взлому отношения, за исключением нападок со стороны прессы. Затем я начал длинную тираду в свою защиту, но Том меня прервал: "Не объясняй. Если ты говоришь, что не имеешь к этому отношения, с меня этого достаточно".

Мы уже говорили двадцать минут, и ни слова не было сказано о религии. Тем не менее, Том изменился. В его взгляде появилось сострадание, голос стал мягче. "Хм-м, Брейнерд мне сказал, что ты занимаешься какой-то религиозной деятельностью", — сказал я, наконец.

"Да, это правда, Чак. Я принял Иисуса Христа. Я отдал Ему свою жизнь, и это было лучше всего, что я когда-либо испытывал в жизни", — услышал я в ответ.

Вероятно, выражение моего лица выдало, что я был шокирован. Я изо всех сил пытался нащупать почву под ногами: "А-а, может мы как-нибудь это обсудим, Том". Если бы я не сдержался, то выпалил бы следующее: *"Что ты мелешь? Иисус Христос жил две тысячи лет назад, был, конечно, великим религиозным лидером и, несомненно, был вдохновлен свыше, но зачем "принимать" Его или "отдавать" Ему свою жизнь", как будто он жив сегодня?"*

Разговор перешел на более удобные темы, а затем Том проводил меня, обняв длинной рукой за плечи, до дверей своего офиса со следующими словами: "Я хотел бы рассказать тебе свою историю целиком, Чак. На каком-то этапе мне казалось, что моя жизнь не имеет никакого значения. Теперь все переменялось — ценности, отношение к жизни, все, что хочешь".

Филлипс меня озадачил. По его словам, жизнь не имеет никакого значения, когда ты президент крупнейшей компании штата, когда у тебя прекрасный дом, мерседес, замечательная семья, вероятно, заработок в четверть миллиона в год... ,

Но он задел мое больное место — бессмысленность жизни. Именно с этим ощущением я жил, хотя не смог признаться в этом Тому. Я полетел обратно в Вашингтон, чтобы продолжить борьбу с

внутренним разладом, Уотергейтом и поразительными словами Филлипса.

Несколькими неделями раньше Джон Дин попросил меня встретиться с Говардом Хантом и выяснить его отношение к Белому дому. Дейв Шапиро предусмотрительно запретил мне это делать и 16 марта увиделся с Хантом сам, когда и узнал, что Хант требует за свое молчание денег. Хант хотел, чтобы я передал его требования в Белый дом. Когда мы с Шапиро встретились, чтобы обсудить требования Ханта, он сказал: "Чак, не влезай в это дело, не то я сломаю тебе шею. Если ты передашь его требования, то окажешься вовлеченным в нарушение законности. Это очень серьезно, а твой "сообразительный" друг в большой беде".

Шапиро, либеральный демократ, не мог принести Никсону пользу. В устах такого профессионала, как Шапиро, слова "нарушение законности" звучали угрожающе. Я никогда не думал об Уотергейте в таком свете. Конечно, я должен был задуматься над этим, но с моей точки зрения преступлением был глупый приказ о проникновении, кто бы его ни отдал. Теперь же избранный комитет во главе с председателем Сената Сэмом Эрвином все сильнее настаивал на полномасштабном расследовании. Газета *"Пост"* проводила яростную кампанию за то, чтобы извлечь Уотергейт из-под пыли, и федеральные агенты во всю были этим заняты.

"Если хочешь помочь своему другу, то давай найдем ему самого лучшего адвоката по уголовным делам", — заключил Дейв.

Я передал предложение президенту во время телефонного разговора в середине марта. Неделью спустя позвонил Боб Хальдеман. Не мог бы я подойти в Белый дом? Боб ждал меня в своем кабинете. "Давай сядем здесь", — предложил он, направляясь к двум удобным креслам, стоявшим возле камина.

Это было необычно. Коротко подстриженный, строгий Хальдеман никогда не расслаблялся; он всегда был резок и говорил только о делах. Я сотни раз был в его кабинете, и мы всегда сидели за столом рядом с окнами.

"Как адвокатская практика?" — спросил он, тепло улыбаясь. Это был другой Хальдеман. Тот ненавидел простой разговор. Беспокоился ли Боб за меня, сомневался ли в моей лояльности, боялся ли моего нового партнера Шапиро?

"Чак, — продолжил он, — нам необходимо избавиться от этой

неразберихи с Уотергейтом, Все это висит как дамоклов меч над президентом. Он доверяет тебе и нуждается в лучшем из твоих советов. Что нам делать? Что мы делаем не так?"

"Боб, на прошлой неделе я сказал президенту о необходимости нанять адвоката по уголовным делам, который смог бы все разузнать, свести все факты воедино и дать боссу хладнокровный, однозначный совет. Затем надо наказать виновных. Это единственный путь", — ответил я.

Выражение лица Хальдемана не изменилось, хотя теперь я понимаю, учитывая все, что он знал, что я предлагал ему нанять собственного палача.

"Все вы, адвокаты, одинаковы, — рассмеялся он. — Это общественная проблема. У нас теперь слишком много адвокатов".

Как раз в тот момент зазвонил телефон, и Хальдеман, схватив трубку, промахнулся мимо уха и ударил себя пластмассовым корпусом по лбу. Это был жест человека, крайне напряженного психически. *Он совершенно беспомощен*, подумал я, *несмотря на всю свою власть*.

Потом, шагая по газону в направлении пропускного пункта у Северо-западных ворот, я ощутил странное облегчение от того, что *ухожу* из Белого дома. Несмотря на выхлопные газы от потока машин в час пик, весенний воздух показался мне необыкновенно свежим, когда я улыбнулся охраннику и вышел сквозь массивные железные ворота.

Через несколько дней заголовок в *"Вашингтон Пост"* положил конец моему самодовольству: "Мак-Корд считает, что Митчелл и Колсон причастны к планам прослушивания Уотергейта". С замершем сердцем я прочел статью. Она была основана на показаниях, данных Джеймсом Мак-Кордом, одним из взломщиков, комитету Эрвина. Мак-Корд, сообщалось, слышал от Ханта, что Колсон "был осведомлен" об Уотергейте. Статья была написана двумя специальными выездными корреспондентами *"Пост"* по Уотергейту, Бобом Вудвордом и Карлом Бернштейном.

Патти оторвалась от завтрака и посмотрела на меня. "В чем дело, Дорогой?" — спросила она.

"Взгляни вот на это, — предложил я и бросил газету на кухонный стол. — Человек, которого я никогда не знал, которого ни разу не видел, с ходу впутал меня в историю со взломом. Я даже не знал, что Джеймс Мак-Корд существует до проникновения в Уотергейт".

Это было плохое начало дня, который и сам по себе оказался достаточно напряженным. Во время ленча в Национальном пресс-клубе должны были состояться дебаты "Правительство и пресса" между мной и яростным противником Никсона, отмеченным премиями репортером Кларком Моленхоффом. Дебаты должны были транслироваться по национальному телевидению. Когда я прибыл в Дом прессы, репортеры и телевизионная команда уже ждали.

"М-р Колсон, Джеймс Мак-Корд сказал, что Вы отвечали за проникновение в Уотергейт. Могли бы Вы это прокомментировать?" — прозвучал вопрос.

Я отрицал свою причастность, но слова звучали неубедительно. Вопрос превратил слова Мак-Корда в газетные заголовки. Никто не обращал внимания на мои возражения.

Во время дебатов Моленхофф яростно жестикулировал; его голос гулко отражался от высоких потолков зала, когда он обвинял Никсона и его администрацию во всех смертных грехах, за исключением государственной измены. Я резко отвечал. Горячая перепалка немало порадовала зал, набитый пятью сотнями наиболее влиятельных журналистов Америки. Но что бы я ни говорил, мне приходилось оправдываться, отбивая атаки на Никсона и себя.

По мере того, как в течение следующего дня нападки прессы становились все сильнее, я еще раз ощутил себя *главным* уотергейтским преступником. Однажды вечером Дейв Шапиро обратился ко мне с предложением: "Чак, пройди проверку на детекторе лжи. Учитывая всю эту газетную чушь, это могло бы оградить тебя от внимания прокуроров".

Я отрицательно покачал головой: "Это черная магия. Я не намерен доверять свою жизнь какому-нибудь шаману". Мне нечего было скрывать относительно Уотергейта, но я весь так издергался, что боялся, как бы машина это не почувствовала.

За следующие выходные я, тем не менее, внимательно изучил данный мне Шапиро материал о полиграфическом тестировании и впечатляющие сведения о Ричарде Артуре, нью-йоркском специалисте, к которому он хотел обратиться. "Может быть, это единственный способ снять с себя подозрения", — настаивал Шапиро. Затем продолжил с улыбкой: "Если ты не пройдешь тест, никто не узнает. Результаты теста — конфиденциальная информация".

К утру в понедельник я стал постепенно склоняться к мысли о детекторе. Как "*Тайм*", так и "*Ньюсуик*", которые я видел на газет-

ных стойках в тот день, широко комментировали заявления Мак-Корда. Я знал, что говорю правду. Я очень надеялся, что машина поймет это. Шапиро назначил сеанс у Артура на ближайшее свободное время — в среду днем.

В то утро нью-йоркский небосвод был загроможден низкими серыми тучами, и дождь стеной шел с северо-востока. Шапиро прилетел в Нью-Йорк прошлым вечером. Я успел на последний рейс перед тем, как аэропорт закрыли. Мы договорились встретиться в офисе Артура.

Когда я садился в такси, какой-то человек спросил меня, не может ли он поехать вместе со мной. И надо же, это оказался Билл Джилл, репортер из Эй-Би-Си. Хотя Билл был другом, я не осмелился сказать даже адрес того места, куда направлялся, поэтому попросил шофера высадить меня на углу Пятьдесят пятой улицы и Пятой авеню, за четыре квартала от дома Артура. Остаток пути я проделал по глубоким лужам, уворачиваясь от торчащих спиц проходящих мимо зонтов. В какой-то момент я заметил свое отражение в витрине магазина: воротник поднят, намокшая шляпа натянута на глаза. Эта история превращала меня в преступника.

Офис Артура расположен на краю театрального квартала в обшарпанном здании, окруженном старыми кинотеатрами, бакалейными лавками и неоновыми рекламами. Я впервые за многие годы поднимался на таком древнем лифте, который лифтер открыл нажатием на длинную металлическую перекладину, идущую поперек решетчатой двери. Сотрясаясь и гроыхая, мы поднялись на одиннадцатый этаж, при этом останавливались на каждом этаже, чтобы выпустить женщин с короткими подвитыми прическами и магазинными сумками в руках.

Оказавшись, наконец, на одиннадцатом этаже, я прошел по коридору, выложенному черным и коричневым кафелем, мимо серии Дубовых дверей, каждая из которых имела матовое окошечко с какой-нибудь надписью: "Сидней Фейн/педикюрша", "Уолтер Рубинштейн/педиатр". Прямо из детективного фильма сороковых годов. Черная надпись на двери офиса Артура гласила следующее: "Служба Научной детекции, инк".

Дверь оказалась заперта. После того, как я несколько раз покрутил в разные стороны ручку, мне открыл маленький человечек, Представившийся ассистентом м-ра Артура. Мне было сказано подходить к стулу с прямой спинкой в лишенной окон приемной. Во что

я ввязался? Печально я вспомнил, что в тот день исполнилось девять лет со дня моей свадьбы. Мне следовало бы быть дома с Патти.

Через несколько минут Дейв Шапиро и Артур, улыбающийся, круглолицый человек, вышли из комнаты. Затем оба начали смеяться, увидев мокрую, унылую фигуру бывшего особого советника президента Соединенных Штатов.

Я оттащил Дейва в сторону: "Я не собираюсь проходить тест. Прошлой ночью я не спал. У меня выворачивает желудок. Я сегодня утром даже есть не мог, а это заведение..."

Мощные скулы Шапиро все еще подрагивали от смеха: "Дик — лучший в этой области, и не расстраивайся, если провалишь тест". Выражение его лица сделалось серьезным: "Я по-прежнему буду тебя представлять. Я спасал виновных так же часто, как терял невинных".

Эти слова меня задели. Значит, даже Шапиро мне не верит. Никогда раньше мне не доводилось испытывать унижительной беспомощности оттого, что, зная правду, я не был в состоянии никого в этом убедить, даже собственного адвоката. "Настройка машины" для эксперимента могла вызвать у меня приток адреналина, даже если бы я был спокоен в начале. Жертву помещают в кресло по типу зубо-врачебного и к каждому пальцу прикрепляют проводок, бегущий от большого серого металлического ящика. Затем вокруг левого предплечья обворачивают резиновую подушечку и надувают. На моей грудной клетке укрепили большую металлическую цепь, провода от нее бежали все к той же серой металлической коробке, в верхней части которой пишушие наконечники, прикрепленные к металлическим лапам, рисовали несколько кривых на вращающемся рулоне бумаги.

Артур изо всех сил пытался меня расслабить непринужденным разговором и твердыми уверениями в надежности машины, количество ошибок которой составляло только 0,03 процента. Если у человека нормальная реакция, а еще лучше, моя сверхчувствительность, то тест вообще не дает сбоев. "Расскажите мне о всех тех случаях, когда Вы лгали и когда Вы делали нечто, за что впоследствии Вам было стыдно", — начал Артур.

— Вы шутите. Мы просидим здесь до вечера.

— Нет, это важно. Вы должны начать тест с рассказа о неприятном, ничего не утаивая из своего прошлого.

Я бы встал из кресла, если бы только не боялся удара током.

"У меня ученая степень в области психологии", — начал Артур

сам, очевидно озадаченный моим нежеланием облегчить душу в непривычной обстановке. Предварительная подготовка заняла час, в течение которого я вспоминал все свои неблагоприятные поступки, начиная со школьных лет, а Артур делал пробные записи на своей машине. Чтобы продемонстрировать чувствительность машины, Артур дал мне пятнадцать пронумерованных пластиковых карточек и попросил выбрать любой номер и дать ложный ответ, когда он его назовет. Я так и сделал, после чего Артур, сверившись с машиной, точно определил выбранную мной карточку.

"Неплохо", — признал я. Это немного меня успокоило, но я все равно почувствовал, как забилося сердце и задрожали руки, когда Артур дошел до главных вопросов.

- Вы отдавали приказ о проникновении в Уотергейт?
- Нет.
- Знали ли вы что-нибудь об этом заранее?
- Нет.

Шесть ключевых вопросов. На каждом из них, я чувствовал, как сдавливают сердце и кровь приливает к лицу. Кожа была ледяной. Я представлял себе маленькие самописцы, скачущие по бегущей бумаге. По окончании теста я сидел словно онемелый, пока Артур отсоединял от меня провода.

- Я провалился, да?
- Не знаю. Мне надо посмотреть результаты, потом я сообщу.

Ну конечно же, моя нервозность загубила тест. Шапиро хотел, чтобы я подождал, но я собирался успеть на последний поезд в Вашингтон. "Позвони, когда станет известен результат, Дейв", — сказал я.

На улице дождь по-прежнему хлестал. Мне было плевать. Я стоял, напрасно пытаюсь остановить такси, и представлял газетные заголовки, когда г-да Вудворд и Бернстайн узнают о результатах, а узнают они об этом наверняка. Когда, наконец, подъехало какое-то такси, я услышал громкий голос Шапиро: "Чак, Чак, подожди".

Шапиро, в одной рубашке, тяжело бежал в моем направлении. "Ты прошел тест — мои поздравления — Дику просто надо было перепроверить контрольный вопрос. Нет сомнения, что ты говоришь правду".

Я обнял 250-фунтового Шапиро прямо там, на людном перекрестке Пятьдесят седьмой и Бродвея. Дождь обрушивался с такой силой, что он не видел слез, катившихся по моим щекам.

То, что я прошел тест на детекторе, придало мне уверенности на несколько недель. С моего согласия Шапиро сообщил об этом в *"Нью-Йорк Таймс"* и 8 апреля, в воскресенье, на передовице газеты появилось длинное заглавие: "Колсон успешно прошел тест на детекторе лжи по Уотергейту". На какое-то время, по крайней мере, я поверил, что истина может находиться в маленьких серых электронных ящичках.

Но моему спокойствию была суждена короткая жизнь. За несколько недель пресса научилась использовать тест в собственных интересах. *"Нью-Йорк Тайс"* от 19 апреля замечала: "Чарльз Колсон, бывший советник президента по особым вопросам, две недели назад проходил проверку на детекторе лжи с тем, чтобы доказать отсутствие у него предварительной осведомленности относительно уотергейтского дела — *первый явный признак неослабевающего чувства вины и ответственности в кругу ближайших советников президента*" (курсив мой — Ч.К.).

Двадцать седьмого апреля в *"Пост"* появилась статья под таким заглавием: *"Помощники утверждают, что Колсон одобрил прослушивание"*. Эта ужасная и лживая статья была перепечатана сотнями изданий и стала лейтмотивом выпусков новостей. "Чарльз У. Колсон, бывший особый советник президента Никсона, знал о готовящемся прослушивании и настаивал на том, чтобы электронная слежка была установлена как можно скорее, сообщили федеральным прокурорам два официальных лица, руководивших комитетом по переизбранию президента Никсона", — так начиналась эта статья. Статья Вудворда и Бернштейна, позже забракованная в ходе следствия по Уотергейту, была написана на основании невинного звонка, сделанного мной Джебу Магрудеру из выборного штаба в начале 1972 года — еще до того, как, в соответствии с данными следствия, уотергейтское дело было задумано. И именно я сообщил об этом разговоре. Практически невозможно опровергнуть неверную газетную информацию, циркулирующую по стране, — это все равно что пытаться поймать весь гусиный пух, вытряхнутый из подушки на сильном ветру.

Мое плачевное состояние ухудшилось еще больше, когда я вспомнил, что сам сообщил прессе заведомо ложную информацию об Артуре Вернее.

Теперь почти ежедневно возле нашего тихого, уединенного дома в Мак-Лине стали появляться группы телевизионщиков. Мы были,

как ехидно сообщил нам один оператор, у них "в меню". Каждое утро нас будил шум подъезжающих автомобилей, шорох грузовиков с телеоборудованием, ползущих по нашей гравийной дорожке, стук захлопываемых дверей и отпираемых металлических ящиков, сценический шепот репортеров, объясняющих операторам, где лучше установить оборудование. Затем — одни и те же нудные вопросы и одни и те же усталые ответы.

Если в выходной день мы решали поспать подольше, то иногда журналисты, устав от ожидания, стучали нам в дверь. Нас спасла только неисчерпаемая любовь Патти к людям и ее юмор. Она угощала операторов кофе, разыгрывала меня, всячески снимала напряжение. Однажды, когда я уже был готов, распахнув пошире дверь, выйти в одной пижаме на крыльцо и послать их всех по точному адресу, Патти начала хихикать: "Улыбнитесь, Вас снимают скрытой камерой". Я рассмеялся вместе с ней, оделся и дал очередное интервью.

Затем Джон Дин начал откровенничать с прокурорами, чем поверг Белый дом в очередной шок. "Отставка" Хальдемана, Эрлихмана и генерального прокурора Ричарда Кляйндинста, а также неуверенное выступление Никсона 30 апреля не помогли остановить травли.

Внешне я сохранял твердость и уверенность, но бывали моменты, когда собственная внутренняя слабость поражала меня. Я часто просыпался посреди ночи с болью в желудке, с колотящимся сердцем, со странными видениями в голове — тюрьма, холодный цементный пол, железные решетки и уныло шагающие по стальным дорожкам люди в серой одежде.

Однажды возле административного здания Сената у меня взял интервью человек из Си-Би-Эс; на заднем плане раздавалось мерное жужжание телекамеры. Закончив интервью, репортер покачал головой: "Я не знаю, как вы, ребята, это выносите. Вчера вечером я сказал жене, что один из вас либо свихнется, либо покончит с собой еще до того, как все завершится. Держите голову выше, м-р Колсон". Случались дни и ночи, когда при воспоминании об этих словах у меня холодок пробежал по спине.

В конце апреля Шапиро и другой мой партнер, Джуд Бест, начали встречи с прокурорами. Прокуратура округа Колумбия завалена огромным количеством дел по магазинным кражам, наркотикам, дорожным происшествиям, изнасилованиям и убийствам. Расследо-

вать дело, касающееся президента и его сподвижников, было для главного заместителя прокурора Эрля Сильберта и его испуганных помощников делом таким же непривычным, как для нас быть в роли подозреваемых.

Однажды вечером Бест и Шапиро устроили нам личную встречу с Сильбертом. Сильберт пытался компенсировать свою худошавую мальчишескую внешность строгим видом, прищуриванием глаз за стеклами огромных очков в роговой оправе. Выжимание соков длилось четыре часа. Пункт за пунктом я отвечал на все его вопросы. "Разумеется, это Вы были автором письма Канука, разрушившего кампанию Маски", — обвинил он меня в какой-то момент.

"Нет, не я, м-р Сильберт. Я не имел к нему никакого отношения", — отвечал я.

Прокурор, нахмурившись еще больше, смотрел на меня с недоверием. Когда вопросы закончились, Дейв и Джуд попросили меня подождать в соседнем кабинете, а сами остались переговаривать с Сильбертом. Это была комната с голыми стенами, в которой стояли стальные чиновничьи столы, заваленные газетами, вырезками об Уотергейте, различными записками, жалобами, ордерами и кучками судебных бумажек. Как и в сотне других подобных комнат в здании суда, здесь обитали клерки и судебные исполнители, которые ежедневно заставляли медленно вращаться громоздкий механизм правосудия. Будучи адвокатом, я часто бывал в высоких и изящных залах суда, уютно обставленных судейских кабинетах, красивых адвокатских библиотеках с аккуратненькими рядами книг и портретами судебных знаменитостей — там, где красноречиво рассуждают об отвлеченных принципах правосудия. Впервые в жизни я попал в убогие казармы армии судебных исполнителей, клерков и следователей, которые воплощают закон, туда, где закон соприкасается с жизнью. Я начал ощущать, что значит лично оказаться под колесами этой громоздкой машины.

Минуты тянулись медленно. Я шагал по комнате, вглядывался в черную туманную ночь за окном, думал об ожидающей меня в одиночестве Патти, пролистывал газеты, затем пристально смотрел на стол, представляя жалкие человеческие проблемы, с которыми люди парадом проходят по этой комнате каждый день.

В конце концов, появились сияющие Дейв и Джуд: прокуроры мне поверили. Но чувство затравленное™, испытанное мной в той комнате, не проходило еще много дней, даже после того, как меня

официально известили, что я вычеркнут судебной коллегией Сильберта из списка обвиняемых, но буду проходить по делу в качестве правительственного свидетеля.

Это была важная для меня ночь. Теперь на моей стороне был серый ящик Артура и три прокурора Вашингтона. Но так было недолго. Назначение профессора Гарвардского университета Арчибальда Кокса Особым прокурором изменило все. Кокс, старый друг семьи Кеннеди, немедленно отстранил трех прокуроров, занимавшихся делом сначала.

Во время их первой встречи Сильберт представил Коксу детальный отчет на восьмидесяти четырех страницах о состоянии расследования. Помимо всего прочего, там говорилось обо мне в оправдательном тоне. Кокс просмотрел отчет, внимательно слушая пояснения молодого юриста. Когда Сильберт закончил, как мне рассказывали после, задумчивый седовласый профессор посмотрел поверх очков и спросил: "И это все?" Сильберт утвердительно кивнул. "А где же здесь Колсон?" — спросил Кокс.

Затем на своей первой пресс-конференции Кокс объявил, что требуется более тщательное расследование роли Чарльза Колсона. Пытка возобновилась.

Президент позвонил, когда мы с Патти проводили наш первый уик-энд в Нью-Йорке, где присутствовали на свадьбе сына Чарли Морина: "Ну, как поживаешь, старина?" Это было похоже на прежнего Никсона — голос уверенный, глубокий, убедительный. "Я слышал, ты раздумываешь, не выступить ли на телевидении. Это было бы потрясающе; никто лучше тебя с этим не справится. Просто будь осторожен. Сам не угоди под обстрел", — продолжал президент.

Еще во время разговора я почувствовал, что президент мне льстит, но, тем не менее, ощутил радостное возбуждение от возвращения на поле боя. Я *нужен* президенту.

"Говард Смит предлагает мне сделать получасовую передачу, — сказал я. — Уж я задам Дину!" Я сидел на гостиничной кровати, скрестив по-индийски ноги; Патти озабоченно наблюдала за тем, как ее воин готовится к битве. Я, несомненно, говорил заискивающе, настолько был обрадован тем, что президент позвонил мне с просьбой о помощи.

"Чак, ты по-прежнему служишь президенту, — продолжал

он. — Расскажи всю правду. Дин лжет. Я — невиновен. Он говорит ужасные вещи, и ты это знаешь".

"Да, сэр", — ответил я. Мы проговорили еще сорок минут. Он подготавливал меня к схватке, а я прилежно заучивал роль. Это будет похоже на былые славные дни, когда я дрался за правое дело и свято во что-то верил. Гимн "Да здравствует Главный" вполне подошел бы в качестве аккомпанемента к нашему разговору. Так вот в чем была загвоздка последние несколько месяцев. Мне было нужно дело, а моим делом был Никсон. Многое взывало и к моей гордости. Я могу защитить президента. Я изменю ход событий.

В течение нескольких недель я вкладывал в это дело все свои силы. Пятого июня Эй-Би-Си выпустила специальную получасовую программу. "Я знаю, что президент Соединенных Штатов не причастен к Уотергейту, — заверил я одобрительно кивнувшего Смита. — Я знаю, что президент Соединенных Штатов не причастен и к покрытию уотергейтского преступления". Я говорил с той убежденностью, какая жила в моем сердце; в конце концов, *он* так сказал.

Президент позвонил сказать, что Джули смотрела передачу и считает, что "мое выступление было лучшим из всего, что она видела". "Продолжай в том же духе", — добавил он. Никсон никогда даже мне не мог признаться, что смотрит телевизор, но потом Манола рассказывал мне, что прикатил телевизор в кабинет Никсона, чтобы тот мог посмотреть передачу. Похвала Никсона меня подстегнула.

Интервью продолжались весь июнь. Целый час в утренней программе новостей Си-Би-Эс продолжались кичливые, неумелые tirades в защиту Никсона и все более резкие нападки на главного обвинителя президента, Джона Дина. Короткие интервью перед камерой во дворике перед моим домом, на ступеньках здания, где располагался мой офис; длинные газетные интервью. По крайней мере два, а то и три раза в неделю я участвовал в телевизионных дебатах. Все это время Шапиро звонил в комитет Эрвина, добиваясь (без всякого результата), чтобы мне позволили явиться.

Затем было отвратительное четырехчасовое интервью в программе "Сегодня" с главным репортером Эн-Би-Си по Уотергейту Карлом Штерном, во время которого я продолжил атаковать Дина и упорно защищать Никсона. В программе "Перед лицом народа" я произнес более пророческие слова, чем предполагал: "Что случится с Чарльзом Колсоном, Бобом Хальдеманом, Джоном Митчеллом

или с любым другим человеком, служившим президенту, — вопрос действительно второстепенный. Главный вопрос, стоящий перед американским народом, состоит в том, причастен ли к случившемуся президент или нет. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы американский народ немедленно узнал правду о президенте Соединенных Штатов". Я стал *главным* защитником Никсона.

Тем временем, Джон Дин усилил натиск; в течение пяти дней он давал свидетельские показания, транслировавшиеся всеми тремя телевизионными сетями и привлекшие внимание восьмидесяти миллионов американцев. Наступление Дина было точно выверенным, почти механическим. Монотонным бесстрастным голосом он называл дни заседаний — 13 марта, 21 марта, обвиняя Никсона в причастности к Уотергейту и сокрытии истины. Конкретные обвинения, требующие конкретных ответов.

Но Никсон молчал, поглощенный воспалением легких — эта была его первая болезнь за время президентства — и мыслями об отставке, которыми он поделился со мной в ночном телефонном разговоре в июле. Казалось, он не мог ни защитить себя, ни уйти в отставку. Уход Никсон считал окончательным бесчестьем. Но был и другой фактор, известный только нескольким из нас — прокурору Балтимора, м-ру Никсону и мне. По просьбе президента мы занимались "небольшим" юридическим вопросом, касавшимся вице-президента. Спиро Агню грозило уголовное дело, и вероятность, что он не сможет быть преемником президента, была высока. Мой ум отчаянно пытался справиться с сознанием масштабности кризиса: президент и вице-президент могут оказаться сомнительными людьми. Но мысли, приходившие в голову, были настолько ужасны, что я старался их побыстрее заглушить.

Даже будучи убежденным в невиновности Никсона, я вынужден был сознаться себе, что не присутствовал ни на одном из совещаний, о которых говорил Дин. Сомнения, впрочем, были недолгими. Даже если Дин говорил правду, а Никсон лгал (как ни трудно это представить), такое ли уж большое это имело значение? Нет, пожалуй. Никсон был президентом, и мой долг был защитить его. В этом и заключаются истинные обязанности помощника в Белом доме, преданность для него — главное. Президентам не выжить без преданных помощников, и я был слепо предан все это время. Наше "евангелие" и начиналось, и заканчивалось этой однозначной мыслью. Дин нарушил заповедь; а я все еще жил по ней.

Возможность ввести в заблуждение Смита, Штерна и миллионы американцев (что я сделал, как показали события следующего года, вольно или невольно) никогда не приходила мне в голову. Аморальность этого со временем отяготит меня сознанием вины и стыда куда большими, чем любой из разнообразных проступков, в которых меня обвиняли за время службы у президента.

Поскольку я стал главным защитником президента, оппозиция вся нацелилась на меня. Справедливые и надуманные обвинения, в виде газетных заголовков, появлялись ежедневно. *"Вашингтон Пост"*, 9 июня: "Арсон заявляет, что Колсон настаивал на проникновении в Уотергейт". *"Пост"*, 12 июня: "Колсон получил приказ давать ложные показания". *"Вашингтон Стар"*, 13, 14 июня: "Партнер Колсона сожалеет о разработке". *"Пост"*, 15 июня: "Колсон говорит, что отдал распоряжение о командировке Ханта". *"Таймс"*, 15 июня: "Колсон утверждает, что дал Ханту задание". *"Пост"*, 21 июня: "Хант заявляет, что приказ о проникновении в дом Бремера отдал Колсон". *"Таймс"*, 30 июня: "Колсон подтверждает, что помогал расследованию по делу Кеннеди, но отрицает, что знал о связях Ханта с ЦРУ".

В июле транслируемые по телевидению слушания в комитете Эрвина достигли своего апогея. В понедельник 16 июля по Вашингтону ходили слухи, что в тот день на слушаниях произойдет сенсация. Мы с Дейвом Шапиро сидели перед телевизором, когда Алекс Баттерфильд, заместитель Хальдмана, сделал обескураживающее признание: с 1971 года все разговоры президента как на совещаниях, так и по телефону, записывались на пленку. О существовании записывающей системы знали только Никсон, Хальдеман и несколько его помощников.

Шапиро, подозрительно нахмутив брови, обернулся ко мне.

"Я не знал об этом", — пробормотал я, чувствуя, как краска отливает от лица.

Сперва во взгляде Дейва появилось недоверие, затем сочувствие. "Ну и друзья у тебя", — с укором сказал он.

Шок постепенно перешел в обиду. Я не мог поверить, что президент скрыл от меня существование записывающей системы. Затем я припомнил случаи, когда мне следовало насторожиться: один раз в Кэмп Дэвиде он вышел со мной в коридор, чтобы нашептать на ухо что-то важное об одном из членов администрации; в другой раз во

время телефонного разговора с президентом я услышал щелчок; вероятно, то была смена магнитофонных катушек. Я был так наивен и так безоглядно доверчив!

Затем обида обратилась неожиданным облегчением. Магнитофонные записи подтверждают мою непричастность к Уотергейту! Пленки докажут, что я прав, а Дин лжет! Эйфории моей не суждено было продлиться долго. Когда на следующий день я пришел в Белый дом, то по тревожному выражению на лицах понял, что самые большие беды были впереди. Пленки станут предметом новых раздоров. С каждым днем доверие президенту падало.

Теперь отвратительный уотергейтский яд во всю циркулировал по кровеносной системе Вашингтона. В городе поселился страх, чувство неизбежности плохого конца, атмосфера стала напоминать мрачные времена Мак-Карти. Обычно улыбчивые секретарши стали издерганными и раздражительными. Работники Белого дома казались чем-то расстроенными и испуганными. Внезапные ссоры начали возникать между людьми, всегда умевшими цивилизованно обсуждать расхождения во взглядах по противоречивым вопросам. Газетные статьи стали кричащими, содержащиеся в них личные выпады — оскорбительными, политическая риторика сделалась жестче. По мере того, как атмосфера накалялась, в нескольких разгоряченных умах возникла мысль о насилии. Три раза агентам ФБР приходилось расследовать анонимные угрозы взорвать мой дом и машину, последовавшие после моих выступлений по телевидению.

Правительству работать было все тяжелей; разработчики политического курса не знали, в какую сторону двигаться; предложения поступали в Белый дом, но по ним не принималось никаких решений. Немного оставалось в Вашингтоне людей, не вовлеченных в драматические события, разыгрывавшиеся в зале для предвыборных собраний Сената; во многих правительственных заведениях телевизоры не выключались целый день.

Однажды в конце рабочего дня Холли подозвала меня к телевизору, работавшему в приемной нашей фирмы. На экране как всегда был зал для предвыборных собраний Сената. Камеры были направлены на сенатора из Коннектикута Лоуэлла Уилкера, младшего республиканского члена комитета Эрвина. "Делаются попытки оказать давление на наш комитет", — гневно заявил он и затем стал дословно зачитывать статьи уголовного кодекса, которые я, как он

заявил обширной телевизионной аудитории, *нарушил* тем, что поместил о нем в газетах статьи. Лицо сенатора было искажено злобой, и студенты, собравшиеся в зале в предвкушении того, как будут поочередно поджаривать людей Никсона, разразились аплодисментами по окончании его десятиминутного монолога.

"Что он несет?" — Шапиро побледнел.

"Н-не знаю, — заикаясь, выговорил я. — Уилкер и Джон Дин соседи и вместе пьют в баре пиво. Я никогда не встречался с Уилкером, но по тому, что я о нем слышал, это разумный человек". Я припомнил интервью, которое у меня взял репортер из *"Стар"*. Я упоминал имя Уилкера, однако не сказал о нем ничего дурного.

"Да ну же, Дейв, у нас один выход. Позвоним ему, объясним, что произошла какая-то ошибка и, уверен, он возьмет свои слова назад", — сказал я.

Сенатор, однако, не захотел говорить со мной по телефону и передал через секретаршу, чтобы я пришел к нему в кабинет на следующий день в 8 утра. Я понял, что ничего хорошего нас не ждет в тот момент, когда вошел в дверь senatorского кабинета. В кабинете сидело пять человек — по обе стороны от письменного стола сенатора. Уилкер оказался крупным мужчиной, 6-ти футов 4-х дюймов росту и весом в 250 фунтов; он был еще злее, чем вчера во время передачи, сидел облокотившись на стол и уперев сжатые кулаки в щеки, слегка подавшись вперед.

"Садитесь, м-р Колсон", — сказал он, почти не приподнявшись, чтобы пожать мою протянутую руку.

Я начал так радостно и бодро, как только мог в тот ранний час: "Сенатор, я признателен Вам за то, что смогли меня принять. Мне кажется, произошла какая-то ошибка. Я вовсе не пытался поднять про Вас шум в прессе". Уже в то утро газеты сообщили, что "облитый грязью" Уилкер обвинил меня в том, что пытались сделать через другого никсоновского помощника.

Сенатор не обратил внимания на мои объяснения и набросился на меня по поводу других вопросов, касавшихся Белого дома. Произошел обмен словами, постепенно возраставший в своей эмоциональности. В конце концов, перегнувшись через стол, он закричал: "Да меня от Вас там, в Белом доме, тошнит! Я, м-р Колсон, не знаю Вас, зато мне хорошо известны Ваши убеждения. Мы живем в разных мирах. Я занимаюсь нормальной политикой; Вы там занима-

етесь какой-то ... Вы так меня бесите, что мне хочется врезать по Вашей... морде".

Сказав это, он вышел из-за стола и встал в каких-нибудь шести дюймах от меня, словно бейсбольный тренер, провоцирующий драку с судьей. "Меня от тебя тошнит, — прорычал он. — Убирайся из моего кабинета к ... матери". Мы с Дейвом поспешили выйти за дверь.

Затем мы направились в кафетерий, расположенный в административном здании Сената. Первую чашку кофе Дейв пролил, во вторую — макнул палец. Вид Шапиро, совершенно обескураженного утренней встречей, развеселил меня на некоторое время. Но уже через несколько часов кто-то из работников Уилкера передал прессе дословный протокол нашей встречи, и на выходных с газетных полос хлынул новый поток разгромных заголовков и статей.

Во всей отвратительной уотергейтской истории эпизод с Уилкером был для меня самым неприятным; сперва быть незаслуженно обвиненным по национальному телевидению перед миллионами американцев, затем едва не подраться с сенатором Соединенных Штатов! Я привык вести жесткую игру, но Уотергейт создавал в Вашингтоне обстановку безумия, какого не было последние 20 лет, низводившего политику до ранга открытых боевых действий. Я отменил свое намеченное участие в телевизионных передачах. Ко мне опять вернулось чувство пустоты, вопросы обо мне и моих целях, о смысле жизни. Сомнения, нахлынувшие на меня в феврале, вновь нависли надо мной, подобно грозовому облаку.

Мартовская встреча с Томом Филлипсом, как это ни странно, жила во мне ярким воспоминанием. Его радушие, доброта, спокойное выражение лица, эти странные слова: "Я принял Иисуса Христа и отдал Ему свою жизнь". Я не понимал этих слов, но в них слышалась простая, окончательная искренность. В Томе я видел все, чего не было в Вашингтоне и Уотергейте: порядочность, открытость, правдивость. Я часто задумывался над словами Тома в это сложное время; еще чаще я вспоминал выражение его лица, в котором было что-то лучезарное, умиротворенное, настоящее. Я завидовал Тому, в чем бы ни был его секрет.

Когда мои попытки предстать перед комитетом Эрвина в очередной раз не увенчались успехом и 7 августа он прервал работу, мы с Патти решили уехать на побережье штата Мейн, которое так любили.

Это позволит нам навестить по пути моих родителей, живших в Довере, недалеко от Бостона. Мама и папа, которым теперь перевалило за семьдесят, были немало удивлены происходящим в Вашингтоне. Наш визит мог помочь рассеять их тревогу.

Тогда я не совсем понимал, почему, приехав в Бостон, я стал звонить Тому Филлипсу в надежде на новую встречу, но мой телефонный звонок он принял. Мы договорились встретиться в воскресенье вечером, 12 августа, у него дома. Меня удивило, как сильно я хотел снова его увидеть.



8

Незабываемая ночь

Блю восемь часов вечера, когда серым пасмурным вечером я свернул с загородного шоссе, соединяющего два самых престижных бостонских пригорода — Уэллесли и Уэстон. Из-за выросших по краям узкой щебневой дороги высоких сосен стало вдруг темно и тихо. Еще поворот через несколько сот ярдов, и я оказался на длинной подъездной дороге, ведущей к большому дому Филлипсов, построенному в колониальном стиле. Припарковывая машину, я ощутил чувство вины за то, что не сказал правды Патти, оставшейся с моими родителями в Довере.

"Нужно съездить по делу, дорогая", — объяснил я ей. Патти привыкла к тому, что я мог работать в необычное время, даже вечером в воскресенье, перед началом недельного отдыха.

Дом Филлипсов оказался большим и запутанным. Я ошибочно решил зайти в дверь, ближайшую к дороге, которая оказалась входом в кухню. Джерт Филлипс, высокая приветливая женщина, была несильно обеспокоена моим появлением и, несмотря на то, что мы не были знакомы, поприветствовала меня так, словно я был родным человеком: "Заходите. Мы только что поели, и я тут прибираюсь".

Поели. Незамысловатое слово, такое характерное для обитателей Новой Англии. Джерт провела меня в большую, современно обставленную кухню. "Я позову Тома, — сказала она. — Он играет с детьми в теннис".

Том пришел через минуту, сопровождаемый шестнадцатилетним Томми и девятнадцатилетней Дебби. И сестра, и брат были загорелыми, красивыми. Джерт приготовила нам чая со льдом, пока Том вытирался полотенцем. Если Джерт и сознавала важность положения своего мужа, как президента крупнейшей компании штата, то уж никак этого не показывала. На самом деле, она напоминала мне любимую тетюшку, к которой мы в детстве ездили за город; она источала аромат свежесвеженного хлеба и печенья и умела сделать так, что каждый чувствовал себя на ее кухне как дома.

"Вам, мужчинам, есть о чем поговорить, а мне есть, чем заняться по дому", — сказала Джерт, раздавая нам стаканы с ледяным чаем. Том, с полотенцем на шее, провел меня через уютно обставленные столовую и гостиную на небольшую застекленную террасу на другом конце дома. Ночь была необычно жаркой для Новой Англии, и я чувствовал, как влажный воздух обволакивает меня наподобие одеяла. По настоянию Тома, сперва я снял свой темно-серый деловой пиджак, затем и галстук. К удобной кушетке, на которой я сидел, он придвинул вентилятор.

"Скажи, Чак, — начал он, — у тебя все хорошо?" Это был тот же вопрос, который он задал в марте.

Будучи доверенным лицом президента и так называемым "крупным" вашингтонским адвокатом, я по-прежнему был настороже. "Думаю, у меня все в порядке. Только этот Уотергейт, эти обвинения — полагаю, что я от них немного устал. Но давай лучше поговорим о тебе, Том. Ты изменился, и мне хотелось бы узнать, что произошло", — произнес я.

Том сделал глоток и задумчиво откинулся на спинку дивана. Вкратце он пересказал свою историю, быстрый подъем по служебной лестнице в "Рейтеоне": исполнительный вице-президент в тридцать семь лет, президент — всего в сорок. Он достиг этого упорным трудом, неустанно работая день и ночь.

"Я добился успеха, это верно, но чего-то мне не хватало, — произнес он задумчиво. — Я ощущал ужасную пустоту. Иногда я вставал посреди ночи и начинал ходить взад и вперед по спальне или часами глядел из окна в темноту".

"Не понимаю, — перебил я. — Я помню, каким ты был в то время, Том. Ты рвался к цели, у тебя была прекрасная семья, успех; все складывалось как нельзя лучше".

"Все это верно, Чак, но в моей жизни не было завершенности.

Каждый день я приходил в офис и делал свое дело, изо всех сил пытаясь привести компанию на вершину успеха, но в моей жизни словно дыра зияла. Я начал читать Библию в надежде найти ответ. Что-то говорило мне, что необходимо иметь личные отношения с Богом, что-то толкало на поиск", — произнес Том.

Мурашки пробежали у меня по спине. Может быть, то, что я испытал за последнее время, вовсе не было таким уж необычным, только я не пытался найти духовных ответов. Я даже не знал о том, что можно установить личный контакт с Богом. Я попросил его пояснить очевидное противоречие между внутренней пустотой и, казалось бы, такой благополучной жизнью внешне.

"Может быть, это нелегко будет понять, — ответил Том. — Но у меня не было ничего по-настоящему важного. Все было поверхностное. Все материальные вещи в мире не имеют никакого значения, если человек не обнаружит, что стоит за ними".

Какое-то мгновение мы оба молчали, пока я пытался как-то уразуметь сказанное. За окном в лиловатых сумерках зачертили белыми полосками первые светлячки. Том встал и зажег две лампы, стоявшие на маленьких столиках в углах террасы.

"Однажды вечером я был по делам в Нью-Йорке и увидел, как Билли Грэм проводит в саду Мэдисон Сквер евангелизацию, — продолжил Том. — Я решил послушать, — наверно, из любопытства, надеясь, что найду какие-нибудь ответы. То, что сказал в ту ночь Грэм, все расставило по своим местам. Я понял, чего мне не хватало: личных отношений с Иисусом Христом, ведь я никогда не приглашал Его войти в мое сердце, не отдавал Ему своей жизни. Поэтому я сделал это в тот же вечер, во время евангелизации".

Высокий, неуклюжий силуэт Тома, четко обрисованный желтым светом со спины, наклонился ко мне. Хотя его лицо оставалось в тени, я заметил, что глаза его заблестели, а голос сделался мягче: "Я попросил Христа войти в мою жизнь и почувствовал в себе Его присутствие, Его мир. Я почувствовал в себе Его Дух. Затем я отправился бродить по улицам Нью-Йорка. Никогда раньше Нью-Йорк не нравился мне, но в ту ночь он был прекрасен. Вероятно, я гулял очень долго. Все мне казалось другим. Накрапывал дождь, и городские огни светились, как золотые шары. Что-то во мне переменялось, и я твердо знал это".

"Что ты имеешь в виду под принятием Христа — нужно просто попросить?" — я был сбит с толку больше, чем когда-либо.

"Именно, очень просто, — ответил Том. — Разумеется, нужно хотеть, чтобы Иисус вошел в твою жизнь, действительно хотеть этого. И я тебя уверяю, с тех пор все начало меняться. С тех пор я стал получать такое удовлетворение от жизни, о возможности которого даже не подозревал".

Для меня Иисус всегда был исторической фигурой, но Том объяснил мне, что едва ли можно пригласить Его в свою жизнь, если не веришь, что Он жив сегодня и что Его Дух действует поныне. Я был очень тронут рассказом Тома, хотя и не мог понять, как такая чудесная перемена произошла с такой легкостью. Тем не менее, Том рассказывал о случившемся очень убедительно, и сам действительно изменился. Стал более живым.

Затем Том перевел разговор на мои беды. Я описал ему некоторые болезненные повороты уотергейтского дела, страшное напряжение, в котором я жил, рассказал, как несправедливо отзывалась обо мне пресса. Я опять оправдывался и, когда у меня кончились объяснения, Том осторожно, но твердо сказал: "Ты знаешь, что на последних выборах я поддерживал Никсона, но вы, ребята, сделали большую ошибку. Вы бы выиграли выборы без всяких махинаций. Уотергейт и все прочие уловки были совершенно не нужны. И то, что вы пошли на них, было неверно, в корне неверно. Не нужно было этого делать". Том склонился вперед, локти уперты в колени, руки протянуты ко мне, как будто в попытке до меня дотянуться. Глаза проникновенно смотрели в мои. "Разве ты не видишь?" — спросил он с таким подлинным чувством, что я не мог обидеться.

"Если бы вы только верили в правоту своего дела, ничего подобного не понадобилось бы. Ничего подобного бы не произошло. Ваша беда — и твоя, Чак, — в том, что вы просто не могли отказать себе в удовольствии взять другого за горло. Вам нужно было, чтобы враг был уничтожен. А уничтожить его вам было нужно потому, что вы не верили в себя", — продолжал он.

Жара показалась мне невыносимой, когда я отер капли пота, выступившие над верхней губой. Глоток ледяного чая был очень кстати, хотя, учитывая, что слова Тома попали в точку, мне больше хотелось виски с содовой. Внутри я понимал, что Том прав: в Белом доме мы всегда противопоставляли *себя* против *них*. Белый дом Никсона против остального мира. Будучи неуверенными в правоте своего дела, мы были вынуждены перегибать палку, чтобы обеспечить надежный выигрыш. Хотя...

"Том, одного ты не понимаешь. Политика — это либо ты их, либо они тебя. Иначе просто не выжить. Я занимаюсь политикой уже двадцать лет, включая несколько кампаний, которые я провел прямо здесь, в Массачусетсе. Я знаю, как все делается. Политика — это война. Если не заставить врага обороняться, то будешь обороняться сам. Том, Никсон находился под постоянным огнем всю свою жизнь. Он остался в живых только потому, что не давал врагу спуска. Посмотри, как на него набросились за Вьетнам; и все же он был прав. Нам бы никогда не удалось победить, если бы мы не боролись, если бы своими атаками на критиков мы не уберегли лучших из нас. У нас не было другого выбора", — ответил я.

Еще пока я говорил, слова мне казались все более и более пустыми. Старые заезженные мысли, подумал я. Я описывал мир политики, это верно, но внезапно начал задумываться, нет ли лучшего пути.

Том, во всяком случае, считал, что есть. Он был так мягок, что я даже не смог обидеться, когда он прямо мне сказал: "Чак, мне не хочется этого говорить, но вы сами виноваты в своей беде. Если бы вы доверились Богу и ваше дело было правым, Он бы направил вас. И Его помощь была бы в тысячу раз полезнее всех ваших подставных объявлений и тайных замыслов вместе взятых".

В устах любого другого человека заявление о необходимости положиться на Бога показалось бы мне откровенно безответственным. Тем не менее, я не мог не восхищаться тем, как этот человек руководил своей компанией в условиях непростой конкуренции: не обращая внимания на врагов, пытаясь следовать Божьим заповедям. После его обращения "Рейтеон" стал процветать как никогда, уровень продаж и прибыли необыкновенно возрос. Может быть, это было неслучайно; как бы там ни было, а с успехом трудно спорить.

"Чак, я не думаю, что ты сможешь понять то, что я говорю о Боге до тех пор, пока ты не сможешь взглянуть на себя честно и прямо. Это первый шаг", — сказал Том, протянул руку и взял с углового столика книжку в бумажном переплете. Я прочел название: *"Просто христианство"* — К. С. Льюис.

Том продолжал: "Я предлагаю тебе взять эту книгу с собой и прочитать во время отпуска". Том сперва протянул мне книгу, затем помедлил: "Позволь, я прочту тебе одну главу".

Я откинулся на спинку, еще внутренне сжатый, со спутанными мыслями и чувствами.

"Есть один грех, свойственный всем людям на свете; грех, ненавистный каждому, когда он видит его в другом; грех, в котором редко кому-либо, кроме христиан, приходит в голову обвинить себя. Я слышал, как люди признавались в том, что они несдержанны, что имеют слабость к алкоголю и женщинам, даже в том, что они трусы. Но не помню, чтобы кто-нибудь, кроме христиан, обвинял себя в этом недостатке...

Нет другого греха, который мы подозревали бы в себе меньше. И чем больше мы виноваты в нем сами, тем меньше принимаем его в других.

Порок, о котором я говорю — это гордость и эгоизм. Гордость порождает все прочие пороки: это абсолютно враждебное Богу состояние ума".

Когда он читал эти слова, я почувствовал, что неудержимо краснею, и что-то непонятное жжет меня изнутри, от чего ночь показалась еще жарче. Слова Льюиса были обращены, казалось, прямо ко мне:

"...именно гордость была главной причиной всех бед в любом народе и любой семье с тех пор, как мир начал существовать. Прочие пороки способны иногда сближать людей: пьяницы или нечестивцы могут наслаждаться общением друг с другом, дружить, шутить. Но гордость всегда приносит вражду — она и есть вражда. И не только вражда между человеком и человеком, но между человеком и Богом.

В Боге вы сталкиваетесь с чем-то несоизмеримо более высоким, чем вы сами. И если вы не считаете Бога именно таким и, следовательно, себя ничем по сравнению с Ним, то вы не знаете Бога вовсе. До тех пор, пока вы горды, вы не можете познать Бога. Гордый человек всегда смотрит на мир и людей сверху вниз, а смотря вниз, вы не можете увидеть того, что выше вас".

Внезапно я ощутил себя грязным и нагим, вся моя оборонительная бравада куда-то исчезла. Я был беззащитен, выставлен напоказ, потому что слова Льюиса описывали меня. Дальше я услышал один отрывок, который, казалось, подводил итог тому, что произошло со всеми нами, работавшими в Белом доме.

"Ибо гордость — это рак духа: он пожирает любовь, спокойствие и даже здравый смысл".

Точно так же, как умирающий человек видит, подобно вспышке, одно за другим все главные события своей жизни, так и передо мной, по мере того, как Том продолжал читать той августовской ночью, проходили, словно на киноэкране, все ключевые события прожитых мной лет. Я видел то, о чем не задумывался уже давно: вот я произношу выпускную речь в школе; я "достоин" служить в морской пехоте; моя первая женитьба на девушке из "подходящей" семьи; я сижу на собрании, и один за другим общественные лидеры превозносят меня как выдающегося молодого бостонца; затем Белый дом; упорная борьба за положение и статус; "м-р Колсон, Вам звонит президент"; "м-р Колсон, президент просит Вас зайти немедленно".

Почему-то я вспомнил об одном эпизоде, случившемся после выборов 1972 года: один репортер, старый противник Никсона, зашел ко мне в кабинет и поинтересовался, что ему сделать, чтобы попасть в милость к Белому дому. Я предложил ему "вскрыть себе вены". Естественно, я шутил, но также хотел сделать ему больно. Во мне говорила беспощадность победителя к побежденному врагу.

Теперь, когда я сидел на полутемной веранде, воспоминания о моем эгоизме нахлынули на меня волной. Это было тяжело и больно. Это была агония. Я делал отчаянные попытки защититься. А как же жертвы, которые я принес ради государственной службы, — отказ от большого дохода, слепое доверие президенту? Истина, я сразу это увидел, заключалась в том, что получить должность в Белом доме мне хотелось больше, чем денег. Никакой жертвы не было. И на самом деле, чем больше я говорил о своих жертвах, тем больше пытался создать о себе хорошее впечатление. Я бы с радостью отказался от всего, что мог заработать, лишь бы доказать, что способен покорить все правительственные вершины. Именно гордость — "великий грех" Льюиса — вела меня по жизни.

Том закончил чтение главы про гордость и захлопнул книгу. Я пробормотал что-то совершенно не относящееся к произведенному эффекту, что-то вроде — "я с удовольствием это почитаю". Но торпеда, пущенная Льюисом, попала в цель. Мне кажется, Филлипс понял это, когда посмотрел мне в глаза. Одна единственная глава пробила броню, в которую я, не зная того, был закован в течение сорока двух лет. Понятно, что я не знал Бога. *И могло ли быть иначе?* Ведь я думал только о себе. Я делал все, я всего добивался, я преус-

пел, и я ни разу не поблагодарил Бога ни за это, ни за один из Его даров. Я никогда не думал ни о чем, что было бы "неизмеримо выше" меня, и если и бывали короткие мгновения, когда я задумывался над бесконечной силой Бога, то я не считал, что Он имеет отношение к моей жизни. В те короткие минуты, пока Том читал, я взглянул на себя по-новому. И то, что я увидел, было отвратительно.

"Что скажешь, Чак?" — вопрос Тома вырвал меня из состояния транса. Я прекрасно знал, что он имеет в виду: готов ли я сделать шаг к вере, как он когда-то в Нью-Йорке, и "принять" Христа?

"Том, я потрясен, не стану скрывать. Эта книга описывает меня. Но не могу тебе сказать, что я готов повторить твой шаг. Мне нужно до конца убедиться. Мне нужно еще многое прояснить, избавиться от всех сомнений. Нужно еще найти ответы на многие вопросы", — ответил я.

Какое-то мгновение Том казался разочарованным, потом улыбнулся и произнес: "Я понимаю, я понимаю".

"Видишь ли, — продолжал я, — я знаю, что многие в морской пехоте обращались к Богу; со мной это тоже однажды произошло. Затем это забывается, и все приходит в норму. Искать в религии убежища — значит использовать Бога в своих целях. Могу ли я повторить твой поступок сейчас? Мир, в котором я жил, рушится. Откуда мне знать, не пытаюсь ли я просто спрятаться от бури, а когда кризис пройдет, не забуду ли я все? Мне нужно ответить на все мои вопросы и, если я смогу это сделать, тогда я сделаю этот шаг".

"Я понимаю", — ответил Том спокойно.

Я был обрадован тем, что он понял, но в глубине души мне хотелось, чтобы он не отступал. У него все выходило так понятно — никто до него не говорил так о Боге.

Но Том отступил. Вручив мне *"Просто христианство"*, он сказал: "Когда ты это прочтешь, я советую прочесть Евангелие от Иоанна из Библии". Под его диктовку я записал номера важнейших стихов. "Также в Вашингтоне есть человек, с которым ты мог бы встретиться, — продолжил Том. — Его зовут Даг Коу. Он собирает людей для христианского общения: молитвенных завтраков и тому подобного. Я попрошу его с тобой связаться".

Затем Том взял в руки Библию и прочел несколько любимых псалмов. Сладостные слова были словно спасительное лекарство. Впервые в жизни знакомые строки, без выражения проговариваемые в церкви, стали для меня живыми. "Уповай на Господа", —

помню, прочел Том, и в тот момент я очень этого хотел; если бы только мне знать, как это делать, если бы только быть во всем уверенным.

"Может быть, помолимся вместе, Чак?" — спросил Том, закрывая Библию и откладывая ее на стоявший рядом столик.

Удивленный, я отвлекся от своих мыслей. "Да, почему бы нет, конечно", — сказал я. Я ни с кем до того не молился, за исключением тех случаев, когда кто-нибудь благословлял пищу. Том склонил голову, сложил вместе руки и присел на краешек дивана. "Господь, — начал он, — мы молимся за Чака и его семью, за то, чтобы ты открыл его сердце и указал ему свет и путь..."

Когда Том говорил, я почувствовал, что меня словно что-то наполняет — какая-то энергия. Затем я ощутил прилив чувств и чуть было не заплакал. Я поборол в себе слезы. Том говорил так, словно обращался непосредственно к Богу, словно Тот сидел рядом с ним. Все молитвы, которые я слышал до этого, были стереотипными и изобиловали устаревшими словами.

Когда он закончил, наступила долгая тишина. Я знал, что он ждет, чтобы я помолился, но я не знал, что сказать и слишком стеснялся, чтобы попробовать. Мы прошли в кухню, где по-прежнему была Джерт; она читала, сидя за большим столом. Я поблагодарил ее и Тома за гостеприимство.

"Приезжайте еще, хорошо?" — ее улыбка убедила меня, что она говорит искренне.

"Счастливо тебе, Чак, и сообщи мне, что ты думаешь о книге, ладно? — сказав это, Том положил мне руку на плечо и улыбнулся. — До скорого".

Я был немногословен; я боялся, что задрожит голос, но у меня действительно *было* чувство, что мы скоро увидимся. И мне не терпелось поскорее прочесть его книгу.

На улице, где было уже темно, эмоции, которые я держал весь вечер в кулаке, стали постепенно высвобождаться. Пока я искал в темноте правильный ключ, глаза наполнились слезами. Я со злобой смахнул их с лица и завел мотор. "Что со мной?" — спросил я неведомого собеседника.

Слезы вновь полились, и внезапно я понял, что должен вернуться и помолиться с Томом. Я выключил двигатель и вылез из машины. Пока я это делал, сперва на кухне, потом и в столовой погас свет. Через высокое окно гостиной я видел, как Том остановился перед

лестницей, по которой Джерт уже шла наверх. Теперь свет потух в гостиной. Было слишком поздно. Я постоял некоторое время, глядя на темный дом, в котором светилося только окно спальни наверху. Почему я не помолился, когда он дал мне возможность? Мне же так хотелось. А теперь я был один, по-настоящему один.

Когда я стал отъезжать от дома, слезы потекли ручьем. Не было ни фонарей, ни луны. Фары освещали участок дороги перед машиной, но я плакал так сильно, что, казалось, плыву под водой. Я свернул на обочину не больше, чем в ста ярдах от въезда на территорию Тома; колеса мягко утонули в ковре сосновых иголок.

Помню, я надеялся, что Том и Джерт не услышат моих рыданий — это был единственный звук, наряду с треском цикад, раздававшийся в ночи. Уткнувшись в лицо руками и положив голову на руль, я забыл о культе мужественности, о притворстве, о страхе оказаться слабым. И сделав это, я почувствовал редкое облегчение. Затем у меня возникло странное ощущение, что вода течет у меня не только по щекам, но и внутри всего тела, очищая и успокаивая его. То не были слезы печали, раскаяния или радости — но слезы облегчения.

И тогда я произнес свою первую молитву Богу: "Боже, я не знаю, как Тебя найти, но я попытаюсь! Я мало что представляю из себя сейчас, но я хочу отдать себя Тебе". Я не знал, как мне говорить дальше, поэтому я просто повторял слова: *"Прими меня"*.

Я не принял тогда Христа — я все еще не знал, Кто Он. Мой разум хотел, чтобы я сначала все выяснил, чтобы я знал, что делаю, и знал это твердо. В ту ночь я ощутил только сильное желание покориться — кому и чему, я тогда еще не знал.

Может полчаса, может дольше я сидел с мокрыми глазами в машине, молился, думал. Кругом никого не было, только темная спокойная ночь. Тем не менее, впервые в жизни я не был совершенно один.



9

Коттедж у моря

На следующее утро мы с Патти отбывали на неделю в Мейн, поэтому мама и папа встали рано, чтобы нас проводить. По беспокойным глазам отца я понял, о чем мы будем говорить, когда он предложил нам прогуляться вдвоем за дом.

"Ты уверен, сын, что никто ничего не говорил тебе о взломе до того, как это произошло?" — спросил он. Мы говорили об Уотергейте вечером в воскресенье, но по адвокатской привычке он все еще сомневался.

"Абсолютно, пап. Я вспомнил все свои разговоры. Ничего не было", — ответил я.

Когда мы стали подниматься по слегка откосой лужайке, шаги папы сделались неуверенными. Я впервые понял, как быстро годы — ему теперь было семьдесят три — берут свое. Под блестящей на утреннем солнце белоснежной щетиной коротко подстриженных волос виднелись новые морщины, лоб и лицо прорезали складки.

"Я прочитал вчера вечером весь материал по Уотергейту и просто не понимаю, как можно тебя к этому притянуть. Ты уверен, что рассказал мне все?" — поинтересовался он в последний раз.

Когда я заверил его в этом, на его лице опять появилась добродушная улыбка. Они с мамой обняли нас на прощание, я вывел машину на дорогу, и мы направились к мейнскому побережью. Одетая в слаксы и свитер, Патти радостно улыбалась и охотно щебетала о

лобстерах, моллюсках и мелькающих мимо пейзажах. Впервые за много месяцев мы были одни.

Но я был слишком занят своими мыслями, чтобы составить хорошую компанию. Я думал не об Уотергейте, а о своем визите к Тому Филлипсу. Я предполагал, что проснусь с чувством неловкости от вчерашнего неуправляемого всплеска эмоций, но оказалось вовсе не так. Чувство свободы по-прежнему было со мной, в моем духе. Со мной происходило что-то важное, но что? Может быть, я найду ответ в этой книге — *"Просто христианство"*.

Какое место может лучше подходить для разрешения сердечных вопросов, чем океанское побережье? С детских лет, когда я любил прогуливаться по каменистому берегу Уинтропа в Массачусетсе, море имело для меня особую важность. Я всегда становился моложе, теряясь в его просторах, ощущал его силу, когда разбивающиеся о мшистые скалы волны поднимали фонтаны пены.

Когда однажды, под конец выборной кампании 1960 года, я был практически парализован одновременно усталостью и тревогой, то оставил выборный штаб и поехал к любимому месту в Глоусестере. Там, стоя на краю утеса и любуясь разбивающимися о скалы волнами, которые потом превращались в каскад небольших бурунчиков, я почувствовал новые силы. Туда же я приезжал и потом, когда искал ответа относительно первого брака. Стоя теперь перед лицом важнейшего выбора, я надеялся, что море опять поможет мне найти необходимые силы и ясность ума.

Через четыре часа мы с Патти приехали в бухту Бутбей, небольшую рыбацкую деревню с портом, расположенную в 180 милях от Бостона. Вдоль узких деревенских улочек расположились крытые серой черепицей дома с покатыми крышами. Прохладные восточные ветры наполняли воздух солоноватым запахом рыбы и моря, свойственным прибрежным городкам Новой Англии. Несмотря на внушительный возраст, все в Бутбее выглядело только что начищенным, даже местные рыбаки в огромных плащах и высоких сапогах, с козырьками, закрывающими их обветренные, морщинистые лица от блеска солнца и моря.

Не сделав предварительного заказа, мы, минуя центральную часть городка, поехали по петляющей прибрежной дороге, надеясь найти какое-нибудь укромное местечко для проживания. Мы отъехали уже на двенадцать миль, когда Патти заметила крохотную гостиницу на краю длинной и узкой полосы, выдающейся прямо в Атлан-

тику. "Может быть, там нас никто не узнает", — согласился я, устав от всякого рода любопытствующих, коллекционеров автографов, защитников и противников Никсона, всегда готовых в деталях поделиться своей точкой зрения, как правило длинно и эмоционально.

С опаской мы въехали по фунтовой дороге на небольшую дамбу, под которой десятью футами ниже, плескалось море. Дамба соединяла то, что некогда было небольшим скалистым островком с большой землей. Хозяином гостиницы был высокий и худой молодой человек с непроницаемым выражением лица; он вопросительно оглядел нас с ног до головы внимательным взглядом, столь характерным для недоверчивых жителей восточного побережья и показал нам один коттедж, который, к нашему удивлению, был свободен на неделю. Он нас устраивал идеально. Огромная комната и большая открытая терраса высились над скалами и морем.

Патти, несказанно обрадованная нашим открытием, начала распаковывать вещи, а я вернулся в контору. Пока я расписывался в журнале и ждал, хозяин гостиницы разговаривал с одним из своих работников. Затем он повернулся и посмотрел на меня с любопытством.

— Так Вы Колсон?

— Верно.

— Из Мак-Лина. Это под Вашингтоном?

Он недоверчиво посмотрел на написанный мной адрес. Сердце замерло у меня в груди; Уотергейт догнал меня и здесь, на этом крошечном скалистом островке.

— Мне друг сказал, что Вы знаменитость, — он не улыбался.

— Да нет, куда там.

— Вас показывали по телевизору?

— Ну, несколько раз. В связи с уотергейтским делом, — признался я. Какой смысл записаться?

— Угу, — затем длинная пауза и пристальный взгляд. — Уотергейт все еще продолжается?

Слово "угу" людьми в этих местах обычно произносится сильно в нос и означает "да", "может быть", "я не знаю", "это интересно" и многое другое.

— Да, он все еще продолжается.

— А-а, я думал он закончился в июне. У меня телевизор сгорел.

На этом, по-прежнему не улыбаясь, он вручил мне ключ.

Мне не терпелось побыстрее рассказать об этом Патти. Ура! Мы

нашли место, где не работает телевизор. И у нас под окном шумит море, великолепный темно-синий океан. "Какая удивительная возможность хорошенько отдохнуть", — сказал я Патти. *Какая прекрасная возможность подумать о Боге*, сказал я себе.

В первый же вечер я достал книжку Льюиса и приготовил тетрадь для записи ключевых мыслей, что вполне напоминало мою подготовку к важному делу в суде. В порыве чувств прошлой ночью я подчинил себя чему-то — или Кому-то. Теперь мой жизненный опыт этому противился. Я привык считать, что анализ должен предшествовать решению, что аргументы "за" и "против" нужно аккуратно выписать в две колонки. Я сомневался, смогу ли преодолеть интеллектуальные барьеры и умом поверить в то, что чувствовало мое сердце.

На первой странице тетради я написал: "Есть ли Бог?"

Возвращаясь мысленно в прошлое, я вспомнил ночь двадцатилетней давности, когда с палубы миноносца "*Милетт*", курсирующего у берегов Гватемалы, я всматривался в необъятную черноту неба. Было совершенно непонятно, как эта изумительная Вселенная, эти мерцающие галактики и звезды могут находиться в такой идеальной гармонии без помощи некой поразительной силы, изначально создавшей все это. Существование подобной силы, превосходящей человеческую, было для меня несомненным. И я охотно называл эту силу Богом.

Затем я вспомнил один прекрасный момент семилетней давности. Летом 1966 я купил своим мальчикам четырнадцатифутовую парусную лодку и привез ее к одному другу, жившему у озера, чтобы там научить ребят ходить под парусом. Кристиан, которому тогда было десять лет, был в таком восхищении от подарка, что, несмотря на накрапывавший в день нашего приезда дождик, все равно был намерен спустить лодку на воду.

Когда лодка отошла от причала, стало тихо, и слышался только плеск воды под корпусом и похлопывание паруса, когда менялся ветер. Я сидел на корме, следя за рулем, а Крис, одетый в оранжевый плащ, был по центру, где держал шкот. Когда он понял, что управляет лодкой, его ангельское личико просияло, в глазах появилась радость первооткрывательства, руки восторженно ощутили силу ветра. Я вспомнил, что в тот незабываемый момент тихо обратился к Богу. Я даже мог воспроизвести в точности свои слова: "Спасибо, Боже, за то, что Ты дал мне такого сына, за эту удивительную минуту. Гля-

дя в глаза этого мальчика, я понимаю, что жил не зря. Что бы ни случилось со мной в будущем, пусть даже я завтра умру, моя жизнь имела огромный смысл. Спасибо Тебе".

Впоследствии, я был озадачен, когда понял, что разговаривал с Богом, коль скоро мой разум не признавал Его существования как Личности. Это было произвольным выражением благодарности, которое пошло в обход ума, приняв на веру то, чего моя логика никогда не допускала. Более того, этот случай показал, что общение с непознанным Богом возможно. Почему бы еще я стал говорить, если бы глубоко внутри не чувствовал, что Кто-то? где-то слушает меня?

Возможно, — подумал я, — К. С. Льюис говорит о Боге именно на этом интуитивном, эмоциональном уровне. Я открыл "Просто христианство" и, вопреки ожиданиям, оказался лицом к лицу с сознанием настолько дисциплинированным, настолько ясным и неумолимо логичным, что мог только быть благодарным судьбе за то, что ниразу не столкнулся с автором в зале суда. Скоро я исписал уже две тетрадные страницы доводами "за" под моим вопросом: "Есть ли Бог?"

В колонке "против" были перечислены традиционные сомнения, такие типичные для нашего материалистического, безоглядно доверяющего науке общества: мы не можем увидеть, услышать или почувствовать Бога.

Или можем?

Что произошло со мной, когда мы сидели с Томом Филлипсом на террасе его дома? Что я ощутил? Любовь? Во мне действовала какая-то невидимая сила. А я всегда считал, что невидимые силы более могущественны, чем видимые.

Цилиндровый двигатель мощностью в 280 лошадиных сил может толкать, с учетом трения, определенное количество фунтов, но не больше, чем предписывает известный физический закон. Двигатель сделан из стали, его существование очевидно для всякого человека. Тем не менее, любовь, которой никто не видит, толкает на разнообразнейшие поступки отдельных людей и целые народы. Любовь на моем веку заставила одного человека отказаться от царства. Другого рода любовь заставляет солдата накрыть собственным телом гранату, упавшую посреди его товарищей. Любовь несравнимо сильнее любого известного двигателя.

Я стал обдумывать эту мысль дальше. Закон доступен нам в ощущениях тогда, когда он записан на бумаге, но существует он только в той степени, в какой заставляет людей совершать или не совершать

определенные действия. В таком случае, его истинная сила лежит за пределами того, что мы видим и осязаем, а заключается в том, что люди считают и во что они верят.

Как адвокат я был очень впечатлен доводами Льюиса в пользу объективности существования нравственного закона, который с удивительным постоянством осознавался людьми всех стран и времен. Совсем не человек, я впервые это понял, поддерживал существование нравственного закона; он выжил, несмотря на все попытки человека уничтожить его. Длительное существование этого закона, следовательно, предполагает наличие за ним какой-то иной воли. Опять мы приходим к Богу.

На следующий день рано утром я снова вернулся к книге Льюиса, к своей тетради и вопросам. Патти начинала посматривать на меня как-то странно. Обычно, когда мы оказывались на новом месте, я был неугомонен, любопытен, жаждал осмотреть все интересные места; здесь же я тихо сидел, уткнувшись в книгу.

Если любящий Бог существует, то, естественно, сразу возникает вопрос: "Если Он благ, почему Он допускает существование в мире зла?" Опять мое адвокатское мышление прибегло к полезной параллели. В начале Бог дал человеку во владение сотворенную Им Землю (см. Бытие 1:26-30). Другими словами, пользуясь юридическим языком, он сделал нас своими доверенными лицами.

Теория передачи власти доверенному лицу предполагает определенную свободу действий этого лица, не просто механическое исполнение чьих-то указаний. Доверенное лицо имеет определенный, как говорят юристы, *спектр* полномочий; они могут действовать в определенных пределах. Подобно тому, как в юрисдикции оговариваются границы полномочий, Бог изложил свои условия в Библии.

Но в то же время Он дал нам свободу воли. В этом, разумеется, суть; стоит дать человеку немного меньше свободы, и он уже не доверенное лицо; дающий будет вынужден все делать сам. Имея свободную волю, мы можем также просто превышать свои полномочия и нарушать Его указания, как это делает какое-нибудь доверенное лицо в юридической практике. А это случается каждый день; это охотно подтвердят сотни юристов. Подобно превышению полномочий в юридическом мире, человек часто нарушает границы полномочий, установленные Создателем.

История подтверждает этот взгляд. С древнейших времен именно нарушение человеком указаний Бога, его вражда по отношению к

своим братьям была причиной всех людских несчастий. И, вполне возможно, что так и будет продолжаться.

Чтобы понять это, мне пришлось вернуться к словам, с которых начал беседу Том Филлипс: гордость и эгоизм. Льюис писал об этом так: "Как только у вас появляется своя воля, у вас появляется и возможность поставить себя на первое место, появляется желание стать главным — стать Богом..." С каким ужасом я увидел все это в своей жизни.

В течение этого второго дня я набрался смелости и намекнул Патти о путешествии, которое начал. "Милая, ты ведь веришь в Бога?" — спросил я. Мы оба сидели на террасе и читали. Патти уже один раз спрашивала меня о моей маленькой бело-зеленой книжке, о которой я сказал только, что мне ее дал Том Филлипс.

"Ты же знаешь, что верю", — ответила она и в ее глазах мелькнуло беспокойство — старое, никогда не высказываемое опасение, что однажды я, возможно, попытаюсь разубедить ее относительно римского католицизма.

"Но ты когда-нибудь задумывалась над этим по-настоящему, глубоко? О том, скажем, Кто такой Бог, и как Он за нами наблюдает, и почему Он нас создал — о таких вещах?" — продолжал я.

Беспокойство в глазах Патти сменилось полным недоумением: "Что за книгу ты читаешь?"

За те десять лет, что мы женаты, подумал я, *мы ни разу не говорили о Боге*; говорили иногда о религии, когда Патти чувствовала необходимость поделиться своими чувствами относительно исповеди и причастия, сказать о значимости мессы. Но это процедурные моменты. Мы никогда не касались главного, живого Бога, веры, живущей в глубине каждого из нас. Мы через столько прошли вместе, но ни разу не касались самой сути жизни. Сколь же поверхностны даже самые близкие человеческие отношения!

"Наверное, я чего-то ищу, — объяснил я. — Я пытаюсь понять, что имеет смысл, а что нет; кто мы такие; кто я по отношению к Богу". Затем я частично рассказал ей о вечере у Тома Филлипса: не о слезах, но об ужасном открытии относительно себя, и все очень сглаженно, не желая признаваться в том, как сильно были задеты мои чувства. Она смотрела на меня с подозрением, но была, несомненно, поражена рассказом.

"Понимаешь, я пытаюсь отыскать ответы, а эта книжка просто потрясающая", — продолжал я.

"Может быть, тебе поговорить со священником?" — предложила Патти, которая теперь (я это видел по сочувствию в глазах) очень хотела мне помочь, потому что поняла искренность моих душевных переживаний, увидела, что я не шучу и не пытаюсь скоротать время за пустым разговором. Патти — это самый душевный, самый заботливый человек из всех, кого я знаю, человек, принимающий чужие проблемы как свои и всегда разделяющий всю тяжесть моих бед и переживаний.

Я сдержался, едва не сказав резко: "Ни один священник или служитель не объяснил мне ничего из этого за последние сорок лет". Кто я такой, чтобы тыкать в людей пальцем? Я никогда и не стремился понять, вероятно, никогда и не слушал толком. И теперь впервые в жизни объяснение Льюиса и пример Филлипса открывали мне совершенно новый мир.

Мы говорили до позднего вечера, и снаружи нам был слышен звон буюв, направлявших ловцов омаров сквозь ранний туман, и плеск волн где-то внизу под окнами. Я испытал большое облегчение от того, что рассказан Патти о своих попытках обрести внутренний мир, ввести противоядие от болезни, которая, подобно вампиру, высасывала из меня жизнь в течение восьми долгих месяцев, начиная с самого дня прошлогодних выборов. Мы закончили разговор на том, что решили достать по возвращении семейную Библию и начать ее читать.

На следующее утро, когда я продолжил читать, подчеркивать, делать пометки, разрешился другой важный вопрос. Если Бог слушает мои молитвы, как Он может слушать и миллионы других молитв, звучащих одновременно?

Этот вопрос способен озадачить ограниченный человеческий разум. Нам так же трудно понять, где заканчивается Вселенная, а если она заканчивается, то что находится дальше? Льюис освещает эти вопросы в главе "Время и вне времени": "Бог находится вне времени и пространства". И теперь существуют внушительные научные доказательства того, что время относительно, что оно не является абсолютной величиной.

Коль скоро Творец конечной Вселенной не ограничен временем, то сам факт того, что Он может одновременно слушать четыре миллиарда молитв, перестает быть каким-то поразительным фокусом, как считал мой человеческий ум. Это было трудно понять только до тех пор, пока своим ограниченным умом я пытался втиснуть эту

концепцию в ограниченные пределы. Я не могу объяснить этого так же, как не могу сказать, что находится за пределами звезд, но простое понимание невозможности этого — само по себе очень важный ответ.

Все это укрепило мою уверенность в том, что любящий и бесконечный Бог существует, но едва ли объяснило, что Том действительно имел в виду, сказав "принять Христа". Каким образом Иисус Христос вписывается в картину? Индусы верят в Бога и в то, что Ему можно поклоняться практически каким угодно образом. Все мои размышления пока что привели меня только к индуизму.

Центральное положение книги Льюиса и суть христианства сводятся к одному поразительному утверждению: Иисус Христос — это Бог (см. Евангелие от Иоанна 10:30). Не просто часть Бога, или посланник Бога, или человек, имеющий отношение к Богу. Он был (а следовательно, и сейчас является) Богом.

Чем больше я размышлял над этими словами, тем грандиознее они становились, сметая с пути все мои старые удобные концепции, с которыми я шел по жизни и о которых никогда по-настоящему не задумывался. Льюис ставил вопрос настолько бескомпромиссно, что отмахнуться от него было невозможно: чтобы говорить, как Он говорил, жить, как Он жил, и умереть, как Он умер, Он должен быть либо Богом, либо сумасшедшим.

Я оказался перед выбором — простым, однозначным, немного пугающим, в котором не было ни градаций, ни оттенков, ни возможностей компромисса. Никто раньше не ставил меня перед лицом этой истины так же прямо, так же резко. Я всегда довольствовался тем, что считал Христа вдохновленным свыше пророком и учителем, ходившим по Святой Земле две тысячи лет назад и видевшим на несколько порядков дальше людей своего времени, а также, вполне возможно, и всех других. *Но, если думать о Христе так, решил я, тогда христианство — просто полумера, просто подслащенная пилюля по воскресеньям.*

В то солнечное утро на мейнском побережье, где свежий ветер гонял по поверхности океана белых барашков, мне было трудно уразуметь всеобъемлемость этой мысли — что Христос есть живой Бог, Который обещает нам ежедневное живое общение с Ним, с Ним лично.

Каждый из предыдущих шагов был важен, чтобы подойти к этой мысли, но, когда это произошло, они показались почти не имею-

щими значения. Вопрос Льюиса был сутью дела. Слова, одновременно радостные и тревожные, взволновали меня: Христос — Бог или сумасшедший?

Даже атеисты признают, что приход Христа изменил ход истории. К примеру, наше летоисчисление основано на дате Его рождения. В мирском понимании, Он не имел никакой власти — ни денег, ни армий, ни вооружения — и, тем не менее, Он изменил политическую ориентацию многих стран. Миллионы и миллионы людей следовали Его заветам и словам. Никакое произведение искусства даже близко не может сравниться с воздействием Священного Писания, в котором описывается жизнь Христа и которое сегодня также актуально, как и почти две тысячи лет назад. Величественные церкви, в которые веками вкладывались усилия и огромные средства, были построены в качестве алтаря Христу. Могло ли это быть результатом жизненной деятельности сумасшедшего или даже нормального человека? Чем больше я думал о доказательствах, тем более убедительными они мне казались.

Моя юридическая подготовка натолкнула меня на другую параллель. Наша юридическая система основана на принципе "*stare decisis*", в соответствии с которым решение суда является прецедентом, имеющим силу закона, если хотя бы раз оно было выполнено или принято; вся система основана на прецедентах и презумпциях, опирающихся, в свою очередь, на более ранние решения. Это ключ к стабильности закона, к подключению к нему исторического опыта.

К примеру, самое важное решение Верховного Суда, изучаемое в юридических школах, — решение по делу *Марбери против Мэдисона*. В Конституции отцы-основатели нигде не дают Верховному Суду право рассматривать конституционность решений Конгресса. Суд приобрел это право много позже написания Конституции, в результате этого знаменитого дела.

Сегодня никто не оспаривает право Суда давать юридическую оценку — это случалось уже сотни раз и часто имело решающее воздействие. Даже студент выпускного курса предпочтет доказать правильность решения по делу *Марбери против Мэдисона*: он немногого добьется, если возьмется доказать обратное — настолько прочно утвердилось знаменитое решение в практике.

Так почему меня должны как раньше волновать обвинения в слепом следовании за большинством, которое принимает Христа? И почему я должен так упорно оспаривать христианские концепции,

когда я охотно принимаю на веру юридические принципы, которые гораздо меньше проверены временем, нежели истинность слов и дел Плотника из Назарета?

Оказавшись лицом к лицу с поразительным предположением, что Он — Бог, я почувствовал себя загнанным в угол, отрезанным от всех путей к отступлению, бессильным пойти на удобный компромисс, заключающийся в том, что Иисус — просто великий учитель. Если Он не Бог, то Он — ничто, уж по крайней мере, не великий учитель. Потому что Его учение подразумевало, что Он — действительно Бог. А если Он не Бог, то, значит, Он допустил величайший на свете обман, чего уже вполне достаточно, чтобы лишить Его всякого морального права называться учителем.

Я не мог, это было очевидно, принять Его на чуть более выгодных условиях — пусть это проще и менее обременительно для сознания, пусть это требует от меня меньше веры и накладывает меньше обязательств. Это было бы подменой Его разума моим, использованием христианства для подкрепления *собственных* измышлений.

Внезапно я понял, что полное отрицание Христа, неприятие Его как сумасшедшего, пользуясь словом Льюиса, является меньшей ересью, чем переименование Его в кого-то, кем Он не был (и не является сейчас). Иисус предлагает нам выбор — либо все, либо ничего. Если я хотел поверить в Бога, то должен был принять Его таким, каким Он открывает Себя, а не таким, каким я хотел бы Его видеть.

Мы с Патти решили провести вечер четверга в Бутбей Харбор. На ступенях городской библиотеки выступал небольшой местный оркестрик — оригинальное и приятное украшение лета в Новой Англии. Возможно, Артур Фидлер сравнил бы звучащую музыку со скрежетом ногтей о стекло, но нам понравился каждый диссонансный звук, производимый с искренним увлечением и любовью.

Оркестранты были всевозможных возрастов и размеров — от подростка, игравшего на трубе, которому не могло быть больше двенадцати, и очаровательной девочки-подростка с косичками на барабанах, с прыщиками на лице, одетой в простое пестрое платье, почти закрывавшее ее острые коленки, до восьмидесятилетнего, а то и больше, старика, игравшего на тромбоне, с белоснежной копной волос и морщинистым серьезным лицом, в джинсовом комбинезоне, свисающем с его округлых плеч. В целом, пятнадцать музыкантов выстроились вдоль широких деревянных ступеней большого

крытого черепицей здания, с карнизов которого свисали вековой давности украшения и шары, блестя в свете двух мощных прожекторов.

Это было похоже на ожившую статью Нормана Рокуэлла из газеты *"Сэтедей Ивнинг Пост"*, бесценный образец подлинной Америки, нетронутой тем, что современное общество называет прогрессом. На зеленом газоне расположились туристы, дети с сахарной ватой в руках и множество местных жителей, для которых концерт был главным развлечением недели.

Звуки песни "Когда входят святые" сливались со свежестью ночного воздуха и запахом соли. Рассматривая лица в толпе, я понял, что в них появилось что-то совершенно новое. Каждый, включая малышей со следами сахарной ваты на щеках, казался мне неповторимым человеческим существом, Божьим ребенком. Раньше лица в толпе всегда сливались, превращаясь в неясный людской рисунок. Возможно, это новое понимание возникло благодаря другому отрывку из книги Льюиса, который, словно ловкий удар кегли, разбивал многие привычные политические идеалы.

"А бессмертие провело другую границу, ту самую, которую со временем увязали с различием между тоталитаризмом и демократией. Если индивидуум живет только семьдесят лет, тогда государство или нация, которые могут просуществовать тысячелетие, важнее индивидуума. Но, если христианство истинно, тогда индивидуум не просто важнее, а несравнимо важнее, потому что он вечен, и существование государства или цивилизации по сравнению с его жизнью — только мгновение".

Самый незначительный человек важнее государства и народа! После этой мысли я долго не мог отдышаться. Тем не менее, я всегда считал себя консервативным сторонником Джефферсона, искренне верящим в то, что государство существует для того, чтобы служить человеку и с согласия человека. Произошедшая со мной перемена была понятна: всякий, кто работает в правительстве, становится в какой-то мере приверженцем государства, стремящимся сохранить его в неизменном виде, порой любой ценой. Таким образом, главенствующее положение отдельного человека постепенно сводится на нет. Вся юридическая система, к примеру, нацелена на то, чтобы поддерживать в государстве стабильность — даже если в процессе приходится попираť права некоторых людей. Тогда, как ни тяжело

это было переварить, но я был вынужден признать, что права доктора Даниэля Эллсберга являются важнее сохранения государственного секрета.

Политические убеждения, вынесенные мной из чтения Локка и Джефферсона, оказались не очень стойкими и в периоды правительственных кризисов легко смирялись с "временными поправками", служили сиюминутным нуждам.

Но если Христос истинен, если один раз в жизни необходимо принять главное решение, то тогда я оказался перед самой сущью, и к этому надо отнестись с полной серьезностью. Изменит ли Христос коренным образом мое отношение к жизни — и вместе с тем, к ближнему, врагу, другу, незнакомцу? Я очень переживал. Может быть, во всем была виновата музыка, ностальгический момент, уединение от мира, которое находишь в Бутбей Харбор, штат Мейн? Тем не менее, я знал, что в моем сердце действует сила, которая требует, чтобы я пересмотрел всю свою жизнь.

Когда мы вернулись в гостиницу, меня снова стали терзать сомнения. Не ищу ли я просто укрытия от бури, временного убежища? Что со мной произошло, когда я уезжал от Филлипсов? Несмотря на изменившееся сердце и невероятное открытие об Иисусе Христе, не было ли это просто стремлением найти в религии последнюю возможность спасти себя, когда все остальное в моем мире рушилось?

Не надеялся ли я, что Бог позволит мне сохранить мой мир таким, какой он есть? Законные опасения, мне кажется. Несомненно, многие обвинят меня в том, что я просто решил выйти из игры, когда дела стали плохи. Но мог ли я принимать решение, исходя из того, как на это отреагирует мир?

Нет, я чувствовал, что настал мой час: я не мог обойти главный вопрос, который Льюис (или Бог) прямо ставил передо мной. Согласен ли я принять без всяких оговорок Иисуса Христа как Господа? Это было похоже на открытую передо мной дверь. Обойти ее было невозможно. Либо я войду в нее, либо останусь снаружи. "Может быть" или "мне нужно подумать" — все это было бы самообманом.

И чем больше я понимал этот выбор, тем менее странным казалось мне выражение "принять Иисуса Христа". Сперва оно мне казалось одновременно набожным и мистическим, подходящим для фанатика или черного мага. Но "принять" означает не что иное, как просто "поверить". Верил ли я в то, что говорил Иисус? Если да, будь то на сердечном или логическом уровне, или на обоих, тогда я

"принимал". Ничего непонятного и мистического, вполне однозначно. Либо я поверю, либо нет; и либо поверю всему, либо ничему.

Поиски, начавшиеся на Мейнском побережье, решил я, поразмыслив, вовсе не были такими уж важными, как мне представлялось. Они просто вернули меня к тому моменту на проселочной дороге, ведущей от дома Филлипсов, когда я покорился Богу и сказал Ему: "Прими меня".

То, что я так тщательно изучал всю неделю, лишь чуть больше открыло мне тот новый мир, где я уже сделал свои первые неуверенные шаги. Неделя на Мейнском побережье даже в нежном возрасте едва ли покажется особенно большим сроком, но у меня было чувство, словно я вернулся из тысячемильной одиссеи.

И вот в пятницу рано утром, когда я сидел один, любуясь морем, мои губы вполне естественно произнесли слова, которые раньше я никогда не понял бы и не сказал: "Господь Иисус, я верю Тебе. Я принимаю Тебя. Пожалуйста, войди в мою жизнь. Я отдаю ее Тебе".

Когда я произнес эти несколько слов под звук глухо шумевшего соленого моря, умственная убежденность соединилась во мне с глубиной чувства. Появилось и еще что-то: сила и спокойствие, удивительная уверенность в жизни, новое понимание себя и мира. Параллельно — старые страхи, озлобленность и напряжение куда-то ушли. Я становился открытым для вещей, которых никогда раньше не замечал; словно Бог до краев заполнял зияющую душевную пустоту последних месяцев каким-то совершенно новым сознанием.

Я написал Тому Филлипсу письмо, в котором сообщил ему о сделанном шаге и поблагодарил за сердечное участие, попросив молиться о предстоящем мне, как я чувствовал, долгом и трудном пути.

Даже в самом невероятном сне я не мог представить, что ждет меня на нем. Какое счастье, что Бог не позволяет нам видеть будущее.



10

Возвращение в Вашингтон

В 7:30 утра около нашего дома в Мак-Лине раздался скрип колес. Когда я открыл дверь, чтобы выпустить нашего штатного шофера, запахи морского побережья в Мейне казались мне уже чем-то далеким. Было утро понедельника, время отправляться на работу.

Стоктон Ван Блэк широко улыбнулся: "Доброе утро, м-р Колсон. Как хорошо, что Вы вернулись". Стоктон всегда был очень приветлив, но раньше я не замечал в его взгляде столько тепла и доброты. Занятый своими мыслями, я обычно умудрялся только буркнуть что-нибудь в ответ.

Когда мы въезжали в город, я с удивлением отметил, что интересуюсь его жизнью и семьей. Я также увидел, как красиво зеленые деревья и кустарник опоясывали шоссе Джорджа Вашингтона, каким чистым и голубым было небо. Внезапно нам открылся вид города, когда мы делали дугообразный поворот за Потомак Ривер: здания из белоснежного мрамора и стекла блестели на солнце; величественный купол Капитолия светился поверх холма, подобно огромной капле.

"А ведь это замечательный вид, Стоктон, не правда ли?" — произнес я и заметил недоумение на лице шофера, посмотревшего на меня в зеркало заднего вида. За окном был тот же самый вид, что и в течение всех тех месяцев, что Стоктон возил меня на работу.

Когда мы засели в пробке нос к носу с другими машинами, мне

удалось прочесть весь номер *"Вашингтон Пост"* без единого гневного возгласа. Если восхищаться зеленью деревьев и небом было для меня необычно, то хотя бы один раз не смять со злобой номер *"Пост"* было действительно серьезной переменой. Даже люди в вестибюле здания моей фирмы показались мне приветливыми — потому, вероятно, что впервые в жизни я по-настоящему обратил на них внимание. Можно почти всегда заметить в этом городе власти и чиновников "важную птицу" — целенаправленная походка и озабоченный вид, когда он проходит, никого не замечая, через толпу, намекают на важность проблем, которые ему приходится решать.

В обычном случае я бы решил, что недельные каникулы придали мне новых сил и обострили восприятие, но я знал, что, на самом деле, за переменой стояло гораздо больше, чем просто отдых. Все действительно изменилось, сильно изменилось по сравнению с тем, как было до Уотергейта и в целом раньше.

Однажды утром на той же неделе Холли связалась со мной по внутренней связи: "К Вам м-р Коу. Он хотел бы увидеться с Вами, но не хочет говорить, кто он. Наверное, он журналист; эти ребята в последнее время просто чего только не придумают". Я вспомнил, что Том говорил, что со мной свяжется человек по имени Даг Коу. Он несомненно не терял времени даром; Том, должно быть, только-только получил мое письмо.

Холли, недоверчивая, как все вашингтонские секретарши, хотела ему отказать: "Если я его впущу, он впутает Вас в какую-нибудь историю". Мне хотелось сказать ей, что я уже "впутался в историю".

Даг Коу вошел в мой офис, словно мы были знакомы много лет. Он поприветствовал меня широкой, дружеской улыбкой и положил мне на плечо руку еще до того, как я успел предложить ему присесть. "Это здорово, просто здорово — все, что Том мне о Вас рассказывал", — сказал он.

Уроженцы Новой Англии по природе очень сдержаны в отношении неизвестных людей. Обычно первые несколько минут я приглядывался к человеку, за простым разговором пытался понять, кто он такой; так домашняя собака обнюхивает новое животное, появившееся в ее дворе. Но Даг в первые же минуты пробился сквозь привычные формальности, бросил мятый плащ на угловой столик и распластался всей своей нескладной двухметровой фигурой в одном из кожаных кресел, закинув на его ручку ногу и беспрестанно улыбаясь.

Пока мы говорили, я разглядел удивительно красивого мужчину с коротко подстриженными вьющимися черными волосами, блестящими белыми зубами и не сходящей с лица заразительной улыбкой. Через несколько минут я понял, что в нем присутствовали искренность и радость, которые я чувствовал в Томе Филлипсе.

"Том позвонил мне и — я надеюсь, Вы не будете возражать — прочел мне Ваше письмо", — Даг Коу наблюдал за моей реакцией.

Естественно, буду, подумал я. Но в его глазах светилась такая доброта, что я смягчился.

"Как замечательно что все произошло именно так", — сказал Даг с теплотой, от которой в комнате стало светлее.

Все равно, то, что произошло касается только меня и Бога, подумал я. Никто не рассказывает налево и направо о таких вещах, по крайней мере, не говорит о них практически незнакомым людям. Но почему-то Даг Коу не казался мне незнакомцем. Из разговора я понял, что Даг приехал в Вашингтон с сенатором Марком Хатфилдом, своим старым другом еще со времен их совместного обучения в Вилламетском университете в Орегоне. В Вашингтоне он работал с участниками молитвенных завтраков, вдохновителем которых был бывший сенатор Фрэнк Карлсон из Канзаса. Я мог видеть Дага раньше: он много был связан с Сенатом. Но мы с ним не встречались. Тем не менее, мне казалось, что я знал его всю жизнь.

Вскоре я заметил, что с растущим увлечением рассказываю о случившемся после разговора с Филлисом и о том логическом дознании, которое я предпринял в уединенном домике в Мейне. "И вот, Даг, я попросил Христа войти в мою жизнь. Вот и вся история", — заключил я.

В первый раз в жизни я рассказал о своем поступке другому человеку, и прозвучавшие слова поразили меня своей странностью. Улыбка Коу сделалась шире и глаза заблестели, когда он произнес еще раз: "Это поразительно, просто потрясающе..." Затем Даг сменил тему: "Вам нужно увидеться с сенатором Хьюзом. Гарольд — замечательный христианин".

Я рассмеялся. "Гарольд Хьюз ни за что не захочет меня видеть. Судя по тому, что я слышал, он считает меня врагом Америки номер один. Он противник войны, Никсона и Колсона, и мы с ним придерживаемся диаметрально противоположных политических взглядов".

— Теперь это не имеет значения, — продолжил Даг с прежней щедростью.

— Вы уверяете меня, что только потому, что я принял Христа, Гарольд Хьюз вот так возьмет и захочет быть моим другом? — произнес я и недоверчиво покачал головой.

— Вот увидишь, Чак. Вот увидишь. По всему городу у тебя будут сотни братьев и сестер, о которых ты и не подозревал и которые хотят тебе помочь. Некоторые из них знают, что мы с тобой разговариваем, и прямо сейчас молятся за нас.

Я посмотрел на Дага широко открытыми глазами. Шесть последних месяцев я только и делал, что отбивался от армии следователей Кокса, от комитета Эрвина и десятка других комитетов, подключавшихся к уотергейтскому спектаклю, да еще от толп журналистов и $\frac{9}{10}$ вашингтонских чиновников — по крайней мере, мне так казалось. Никто за все эти долгие месяцы ни разу не поинтересовался, что нужно *мне*, даже мои старые друзья из Белого дома. Теперь же Даг заявлял, что я не безразличен совершенно незнакомым людям. Эта мысль едва умещалась у меня в голове.

Затем Даг предложил помолиться у меня за столом. Сначала я колебался, представив, что подумают партнеры, если один из них внезапно войдет. Но Даг говорил настолько естественно и спокойно, что успокоился и я. Он поблагодарил Бога за то, что Тот свел нас вместе и позволил нам познать Его любовь. Неуверенно спотыкаясь, произнес свою молитву и я; впервые в жизни я молился вслух с другим человеком.

Мой новый друг вручил затем мне экземпляр Нового Завета в переводе Филлипса, с дарственной надписью: "Чарльзу. Лучше потерпеть неудачу в деле, которое приведет к победе, чем одержать победу в деле, которое потерпит неудачу: Да благословит Вас Бог! Даг. Мф. 6:33".

Как преследовали, а после поддерживали меня эти слова в дни последующих испытаний!

Даг подобрал свой скомканный плащ, сжал мне руку, внимательно и долго посмотрел в глаза и затем, бросив бодрое "до свидания, брат", исчез так стремительно, как и появился. Вместе с ним исчезла и та теплая, дружеская атмосфера, что наполняла комнату. Белые стены кабинета опять выглядели холодно, безучастно, по-деловому.

"Да, Вы провели с ним немало времени. Кто он, Чак?" Холли, слегка обеспокоенная вторжением в наш деловой распорядок, стояла в дверях кабинета. Я даже не заметил, что прошел целый час.

"Друг, Холли, мой хороший друг. Надеюсь, что он будет часто к нам заходить. Да, я в этом уверен", — ответил я.

Даг не преувеличивал, когда сказал, что в городе у меня есть неизвестные друзья. На следующий день мне позвонил Куртис Тарр, заместитель министра иностранных дел, человек, которого Никсон перетащил в Вашингтон из ректорского кресла университета Лоренс и сильной натурой которого я искренне восхищался, хотя и встречался с ним всего один раз. "Чак, если я могу тебе чем-нибудь помочь, звони. Я на твоей стороне. Имей в виду, что у тебя здесь есть друг", — сказал он.

Я был так ошарашен, что даже не знал, что сказать в ответ. Многие из моих давних коллег в администрации Никсона, даже те, которых именно я назначил на их высокие посты, стали удаляться от меня по мере того, как росли обвинения в мой адрес. Люди в политике всегда очень внимательно относятся к своим связям, а большое пятно Уотергейта распространялось даже на сторонних наблюдателей. Тем не менее, в последующие дни едва знакомые мне люди без стеснения заявляли о солидарности со мной под одним и тем же предложением, звучавшим в десятках вариаций: "Раз мы братья во Христе, то должны помогать друг другу". К своему несказанному удивлению я обнаружил, что в правительстве существует целое христианское подполье.

Моральная поддержка не могла прийтись более кстати, если учесть, что резкие и убежденные выступления в защиту президента сделали меня главной мишенью для сорока с лишним адвокатов, большинство из которых были либералами демократической ориентации и обладателями почетных дипломов Гарварда и работали теперь в команде профессора Кокса. Однажды вечером Дейв Шапиро и Джуд Бест позвонили мне из офиса и мягко, насколько это было возможно, сообщили новость: "Большое жюри, занимающееся вопросом о проникновении в кабинет психиатра Эллсберга, заслушивало показания относительно тебя".

"Давайте пойдем к ним. Дайте мне сказать им, что произошло на самом деле", — предложил я что-то невероятно наивное.

"Хорошо, если ты очень хочешь, — сказал Шапиро. — Но вообще-то полагается держаться от Большого жюри подальше, когда оно обсуждает тебя; ты только дашь им дополнительный материал, который они будут использовать против тебя на..."

Дейв осекся, но я закончил фразу за него: "Суде, Дейв, я пони-

маю, но я не успокоюсь, если не попробую. Дайте мне возможность дать показания, и никакого суда не будет".

Дейв, Джуд и я стали добиваться слушания. Примерно неделю спустя мы взобрались на шестой этаж здания Государственного Суда, прошли по едва освещенному коридору мимо угрожающих табличек "Гражданам и работникам средств информации вход воспрещен" и вошли в помещение с голыми стенами, где собиралось Большое жюри по Уотергейту. Мы подождали в приемной, пока главный помощник прокурора по особым делам, Уильям Меррилл, ознакомил Большое жюри с показаниями, которых можно было ожидать от некоего Чарльза Колсона. Я как-то встречался с Мерриллом на совещании в его кабинете. Когда-то он был демократическим кандидатом в конгресс от штата Мичиган и руководил кампанией штата по избранию Роберта Кеннеди в президенты; его политические симпатии были, понятно, не на моей стороне.

Беспокойно шагая по комнате, я старался припомнить все, что вынес из юридической школы относительно свидетельских показаний перед Большим жюри: свидетель должен предстать без адвоката перед двадцатью тремя присяжными, избираемыми из числа граждан. Единственной задачей Большого жюри является решить, достаточно ли сведений предъявлено государственным обвинителем для возбуждения судебного разбирательства против человека. Теоретически, Большое жюри должно защищать человека от безрассудства или злого умысла со стороны обвинения.

В конце концов из внутренней комнаты вышел молодой человек и пригласил следовать за ним. Я прошел через нечто, напоминавшее металлоопределитель, затем мимо одетого в форму охранника с застегнутыми глазами, сидевшего возле двери на стуле, и вошел в комнату для Большого жюри №2. Справа находился скамейкообразный стол, за которым сидели два молодых помощника прокурора. Непосредственно передо мной стоял маленький столик с микрофоном — очевидно, для свидетеля. Рядом со столиком расположилась судебная стенографистка, державшая пальцы на маленьком черном стенографе. В глубине находились один за другим шесть рядов стульев, причем каждый последующий был немного выше предыдущего. С тяжелым чувством я насчитал только три белых лица из двадцати трех присяжных — среди темнокожих американцев Никсон, мягко выражаясь, не пользовался особой популярностью.

Уильям Меррилл стоял перед большим жюри без пиджака, на-

помяная мне благодушного учителя, обращающегося к своим воспитанникам. "Если Вы готовы, — произнес он с улыбкой, глядя поверх своих долькообразных очков для чтения, — мы можем начать задавать вопросы". Председатель Большого жюри произнес клятву, и Меррилл повернулся ко мне.

"Должен сказать, для протокола, что Вы находитесь перед Большим жюри, которое расследует возможность нарушения федерального закона, относящегося к проникновению в кабинет доктора Филдинга в Лос-Анджелесе, который был психиатром Даниэля Эллсберга. Думаю, что мне следует Вам сказать, что на основании заслушанных Большим жюри показаний, Вы являетесь возможным обвиняемым в нарушении некоторых статей Уголовного кодекса, и потому у Вас есть право прибегать к Пятой поправке при ответе на любой вопрос, который я Вам задам, а все Ваши ответы, естественно, могут быть использованы против Вас..."*, — сообщили мне.

Я чувствовал, как у меня под рубашкой начинает выступать холодный пот. Я протянул руку, чтобы взять со стола бумажный стакан с водой, но обнаружил, что она дрожит так сильно, что я не смогу поднести стакан к лицу без того, чтобы не сделать мою нервозность очевидной.

Меррилл повернулся, улыбнулся присяжным и продолжил: "Я также считаю, что до сведения присяжных заседателей следует довести то обстоятельство, если оно соответствует действительности, что Вы находитесь сейчас здесь по собственной просьбе. Понятно ли Вам то, что я сказал, и правда ли это?"

"Я полностью понимаю сказанное, м-р Меррилл, и нахожусь здесь по собственной просьбе, потому что с самого начала я хотел получить возможность рассказать об известных мне событиях все, что я знаю и как можно подробнее", — ответил я.

Я с облегчением отметил, что слова, доносящиеся из динамика, звучат четко и уверенно; по крайней мере, мой голос меня не подвел. После того, как Меррилл закончил предварительные вопросы — имя, род занятий, когда я попал в Белый дом, что делал для президента — один из молодых людей, сидевших рядом за столом, подал ему записку, и я приготовился отвечать на главную часть вопросов. Он начал так: "Помните ли Вы разговор с м-ром Магрудером

* Прим. ред.: все вопросы и ответы на данном слушании взяты из действительного протокола заседаний Большого жюри.

о необходимости получения одной сотни тысяч писем для использования на предварительных выборах в Нью-Гемпшире с целью убедить демократов голосовать за Кеннеди?"

Этот вопрос не имел никакого отношения к делу Эллсберга, и я очень надеялся, что мой голос не выдал моего удивления. Никто за те долгие месяцы, которые длилось уотергейтское расследование, не спрашивал меня об этих письмах, о нашей тайной попытке спровоцировать поток писем на предварительных выборах в Нью-Гемпшире с целью высветить Теда Кеннеди, заставить его либо сняться, либо выставить свою кандидатуру. За этот "грязный" предвыборный прием, характерный для старой школы, я действительно был ответственен.

Я попытался собраться с мыслями. Я был готов подробнейшим образом рассказать обо всем, что знал относительно Эллсберга, но даже не думал о нью-гемпширских письмах. Тем не менее, я правдиво ответил на каждый вопрос Меррилла, сознавая, что семейство Кеннеди находится в почете у большинства негритянского населения Вашингтона. Если этот вопрос имел целью поставить меня в оборонительное положение, то цель была достигнута.

Утреннее слушание было почти целиком посвящено кампании 1972 года, другим, не имеющим связи с Эллсбергом, вопросам и моему отношению к семейству Кеннеди. Меррилл продолжал: "Пытались ли Вы когда-нибудь завербовать отдельных гомосексуалистов или целую группу для оказания поддержки Мак-Говерну или знали о имеющемся намерении это сделать?"

"Нет, сэр", — запротестовал я и увидел, как один из молодых помощников Меррилла недоверчиво закачал головой, к радости некоторых присяжных. В этом, широко освещавшемся некогда, обвинении не было ни на грош правды. Затем дознание повели помощники Меррилла, явно соревновавшиеся в том, кто задаст самый сложный, самый обескураживающий вопрос. Мне казалось, что я вижу перед собой плотные ряды враждебных лиц.

Во время обеденного перерыва Шапиро и Бест тщетно пытались меня подбодрить. Я был разозлен и одновременно обессилен: за два часа, проведенные перед Большим жюри, не прозвучало практически ни одного вопроса по делу, по которому я изъявил желание дать показания.

После того, как Шапиро переговорил с Мерриллом, акцент переместился на дело, заслушиваемое присяжными, — дело Эллсберга. Меррилл очень подробно говорил об имеющихся сведениях, значи-

тельную часть которых я добровольно передал сам, и интерес Большого жюри к происходящему стал угасать. Несколько присяжных, я заметил, читали газеты. Одна очень полная женщина в накрахмаленном платице служанки, сидевшая в первом ряду, все время засыпала, и ее голова то и дело падала на грудь. Как раз, когда я высказывал какую-то важную мысль, она клевала головой вниз, и в аудитории раздавалось хихиканье. Другой человек в заднем ряду из всех сил старался не заснуть и громко зевал.

В какой-то момент Мерриллу все-таки удалось привлечь их внимание: "Говорили ли вы когда-нибудь, что хотели бы *очернить Элсберга*?" Скрепя сердце, я признал, что однажды употребил это выражение в служебной записке. Было совершенно бесполезно убеждать жюри в том, что в этом не было никаких расистских намеков; Меррилл чисто выиграл на этом вопросе очко.

На следующий день повторилось почти все то же самое — те же острые вопросы и мои безуспешные попытки довести до протокола сведения, говорящие в мою пользу. Когда моя внешность перестала уже удивлять новизной, многие из присяжных заседателей либо стали уходить на середине слушания, либо беззастенчиво спали.

В тот вечер Шапиро, Бест и я решили, что мне, скорее всего, следует прекратить добровольную дачу показаний. Что бы я ни говорил, это ни в чем не убеждало Большое жюри. Меррилл хорошо знал улики; он либо предъявит мне официальное обвинение, либо нет. И действительно, двумя днями позже Меррилл позвонил Шапиро: "Мы намерены предъявить Вашему клиенту обвинение, вероятно, на следующей неделе".

Вечером того же дня я сидел в своем кабинете, задумчиво глядя в окно. Как мне объяснить все это Патти и детям? На них ляжет пятно на всю жизнь. Но, странным образом, того страха, который я испытывал в начале лета, уже не было. Будет судебное разбирательство, и если я его проиграю, то сяду в тюрьму. Но почему-то эта перспектива, какой бы черной и мрачной она ни была, уже не казалась мне концом света.

Значительно больше беспокоило меня то, что события вышли из-под контроля, что обида и злоба тоже лягут на весы правосудия и что я был бессилен остановить надвигающийся девятый вал. Владычество гордости в моей душе было окончательно подорвано во время известного разговора с Филлипсом, умерщвление же эгоизма еще продолжалось.

Как раз в тот момент в кабинет влетел Даг Коу, бросив привычное: "Здорово, брат! Я тут проходил мимо, решил зайти". У него было поразительное чутье. Он, казалось, всегда появлялся тогда, когда мне больше всего была нужна поддержка. Рассказ о нависшем надо мной обвинении он выслушал с чувством возрастающего беспокойства.

"Нелегко тебе, Чак, ох, нелегко!" — произнес он. Наступила небольшая пауза. "Что на самом деле важно, — заговорил он опять, — так это не то, что думает или делает м-р Кокс или Билл Меррилл, но что знает Бог. Он знает твои грехи; Он знает мои. И Он всегда готов нас простить. Вот почему так прекрасно иметь любящего Отца. С Богом можно жить не стыдясь, что бы ты ни сделал".

Мы начали говорить, и правильность точки зрения Дага сделалась очевидной. Бог не обещает нам избавления от боли или наказания, но Он всегда простит нас, будет любить нас и даст нам сил справиться с испытаниями. Наставления Дага и совместная молитва укрепили меня.

Несмотря на это, в последующие дни я убедился, как тяжело для начинающего христианина полностью полагаться на Бога. Ежедневные молитвы и изучение Библии помогают в этом, но тем не менее, состояние души изменяется с трудом; удалить эгоизм и гордость очень непросто. Я переживал о том, что подумают люди об обвинении. Как я смогу объяснить, что невиновен, хотя бы друзьям? Сам факт вынесения обвинения — это уже шрам на всю жизнь, независимо от того, что произойдет в зале суда. Были моменты, когда мне, помимо всего прочего, становилось просто страшно.

Внутри меня происходили примечательные изменения. Я чувствовал меньше обиды и злобы в отношении своих противников. В октябре за праздничным ужином со своими друзьями из Белого дома, я внезапно почувствовал себя очень неудобно, когда стали нападать на Джона Дина.

"Это дело его совести", — ответил я сдержанно.

Патти посмотрела на меня с удивлением. Прежде упоминание его имени заставляло меня краснеть и вызывало крайнее раздражение. Я обнаружил, что мне уже трудно ненавидеть с такой же легкостью как раньше.

Тем временем, Дейв Шапиро решил, что мы с ним слишком близки лично, чтобы ему защищать меня в суде. Возникли также и этические затруднения, поскольку Шапиро, который однажды

встречался с Говардом Хантом, мог сам проходить по делу в качестве свидетеля. В результате долгих обсуждений, мы решили нанять лучшего судебного адвоката, если дело дойдет до суда. Мы были единодушны в отношении кандидатуры: Джим Сент-Клер, старший партнер престижной бостонской адвокатской фирмы. Двадцать лет назад Джим являлся молодым подмастерьем у Джо Велча, изворотливого старого адвоката, которого прямодушная язвительность сделала героем маккартиевских слушаний. Со временем Джим Сент-Клер приобрел репутацию одного из самых способных судебных защитников страны, хитростью и находчивостью не уступающего своему учителю.

Прежде, чем согласиться вести мое дело, Джим пожелал ознакомиться со всеми фактами. Два дня он задавал нам с Шапиро вопросы, разговаривал с главными свидетелями и рылся в моих файлах. В конце второго дня он зашел ко мне в кабинет, чтобы объявить о своем решении: "Я буду Вас представлять. Я считаю, что в отношении Элсберга Вы невиновны. Мое решение было продиктовано не этим, но это приятно. Насколько я понимаю, Вы можете чувствовать себя довольно-таки спокойно; пятьдесят шансов из ста у нас есть".

"Вы считаете, что я невиновен и могу чувствовать себя спокойно, но при этом у меня только пятьдесят шансов?" — запротестовал я.

Джим откинулся на спинку черного кожаного кресла, стоявшего напротив моего стола, и резко выпалил басом: "Послушайте, Чак, когда прокурор намерен во что бы то ни стало доказать чью-то виновность, а ребята Кокса намерены пригвоздить Вас к стене любой ценой, то этому трудно помешать. Все на стороне федералов, иногда даже присяжные. Теперь тем, кто с Никсоном, придется все время идти против течения".

Благодаря хищной улыбке, седеющей гриве волос и приземистой фигуре, легко и быстро передвигающейся по залу суда, он получил прозвище Серебристой Лисы. Он смотрел на меня в упор, широко улыбаясь: "Все прокуроры — те же легавые, вот увидите". Жесткие в своей откровенности слова Джима, это уголовное выражение, которое даже престижный бостонский адвокат стал употреблять после двадцати лет работы в суде, глубоко врезалось в мое сознание на все предстоящие месяцы. Я начал стремительно соприкасаться с нелюбимой реальностью жизни, которую чувствуют все уголовные обвиняемые и которую я успешно не замечал в своем безоглядном стремлении вверх.

Мы по-прежнему ожидали обещанного обвинения, когда я снова попал в кризисную ситуацию. Не было ничего, чего я хотел бы больше летом 1973 года, чем дать показания перед комитетом Эрвина. Но раз за разом мое появление в комитете откладывали. Мы подозревали, что советник комитета, Сэм Дэш, не имел никакого желания допускать независимого защитника Никсона к телевизионной камере до тех пор, пока обвинения против Никсона не станут в глазах 80-миллионной аудитории телезрителей чем-то оформленным. Даже в конце сентября помощники Дэша не соглашались окончательно назвать дату моего появления для дачи показаний. Но два дня спустя после того, как Меррилл сообщил Шапиро о "назревающем" обвинении, позвонил Дэш, чтобы назначить дату моего появления. Шапиро объяснил дилемму: очевидно, что я не мог давать показания о вещах — в особенности о деле Элсберга — которые будут затронуты в обвинении. По уставу комитета и в соответствии с указаниями Верховного Суда, они даже не могли спрашивать меня ни о чем подобном.

"Но обвинение ему еще не предъявлено", — настаивал Дэш.

"Это технический вопрос, — возразил Шапиро. — Ущерб будет таким же. В интересах правосудия комитет должен отложить явку Колсона на десять дней. Если к тому времени объявление не будет предъявлено — что ж, тогда Колсон может рискнуть дать показания".

Дэш ничего не мог возразить против справедливости того, что сказал Дейв. Он пообещал узнать о мнении комитета и перезвонить. Звонок раздался через несколько часов; комитет настаивал на своем: "Разумеется, у Колсона всегда остается возможность воспользоваться конституционным правом и отказаться отвечать, чтобы избежать самообвинения..."

Пятая поправка казалась мне "красной тряпкой" американской политики. Ничто не создает вокруг человека ореола вины и трусости, как отказ давать показания. Те, кто во времена Мак-Карти был обвинен в связях с коммунистами и прибег к пятой поправке, могли с таким же успехом признать себя виновными, если говорить об общественном мнении. Никто из связанных с Уотергейтом пятой поправкой не воспользовался, за исключением Бада Крога, молодого начальника "водопроводчиков", который прибег к ней при даче показаний малоизвестному Домовому комитету.

"Я не буду этого делать, Дейв. Я абсолютно не намерен брать пя-

тую", — упорно заявлял я Шапиро после того, как он рассказал мне о своих переговорах с Дэшем.

Шапиро, который больше, чем кто бы то ни было, вел дело по обвинению в государственной измене в славные времена Мак-Карта, сердито шагнул перед моим столом, то ругая последними словами комитет, то обрушиваясь на меня за мою глупость: "Чак, если ты сейчас высунешь голову, ты труп. Ты что, хочешь совершить самоубийство? Тебе очень хочется на тот свет? Теперь единственное место, где ты можешь давать показания, — это суд. Тебе нельзя болтать. Мы не знаем, что эти ребята из конторы Кокса против тебя приготовили, и мы не можем давать им дополнительное оружие!" Сент-Клер был согласен с Дейвом, а также все мои партнеры.

Эрвин назначил мое слушание на 19 сентября, объявив его закрытым. Он был неуверен, так же как и Шапиро, решу ли я давать показания или возьму пятую поправку, а если я сделаю последнее, да еще по национальному телевидению, то, в соответствии с решениями Суда, всякое дальнейшее преследование меня со стороны обвинения могло быть прекращено.

День моей явки приближался, а я все еще боролся со своей дилеммой. Все мои внутренние инстинкты говорили, что надо дать показания. Пять лет я провел в Сенате, почти четыре — в Белом доме, больше половины своей жизни — либо служил в армии, либо работал в правительстве, и все это время страстно верил в то, что делал. Отказаться от показаний было все равно что струсить в бою, все равно что не ответить "на призыв отечества". Также, некоторую роль все еще играла гордость, понуждавшая меня остаться на виду, встать на защиту моего главнокомандующего и вступить в битву с врагом.

Когда мы подъехали, репортеры с телекамерами стояли уже у всех входов в Капитолий. "Давайте войдем туда с высоко поднятыми головами", — предложил я. К машине, в которой сидели Шапиро, Кен Адамс, молодой сотрудник нашей фирмы, и я, хлынула толпа репортеров и телевизионщиков, замелькали вспышки, микрофоны на длинных шестах полезли нам в лицо. Несколько крепких полицейских из охраны Капитолия выудили нас из давки и, расчистив в толпе дорожку, провели вверх по ступенькам к вращающимся прозрачным дверям. Внутри здания стояла практически такая же толпа, как и снаружи. Я пытался высвободиться из объятий двух излишне заботливых полицейских, крепко державших меня под руки; фотографии получатся ужасные. Несколько других полицейских в темно-синей форме шли теперь впереди, прокладывая дорогу. Мы постепенно

пробрались мимо толп туристов, мимо толстых дверей из красного дерева, картин, изображающих великие моменты американской истории, и вошли в комнату "С-143".

Сидя в приемной комнате, мы еще раз проверили свою стратегию; сперва, посредством нескольких маневров, попытаться добиться того, чтобы комитет проголосовал за десятидневную отсрочку. Может быть, один из демократов — лаконичный сенатор из Джорджии, Герман Талмадж, проголосует вместе с республиканцами, и тогда расклад голосов будет 4:3 в нашу пользу. Если этот план провалится, то Шапиро всячески советовал взять пятую поправку. Я не был уверен, что смогу произнести эти слова, даже если захочу.

Председатель объявил начало заседания, на котором присутствовали только семь сенаторов и горстка работников Капитолия. Нас посадили на дальнем конце большого длинного стола. Шапиро, перечислив мои добровольные появления перед различными официальными органами за последние шестнадцать месяцев, сказав о дилемме, которой угрожало возможное обвинение, и критически отозвавшись об утечках информации из комитета, стал умолять сенаторов защитить право его клиента на непредвзятое судебное разбирательство.

Он указал, что мое сегодняшнее появление равносильно появлению перед телевизионными камерами, что неизбежная после этого гласность будет столь же губительна. Если я решу прибегнуть к пятой поправке, то это несомненно повлияет на решение Большого жюри, определяющего сейчас, выдвигать против меня обвинение или нет. Если же я откажусь от поправки, то лишусь права сохранять молчание в будущем, чем ослаблю свою защиту во время суда.

В течение десяти минут, которые длилась его страстная речь, никто из присутствующих не пошевелился, и после того, как он закончил, наступила долгая тишина.

Дэш первым нарушил молчание: "Я хочу подтвердить, м-р Шапиро... что по моим собственным сведениям, полученным от подчиненных прокурора по особым делам, нынешнее Большое жюри действительно... намерено в самом скором времени выдвинуть обвинение... и мне известно, что м-р Колсон, вполне возможно, окажется в числе обвиняемых".* Это была поддержка, которой мы не ожидали.

* Прим. ред.: все цитаты взяты из протокола исполнительных заседаний комитета Эрвина.

Сэм Эрвин, который гордился своей репутацией большого знатока Конституции в Сенате, казалось, был впечатлен доводами Шапино. "Нам уже приходилось освобождать свидетелей от дачи показаний", — задумчиво произнес он, глядя на свои пальцы, барабанившие по столу.

"М-р Колсон был доволен... хм, он открыто и добровольно делал заявления по телевидению и в прессе", — сказал он, давая понять, что мои выступления по телевидению его задели. Хотя прямую председателя я и не критиковал, но осуждал тактику комитета, огромную утечку информации в прессу, брань в отношении свидетелей, игнорирование в качестве свидетелей защитников Никсона. Все мои попытки ни на грош не изменили общественного мнения — популярность Никсона стремительно падала. Но они больно задели Сэма Эрвина, во власти которого я теперь находился; я смотрел прямо в дуло его пистолета, и мне было худо.

Нас с Шапино попросили подождать за дверью, пока комитет будет совещаться. Скоро голоса стали громче, так что мы практически слышали их сквозь закрытые двери. Сенатор Бейкер с жаром поддерживал просьбу об отсрочке, сенатор Уиклер кричал обратное. Когда часы отсчитали сперва десять, потом двадцать, тридцать, сорок минут, у нас появилась надежда. Если бы у Эрвина были голоса, чтобы завалить отсрочку, то такая дискуссия была бы излишней.

Спустя час нас позвали назад. Председатель попросил нас сесть. Эрвин явно чувствовал себя очень неловко, лицо было в постоянном движении, челюсть дрожала, на лбу появлялись глубокие морщины, когда он шурился из-за очков. "Комитет отклонил просьбу, — объявил он. — Встаньте и поднимите правую руку".

Шапино запротестовал, на этот раз исключительно для протокола, а затем наклонился ко мне и прошептал: "Ты должен это сделать, или можешь нанять себе других адвокатов".

Я закусил губу и так впился пальцами в обитый войлоком стол, что они побелели. Гордость, гордость, гордость! Как я презирал любое проявление трусости! Как я поносил этих хнычущих бюрократов, которые прибегали к пятой поправке в начале пятидесятых, и головорезов-рэкетиров, делавших то же самое во время судебного разбирательства по делу о вымогательстве у сенатора Мак-Кленнана несколько лет назад. Гордость. Мне так хотелось проскакать на белом коне и спасти президента Никсона, и услышать его благодарные слова: "Прекрасная работа, старина; ты всех их положил на лопатки".

"М-р Колсон, знакомы ли Вы с Говардом Хантом?" — слова Дэша зазвенели у меня в ушах резко и неприятно. Я обернулся к председателю.

"Сенатор, — начал я, запнувшись на секунду, — я не могу выразить, как я хотел появиться перед вашим комитетом и дать показания. Если бы я верил одной десятой того, что обо мне напечатано, то не заслуживал бы права сидеть здесь. Я горжусь тем, как я служил моей стране... Я никогда не предполагал, что окажусь в положении, когда мои юридические права окажутся под угрозой и мне придется воспользоваться моей конституционной привилегией. Мне не хочется этого делать. Мне очень не нравится то, что я делаю; у меня это вызывает отвращение. Я намерен, г-н председатель, последовать указаниям своего адвоката, которые, вынужден признать, не совпадают с указаниями моей совести".

Все завершилось, были заданы только три вопроса, и три раза я упавшим голосом произнес, что "отказываюсь отвечать", едва умудряясь выговаривать слова из-за большого комка, вставшего в горле. Мне хотелось выскочить из-за стода и броситься вон из комнаты. На мгновение воцарилась странная тишина. Куда-то исчез суровый взгляд сенатора Иноя. Глаза его, казалось, говорили: "Ты мне не нравишься, но мне тебя жаль".

Эрвин продолжал смотреть на меня всезнающим отеческим взглядом; сердечная боль Говарда Бейкера была настолько же очевидной, как и отчетливый рисунок его твидового пиджака; вся злоба и негодование исчезли с лица Лоуэлла Уиклера, который неподвижно смотрел в единственное окно этой маленькой комнаты. Политики любят посмаковать победу, но не испытывают никакой радости, видя как один из них, пусть даже ярый противник, не просто побежден, но беспомощен, пристыжен и лишился последнего фигового листка собственного достоинства.

Покидая помещение комитета, мы увидели сенатора Эрвина, окруженного телекамерами и репортерами, объясняющего, что я прибег к пятой поправке. Из этого не следует делать никаких выводов, напоминал он им. Но мы-то знали, что произойдет на следующий день — и произошло.

"Вашингтон Пост" напечатала на самом верху передовицы большой портрет некогда "крутого парня". Под фото был заголовок: "Колсон отказался отвечать на вопросы по Уотергейту". Неизвестный источник из комитета Эрвина сообщил, что я "подавлен и полон

раскаяния". Все три телесети и практически каждая крупная газета страны подробно осветили политическую смерть последнего защитника Никсона.

Той тихой влажной ночью в августе, когда я впервые столкнулся лицом к лицу с человеком, который сформировался за годы стремления к успеху, Том Филлипс только начал процесс моего обращения. *Ветхое* отмирало, это верно, но не без боли, не без сопротивления, не без горечи и слез. Хотя мне постепенно открывался совершенно новый и светлый мир, я по-прежнему старался удержать те вещи, от которых мне, на самом деле, следовало избавиться. Некоторые из нас, по крайней мере в начале пути, еще пытаются приобретать богатства обоих миров.



11

Братья

Моя встреча с сенатором Гарольдом Хьюзом должна была состояться в конце сентября, вечером. Гарольд, как я потом узнал, был категорически против подобной идеи, когда Даг Коу позвонил ему в первый раз.

"Для меня нет более отталкивающего человека, чем Чарльз Колсон. Я противник всего того, за что он борется. И тебе это известно, Даг", — возмутился он.

До того, как Хьюз повесил трубку, Даг успел мягко заметить, что подход сенатора едва ли можно назвать христианским. На следующий день Хьюз позвонил и, устало издохнув, согласился: "Ладно, Даг. Устраивай встречу".

Опасаясь, что встреча с глазу на глаз между мной и Гарольдом может получиться слишком взрывоопасной, Даг решил провести ее в атмосфере тихого семейного вечера с женами, в доме старого республиканского конгрессмена из Миннесоты Ала Кью, человека мягкого и спокойного. Он также пригласил бывшего демократического конгрессмена из Техаса Грэма Пурселла. Получалось два демократа на даа республиканца, и плюс Коу.

Гарольд Хьюз действительно был неординарным человеком, в чем я убедился, читая о его прошлом. Воспитанный на небольшой ферме в Айове, во время Второй мировой войны в Италии он в качестве пехотинца прошел немало трудных дорог, где чудом избежал смерти. Пос-

ле войны Хьюз, превратившийся в алкоголика, стал работать водителем грузовика. Он шатался по барам, порой по многу дней не появлялся на глаза молодой жене и детям; часто, выйдя из пьяного состояния, обнаруживал, что находится в каком-нибудь странном отеле за сотни миль от дома. Оторванный периодически от семьи, живущий в плену у виски, он часто подумывал о самоубийстве.

Однажды вечером в 1954 году Хьюз, находясь в полном отчаянии, воззвал к Богу, умоляя о помощи. Когда на следующий день винные пары рассеялись, все кругом казалось другим. Он больше ни разу не притронулся к спиртному.

Управляя небольшим грузовым автопарком, Хьюз добился определенного успеха. Вместе с женой Евой он стал активно помогать в церкви. Сперва являвшийся молодым республиканцем, в 1957 году Хьюз, благодаря ярко выраженной независимости характера, перешел в демократическую партию меньшинства и был избран уполномоченным штата по коммерческим делам. В 1962 году он баллотировался в губернаторы. Когда поползли слухи о его алкоголизме, он встретил их с высоко поднятой головой. Он публично заявил, что, хотя политики обычно не признаются в подобных вещах, он япяется тем, кем является, в частности, бывшим алкоголиком. Традиционно республиканское население штата избрало его губернатором с перевесом в 40 000 голосов и, несмотря на его нескрываемый либерализм, дважды его переизбирало, а затем направило в 1968 году в Сенат на смену резко консервативному кандидату.

Игнорируя неписанные традиции, в соответствии с которыми новичок в Сенате должен тихо сидеть на заднем ряду и учиться у бывалых сенаторов, Хьюз быстро стал защитником либеральных идей и через несколько месяцев одним из самых явных сторонников указа о прекращении войны во Вьетнаме. Именно тогда мы в никсоновском Белом доме поставили его на одно из первых мест в списке "врагов".

Убежденный в необходимости социальных реформ в Америке, в 1972 году Хьюз вступил в гонку за назначение кандидатом в президенты от демократической партии. Его одаренность обеспечила ему начальную поддержку, но, не имея ни собственной политической базы, ни достаточных для ведения кампании средств и учитывая, что его кардинальные намерения отпугивали более консервативное крыло партии, Хьюз решил оставить гонку.

Тем временем, сенатор начинал ощущать, что его политическая деятельность все больше и больше вступает в противоречие с верой в

Христа. Несмотря на то, что Хьюз был практически уверен в переизбрании, после основательного самоанализа он объявил, что в конце своего срока, в январе 1975 года, покинет Сенат. Политические обозреватели и избиратели Айовы были потрясены этим заявлением. Хьюз пояснил, что считает, что может принести людям больше пользы вне политики, находясь на службе у одного единственного Господина.

Узнав подробности жизни сенатора Хьюза, я не мог не проникнуться его полнокровным подходом к жизни. В то же время мои политические инстинкты готовили меня к сражению.

Даг позвонил мне за несколько дней до назначенной встречи: "Брат, почему бы мне не заехать за тобой прямо в офис? Скажем, в восемь часов".

Звучит неплохо. Патти должна была подвести Джен, жену Дага, на нашей машине.

В назначенный час я подошел к обшарпанному фургончику "Шевроле". Заметив, что на переднем сиденье кто-то уже сидит, я забрался назад. Этот кто-то был сенатор Хьюз!

Я откинулся на спинку и стал рассматривать моего старого противника. Хьюз был одет в клетчатую спортивную рубашку, свободно висевшую поверх джинсового комбинезона. Намеренное пренебрежение к принятой в Вашингтоне манере одеваться послужило причиной того, что в ежегодном опросе членов Сената Хьюз получил звание "самого плохо одетого сенатора". Но именно эта повседневность его вида и теплота глубокого грудного голоса заставили меня почувствовать себя менее настороженно.

Тем не менее я чувствовал, что сенатор не спешит сразу же изменять свое мнение на мой счет. То и дело он поворачивал в кресле свое мощное тело и смотрел на заднее сиденье. Острые черты лица, черные как смоль волосы и глубоко посаженные глаза делали его похожим на американского индейца. Когда он хмурился, смеривая меня взглядом, у меня по спине пробежали мурашки. Я заметил, что Даг беспокойно посматривает то в зеркало заднего вида на меня, то вбок на сенатора.

Чувствуя себя неловко в синем деловом костюме, я снял пиджак. Разговор предусмотрительно касался только безопасных тем: семьи и некоторых общих друзей, вспомнить о которых мне стоило значительного усилия. Я почувствовал, как полегчало на душе у Дага, когда мы подъехали к устроившемуся среди старых дубов, белому, построенному в колониальном стиле, дому Ала Кью.

Супруги Кью — Ал и Гретхен — встретили нас очень тепло. Ал, высокий, крепкий, спортивный мужчина, в прошлом фермер, улыбнулся застенчивой улыбкой, которая заставляла его выглядеть моложе его пятидесяти лет. Седовласый и стройный Грэм Пурселл вместе со своей женой, привлекательной и живой женщиной, подъехали через несколько минут. Мы все собрались перед большим кирпичным камином в просторной, обшитой панелями гостиной, стены которой были увешаны кубками и наградами, завоеванными Алом и его породистыми лошадьми.

Я также впервые познакомился с Джен Коу, на которой Даг женился, когда они оба были на первом курсе колледжа, в конце сороковых. Это грациозная, не имеющая, как и Даг, возраста женщина, с такой же, как и у него, кипучей натурой. Я был просто поражен тем, насколько они похожи.

Когда двое или больше политиков соберутся вместе, речь непременно заходит о последней схватке на Капитолийском холме, надвигающихся выборах и взлете или падении очередного властного лица. Мужчины обычно собираются для этого вместе, оставляя женщин одних. Важно успеть схватить первый коктейль, за ним второй и третий. Всякий старается поразить любого, кто бы его ни слушал, своей близостью к источнику власти: "Видите ли, мои друзья в Белом доме утверждают, что..." Сценой может служить Гринвич в Коннектикуте или Уинетка в Иллинойсе, а разговор вестись о последних колебаниях на Фондовой бирже или о ком-то, кто стремительно взбирается по служебной лестнице.

Но вместо этого весь вечер мы сидели большим полукругом перед камином, попивая чай со льдом и лимонад. Мужья не расставались с женами, и говорили мы о лошадях Ала. Я подумал, что с таким же успехом мы могли быть в гостиной фермерского домика Ала, расположенного за тысячу миль от суматохи столичной жизни. Я наслаждался по-домашнему теплой атмосферой вечера, не забывая при этом поглядывать на Гарольда Хьюза. Гретхен, еще больше похожая на скандинавскую красавицу в переднике, вынесла пышущий жаром яблочный пирог и мороженое и удовлетворенно улыбнулась, когда Гарольд проглотил первый кусок и тут же попросил добавки.

Все это было для меня так непривычно, что я несколько раз пожегил в кресле. Мы собрались для того, чтобы я познакомился с сенатором Хьюзом и остальными. Они так же должны были познакомиться меня с туманной концепцией общения. Я чувствовал, что Хьюз

тоже начинает испытывать нетерпение, поскольку он не был большим охотником до светских вечеров, особенно без Евы, которая осталась дома из-за болезни.

В каком-то смысле мы с Хьюзом напоминали двух боксеров, ждавших в разных углах ринга минуты, когда должен начаться спарринг. Все присутствующие знали, что рано или поздно столкновение произойдет, но я не был готов к тому, с какой неожиданностью Гарольд Хьюз вызвал меня на ринг.

"Чак, — сказал он, — я слышал, что ты встретился с Иисусом Христом. Ты не мог бы нам рассказать об этом?"

Я не был готов к тому, чтобы рассказывать о Христе людям, которых едва знал. Даже Даг не знал в подробностях того, что произошло у Тома Филлипса и позже на побережье в Мейне. На какую-то долю секунды я почувствовал желание отказаться, но затем ощутил внутреннюю уверенность. Гарольд говорил открыто — ни дружески, ни враждебно. Патти нервничала. Остальные приветливо смотрели на меня.

Хотя я и считал себя опытным оратором на политические темы, здесь я почувствовал себя неуверенно. Я говорил медленно, с трудом. Но, к моему удивлению, никакого стыда я не ощущал, только некоторую неловкость оттого, что рассказываю о самом интимном переживании в жизни. В середине рассказа я чуть было совсем не остановился, когда подумал — не решат ли все они, что я просто ненормальный? Неужели люди действительно рассказывают о своих встречах с Богом? Я на мгновение остановился, чтобы оглядеть комнату. Никто ничего не сказал, но по выражению лиц я понял, что они хотят, чтобы я продолжил.

"В тот вечер у Тома Филлипса во мне сломался какой-то внутренний барьер, существовавший всю жизнь, — заговорил я снова. — Тем не менее, на следующий день я начал сомневаться, не эта ли неприятная история с Уотергейтом так меня оглушила, что я стал искать утешения — любого утешения. Но за неделю, проведенную в Бутбее, мне удалось примирить чувство с разумом. Я, наконец, отчетливо увидел, Кто такой Христос и почему Он мне нужен, и после этого я смог отдать Ему свою жизнь". Эти слова живо напомнили мне о пережитом, и на секунду мой голос осекся: "Я совсем недавно стал христианином, и мне всему надо учиться, я знаю. Я буду благодарен вам за любую помощь".

На мгновение наступило молчание. Гарольд, слушавший мои сло-

ва с загадочным лицом, внезапно поднял обе руки вверх и с силой шлепнул себя по коленям: "Это все, что мне нужно знать. Чак, ты принял Христа, и Он простил тебя. Я делаю то же. Я люблю тебя, как моего брата во Христе. Можешь рассчитывать на мою поддержку и защиту при любых обстоятельствах, а также на все то, что у меня есть".

Меня захлестнули эмоции, я был настолько этим потрясен, что даже не смог выдать ничего, кроме слабого "спасибо". За всю мою жизнь никто из посторонних не говорил мне таких слов, а теперь я слышал их от человека, который ненавидел меня много лет и которого я лично узнал только два часа назад.

Затем мы все встали на колени — все девять человек — и стали молиться вслух. Когда я поднялся, Гарольд двинулся ко мне, медленно расплываясь в улыбке. Когда он щедро, по-медвежьи обнял меня, мне уже не нужно было объяснять, что такое *общение* или что имел в виду Павел, когда писал: "Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте" (Римл. 12:10).

Другие тоже предложили мне поддержку и совет. "Политики сторонятся того, кому угрожает обвинение, но христиане остаются вместе до конца", — произнес Грэм Пурселл, бывший до избрания в Конгресс судьей в Техасе. "Верно, — откликнулся Ал Кью. — Мы будем рядом. Не робей".

Когда мы с Патти распрощались и ушли, я был поражен не столько тем, что было сказано, сколько силой общения, которое не нуждалось в словах. Гарольд мог не говорить мне ни слова. Я прекрасно видел все, что он хотел сказать по широкой улыбке, по крепкому объятию, по заботливому взгляду.

Единственный вопрос, который оставался у меня в голове, был связан с впечатлением, которое произвел вечер на Патти. Значительную его часть она провела с широко открытыми от изумления глазами. Будучи католичкой, она встречалась с Богом по воскресеньям в торжественной тишине церкви. Стоять коленопреклоненной удивана в гостинной было для нее чем-то новым и странным. За девять лет нашего брака она ни разу не слышала, чтобы я молился вслух. Я и на самом деле так молился только третий раз в жизни. Ее вид в тот вечер говорил, что она меня поддерживает. Выражение ее лица, тем не менее, выдавало какие-то сомнения. Опять — невербальное общение. Я решил, что нам с Патти необходимо как можно скорее тщательным образом все обсудить. Но хоровод событий, закружившийся вокруг нас уже в ближайшие дни, отдалил разговор на много недель.

Против ожидаемого, обвинения в сентябре мне предъявлено не было. Сперва мы с коллегами по фирме решили, что угрозы выдвинуть обвинение были простой уловкой, чтобы не позволить мне дать показания комитету Эрвина, а потом унизить. Или, быть может, виной тому была самоотверженная защита со стороны Шапиро и Сен-Клера, которые встречались с Коксом и его помощниками и однажды даже взяли с собой меня; встреча почти превратилась тогда в дружескую беседу.

Шапиро подавал прокурорам записки, в которых объяснял, что долгие годы ФБР прибегало к "проникновениям" — эвфемизм, обозначающий взлом в целях государственной безопасности, и что дело Элсберга по сути ничем не отличается от того, что случалось уже сотни раз. Адвокаты Никсона заявляли, что документация Белого дома дает полное обоснование тому, что содеянное было необходимо в целях государственной безопасности.

Затем в ситуацию вмешался президент. В редкую минуточку воодушевления, во время одного позднего телефонного разговора Никсон убежденно сказал: "Я знаю, что они за тобой охотятся, Чак, но у них ничего не выйдет. Я им этого не позволю. Ты совершенно невиновен. Я это знаю, и отныне президент берет ситуацию в свои руки".

Но вся ситуация в Вашингтоне стремительно выходила из-под контроля. Вскоре президент звонил мне по вечерам насчет вице-президента Спиро Лгню. Большое жюри Балтимора выдвигало против него серьезные обвинения — получение взяток в бытность его губернатором Мериленда. Наша фирма, представляющая вице-президента, оказалась в самой гуще событий.

Сперва Никсон хотел помочь товарищу, который проработал с ним два срока. Но затем, когда улик стало очень много, его отношение переменилось. Из Белого дома на меня оказывали давление с тем, чтобы я позвонил одному промышленнику и попросил его не переводить деньги в фонд защиты вице-президента, а самого вице-президента попросил уйти в отставку. Это ставило меня в ужасное положение. "Он должен уйти, — как-то вечером сказал мне генерал Хейг. — Ради блага страны". Кому я должен был сохранять большую преданность: клиенту или стране? Какое поведение моя новая вера диктовала в подобной ситуации? Создавалось впечатление, что каждый новый день ставил передо мной новые проблемы. Я решил не звонить промышленнику. Частично я мог решить свои затруднения, отойдя в сторону, доверив ведение дела другим, более опытным в уголовной области адвокатам нашей фирмы.

Главная линия защиты Агню заключалась в том, чтобы заставить Конгресс объявить импичмент и тем самым помешать суду выдвинуть уголовное обвинение. Люди Агню во всю вели пропагандистскую работу в Палате представителей.

Тогда однажды вечером Никсон сказал мне: "И Джерри Форд (тогда лидер меньшинства Палаты) и Карл Альберт (спикер Палаты) будут против любого решения об импичменте". Лоббисты Белого дома выбивали землю из-под ног собственного вице-президента! Никсон также сообщил мне, что в Министерстве юстиции были готовы предложить Агню способ избежать тюремного заключения в случае добровольной отставки.

Я согласился передать вице-президенту нелицеприятные известия, что было непростым испытанием для нас обоих. Человек гордый и несгибаемый, он стоически сидел за своим огромным полированным столом, пока я объяснял пункт за пунктом, почему он должен подать в отставку. Я заметил, как он был уязвлен, когда понял, что его собственный президент пошел против него.

Вице-президент отверг первые предложения Министерства юстиции и настойчивые требования своего босса. Через несколько недель он принял самостоятельное решение. Войдя в районный суд Балтимора в тот исторический октябрьский день, он заявил "nolo contendere" в отношении одного обвинения в уклонении от уплаты налогов в то время, как адвокат нашей фирмы параллельно доставил министру иностранных дел письмо об отставке вице-президента.

Спиро Агню получил срок условно, и теперь некогда могущественный человек был обесчещен. Вице-президент страны повержен, а президент испытывает на себе колоссальное давление! Это не уместалось в сознании. Для меня это было страшно еще потому, что я был близок к обоим.

Затем спустя несколько дней был снят с должности прокурор по особым делам Арчибальд Кокс, и ушел в отставку Генеральный Прокурор Эллиот Ричардсон, что получило в прессе название "субботней бойни". По стране прокатилась волна общественного недовольства. На фоне все более громких требований отставки Никсона был запущен механизм импичмента. Происходившее в столице осенью 1973 года казалось совершенно нереальным.

Вполне реальными, тем не менее, были те открытия, которые я делал в качестве начинающего христианина. Одна фраза Павла,

обращенная к филиппийцам, показалась мне особенно ободряющей:

"Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа".

Филиппийцам 3:8

Мне было интересно: *могу ли я с радостью отказаться от всего?* Этот отрывок часто приходил мне на память по мере того, как кольцо Уотергейта сжималось вокруг меня все туже.

Помимо этого, я обнаружил, как мало знаю некоторых своих старых друзей. Взять хотя бы Кена Белью, моего коллегу по Белому дому. Когда мы однажды встретились за обедом в ресторане "Сан Суси", он поведал мне, что еще с 1947 года Христос стоял на первом месте в его жизни. Все те товарищеские отношения, которые были между нами в прошлом, бледнеют по сравнению с теми узами, что связали нас с того самого дня.

Затем был еще Фред Родс, младший администратор Администрации ветеранов. Наши карьеры шли почти параллельно — Капитолийский холм, администрация Никсона, многие годы в республиканском лагере. Я знал, что Фред является вице-президентом Южной баптистской конвенции и активно занят церковными делами. Однако, несмотря на близкие взаимоотношения, он никогда не говорил со мной о религии.

Однажды на обеде в адвокатском клубе я решил немного подшутить над своим старым другом. Посреди разговора о том, как неудачно Белый дом ведет борьбу против надвигающегося импичмента, я спросил: "Фред, помимо всей твоей церковной работы, ты когда-нибудь встречался с Иисусом Христом?" Неожиданность вопроса заставила Фреда со звоном уронить вилку в тарелку. Он подозрительно вглядывался в меня, пытаясь сообразить, что следует сказать в ответ: "Ну, надо знать, о чем говоришь, Чак. Да, встречал, но тебе следует знать..."

Он приготовился дать длинное глубокомысленное объяснение, но я перебил: "А что ты скажешь, если узнаешь, что я тоже встретил Его?"

"Я закричу — Слава Богу!" — ответил он улыбаясь, хотя по-прежнему был насторожен. Может быть, это очередная шутка в духе Колсона?

"Пожалуйста, не делай этого прямо здесь, а то шокируешь некоторых из этих скучных адвокатов, но я принял Христа. Я об этом мало кому рассказывал. Это очень личное для меня, но я подумал, что тебе будет интересно об этом узнать", — продолжил я.

Вечером того же дня ко мне в офис пришел посыльный с большой коробкой, в которой я нашел экземпляр "Живой Библии", личный карманный Новый Завет Фреда, три книги Кита Миллера, немного баптистской литературы и огромную красную книгу с четырьмя переводами Библии. С того момента наша дружба стала крепнуть самым невероятным образом.

Семена, посаженные той душевной сентябрьской ночью, когда мы встретились у Ала Кью, продолжали прорастать. В конце сентября Хьюз, Кью, Пурселл, Даг и я каждый понедельник в 8:30 утра начали собираться на совместный завтрак. Дом общения, простое кирпичное здание во французском провинциальном стиле, которое могло бы легко сойти за очередную резиденцию в Посольском ряду, управлялся группой мужчин и женщин, являвшихся последователями Иисуса Христа. На здании не было никакой вывески, но, тем не менее, в течение долгих лет работники правительства, дипломатического корпуса и приезжие из других стран находили в нем возможность для спокойной молитвы и душевного общения. В социально разрозненном, чиновничьем Вашингтоне Дом общения занимает уникальное место. Там министр иностранных дел Южно-Африканской республики может молиться вместе с молодым христианским работником, чье ежедневное служение протекает в близлежащем исправительном заведении Нортон. Принцип допуска в Дом — не политический статус, а преданность Христу. Наша группа была одной из многих, встречавшихся там каждую неделю.

Дружба между пятью участниками нашей группы крепла медленно, но верно. Первый час мы проводили в библиотеке за чашкой кофе, делясь друг с другом личными проблемами, затем читали и обсуждали какое-нибудь место из Библии, а заканчивали всегда на коленях, молясь друг за друга, за наши семьи и за людей в правительстве, с которыми мы сталкивались ежедневно. Часто общение рождало такое сильное чувство, что мы обнимали друг друга после молитвы. Если бы кто-нибудь посмотрел на нас со стороны, то вероятно пришел бы к мнению, что мы являем странную картину на фоне города, разрываемого на части одним из самых горьких и злополучных политических кризисов за последние сто лет.

Каким бы странным это ни показалось, но страстный приверженец либеральной демократии Гарольд Хьюз чаще всех предлагал молиться за президента Никсона и работников Белого дома. Однажды утром в ноябре сенатор признался мне: "Если президент невиновен, как ты это утверждаешь, Чак, то пусть это шокирует моих коллег, но я не стану голосовать за его импичмент. И я буду бороться против этого. Единственный долг, который у нас есть — это долг перед Богом, а Бог есть Истина". Затем широкие морщины на его лбу обозначились резче, и он произнес "Интересно, не могли бы мы уговорить президента помолиться с нами".

Я согласился спросить президента, не захочет ли он присоединиться к нам, хотя я знал, что Никсон считает свои убеждения в высшей степени личным делом. Он часто с негодованием отзывался об общественных деятелях, которые используют свои религиозные взгляды с тем, чтобы извлечь политическую выгоду. Такая возможность представилась во время одного телефонного разговора, состоявшегося вскоре после увольнения Кокса, когда бремя президентства казалось особенно невыносимым. "Сэр, не желали бы Вы встретиться с небольшой группой моих знакомых, чтобы помолиться об этих проблемах?" — предложил я. Затем я объяснил, о какой группе идет речь.

Мое предложение было встречено долгим молчанием — так президент говорил "нет". Президенту было трудно понять, что вера в Христа несравнимо выше всех идеологических различий и политических софизмов, выше всего. Однажды я сказал о своем предложении секретарше Никсона, Розе Вудз, в надежде, что ее католическое воспитание обеспечит мне поддержку: "Я знаю, Роза, что это звучит необычно, но доверьтесь мне. Я знаю, о чем говорю. Гарольд Хьюз действительно хотел бы помолиться с президентом. Он хочет помочь ему. Просто как мужчина мужчине, в качестве моральной поддержки".

"Вы, наверное, шутите, Чак, — возразила Роза. — После тех ужасных слов, которые этот человек сказал о президенте, я ни за что не хотела бы увидеть их в одной комнате".

Яд Уотергейта к этому времени пропитал Вашингтон насквозь. Обе стороны так прочно обосновались в своих окопах, что уже не видели той исцеляющей силы, которая могла бы спасти как страну, так и сражавшихся.

Также именно Хьюз посоветовал, чтобы мы встретились с вице-

президентом Агню и предложили ему наше общение, помогли ему увидеть, что, хотя его прежний мир и рушился, существовал другой, куда более значимый, который мы могли бы помочь обнаружить. Наше приглашение он отклонил. Агню чувствовал себя настолько униженным и лишенным сил, что предпочел уединение маленького городка на востоке Мериленда, куда он перебрался с семьей.

Потерпев неудачу с этими двумя людьми, мы продолжали молиться за них и за всех прочих как находящихся у власти, так и лишившихся ее. Укрепляя друг друга в вере, назидая в любви ко Христу и обсуждая личные проблемы, мы часто выходили из запланированных полутора часов и превращали их в два, а то и три. Эти собрания по понедельникам были мне так необходимы, что я, не сомневаясь, переносил ради них деловые встречи и подрезал выходные. Хьюз часто пропускал заседания Сената, Кью рано возвращался с районных совещаний Конгресса, Пурселл откладывал деловые поездки; Даг был с нами постоянно — терпеливо учил, направлял, ободрял, мягко и ненавязчиво.

Мы были очень необычным объединением людей — из соперничающих партий, из разных уголков страны и социальных слоев, с разным образованием. Тем не менее, с каждой неделей мы возрастали в христианской любви и становились ближе. Нам казалось, что той осенью мы вполне познали эту любовь, но события последующих месяцев сблизят нас еще больше.

"Не знаю, что тебе открылось, Чак, но я бы не отказался от того же", — признался мне Дейв Шапиро после долгого дня сражений с прокурорами и прессой. Дейв охрип, лицо помрачнело и осунулось: "Мне так просто худо от всей этой каши, что заварилась *вокруг тебя*, а ты преспокойно сидишь; такое ощущение, что тебя ничто не волнует".

Естественно, меня это волновало; ожидание было подобно пытке, каждое утро я мог проснуться и увидеть в газетах черные заголовки, сообщающие о предъявленном мне обвинении. Всякий раз, когда прокурор Меррилл звонил Шапиро, что он время от времени делал, у меня стучало сердце, пока они разговаривали. Может быть, сегодня. Но ничего не происходило — ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре.

Вся работа обвинения пошла медленнее после увольнения Кокса. В какой-то момент мы даже воспряли духом, когда Никсон, по реко-

мендации своего преданного друга Джона Коннали, назначил бывшего президента Американской ассоциации юристов, Леона Джаворски — тоже, как и Коннали, техасца — новым прокурором по особым делам. "В отличие от Кокса, Джаворски — реалист, — сообщил мне Ал Хейг в середине ноября. — Он очень уважительно относится к президенту. Между нами есть взаимопонимание и мы прекрасно сработаемся". Голос Хейга звучал радостно.

Даже после того, как был выявлен в высшей степени подозрительный восемнадцатиминутный пропуск в магнитофонной записи, Никсон все равно казался воодушевленным. В те ноябрьские дни он звонил мне несколько раз, каждый раз выражая такую глубокую обеспокоенность за "бедную Розу", что я невольно недоумевал, не собирается ли его старинная секретарша пожертвовать собой, взяв полную ответственность за умышленное уничтожение записи.

Хуже всего длительное ожидание сказывалось на Патти. Однажды, когда мы сидели в нашей небольшой уютной комнатке перед потрескивающим огнем, ее тревога, наконец, обнаружилась. Я начал говорить о своей новой вере, и ее гладкий лоб слегка наморщился, и она спросила:

— Мне кажется, я понимаю. Но я просто не уверена, как я вписываюсь в твоё новое понимание жизни.

— Но, милая, ты же её непосредственная часть. Теперь мы оба стали христианами, а раньше только ты верила в Христа.

— Ты будешь ходить в церковь?

— Да, но я пока не уверен, в какую.

Взгляд Патти все еще был туманным, голос недоверчивым: "Тогда ты не будешь настаивать на том, чтобы я отказалась от моей католической веры и присоединилась к тебе?"

Таким образом, проблема, наконец, была обозначена открыто. Почему-то Патти считала происходившее со мной движением к протестантизму, а не просто христианским прозрением, не ограниченными рамками какой-то одной конфессии. Язык людей, с которыми мы теперь встречались, пугал ее, и не без оснований: "принять Христа" — "во Христе". Не желая того, они окутывали ненужной таинственностью то, что, на самом деле, является простейшим решением в жизни человека. И язык, кажущийся столь емким тому, кто принял это решение, может отталкивать, словно ритуал посвящения в тайное общество, того, кто еще этого не сделал; может казаться духовному человеку даже оскорбительным. Патти он явно отталкивал.

Она упомянула еще одну причину беспокойства: "Что, если пресса узнает о произошедшей с тобой перемене, Чак? Поможет ли нам это или навредит?"

Я сам много думал об этом. "Я не знаю; вероятно, навредит, но я не собираюсь рассказывать об этом журналистам. Это их не касается", — произнес я.

Я засмотрелся на весело потрескивающий огонь. Я ничего не сказал ни детям, ни родителям, ни Чарли Морину, своему самому старому и близкому другу. Никто не знал об этом, кроме Тома Филлипса, Дага и нескольких участников группы общения. *Так лучше*, размышлял я. Если я уверовал, чтобы найти временный выход, если это было цеплянием за соломинку, а потом, когда Уотергейт закончится (что должно однажды случиться), я обо всем забуду, то по крайней мере, это останется между мной, Богом и горсткой людей. Конечно, это будет очень неприятно, но я не опозорюсь на весь мир. Потому что если до прессы сейчас что-нибудь дойдет, мое обращение, наверняка, объявят политическим маневром. "Колсон прячется за Бога", — напишет какой-нибудь разудалый журналист.

Признайся, Колсон, тебя по-прежнему беспокоит, что скажут другие, не правда ли? Я пытался понять самого себя, вглядываясь в танец белых с оранжевым языков пламени. Гордость? Думаю, да. Тем не менее, все, что происходило, казалось таким значительным: молитвы, встречи с друзьями в понедельник утром. Но в то же время это было настолько личным, замкнутым — только между братьями, мной и Христом.

"Нет, милая, — я обернулся к освещенной огнем Патти, в чьих голубых глазах светилась любовь. — Нет, милая, я не намерен объявлять о произошедшем с крыш".

Я почти почувствовал, что у нее гора свалилась с плеч.

Но события — или, как я теперь считаю, Бог — распорядились иначе.



12

Христос в заголовках

Каждое утро в начале девятого влиятельные люди из исполнительного крыла правительства собираются вокруг старинного стола красного дерева в комнате Рузвельта, которая находится, отделенная от него узким коридором, напротив президентского Овального кабинета. В течение трех лет я постоянно присутствовал на этих совещаниях — слушал сообщения Киссенджера о "горячих точках" планеты, требовавших нашего пристального внимания, вступал в дискуссию с Джоном Эрлихманом и Джорджем Шульцем о насущных проблемах домашнего характера, делал пометки о расписании президента, которое перед нами раскрывал Боб Хальдеман.

Несмотря на то, что президент Никсон отказался пригласить в дом правительства своего заклятого врага, Гарольда Хьюза очень хотели видеть люди, дважды в неделю собиравшиеся в цокольном этаже Белого дома. Гарольд принял их приглашение прийти на завтрак, намеченный на 6 декабря. Поскольку за время правления Никсона сенатор был в Белом доме только один раз и поскольку время было тяжелое, Вашингтон разделен на два враждебных лагеря, Гарольд и Даг попросили меня тоже прийти. Может быть, я смог бы помочь в случае, если бы какой-нибудь излишне ревностный сторонник Никсона воспротивился бы присутствию сенатора.

Я приехал без одной минуты восемь и быстро прошел внутрь через Западные ворота, мимо знакомых охранников, которые привет-

ливо помахали рукой. День был такой красивый и солнечный, а я с такой радостью предвкушал, как Хьюз будет молиться в Белом доме, что даже улыбнулся заспанным репортерам, которые всегда дежурили у входа, отмечая входящих и выходящих.

Я вошел в дверь цокольного этажа в западном крыле, прошел узким коридором, стены которого были украшены фотографиями заграничных путешествий Никсона, мимо двери с табличкой "Ставка" — мозгового центра Совета Национальной Безопасности, раскинувшего свой подземный лабиринт под Южным газоном. Завтрак должен был состояться в отделанном деревом конференц-ресторане, предназначенном для старших работников администрации и членов Кабинета. Этим угром три стола, накрытые на четырнадцать человек, были сдвинуты вместе. За столом уже сидел спиной к стене — я думаю, он сам выбрал такое положение — Гарольд Хьюз, натянутый и напряженный в окружении полудюжины ревностных никсонцев.

Когда я вошел, сенатор взглянул в мою сторону, заметно просиял и воскликнул: "Здравствуй, брат!" Я поприветствовал своих друзей и занял место на дальнем конце стола. Один за другим, пришли остальные и заполнили имеющиеся места, за исключением того, что было справа от меня. Присутствовал заместитель министра труда Дик Шуберт, также Кен Белью, которого уговорили не уходить в отставку, чтобы помогать новому вице-президенту Джеральду Форду сформировать кабинет. Были и другие старые друзья; про большинство из них я не знал, что они интересуются такими вещами. Одетые в красные пиджаки официанты филиппинского происхождения стали носить из кухни подносы с серебряными кофейниками и булочками. Мы уже начали есть, когда распахнулась дверь и вошел председатель совета директоров Федерального резерва Артур Берне.

"Что здесь делает Артур Берне?" — в ужасе спросил я своего соседа справа, отца Джона Мак-Лафлина, священника-иезуита и штатного составителя речей для президента. Знавший о "грязном" эпизоде, случившемся несколько лет назад, когда я ложно обвинил Бернса в попытке увеличить себе жалованье, отец Джон причмокнул. "Артур регулярно принимает участие в этих завтраках", — сказал он мне.

"Но он же еврей", — запротестовал я. Не то чтобы это действительно имело какое-то значение; просто это было первое, что пришло мне в голову в качестве объяснения. Полагаю, Мак-Лафлин догадывался, что я боялся встречи с Бернсом лицом к лицу.

"Он не только еврей, — продолжил Мак-Лафлин — он также председатель нашего собрания".

Берне тоже почувствовал себя неловко, увидев меня, но еще больше смутился, когда понял, окинув быстрым взглядом стол, что единственное свободное место было рядом со мной. Мгновение он колебался, затем, протянув через стол руку, чтобы познакомиться с Хьюзом, поприветствовал остальных и, едва кивнув в моем направлении, сел.

Хьюз привлек к своей особе куда больше внимания, чем предполагали устроители завтрака. Вскоре помещение ресторана, вмещавшее пятьдесят человек, было заполнено до отказа, и официанты то и дело бегали на кухню за дополнительными порциями яичницы. Но встреча, хотя и шумная, едва ли была по-настоящему теплой; в атмосфере чувствовалась скептическая сдержанность.

В 8:20 Берне, который нервно ковырялся в своей тарелке, поприветствовал многочисленных собравшихся и объяснил, что молитвенная группа Белого дома необыкновенно рада видеть в своих рядах сенатора Гарольда Хьюза, который пришел рассказать о своем решении оставить Сенат и посвятить себя внеденоминационному христианскому служению. Затем, без обычных для вашингтонских политиков хвалебных речей, он передал слово Хьюзу.

После некоторого нехарактерного замешательства в самом начале речи, Хьюз обрел почву под ногами и уверенно и красноречиво повел собрание. В течение двадцати минут в зале не слышно было ни одного звука, помимо звука его мощного глубокого голоса. Он рассказал с обескураживающей честностью о своем прошлом, о том, как Христос раз и навсегда изменил его жизнь, о проблемах, с которыми он сталкивался в правительстве, как христианин, и под конец несколько минут уделил тому, как познакомился со своим братом во Христе, Чарльзом Колсоном.

Если бы момент не был столь волнительным, я бы, наверное, рассмеялся — такое изумление это вызвало у присутствующих. Уголом глаза я заметил, что Артур Берне, приоткрыв рот, совершенно неподвижно смотрит на Хьюза. Локон седых волос выбился ему на лоб, и трубка, которую он усиленно курил в начале, лежала в его правой руке, погасшая.

"Я понял, какая ошибка — ненависть, — продолжал Хьюз. — На протяжении многих лет существовали люди, к которым я испытывал сильную злобу. Но тем самым я делал хуже только себе. Нена-

видя, я лишал себя любви Христа. Одним из тех, кого я ненавидел больше всех, был Чарльз Колсон; теперь же, когда мы связаны общей верой в Христа, я люблю его как брата. Я без тени сомнения доверю ему свою жизнь, семью и все, что у меня есть".

Когда он закончил, наступила продолжительная тишина — никто не мог оторвать от сенатора взгляда. Прошло много секунд, вероятно, целая минута, словно весь небольшой зал был погружен в молитву.

Артур Берне, который должен был закрыть собрание, казалось, не мог подобрать нужных слов. Наконец, он демонстративно положил на стол трубку, на мгновение задержал на ней взгляд, сложил перед собой руки и медленно поднял глаза. Голосом настолько тихим, что меня взяло сомнение, слышат ли его сидящие в другом конце зала, он произнес: "Сенатор, я хочу сказать, что это один из самых удивительных и проникновенных рассказов, какие мне когда-либо доводилось слышать".

Он прочистил горло, и было совершенно очевидно, что он удерживает слезы. "Не хочу ничего добавлять, — сказал он. — Только одно, от лица этой группы. Не согласитесь ли Вы прийти снова?" С этими словами он поднялся, взял меня левой рукой за правую и объявил: "Сейчас я хочу попросить м-ра Колсона повести нас в молитве".

Все, кто был в зале, взялись за руки. Я был так удивлен, что прошло какое-то мгновение прежде, чем я обрел дар речи. Времени продумывать молитву не было; мне пришлось полностью положиться на Святой Дух. Слова, вышедшие из меня, были просьбой, обращенной ко всем присутствующим, независимо от положения в правительстве, предстать перед Ним в кротости и смирении, с сознанием того, что мы — ничто, а Он — все, что без Его руки, лежащей на нашем плече мы никогда не смогли бы ведать делами нашего народа. Когда я закончил молитву словами "во имя Господа нашего Иисуса Христа", то почувствовал, как Бернс крепче сжал мою руку. Когда люди стали расходиться, то они либо обнимали Хьюза, либо тепло пожимали его руку и повторяли приглашение Бернса приходить еще. Многие также пожимали руку и мне, обозначая этим связывающие нас братские узы, куда более крепкие, чем те, что были известны нам как работникам Белого дома, в одиночестве сражающимся, как мы считали, против всего мира. Картина была очень эмоциональная; никогда за всю мою государственную службу мне не приходилось видеть ничего подобного.

Попрощавшись с Гарольдом, я поспешил к выходу из цокольного этажа, надеясь догнать Бернса прежде, чем он сядет в ожидавший его лимузин. Я увидел его в маленьком гардеробе, где он надевал шарф, стоя возле стола охранника. "Доктор Бернс, я знаю, что Вы имеете полное право не выносить меня на дух, — признался я, — но я хотел бы извиниться перед Вами за ту фальшивку. Я бы очень хотел когда-нибудь встретиться с Вами и поговорить".

Несмотря на манеру говорить тихо, Артур Бернс мог быть временами и высокомерным, и сварливым; тех, кто осмеливался оспаривать его экономическую политику, он часто встречал недовольным взглядом, клубами дыма из трубки и суровой отповедью. Но в то утро передо мной был терпеливый седовласый профессор, который понимающе смотрел мне в глаза. "Можете не извиняться, — сказал он. — Теперь в этом нет нужды. Все это позади. Мне тоже хотелось бы увидеться с Вами". Затем, запинаясь, он добавил. "Я никогда не думал... Я никак не предполагал... В общем, это было необычное утро". На этом он пожал мне руку, повернулся и вышел на яркий солнечный свет.

Я пошел обратно в свой кабинет, славя Бога.

Регулярный брифинг для прессы был назначен в то утро на 11 часов. Джерри Уоррен, бывший репортер *"Сан Диего Юнион"*, а в течение пяти последних лет главный помощник Рона Зиглера, вошел в начале двенадцатого в пресс-центр Белого дома, приготовившись к натиску вопросов об Уотергейте. Репортеры, сидевшие в дальнем конце зала, перебежали вперед, открыли блокноты, и Джерри склонился к микрофону, чтобы сделать рутинные объявления: президент подпишет указ 1973 года "О назначении ветеранам пенсии по инвалидности либо посмертно", в три часа состоится совещание с советниками по делам экономики, также намечена встреча с вице-президентом Джеральдом Фордом. Затем по традиции он попросил задавать вопросы. Нижеследующее взято непосредственно из протокола этого брифинга (Протокол регулярной пресс-конференции в Белом доме, № 1869, от 6 декабря 1973 года), начиная с вопроса Дэна Ратера из программы новостей канала Си-Би-Эс:

Ратер: Джерри, какие цели преследует президент, продолжая встречаться с Чарльзом Колсоном?

Уоррен: (пауза) Хм... (пауза) он посетил собрание, которое каждый четверг проводится в ресторане нижнего этажа. Группа работников Белого

дома собирается вместе на молитвенный завтрак, и сегодня м-р Колсон был с ними...

Неизвестный голос: Молитвенный!

Другой неизвестный голос: Он собирается стать очередным проповедником?

Запись на несколько минут стала неразборчивой, потому что зал начал хохотать. Джерри потом рассказывал мне, что не видел подобного веселья в конференц-зале с тех пор, как 18 месяцев тому назад начался Уотергейт.

Ратер: Я бы хотел получить ответ.

Уоррен: Это и есть ответ.

Ратер: Что он посетил молитвенный завтрак?

Протокол показывает, что Уоррен начал долго и подробно рассказывать о завтраке — сказал, что на нем появился сенатор Хьюз, перечислил тех, кто еще принимал в нем участие, упомянул, как часто такие завтраки проводились, а также тот факт, что на нем присутствовали бывшие работники Белого дома, такие как я. В конце концов, смех утих.

Ратер: Джерри, не странно ли, что профессиональный представитель интересов крупных объединений и частных лиц как внутри, так и вне Белого дома посещает молитвенный завтрак?

Уоррен: Дэн, я вовсе так не считаю. Я думаю, это сильное преувеличение. Когда люди, которые вместе работали, собираются за столом, чтобы поговорить о том, во что они верят, а в этом и заключается молитвенный завтрак, я просто не считаю это чем-то далеко идущим. Я думаю, Вы преувеличиваете.

Ратер: Если позволите, я продолжу. Мне хочется, чтобы в протоколе было отмечено, что я вовсе не против молитв или молитвенных завтраков, но мне действительно кажется, что здесь есть один очень важный момент. Если раньше Чарльз Колсон был работником Белого дома, то теперь он представляет такую организацию, как "Тимстерс Юнион". А всем нам хорошо известно, как делаются дела в Вашингтоне. Эти люди пытаются объединиться с людьми, стоящими у власти, а на таких собраниях, как молитвенные завтраки, они решают свои дела. Разве вы в Белом доме не обеспокоены символизмом всего этого?

Уоррен: Не больше, чем мы обеспокоены символизмом того, что сенатор Хьюз был главным выступающим на этом завтраке.

Вопрос неизвестного: Он представлял чьи-нибудь деловые интересы?

Вопрос: А какая здесь связь?

Уоррен: Связь здесь та, что эти люди собрались вместе, потому что имеют общую веру, и я не вижу в этом ничего предосудительного.

Вопрос: Сенатор Хьюз собирается стать церковнослужителем. Вы сравниваете это с "Тимстерс Юнион"? (смех)

Уоррен: Мне кажется, это слишком.

На этом Уоррен повернулся и сошел с подиума, оставив озадаченных журналистов с единственной новостью дня: Колсон посетил молитвенный завтрак.

Незадолго до полудня все линии на моем телефоне оказались занятыми одновременно. Ничего особенного. Так случалось не раз за долгую ночь Уотергейта. Когда бы против меня не выдвигалось новое обвинение, репортеры бросались к телефонам и пытались дозвониться до меня с целью получить комментарий. Обычное дело. "*«Чикаго Трибьюн»*", "*Пост*", "*Нью-Йорк Таймс*", — сообщила Холли. — Все пытаются дозвониться одновременно".

Мое сердце забилося. Последнее время в прессе обо мне писали мало. Не долгожданное ли это обвинение? Сначала я ответил на звонок из "*Чикаго Трибьюн*", потому что мне нравился Альдо Бекман, начальник вашингтонского отделения газеты, который и звонил. "Прошла новость, Чак, что сегодня утром Вы посетили молитвенный завтрак в Белом доме, а также, что Вы с сенатором Гарольдом Хьюзом стали близкими друзьями". Голос его стал еще недоверчивее: "И еще что-то насчет того, что Вы нашли для себя религию".

В порыве возмущения я запротестовал: "Послушай, Альдо, вы и так напечатали обо мне все, что можно. Но вера — это мое личное дело, и я не намерен говорить об этом в прессе. Всему есть предел".

"Уоррен объявил, что Вы сегодня утром были на молитвенном завтраке в Белом доме. Это уже предано гласности", — сообщил Альдо.

"Уоррен объявил? — Я был ошеломлен. — Ну что ж, пусть тогда Уоррен и расскажет вам обо всем". На этом я повесил трубку.

Теперь телефон звонил, не переставая. "Что мне им сказать?" — спросила Холли.

"Скажи им, пусть идут... — хотел было сказать я, но затем передумал. — Просто записывай имена. Может быть, я перезвоню".

Я позвонил Джерри Уоррену, который объяснил мне, что про-

изошло. "Думаю, что кто-нибудь увидел тебя, когда ты сегодня входил. Эти стервятники готовы ухватиться за что угодно. У них сегодня был праздничный обед с молитвенным завтраком на десерт. Ты бы видел их лица", — произнес он.

"Но за последние месяцы я часто бывал в Белом доме, Джерри, и они все время меня видели. Почему они спросили об этом именно сегодня?" — недоумевал я.

Я позвонил Дагу Коу, который рассказал, что репортеры уже звонили Хьюзу и в Дом общения, пытаясь свести все части истории воедино. "Просто будь начеку, Чак. Не теряй самообладания", — посоветовал Даг.

Вопрос, который я задал Джерри Уоррену, начал меня беспокоить: "Почему именно сегодня?" Дэн Ратер мог бы задать свой вопрос в любой другой день за последние девять месяцев. Еще до главного президентского выступления или после "субботней бойни", а также во время наибольшей активности комитета Эрвина мои визиты должны были привлечь к себе внимание подозрительных журналистов. Этого не было. Почему же сейчас?

Возможно ли, что это не было случайностью? Я учился тому, что пути Господни неисповедимы, хотя мне и трудно было понять, каким образом Ему могут оказаться полезными циничные газетные статьи о моем обращении. Тем не менее, эта мысль не покидала меня. Почему Уоррен не отмахнулся от вопроса Ратера, почему не сказал просто, что я не виделся с Никсоном? Или что не знает? Зачем было упоминать молитвенный завтрак? Это не было похоже на обычный стиль Уоррена.

И все же, могло ли это быть Божественным промыслом? Меньше всего сейчас мы нуждались во внимании со стороны прессы; чем меньше обо мне слышно, тем лучше, считали мои адвокаты. А циники устроят из новости потеху; будут много язвить, в особенности старые друзья. Наконец, если мне придется подтвердить подлинность всех этих сообщений, то дорога к отступлению будет мне отрезана, и я буду вынужден жить новой жизнью.

И неожиданно я стал вспоминать, как Том Филлипс сказал мне о своей новой вере. Он рисковал попасть в неловкое положение, но его мужество помогло изменить мою жизнь. Библия говорит об этом ясно как день. "Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа", — писал Павел Тимофею (см. 2-е Тимофею 1:8). Мы как раз говорили об этом на встрече в понедельник. Не подтвердить но-

вость означало бы практически отрицать истинность произошедшей во мне перемены. Я понял, что другого пути не было — невозможно это как-то откорректировать, сгладить, назвать иначе; социально приемлемого компромисса не дано.

Решение было принято. Если вопрос Ратера был просто невероятным совпадением — пусть так и будет; но если это делал Бог, то я должен был подыграть. Поэтому я позвонил репортерам и как можно лучше объяснил им, что со мной произошло. Слушая собственные слова под стук печатных машинок на другом конце провода, я едва верил своим ушам — настолько все это звучало реально: "Принял Христа... Иисуса Христа в мою жизнь". Как все это будет выглядеть, напечатанное черной типографской краской! Слышавшееся по временам хихиканье и "не могли бы Вы это повторить помедленнее", на этот раз подтверждали мои худшие опасения.

"«Крутой парень» Колсон ударился в религию", — напечатала "Лос-Анджелес Таймс"; заголовок "Колсон «обрел религию»" появился в "Нью-Йорк Таймс". На следующей неделе (17 декабря, 1973) журнал "Таймс" подвел черту под газетными сообщениями в статье, озаглавленной "Обращение":

Из всех участников Уотергейтского дела немногие могут похвастать такой репутацией, как бывший советник президента Чарльз Колсон, известный резкостью подходов, изворотливостью и невероятной преданностью Никсону. Джейб Стюарт Магрудер обвиняет бывшего офицера морской пехоты в том, что именно тот был инициатором уотергейтского прослушивания; имя Колсона упоминается также в связи с рядом других "грязных приемов", в том числе — с подделкой телефонограммы Министерства иностранных дел. Когда его влияние достигло зенита, Колсон гордо заявил, что ради переизбрания президента он "готов переехать собственную бабушку".

Во время молитвенного завтрака в Белом доме на прошлой неделе 42-летний Колсон предстал в новом амплуа. Он заявил, что "...познал Иисуса Христа". Предвидя, что многим будет трудно поверить в искренность его новых убеждений, "крутой парень" Колсон сразу сообщил всем скептикам: "Если кто-нибудь захочет позвонить на этот счет, я за него помолюсь".

Я жалел, что произнес эти ставшие широко известными слова — "я за него помолюсь". Слова невольно получились покровительствен-

ными, похожими на прежнего наглого Колена. Они просто были первыми, которые пришли мне в голову, когда меня спросили, что я отвечу тем, которые усомнятся в моей искренности.

В передовой статье, озаглавленной "Аминь, брат", газета *"Бостон Глоуб"* перечисляла все реальные и выдуманные грехи Колсона и в заключении писала: "Если и м-р Колсон Может покаяться в своих грехах, то надежда существует для каждого".

Независимый обозреватель Харриет Ван Горн формулировал это резко: "Я не принимаю внезапного обращения Колсона к Христу. Если его самого не смущает такая внезапная набожность, то Господа она не смущать не может".

А католический священник, ставший либеральным журналистом-философом, Колман Мак-Карти, приравнивал обращение Колсона к тому, как Ренни Девис уверовал в индийца Гуру Махараз Джы. Мак-Карти оскорбила моя готовность к публичным признаниям: "За всю историю подлинных обращений... новообращенные сначала всегда хранили молчание". И так продолжалось в течение многих дней и недель.

Я беспокоился, нет ли чего-то самонадеянного в моем заявлении, что я "уверовал *бесповоротно*" — не стараюсь ли я выставить себя праведным. Может ли человек вообще быть до конца уверенным, что уверовал? Без сомнения, я всем сердцем уверовал в некоторые истины; тем не менее, это едва ли переменяло меня как человека. Я мог только честно признаться, что ищу, отыскиваю, пытаюсь, учусь, ошибаюсь, спотыкаюсь, снова встаю на ноги и продолжаю попытки — все это ради того, чтобы иметь взаимоотношения с Иисусом Христом. Изменился мой дух, мой характер, мой настрой. Почему кто-то обязан мне верить, когда я описываю произошедшую перемену, и почему должен полагаться на мое слово, что обращение не временно? Скептики имели полное право сказать: "Пусть мы убедимся в этом не из его слов, а из его дел".

Я обнаружил, что слово *"обращение"* многими понимается неправильно. Люди считают, что любое обращение должно быть исполнено такого же драматизма, как самое известное из них, произошедшее со Св. Павлом по дороге в Дамаск. Я же уверен, что большинство обращений ничем не примечательны, обыкновенны и не стоят того, чтобы о них рассказывать.

Меня также беспокоило расхожее мнение, что для того, чтобы уверовать во Христа, человек должен быть, настолько падшим и

грешным, его совесть настолько нечистой, а горести такими ужасными, что в порыве отчаяния он будет просто *вынужден* отдаться на Божью милость. В течение нескольких дней после появления первой волны сообщений о моем обращении, многие, включая прокуроров, считали, что я вот-вот исповедуюсь перед всеми в самых гнусных уотергейтских грехах.

Тема о моем ставшем широкоизвестным обращении была поднята в декабре во время встречи в кабинете Джаворски, где присутствовал м-р Меррилл и несколько его молодых помощников.

"Мы читали о происшедшем с Вами, — сказал Меррилл. — Мы верим, что это было искренне и что *теперь* Вы готовы рассказать нам все".

Меррилл сидел напротив меня за большим столом в кабинете Джаворски. Говоря со мной, он смотрел в стол, словно не желая смущать меня, когда я буду во всем признаваться. Я посмотрел налево, где сидел Джаворски; на его округлом лице была загадочная улыбка.

Я, разумеется, знал, чего они ждали. Если мое обращение было подлинным, то я должен был признать себя виновным. Единственная сложность заключалась в том, что с самого начала я пытался сказать им правду. Они в это не верили и надеялись, что, может быть, Бог поможет Особому прокурору вывести меня на чистую воду. Мне кажется, они также хотели показать, что доказать искренность своих религиозных убеждений я мог лишь признавшись в том, что прежде скрывал.

Меня захлестнула злость. "Я не стремился предать мои религиозные убеждения гласности, — ответил я Мерриллу. — И я не намерен их использовать, но хочу, чтобы их также не использовали против меня". Меррилл быстро сменил тему; но я понял тогда, что газетные сообщения о моем обращении только уменьшили то доверие, которое прокуроры еще испытывали ко мне.

Реакции со стороны других людей были весьма разнообразными. Моя мама была вне себя. "Мы с отцом воспитывали нашего сына как доброго христианина. Он был крещен и конфирмирован в Епископальной церкви. Мы научили его всем христианским принципам. А теперь, представьте себе, он говорит, что только сейчас стал христианином!" — жаловалась она соседям.

Я пытался объяснить родителям, что, несмотря на всю искренность их попыток, я не стал христианином. То была не их вина, а моя.

Одна моя родственница полагала, что перенапряжение, связанное с Уотергейтом, оказалось мне не по силам. "Боюсь, что бедняга Чак слегка тронулся. Подобный религиозный пыл часто бывает признаком умственной неуравновешенности", — написала она нашему общему другу.

Хуже всех пришлось Уэнделлу, который учился тогда на втором курсе Принстона. Как он позже вспоминал, в тот вечер он тихо занимался в своей комнате в общежитии, когда девушка, жившая в одной из соседних комнат (да, речь о тех самых совместных общежитиях Принстона) громко постучала в его дверь. "Я только что видела твоего отца по телевизору! — восторженно закричала соседка, активно проповедовавшая Христа в студенческом городке. — Он теперь один из нас; он принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя".

Для Уэнделла это стало последней каплей. Девятнадцатилетнему студенту и так было нелегко вписываться в университетскую жизнь, когда его отца изо дня в день обвиняли в одном преступлении за другим. Но к такому повороту он был просто не готов. Ударив себя по лбу, он простонал: "Нет, только не это! Отец помешался на Иисусе!"

Легко догадаться, что Дейв Шапиро тоже был вне себя. Он ворвался ко мне в офис в то же утро, когда появились первые сообщения в газетах: "Это конец, Колсон, на этот раз тебе действительно конец. Пусть Он (полагаю, он имел в виду Христа) спасает теперь свою задницу, потому что я не могу".

"Успокойся, Дейв, — сказал я. — В этот раз я ничего не мог сделать. Нам следовало ожидать этого рано или поздно".

"Успокойся! — завопил он, обрушивая свой мясистый кулак на мой письменный стол. — Только я решил, что мы, наконец, расправились с этим Эллсбергом, что целый месяц тебя не трогают в прессе, и на тебе! Это, похоже, твой самый главный "грязный прием", твой прощальный концерт. Очень может быть. Насколько я понимаю, им следует привлечь тебя к суду именно за него". С этими словами он выбежал из кабинета; Холли сидела, заткнув пальцами уши.

Старые друзья с трудом понимали мой поступок. Однажды к Брэду Морсе, заместителю Генерального Секретаря ООН, который считал, что знает меня как никто другой, пришел Джонатан Мор, мой

помощник времен Сталтонстола, бывший также шафером на нашей с Патти свадьбе. Брэд недоуменно глядел на Джонатана: "Что значит вся эта история с Колсоном? Меня в жизни надували только два раза, и оба раза — христиане. Ты считаешь, он в порядке?"

Один чрезвычайно серьезный студент юридического факультета Гарварда, который работал со мной в Белом доме в качестве интерна, сформулировал все очень четко: "Некоторые из нас знали, любили и уважали того Колсона, который *был*, а все эти разговоры об обращении, да еще в таком панском тоне, мне откровенно не нравятся". Молодой человек посчитал, что я отрекся от своего прошлого, частью которого он себя считал.

Фрэнк Фицсиммонс, президент "Тимстерс Юнион", сам глубоко верующий католик, был в бешенстве. "Для этих... из газет нет ничего святого. Пишут о вере человека! Это же самое мерзкое, самое низкое из того, что можно представить".

Но, как ни странно, некоторые газетные отклики были на удивление дружелюбными. Билл Грейдер, репортер *"Вашингтон Пост"*, дал на передовицу статью, в которой подробно рассказал историю моего обращения, упомянув о моих отношениях с Хьюзом и о посещении молитвенной группы по понедельникам. Пути Господни в самом деле неисповедимы: надо же было так произойти, что именно мои давнишние враги из *"Пост"* написали первую серьезную статью на эту тему. "Духовное пробуждение Колсона, быть может, и не решит всех его проблем в отношениях с Большим жури, — писал Грейдер, — но оно несомненно доставило большое удовлетворение определенной группе людей, собирающейся у Гарольда Хьюза на молитвенные собрания". Доброжелательная статья в *"Пост"* вместе с полным сочувствия отчетом ЮПИ, написанным молодым христианином Уэсом Пиппертом, были перепечатаны сотнями газет по всей стране.

В понедельник 17 декабря Эрик Севарейд полностью посвятил свой вечерний комментарий в новостях Си-Би-Эс обрушившейся на Вашингтон метели и обращению Колсона. Снегопад, будучи делом Божьих рук, размышлял комментатор, послужил делу экономии энергии и очистки вашингтонского воздуха куда больше, чем все законодательство по остановке вредных производств, которое Конгресс пытался тогда провести. Что же касается обращения, другого дела рук Божьих, то он сказал: "М-р Чарльз Колсон, известный некогда как самый жесткий работник Белого дома, чело-

век, который, как считали многие, нуждался не только в молитвах, но и в хорошем адвокате — м-р Колсон стал главным героем дня, когда появились сообщения о его обращении к религии. Он не сознается ни в одном из приписываемых ему грехов юридического характера, но признает, что зарвался. Новый Колсон не утверждает, что способен ходить по воде, но отказался от хождений по головам бабушек. Есть много людей, которые жаждут во что-то верить и готовы принять признания Колсона за чистую монету. В конце концов, именно о такой перемене и мечтали бесчисленные критики... М-р Колсон, очевидно, находится на правильном пути. Решение Конгресса имеет место, а реальное воздействие имеет простое решение в пользу Бога".

В результате, комментарий Севарейда, который увидели, наверное, тридцать миллионов американцев, а также статьи "*Пост*" и ЮПИ, прочитанные еще миллионами людей, превратились в мощное публичное свидетельство о Христе. Я никогда не предполагал такого исхода, как и другого последствия, которое лично мне показалось наиболее удивительным.

Почти с самого первого дня ко мне в офис стали поступать толстые связки писем, некоторые из которых были адресованы комитету Эрвина, некоторые — в Белый дом, некоторые — просто в Вашингтон, а одно пришло на имя "Уотергейта". Я пытался отвечать на все, но со временем это стало невозможно. Письма шли со всей страны, и даже из таких отдаленных мест зарубежья, как Манила и Нью-Дели. Почти во всех без исключения письмах говорилось о том, что за меня молятся, о том, как автор обрадован тем, что я пришел к Христу, о христианской любви. Многие авторы высказывали полное несогласие с моими политическими взглядами и политикой Никсона, и тут же приветствовали в моем лице брата и обещали за меня молиться. Некоторые признавались, что никогда раньше политическому деятелю не писали. Но все неизменно воздавали хвалу Богу.

Я никогда не подсчитывал, сколько всего людей мне написало, но кипа писем на столе неизменно укрепляла меня духом, когда я просматривал их по вечерам. Однажды вечером, вскоре после Рождества, я натолкнулся на письмо, которое в течение многих последующих месяцев и лет влияло на мои представления о собственных целях. Оно было написано всего на одном листе белой линованной бумаги:

25 декабря 1973

Уважаемый сэр!

Мое письмо может показаться Вам странным, тем не менее, после того, как я прочел статью про Вас в "Чарльстон Ивнинг Пост", я пришел к выводу, что Вы были (в прошлом) необычным человеком. Я — штабной сержант американских ВВС. Я несколько раз ходил в церковь, но они (пасторы) ничего во мне не затронули. Ваша статья, прочитанная мной, помогла мне значительно больше, чем все остальное за всю жизнь. Сейчас утро Рождества. Обычно в это время я уже пьян или пытаюсь напиться, но сейчас я смотрю, как дети распаковывают свои подарки и думаю о том, чтобы пойти в какую-нибудь церковь, а не в клуб или к кому-нибудь домой, чтобы напиться. В этом году я даже не купил никакой выпивки. Именно люди в таком положении, как Вы, которые признаются в своем прошлом (может не очень-то хорошем, где много ошибок), точно помогают людям в таком положении, как я. Сегодня утром я действительно чувствую себя свободным внутри и молюсь, чтобы Бог помог нам выдержать все это.

Я попробую найти здесь эту книгу "Просто христианство" и прочесть.

Да благословит Вас Бог,

Шт. сержант Натаниель Грин

Мне было абсолютно все равно, если кто-то увидит, что у меня по щекам текут слезы, когда я читал и перечитывал в офисе письмо сержанта Грина. Он расставил все точки над "и". Одиннадцать лет я работал в правительстве, отдавая работе все до последней капли, только бы сделать жизнь людей лучше. Но за все это время я не мог назвать ни одного человека, ни единого, чья жизнь действительно изменилась бы к лучшему. На самом деле, ничто даже близко не могло сравниться с той радостью, какую я испытывал, думая о том, что человек вернулся в семью в день Рождества. А узнал обо мне штабной сержант благодаря прессе, к которой я питал такие отрицательные чувства.

"Индивидуум... важнее, потому что он вечен, а существование

государства или цивилизации по сравнению с его жизнью — только мгновение", — писал К.С. Льюис.

Как сказал мне в телефонном разговоре один мой друг, "если надо мной смеется весь город, то пусть смеется сколько угодно". *Есть много таких сержантов Гринов*, подумал я, вглядываясь в вечерние сумерки за окном. И есть также Господь, живой и непостижимый в своих путях. Я поблагодарил Его, поблагодарил за враждебный вопрос Дэна Ратера, за то, что Джерри Уоррен по ошибке упомянул о молитвенном завтраке, даже за тех, кто написал несправедливые и обидные статьи.

"Игра стоит свеч, Холли, — сказал я, проходя мимо ее стола и видя, как на ее лице появляется удивленное выражение, — стоит свеч".



13

Одинокий дом

На следующий день после передачи Эрика Севарейда по Си-Би-Эс, позвонил Стив Булл из Белого дома: "Чак, президент хочет с тобой увидеться. Ты не можешь сейчас подойти?"

Совсем как в былые дни, подумал я. Сердце забилось, и я почувствовал привычное возбуждение при мысли, что мне предстоит увидеться с самым важным человеком на земле. Хотя мы и разговаривали регулярно по телефону, с тех пор как девять месяцев назад я оставил Белый дом, мы избегали встреч лицом к лицу, опасаясь, что укрепившийся за мной имидж отрицательного героя Уотергейта бросит тень и на него.

Должно быть, это важно, решил я, схватил плащ и, извинившись, вышел, ничего не объясняя нескольким своим партнерам, с которыми мы проводили в тот момент совещание у меня в офисе. Я прошел полквартала, отделявшие меня от Юго-западных ворот, увязая в сером снегу, о котором, как и о моем обращении, философствовал Севарейд накануне вечером.

Стив стоял у ворот. Чтобы не попадаться на глаза репортерам, он провел меня по длинной кольцеобразной дороге вдоль Южного газона, затем напрямик через большую открытую лужайку, где садится и взлетает президентский вертолет, мимо агентов секретной службы и к дипломатическому входу.

"Что случилось, Стив?" — поинтересовался я, когда мы вошли в

вестибюль, украшенный по стенам элегантными фресками из ранней истории Америки и с гигантским бело-синим с золотом ковром, вышитым по окружности пятьюдесятью государственными печатями.

"Боссу нужно с тобой поговорить, Чак. Уотергейт все резко изменил в худшую сторону. Никто не знает, что вы встречаетесь. Он ждет наверху в комнате Линкольна — так безопасней. Мы даже не можем больше доверять людям из Западного крыла, — Стив огорченно покачал головой. — Это его убивает, ведь он принимает все так близко к сердцу. Поддержи его, Чак, как у тебя получалось это в старые добрые дни".

Когда я поднялся по выстланной красным ковром лестнице и прошел по центральному холлу с мраморными колоннами, у меня по спине пробежал холодок. Белый дом казался покинутым. Обычно здесь были агенты секретной службы, работники показывали кому-нибудь дорогу, сновали военные помощники и стояли в очередях туристы. Но сегодня не было никаких признаков жизни; единственный звук, оживлявший пустой коридор, был стук моих кожаных каблучков о мраморный пол. На какое-то мгновение мне вспомнилась странная тишина на следующий день после выборов.

Даже перед дверью в гостиную Линкольна на третьем этаже никого не было. Я вошел. Президент сидел в явно неудобном строгом кресле, обитом желтой парчой, в самом углу маленькой комнаты, заполненной реликвиями, связанными с президентом Линкольном. "Рад видеть тебя, старина, рад видеть", — Никсон поднялся и с широкой улыбкой пожал мне руку как никогда горячо.

Усадив меня в кресло из розового дерева, приобретенное миссис Линкольн, он предложил мне одну из своих трубок. Спросив меня о семье, он перешел к сути дела: "Адвокаты не советуют мне, чтобы нас видели вместе. Все зашло слишком далеко. Но разве это причина, чтобы два старых друга не виделись? Мы поговорим о Джордже Мيني, о профсоюзах или о чем-нибудь еще; никто не может осудить нас за это, не правда ли?"

Мы не оставались наедине с тех пор, как я узнал о том, что в Белом доме производится запись разговоров. Наполовину в шутку я сказал: "М-р президент, наша беседа записывается?"

"Что ты хочешь этим сказать, записывается? Кто может это сделать?" — спросил Никсон. Он выпрямился в кресле, улыбка исчезла, в голосе мелькнул страх. "Ты думаешь, *они* могут это сделать?" — спросил он.

Я попытался объяснить, что меня интересовало только то, не ведет ли он сам запись, как раньше. Но он все время меня перебивал: "Можно ли доверять секретной службе, Чак? Я не уверен. Ты ведь не думаешь, что Джаворски установил прослушивание и в *этой* комнате?" Я опять попытался убедить президента, что, если *он* не отдал приказа о прослушивании, больше этого никто не мог сделать. Но это его не удовлетворило.

"Беда в том, Чак, что я никому не могу доверять. Даже секретаршам", — продолжал он.

Какая ирония судьбы, подумал я. Много лет президент записывал ни о чем не подозревающих посетителей своего кабинета; теперь его преследует страх, что кто-то записывает его самого. Человек, четыре года уверенно шагавший по залам и кабинетам Белого дома, наслаждавшийся беспримерной властью, прятался теперь в отдаленном помещении практически пустого особняка, снедаемый подозрительностью и недоверием ко всем окружающим. Я почувствовал прилив жалости к своему старому другу. Он стал меньше, словно залез в тесный защитный кокон; кожа на лице обвисла, морщины сделались глубже. Он выглядел более усталым, чем когда бы то ни было за всю историю кризисов, которые мне приходилось переживать вместе с ним.

"Пленки, — начал он, медленно обретая самообладание, — все это идея Хальдемана. Глупо, просто глупо. Я дважды говорил Бобу, чтобы он убрал систему, но ты же его знаешь. А потом я совсем забыл про нее. Но теперь здесь ничего нет. Я лично приказал убрать все устройства до последнего. Можешь быть в этом уверен".

Затем президент спросил меня о разговорах, которые мы вели в начале 1973 года. Он нацепил свои очки в роговой оправе и начал просматривать стопку документов, лежавшую у него на коленях. Протоколы прослушивания? Я решил не спрашивать. Я пересказывал каждый разговор, в то время как Никсон кивал в знак согласия, просматривая параллельно одну за другой свои бумаги. Проверял ли он мою память? То и дело он вставлял: "Ты уверен?" Затем возвращался к лежавшим на коленях бумагам и опять принимался поковырять пенковой трубкой.

"Ты точно помнишь, что никогда не просил меня ответить положительно на просьбы Ханта?" — спросил он, когда я закончил пересказ.

"Совершенно, — заверил я. — Я было заикнулся однажды, но Вы сразу меня осекли. Я прекрасно это помню".

"Замечательно, замечательно, коль скоро ты все так помнишь. Ну что, давай поговорим о более приятных вещах?" — сказал Никсон, снял очки и сунул документы обратно в большой коричневый конверт и улыбнулся. *О, не может быть, чтобы он вызвал меня сюда для этого*, удивился я; мы обсуждали эти разговоры три раза по телефону. Мой ответ всегда был неизменным, и у него были все пленки.

"Может быть, у Вас есть основание полагать, что мне изменяет память?" — спросил я, не осмеливаясь ближе подойти к вопросу о том, что было в тех бумагах.

"Нет, нет, старина. Просто сейчас надо быть предельно осторожным; Джаворски хочет получить эти пленки, и мне надо было еще раз убедиться. Не переживай на этот счет. А эта статья о тебе в *"Пост"* — очень интересная", — продолжил он.

Наконец, все стало понятно. *Вот настоящая причина того*, подумал я, *почему президент пожелал меня увидеть, — мое обращение*. Опасался ли он, что вера в Христа и дружба с Хьюзом обратят меня против бывшего лидера? Или — не искал ли он сам духовной помощи? Может быть, мне нужно описать произошедшее со мной, как сделал это Том Филлипс? Если я могу дерзко говорить перед репортерами, почему же я должен пасовать сейчас?

Наступила тишина. Я так ничего и не сказал — действительно спасовал. Он не поймет, уверял я себя. К тому же, почему он должен выслушивать мои наставления? Я не Билли Грэм. "В газетах теперь пишут все, что попало, — произнес я лениво. — Сумасшедшие времена, м-р президент".

Если президент давал мне возможность, которой я искал в течение недель, — встретиться и помолиться вместе — то я упустил ее начисто. Я всегда был откровенен с президентом, говоря о других вещах. Откуда взялась эта застенчивость в отношении обращения? Эта мысль много месяцев не давала мне покоя.

Остальная часть беседы прошла под знаком ностальгических воспоминаний. Мы вновь переживали те золотые дни, когда толпы на улицах, ревавшие о своей поддержке, кидались к проезжавшему автомобильному кортежу, чтобы поглядеть на Президента с большой буквы. То были победные дни, когда опросы показывали, что нас переизберут с рекордным перевесом голосов, когда американский президент провел триумфальные переговоры в Кремле и взошел на Великую Китайскую стену, ознаменовав тем самым новую эру американской дипломатии.

Окончание 25-летней холодной войны — плюс завершение кровавой войны во Вьетнаме — должно было породить "поколение мира", бывшее самой заветной мечтой Никсона: "Мы были на верном пути, Чак, что бы они сейчас ни говорили, верно?"

"Верно, верно, м-р президент", — подтверждал я, хотя от того времени остались одни воспоминания. Все замыслы разбились о подводные скалы Уотергейта. Прошло больше часа, прежде чем президент посмотрел на часы. "Мне лучше возвратиться, — сказал он. — Никто, кроме Стива, не знает, что я здесь. Я никогда не забуду тебя и то, как ты послужил своей стране. Когда-нибудь все встанет на свои места, вот увидишь, Чак". Он повторил последние слова еще раз, не столько успокаивая меня, сколько убеждая самого себя: "Вот увидишь. Настанет время, когда все вернется на круги своя. Это будет не завтра, но время придет".

Я, разумеется, знал, что он имеет в виду: снятие уголовных обвинений с лояльных ему членов администрации сразу после того, как он вновь обретет поддержку людей. Но почему-то это прозвучало неубедительно. В самой глубине души я чувствовал, что ход событий уже необратим. И когда мы проходили через семейные апартаменты, мне показалось, что президент тоже это чувствует.

Мы попрощались на окраине Розового сада. Какое-то время я стоял, глядя ему вслед, наблюдая, как его слегка сутуловатая спина исчезает в сероватом воздухе декабря, а впереди два агента секретной службы спешат, чтобы открыть двери Западного крыла. Для него это было возвращением в мир недостающих пленок, новых обвинений, неуплаты налогов и конгрессменов, призывающих к импичменту. Для меня — возвращение к Большому жури, совещаниям с моими адвокатами, постоянным вопросам со стороны людей Джаворски и неопределенности будущего.

Телефон зазвонил вскоре после 11:30, когда мы с Патти уже крепко спали. Голос оператора Белого дома: "М-р Колсон, звонит президент". Хотя я был огорчен нашей встречей, огорчен тем, что не смог заговорить об Иисусе Христе, и встревожен печальным видом моего друга, самого президента она, очевидно, взбодрила. "Извини, что звоню так поздно, но мы с тобой сегодня так замечательно поговорили. Я просто хотел еще пару минут поговорить, если ты не возражаешь", — начал Никсон. Это было продолжением нашего дневного разговора — еще немного воспоминаний, несколько воп-

росов о наших разговорах в прошлом январе, хорошие вести, которые он получил в тот день от Киссенджера относительно израиль-тян, которые готовы пойти на уступки в Ближневосточном урегулировании, мысли о том, как реагировать на требование комитета Эрвина представить 600 президентских пленок. Посреди дискуссии по поводу пленок Никсон внезапно остановился.

"Позволь спросить тебя еще раз. Почему ты предположил, что комната может прослушиваться? У тебя есть какая-то информация, которую ты не хочешь мне сообщать?" — спросил президент.

Его было невозможно разубедить. Тон голоса совершенно изменился. Я уже не слышал так хорошо знакомого мне голоса — сильного, самоуверенного, резонирующего. Затем он перешел к находившейся тогда в суде апелляции относительно пленок, которые Белый дом должен был представить обвинению: "Знаешь, Чак, мне ничего не останется кроме того, как подать в отставку, если мы проиграем это дело. Мне придется положить этому конец". Его голос стал тверже, на мгновение вновь обрел силу: "Я не буду участвовать в дискредитации поста президента".

Перспектива оставить Белый дом лежала на президенте тяжелым грузом, как и в июле, когда он тоже мне позвонил: "Как ты думаешь, Чак, что произойдет, если я решу идти до конца, и мне объявят импичмент? Тебе известно, что если мне устроят импичмент, то я банкрот в финансовом отношении: никакой пенсии, и это при том, сколько я должен налогов. Все считают, что я разбогател, но ведь это совсем не так".

Эгоистические интересы? Или подлинный патриотизм? И то, и другое было нераздельно сплетено в этом человеке. Я изо всех сил старался придать своему голосу уверенность и воодушевление, которых не ощущал: "Не говорите так, м-р президент, Вы продолжите борьбу и как всегда одержите победу".

Затем был задан вопрос, который до сих пор звучит у меня в ушах: "Я знаю, что Джаворски не желает президенту зла; он сам так сказал. Но ты не думаешь, что *они* могут отправить меня в тюрьму?"

Какое-то время я не мог поверить, что он говорит серьезно. "Прекратите, м-р президент! — воскликнул я. — Это самое нелепое предположение из всех, что мне доводилось слышать! И не говорите об уходе. Капитан не бросает свой корабль".

"Все это я знаю, — парировал он, — но может быть, следует из-бавить от всего этого страну. Может быть, стране нужен милый, чис-

тенький Джерри Форд — беда лишь в том, что Джерри еще не готов. Ему понадобится год, чтобы войти в курс всех международных дел — и тебе известно, что с Киссенджером ему придется нелегко. Я не уверен, Чак, что он сможет его контролировать; ты же знаешь, что Генри бывает подчас совершенно неуправляемым — ведет себя, как бешеный. Помнишь, каких усилий нам стоило удержать его в прошлом году во время декабрьских бомбежек? Ты помнишь, Чак. Нет, Джерри требуется время; ему надо научиться понимать Генри".

Президент использовал меня в качестве барометра, по которому он определял, насколько плохи дела. Ему хотелось, чтобы я придал ему уверенности, и я искренне пытался. На самом деле он говорил не о Форде и Киссенджере, а оценивал обстановку. Форд находился на своем посту только месяц и не был знаком с причудами гения Киссенджера. В течение долгих пяти лет Никсон и Генри работали плечом к плечу, сознавая как сильные, так и слабые стороны друг друга. Они научились зависеть друг от друга, как два канатоходца, работающих в паре; в сложных внешнеполитических маневрах все до малейших деталей должно быть просчитано и взвешено, как при ходьбе по канату.

Затем Никсон произнес самые поразительные слова того дня: "Ты знаешь, Чак, каждую ночь я встаю на колени и обращаюсь к Богу".

Я был потрясен. Это было невероятное заявление для человека столь гордого, что он не мог позволить себе признаться ни в какой человеческой слабости; Никсон отказывался признать, что простудился даже тогда, когда из-за обложенного горла едва мог говорить. По тону его голоса я совершенно ясно понял, что он говорит искренне. Признание пришло как бы из ниоткуда, оно никак не было связано с темой разговора, но прежде, чем я мог промолвить хоть слово, Никсон сменил тему, заговорив о стратегии, которой следует придерживаться в отношении Питера Родино, председателя парламентской юридической комиссии. Зная Никсона, я чувствовал, что он был смущен тем, что заговорил о таком интимном вопросе.

Еще один раз в тот день он дал мне возможность сказать, что Бог мог вывести нас из пустыни, и опять я промолчал. Что это было — трусость? А может быть, это Бог закрыл мне уста? Все, что я знал наверняка, так это тот факт, что я во второй раз подвел президента.

Был уже почти час ночи, когда я повесил трубку, оттолкнул кресло от письменного стола и упал на колени в тишине моей биб-

блиотеки. Я попросил Бога простить мне недостаток дерзновения, укрепить меня и позаботиться о президенте угодным Ему образом. В конце концов, я все еще искал Его сам, преодолевая одному Ему известные тяготы и сомнения.

В последующие недели я вернулся к своим старым воинским обязанностям — на этот раз в качестве советника президента по импичменту. Делом первостепенной важности было найти президенту подходящего судебного адвоката. Мы просмотрели длинный список возможных кандидатов, но никто из них нам не подошел. Большинство людей полагают, что президенту стоит только нажать кнопку, и к его услугам окажутся лучшие специалисты в любых областях деятельности. Но это не так. Лучшего специалиста бывает трудно найти даже для работы в Белом доме, тем более тяжело было это сделать в свете Уотергейта. Гонорары здесь ниже, чем в деловом мире, но главными сдерживающими факторами являются неограниченный рабочий день, скудная благодарность клиента и всегдашняя угроза, что твоя ошибка попадет в выпуск новостей.

В конце декабря я предложил ему своего собственного адвоката, Джима Сент-Клера, которого представил как человека напористого, уважаемого и находчивого в суде. Президент встретился с Джимом, и двумя днями позже Сент-Клер позвонил мне с просьбой отпустить его. Он сделал это совершенно бесстрастно. Джим, как всегда деловой и спокойный, казалось не испытывал никакой особой радости оттого, что будет работать с президентом, который был для него всего лишь очередным клиентом.

На следующей неделе было объявлено о назначении Сент-Клера, что прошло почти незамеченным в прессе; я очень опасался, что назначение вызовет кривотолки, — выявится связь между президентом, Сент-Клером и мной — но этого не произошло. Лишь немного ускользало от пристального внимания газетчиков во время Уотергейта, так что бесшумный переход Джима Сент-Клера в Белый дом можно было рассматривать как маленькое везение.

Сначала это казалось похожим на старые добрые времена — мы с Никсоном снова вместе и готовимся к предстоящему сражению. Но что-то изменилось. Мы оба стали другими. Мне больше не казалось, что Никсон, флаг и страна — это одно и то же. Впервые в жизни я видел Никсона-человека. Этот человек из числа 200 миллионов, поднявшийся на самую вершину, имел и замечательные стороны, и недостатки, был ограничен, как и все смертные. Как никогда я пе-

реживал за него, как за человека, но преклонение и благоговение исчезли.

Я также не мог отделаться от мучивших меня сомнений в невиновности президента. Почему он все лето хранил молчание, в то время как обвинения Джона Дина одно за другим раздавались из зала для предвыборных собраний Сената? Откуда эти почти навязчивые переживания относительно пленок? Откуда этот 18,5-минутный пропуск в записях и сожаления по поводу "бедной, бедной Розы"?

Ситуация в Белом доме практически вышла из-под контроля, превратилась в хаос. Мелочные обиды стали руководить людьми почти всех уровней. Хейг однажды вечером в начале января заявил мне, что уйдет, если Никсон не понизит в должности Зиглера; я позвонил, чтобы предупредить Никсона, и оказался в самой гуще этой свары. Молодые работники спешили уйти, как только находили что-нибудь на стороне; те же, кто оказался в качестве побежденного внутри противоборствующих групп, вскоре были вынуждены искать себе применения где-нибудь в другом месте. Практически все, работавшие в Белом доме в течение первого срока, то и дело представляли перед Большим жюри и прокурорами вроде Джаворски. Многие жили в постоянном страхе, что окажутся следующей мишенью обвинения; все погрязли в долгах, тратя большие суммы на юридическую защиту.

Рождественская вечеринка в Белом доме в тот год напоминала похороны. Стив Булл отвел меня в уголок, где шепотом поделился со мной своими самыми сокровенными опасениями, что "никто здесь не пытается спасти президента; все подставляют его, думают только о своей шкуре". Зиглер отказался прийти, поскольку там должен был быть Хейг. В результате этого не пришли оба — знак полного пренебрежения, который поняли молодые работники. Сам Никсон был холоден и замкнут. "Мы больше не видим, чтобы он гулял", — пожаловался мне один из старших работников администрации. Какая-то молодая девушка расплакалась, когда я рассказывал о захватывающих, казавшихся такими значительными, предвыборных днях кампании 1972 года.

Исчезло сознание миссии, пропала всеобщая преданность делу, которое значит несравненно больше, чем его исполнитель. Никогда я не видел, чтобы на вечеринке так много пили и так мало улыбались. По словам моего бывшего помощника, Дика Хауэрда, Белый дом напоминал Берлин накануне падения, когда гитлеровские офицеры,

некогда гордые и высокомерные, были загнаны в угол и, предчувствуя смерть и поражение, грызлись между собой и с жадностью предавались последним гедонистическим наслаждениям.

По мере того, как я начал понимать узость моего однозначного подхода к президенту — а значит, и к любому человеческому существу — я начал все больше задумываться о том "важном деле", про которое говорил Даг Коу в дарственной надписи на подаренной им Библии. В иные дни, к слову сказать, мои мысли меня удивляли. Мне больше хотелось, чтобы президент Никсон обратился к Христу, чем чтобы он сумел отбиться от последней атаки своих противников.

В новогодние праздники я получил хорошую новость из Сан Клементе; сообщалось, что Никсон читает недавно опубликованную книгу о Линкольне. Я сразу понял, что президент читает работу Элтона Трублада о духовной жизни Линкольна. Ее дал мне в сентябре Том Филлипс, чтобы я прочел ее сам и, быть может, передал президенту. Книга показалась мне духовно стимулирующей; она рассказывала о постепенном обращении Линкольна в 1862 году, о том, как он стал все больше и больше прибегать к Всевышнему за помощью и советом. В ноябре я отослал свой экземпляр Никсону. Президент никак не отреагировал на получение книги, и я беспокоился, не решил ли он, что я оказываю на него определенный нажим. Теперь же я узнал, что он читает ее.

Вечером накануне Национального молитвенного завтрака в конце января Ал Кью, Грэм Пурселл, Даг Коу, Гарольд Хьюз и я встретились в Капитолии с Билли Грэмом и сенатором Марком Хатфильдом, чтобы вместе поужинать и помолиться. Резко отрицательное отношение Марка Хатфильда к политике Никсона во Вьетнаме создало сенатору репутацию главного республиканского оппозиционера. М-р Никсон много раз жаловался на него, и я сам принимал участие в обличении. Для сенатора Хатфильда я служил воплощением всего плохого, что было в Белом доме.

Несмотря на это, когда мы преклонили колени перед алтарем в крохотной гранитной молельне, расположенной непосредственно по соседству с огромной ротондой Капитолия, вражда куда-то ушла. Более того, значительная часть молитвы Хатфильда была посвящена благодарности за мое обращение и за то, что во Христе мы стали едины. За ужином мы обсуждали, как помочь Никсону как человеку и как национальному лидеру: сенатор Хьюз, политический противник, Хатфильд, оппозиционер внутри его же партии, Билли Грэм и

я, его друзья — каждый обязался молиться за окруженного со всех сторон президента.

В тот вечер президент позвонил мне, чтобы задать несколько вопросов относительно намеченного на следующее утро Национального молитвенного завтрака. Хотя было и поздно, к тому же в тот вечер он сделал в Конгрессе доклад о положении дел в Союзе, транслировавшийся по национальному телевидению, Никсон был бодр, внимателен и, очевидно, в процессе разговора делал пометки для утренней встречи.

"Ты знаешь, Чак, — признался он, — я никогда не мог говорить о своей вере в Бога публично, и мне не нравятся люди, которые используют религию в политических целях. Мне кажется, это слишком лицемерно. Ничего подобного я никогда не хотел делать". Он говорил открыто и просто, как никогда. Он рассказал о своей матери-квакерше, о том, как маленьким мальчиком уверовал в Бога и черпал из этой веры силу. Я уговаривал его также открыто выступить за завтраком.

На следующее утро Билли Грэм поехал с президентом в отель "Хилтон"; после он рассказал нам, что между ним и президентом произошел самый откровенный разговор о Христе, о вере Никсона и о необходимости того, чтобы Господь указал ожесточившейся нации дорогу. Речь Никсона, обращенная к 3.000 человек со всего мира не оставила никакого сомнения в том, что книга об Аврааме Линкольне оказала значительное влияние на духовную жизнь президента.

Хотя он никогда не принадлежал к церкви, он, вполне вероятно, молился больше, чем кто-либо другой из живших в Белом доме... Он не ощущал самодовольного превосходства над противником. Он верил, что Америке предназначено быть единой... Он считал, что у Америки есть что защищать, во что верить, какую миссию исполнять и что эта миссия больше самой Америки. Другими словами, было что-то помимо Линкольна-политика, Линкольна-президента и американского народа, каждого человека в отдельности; было то, что он называл Всемогущим, Всеобщим Существом; иногда он называл его Богом, который управляет судьбой этого народа.

В процессе выступления Никсон вплотную подошел к своей собственной вере, касаясь этого предмета так, как до того ни разу за всю свою долгую политическую карьеру.

Когда мне было восемь или девять лет, я спросил у своей бабушки, маленькой благочестивой квакерши, давшей жизнь девятерым детям, почему квакеры считают, что молиться нужно молча. Когда мы сели за стол, мы всегда молча молились; часто и в церкви, когда служитель или кто-нибудь другой вставал под воздействием духа, мы просто шли за ним и сели, и начинали молча молиться. Ее ответ оказался очень интересным, и он, вероятно, имеет отношение к тому, почему Линкольн молился молча. Бабушка ответила мне тогда прямо, как она всегда разговаривала с детьми. Она сказала: "Ты должен понять, Ричард, что цель молитвы не в том, чтобы поговорить с Богом, а в том, чтобы Его услышать. Цель молитвы не в том, чтобы сказать Ему, что тебе нужно, но понять, что нужно Ему".

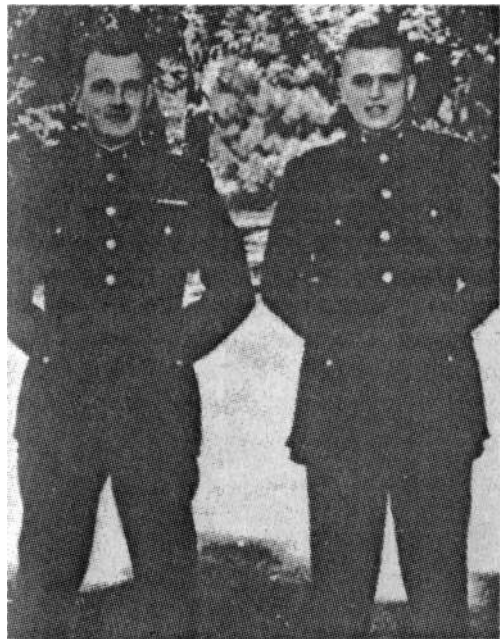
Вглядываясь в его лицо во время выступления, я заметил, что морщины разгладились, и с него исчезло напряженное выражение, когда он сказал: "Слишком часто мы ведем себя непочтительно, когда разговариваем с Богом... Давайте лучше слушать Бога и пытаться понять, чего от нас хочет Он, и тогда мы не будем ошибаться". Его голос почти сорвался, когда он закончил свою речь. Это не было громкой оптимистичной концовкой, к которой он обычно стремился в своих выступлениях, но скорее неуклюже честным и кротким признанием в потребностях своего сердца.

В то утро я понял, что произошло с тем "былым запалом", с былым рвением, которого я никак не мог в себе обнаружить, чтобы возглавить наступление м-ра Никсона на его противников. Я больше не мог оставаться политическим солдатом м-ра Никсона, беспрекословно вступающим в рукопашный бой с противником, и одновременно пытаться помочь ему или кому бы то ни было еще найти путь к Христу. Желая поймать для своего друга двух зайцев, я упускал их обоих. Я поставил перед собой две цели, которые перепутались и мешали друг другу, и я осознал это, вспомнив о надписи, сделанной Дагом на моей Библии: "Лучше потерпеть неудачу в деле, которое приведет к победе..." А верность Христу, я осознал, заключается в том, чтобы жить по вере и поступать в соответствии с ней по отношению к каждому, кто встречается мне на жизненном пути. Вера больше не может оставаться моей частной привилегией. И я не могу применять ее избирательно, но обязан делать это постоянно.

"Единственное, чего я очень бы не хотел, так это чтобы мои нынешние убеждения связывали с Уотергейтом", — заявил я всего несколькими неделями раньше репортеру ЮПИ. Я понял, что впустить в свое сердце Христа и при этом бороться с крупнейшим нравственным кризисом десятилетий, словно этого не произошло, — то же самое, что сидеть одновременно на двух стульях.

Что, если мне попробовать смело пересесть со старого на новый?

"Насколько иначе стал выглядеть мир, когда я надел форму зеленого морского цвета и фуражку с приколотой эмблемой в виде земного шара и якоря!" Колсон — лейтенант Морской пехоты США, лето 1953г., Кэмп Ле-жен, Северная Каролина.



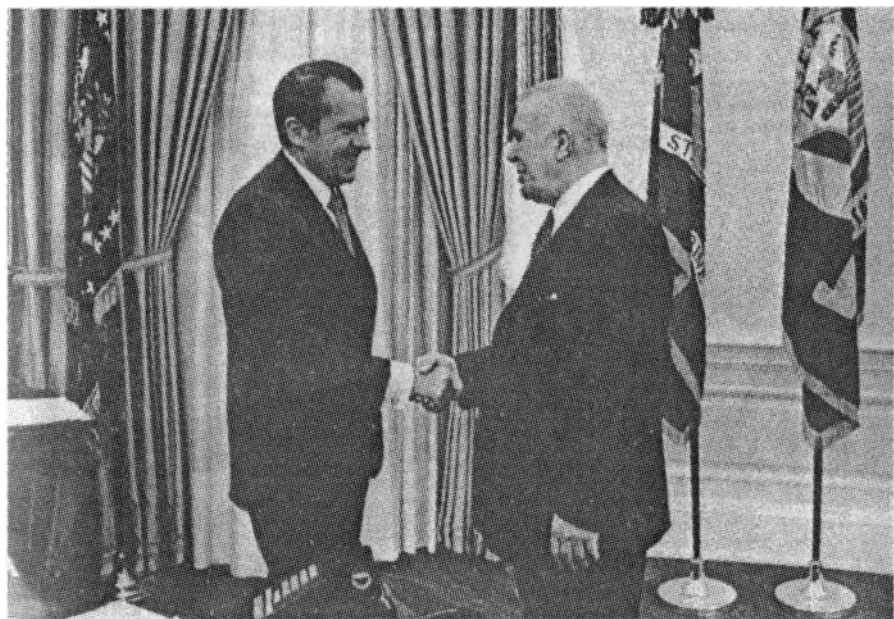
"Многие мои друзья были во Вьетнаме, например Билл Малоуни, уговоривший меня однажды поступить в Морскую пехоту". Слева направо: лейтенант Уильям Р. Малоуни (теперь генерал) и Колсон в 1953 году.

"...я женился на Патти... которая, благодаря своей лучезарной улыбке и обаянию, была одной из любимых секретарш на Капитол Хилл". Патти Колсон за работой во время кампании 1968 года.



Чета Колсонов на фоне Белого дома во время торжественной церемонии по случаю приезда принцессы Британской Анны и принца Чарльза, июль 1970 года.

Колсон со своими родителями напротив Южного входа в Белый дом. Внизу: "М-р Никсон заметил идущего рядом со мной седовласого человека и послал за нами. Нас провели в Овальный кабинет, где отец поведал президенту, что голосовал за всех республиканских кандидатов, начиная с Кулиджа". Никсон и отец Колсона — официальное фото Белого дома.





Заседание по вопросам стратегии в кабинете-библиотеке в Ки Бискейне, штат Флорида, вскоре после выборов в Конгресс, 1970 г. Слева направо: Никсон, Дональд Рамсфилд, Джон Митчелл, Джон Эрлихман, Колсон, Брайс Харлоу, Боб Хальдеман, Роберт Финч (спиной к фотоаппарату) — официальное фото Белого дома. *Внизу:* Карикатура Пата Олифанта. Напечатано с разрешения "Лос-Анджелес Таймс Синдикейт". Надпись на плакате: "Покайтесь! Ибо, видит Бог, я все выложу на заседании Юридического комитета".



"Лучше позовите преподобного Билли — у Колсона религия!"

Карикатура из серии "Крокет", *"Вашингтон Стар Ньюс"*. Надпись на ограде: "Покайтесь". Внизу: Члены администрации приветствуют Никсона после дебатов с Джорджем Мини на съезде АФТ/КПП, ноябрь 1971г. Слева направо: Джордж Шульц, Генри Киссенджер, Джон Конналли, Колсон, Роджер Джонсон, швейцар, секретарши из отдела Колсона, в том числе Джован Холл (с зонтом) — официальное фото Белого дома.





"Каждое утро в начале девятого влиятельные члены исполнительного крыла правительства собирались вокруг длинного старинного стола из красного дерева в исторической комнате Рузвельта, что отделена от Овального кабинета только узким проходом". Сверху по часовой стрелке: Генри Киссенджер, Питер Фланиган, Джон Эрлихман, Колсон, Кларк Мак-Грегор, Билл Тиммонс, Боб Хальдеман, Джордж Шульц, Рон Зиглер — официальное фото Белого дома.

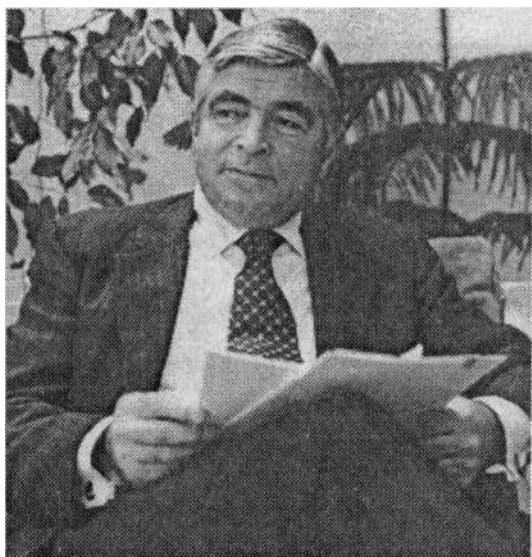


"Я собрал свой персонал... «Вы самые потрясающие работники, которые у меня когда-либо были», — сказал я им". Снизу по часовой стрелке: Колсон, У. Ричард Говард (ассистент Колсона), Левельян Эванс, Ноэл Кох, Уильям Раттикан, Стивен Каралекас, Джоан Гордон, Дуглас Халлет, Патрик О'Доннелл, Десмонд Баркер, Джон Карлсон, Майкл Бальзано, Катлин Балсдон — официальное фото Белого дома.



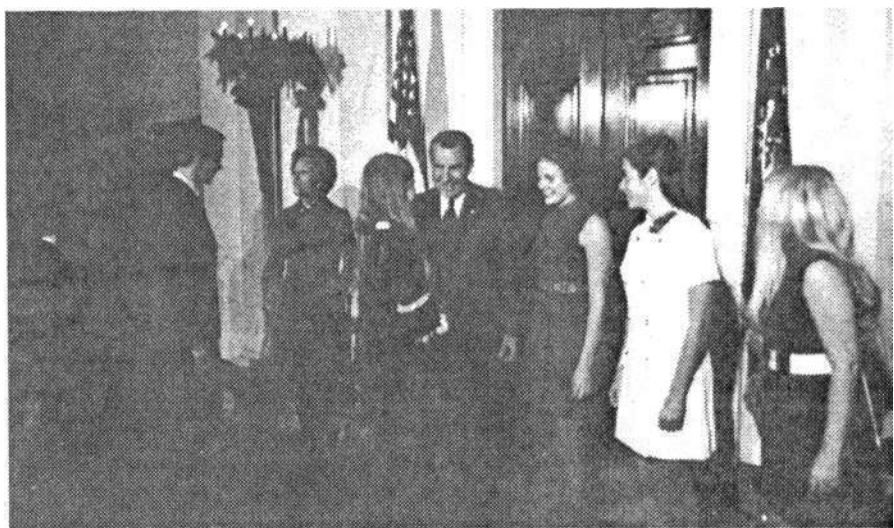
В прихожей пресс-центра, во время объявления Никсоном о готовящейся поездке в СССР — Колсон подшучивает над Генри Киссенджером и министром иностранных дел Уильямом Роджерсом, в то время как Боб Хальдеман снимает "домашнее кино". За сценой наблюдают Рон Уолкер (позади Колсона) и Кларк Мак-Грегор (в правом углу) — официальное фото Белого дома.

"Чарли Морин почти забросил свои адвокатские дела и навещал меня по несколько раз в неделю, попутно организуя кампанию по обращению к президенту Форду с просьбой о моем освобождении". Чарльз Х. Морин, самый старый друг Колсона, долгое время являвшийся его деловым партнером ("Кэш-шей"/*Стайм*).

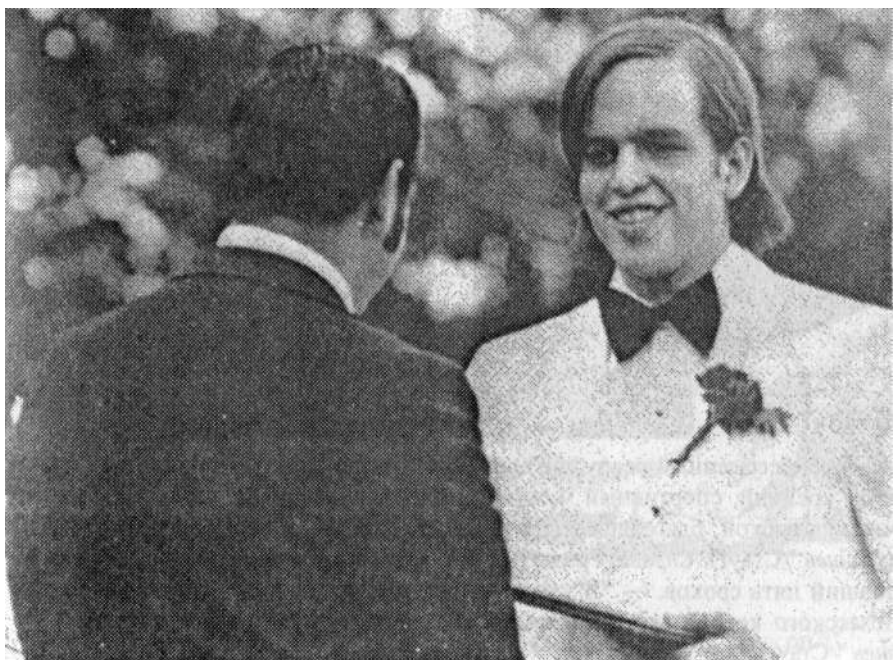
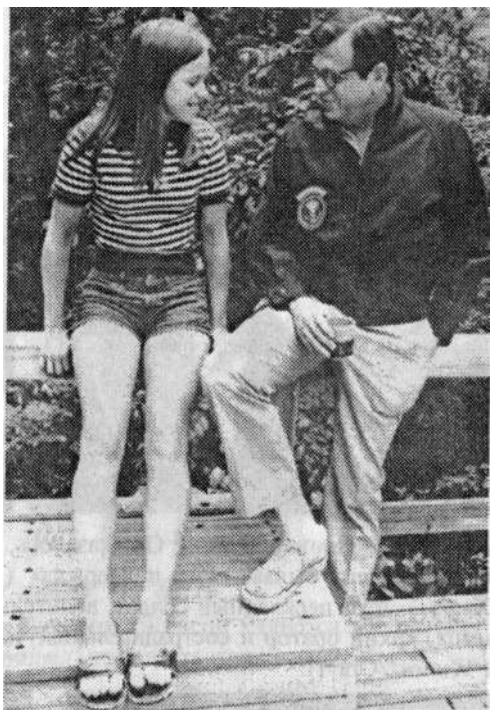


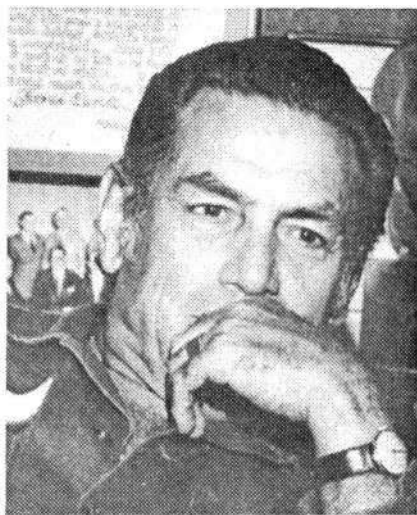


Уэнделл Кол сон с отцом — Дувр, Массачусетс, лето 1970 г. *Внизу:* Рождество 1971г., на котором дети работников Белого дома читают Библию во время службы в Восточной комнате. С Пат Никсон разговаривает Уэнделл, за ним стоит сын Джорджа Шульца. Слева от Никсона дочь Гарри Дента, за ней — дочь Боба Хальдемана — официальное фото Белого дома.

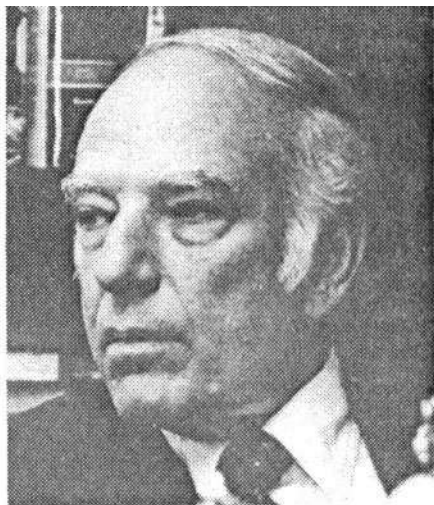
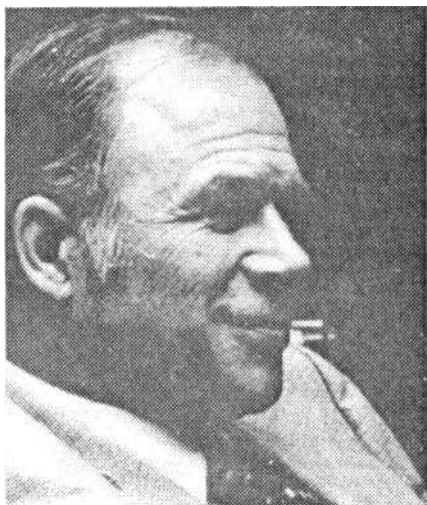


"Папа, я горжусь тобой". Дочь Колсона, Эмили, с отцом; за две недели до того, как он отправился в тюрьму. *Внизу:* "Спасибо, Господи, за то, что Ты дал мне такого сына..." Кристиан Колсон — на школьном выпускном вечере, Уэстон, Массачусетс, июнь 1974 года.





Даг Коу: «Привет, брат...» Он, казалось, всегда появлялся тогда, когда мне больше всего была нужна поддержка» (*"Кэшен"/Стаут*). *Справа:* "Гарольд Хьюз — этот нескладный солдат, водитель грузовика и некогда горький пьяница, яркий оратор и сострадательный человек, которого я очень полюбил" (*"Кэшен"/Стаут*).



Ал Кью, бессменный республиканский конгрессмен из Миннесоты — "высокий, крепкий, спортивный мужчина, в прошлом фермер, улыбнулся застенчивой улыбкой, благодаря которой выглядел моложе своих пятидесяти лет". (*"Кэшен"/Стаут*). *Справа:* Грэм Пурселл, конгрессмен от демократов, проработавший пять сроков. — "Я уже давно понял, что под его грубоватой маской техасского ковбоя скрывается мягкое и даже чувствительное сердце" (*"Кэшен"/Стаут*).

Fischetti

Fischetti

©1991 Chicago Daily News



Надпись на монашеском облачении Колсона: "Колсон клянется все рассказать". Подпись под карикатурой: "Пришел, чтоб взять меня домой..."

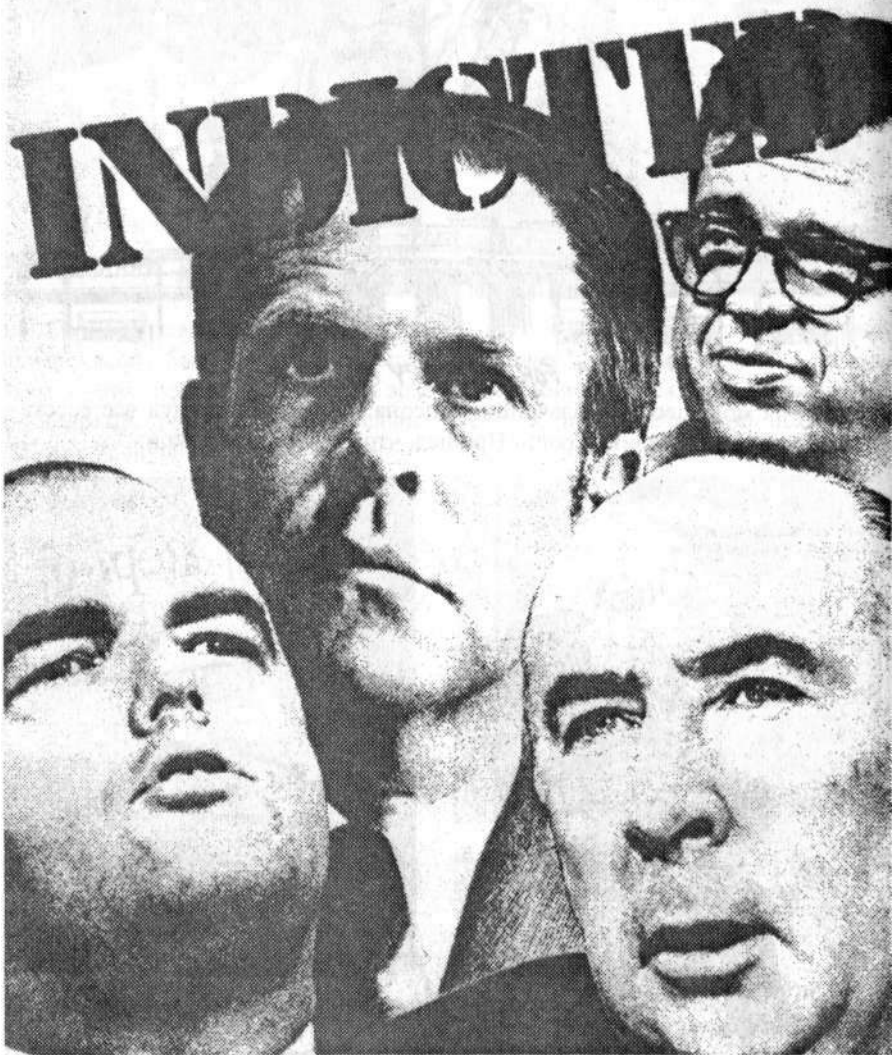
MACNEIL THE RICHMOND NEWS LEADER
©1991 BY CHICAGO TRIBUNE



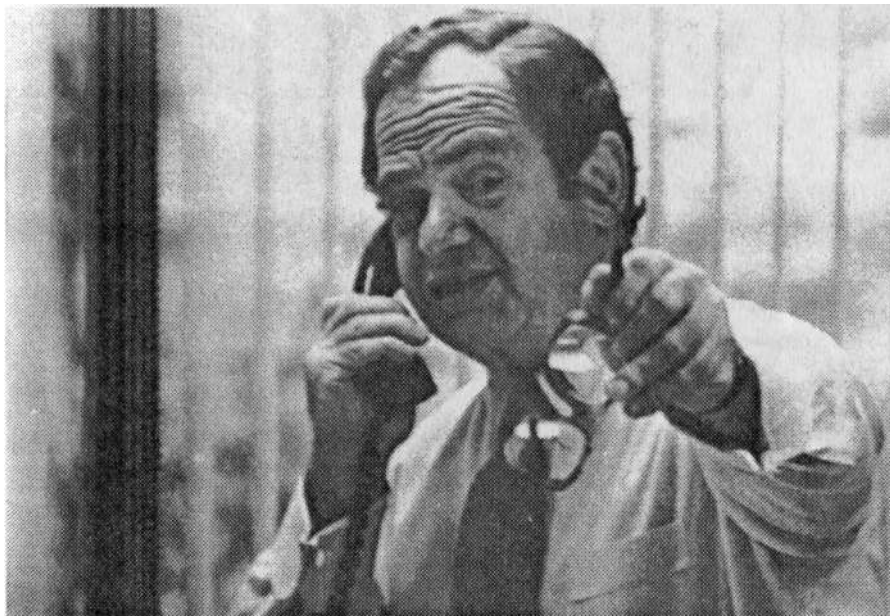
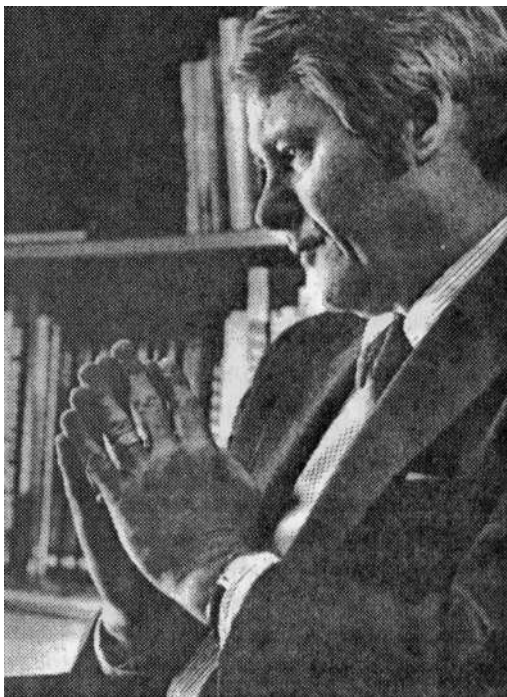
Надпись на плакате: "Покайтесь! Конец близок". Подпись: "Колсон?!"

March 11, 1974 / 50 cents

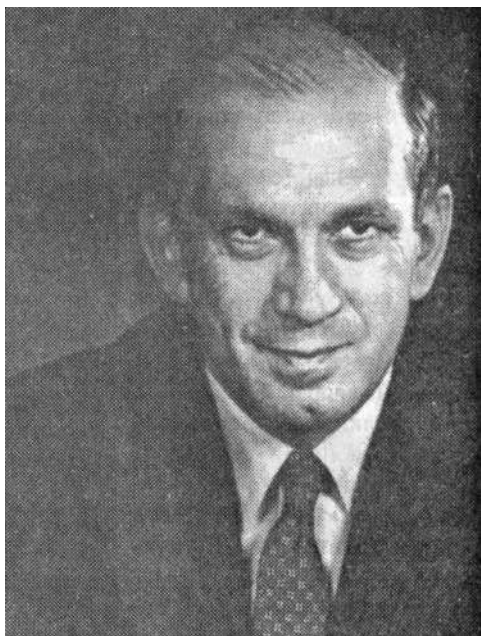
Newsweek



"Он был всего лишь обычным человеком, исполняющим неприятную обязанность, но способным переживать как за тех, кого он осуждал, так и за тех, кого брал под свою защиту". Эксцентрическое фото Дугласа Баумана. *Внизу*: "Шапиро продолжал вести переговоры с людьми Джаворски, добиваясь такой сделки по обвинению, которая устроила бы обе стороны и позволила бы мне сохранить лицензию юриста". Дэвид Шапиро, выходец из Бруклина, судебный адвокат и главный защитник Колсона ("*Кэшен*" / *Стайт*).



"Все материальные вещи в мире не имеют никакого значения, если человек не обнаружит, что за ними стоит". Человек, приведший Колсона к Христу, — Томас Л. Филлипс, председатель совета директоров компании "Рейтеон". *Внизу:* 21 июня 1974 года Колсон выходит из районного суда после того, как его приговорили к тюремному заключению за распространение дискредитирующей информации о Даниэле Эллсберге. Слева — сенатор Гарольд Хьюз, участник молитвенной группы Колсона — фото Юнайтед Пресс Интернешенел.





Питер Родино Младший, председатель Юридического комитета палаты представителей Конгресса, беседует с Колсоном перед открытым заседанием по вопросу об импичменте президента Никсона, 15 июля 1974 г. {*"Нью-Йорк Таймс"*/ Джордж Теймз}. Внизу: "Мир. Мир. Спокойствие". Завершение последних дел перед отбытием в тюрьму; возле бассейна с женой Патти и секретаршей Холли Холм (*"Ньюсуик"*/Уолли Мак-Нейми).



"О, как я люблю Иисуса Христа..." Эдмон У. Блоу, пастор Церкви Библейской Троицы в Монтгомери, штат Алабама — сухощавый проповедник, еженедельно служивший Колсону и другим заключенным тюрьмы "Максвелл", вместе с Колсоном на конференции Южной баптистской конвенции в июне 1975 г. (*"Библейский журнал"*). Внизу: Ушедший с правительственной службы Фред Роудс решил полностью посвятить себя Господу. Сейчас он работает с Колсоном в тюремном служении. Слева направо: Билли Грэм, Дэн Пиатт, Роудс.





14

Подпольное движение

Снятие Кокса вызвало временное затишье. Для меня это было важно, потому что, пока Леон Джаворски занимался перегруппировкой прокуроров, занятых уотергейтским делом, я мог глотнуть свежего воздуха того нового мира, который мне открывался.

Я чувствовал резкий контраст между теми часами, которые проводил, старательно пытаясь оправдать свой былой образ жизни, и тем временем, которое проходило в общении с совершенно новыми людьми, повстречавшимися мне благодаря вере во Христа. Это общение было подобно небольшим голубым просветам, которые находишь в небе, затянутом серыми дождливыми тучами.

Я понимал, что первым делом должен извиниться перед теми, кому причинил вред различными "грязными приемами". Я уже принес неуверенные извинения Артуру Бернсу в цокольном этаже Белого дома, когда он уходил с молитвенного завтрака, но я чувствовал, что должен объясниться с ним по-настоящему.

Была еще одна причина, по которой я искал с ним встречи. Жена Артура Хелен с азартом принимала участие в карьере мужа и тоже была очень оскорблена случившимся. Об этом я мог безошибочно судить по тому, как она сверлила меня взглядом на ужине в Белом доме, состоявшемся вскоре после того, как ужасная статья о ее муже появилась в газетах. С ней тоже было необходимо восстановить отношения.

Когда я позвонил Бернсу, он предложил встретиться в следующий вторник после работы в его квартире, расположенной в здании Уотергейт. Меня встретила в дверях Хелен и, проводив в обставленную со вкусом гостиную, усадила на мягкий угловой диванчик. Вскоре миниатюрная и грациозная хозяйка уже подавала нам с Артуром закуску, а я пересказывал все, что помнил относительно того болезненного эпизода лета 1971 года, когда я передал в прессу ложную информацию о том, что Берне, желая установить контроль над зарплатой, сам тем временем якобы пытается получить прибавку к жалованью. На лице Бернса ничего не отражалось, но он не сводил с меня своих пронизательных глаз, даже когда тянулся за бокалом с минеральной водой.

"Так вот, Артур, — закончил я, — вот эта неприятная история. Я не могу оправдать своего поведения и никак не могу искупить тот вред, который я Вам нанес, но я считаю, что хотя бы должен перед Вами извиниться. Я очень, очень сожалею, что все так случилось".

Бернс пускал клубы дыма из трубки и продолжал пристально смотреть мне в глаза. "Самым неприятным было то, — сказал он, наконец, — что я никогда не стремился нажить побольше денег. История же подразумевала, что я стремлюсь свить себе гнездышко поуютнее; впервые в жизни кто-то усомнился в моей честности".

Артур Берне стал вспоминать о многих годах, которые он проработал с Ричардом Никсоном. Вопреки моим опасениям, в его словах не было и следа враждебности по отношению к старому другу. "Политические войны жестоки, — сказал он. — Я очень хотел бы, чтобы мы нашли способ помочь президенту. Ему требуется понимание, а мне кажется, что окружающие его люди не способны по-настоящему ему помочь". Он снова перевел разговор на меня: "Расскажите, что с вами случилось. Вот что действительно имеет значение".

Целый час я рассказывал о том, что со мной произошло в Новой Англии, как изменились мои принципы, мои ценности. "Просто поразительно", — повторял он раз за разом.

Было уже почти девять вечера, когда я заметил, что Хелен что-то готовит на кухне. Я извинился, что так задержался и так много говорил.

"Чепуха, — запротестовал Берне. — Поужинайте с нами". Я объяснил, что не могу, и поднялся.

"Пожалуйста, — настаивал Берне. — Задержитесь еще на минуту. Может быть, мы могли бы помолиться вместе?"

Так мы и сделали, склонившись над кофейным столиком и поблагодарив Бога за то, что Он исцелил одну из отвратительных ран никсоновского правления. Когда я уходил, Хелен собрала в полиэтиленовый пакет фрукты, которые им прислали из Флориды, и настояла, чтобы я взял их домой. Седовласый директор Федерального резерва проводил меня до лифта, держа под руку, пока мы медленно шли по покрытому ковром коридору самого известного теперь многоквартирного дома в мире.

"Давайте еще как-нибудь встретимся, — предложил он. — И будьте тверды в вере. Это был замечательный вечер".

Божий Дух совершал много удивительных дел в разрываемом противоречиями Вашингтоне. Каждое утро в понедельник, когда Ал, Грэм, Даг, Гарольд и я встречались, кто-нибудь сообщал об очередном чуде — старые враги стали братьями, началось новое общение, молитвенные группы возобновили собрания, далекие от Бога люди ищут общения с Христом.

Даг Коу, например, много лет пытался привлечь нескольких судей к молитвенным встречам и общению. Но поскольку большинство судей стремится быть независимыми и опасается привносить Бога в общественные дела, то из его попыток ничего не выходило. Однако в январе создалась маленькая молитвенная группа. Вскоре к ней стали присоединяться судьи из нескольких судов — как известные, так и не очень, как либералы, так и консерваторы.

Возникали молитвенные группы во многих правительственных департаментах. Небольшая группа сенаторов стала встречаться на регулярной основе для молитвы и общения. Несколько новых групп появилось в Палате представителей.

В самом начале 1974 года сенатор Хьюз во второй раз присутствовал на молитвенном завтраке в Белом доме; на этот раз завтрак проходил под председательством Эрла Бутса, прямолинейного министра сельского хозяйства, чье назначение на пост было практически блокировано в сенате антиниксоновской коалицией, возглавляемой Хьюзом.

"Если бы я знал тебя тогда, как знаю сейчас, брат, то я бы мог возглавить твою группу поддержки", — признался Хьюз.

"Не нужно сожалений, — возразил Бутс. — Я сам чувствую себя виноватым за то, что я о тебе думал". Это был добродушный обмен репликами, просто подшучивание, как считали некоторые, но за этим стояло нечто большее. Носители противоположных политичес-

ких взглядов благодаря общей вере превращались в товарищей и попутно освобождались от горечи и обид, оставшихся от былых политических столкновений.

Крайне консервативно настроенный Пат Буханан, штатный составитель речей, чьи острые и смелые нападки на комитет Эрвина в сентябре 1973 года вызвали ряд выступлений в поддержку Никсона, также присутствовал. Несмотря на то, что в течение многих лет Пат являлся автором наиболее резких атак на врагов Никсона, чаще всего на Хьюза, появление Гарольда на втором завтраке явно убавило Буханану прониксоновского рвения.

"Что за человек! Вот это утро!" — все что он мог мне сказать, удивленно качая головой, когда мы расходились.

В опубликованной по всей стране статье от 13 января вашингтонский обозреватель Ник Тиммеш описывал растущее количество молитвенных групп как "целое подводное течение... порожденное Уотергейтом, которое способно удивить наших замученных политиков. Они встречаются по домам, — сообщал Тиммеш, — встречаются на молитвенных завтраках, разговаривают по телефону... Братство верующих... Их много здесь, а сколько еще находятся в стадии формирования... Я не хочу сказать, что благочестие и порядочность станут повсеместными чертами нашей столицы — это сложный, непростой город. Но Уотергейт заставил многих всерьез задуматься над своими убеждениями, а это подпольное молитвенное движение могло бы создать более спокойную атмосферу и помочь найти нужные жизненные ориентиры тем, кто ищет духовное направление".

В начале 1974 года я взшел по серым гранитным ступеням Пентагона — огромного, похожего на склеп, военного центра Соединенных Штатов. Еще год назад такой визит показался бы подозрительным. В былые дни я приходил сюда, чтобы представлять интересы президента, как в случае с программой по созданию антибаллистических ракет, финансирование которой Конгресс хотел прекратить. Теперь же я был приглашен на дружеский обед!

В вестибюле меня встретил старый гражданский работник Пентагона Джон Брогер, который провел меня по напоминающим лабиринт коридорам самого большого в мире офисного здания. По пути мы остановились, чтобы взглянуть на маленькую, кубообразную, лишенную окон Комнату размышлений, расположенную где-то во

внутренней части здания. Вдоль стен стояли три ряда стульев, а в дальнем конце комнаты виднелся незамысловатый алтарь.

"Это было построено по приказу министра Лэрда", — пояснил Брогер.

"Мела Лэрда! — не удержался я. — Зачем этому старому лису понадобилось строить Комнату размышлений?" Лэрд, опытный конгрессмен из Висконсина и лидер парламентской фракции, стал министром обороны в первом кабинете Никсона. Его страсть к внутриведомственным интригам создала ему репутацию одного из хитрейших политиков Вашингтона.

"Министр Лэрд не только приказал построить Комнату размышлений, — добавил Брогер, — но и сам часто бывал здесь". Как я узнал, Лэрд был постоянным членом небольшой парламентской молитвенной группы, в которую входили тогдашний вице-президент Джеральд Форд, Ал Кью и Джон Роудс, лидер парламентского меньшинства. Но со стороны военных всегда присутствовало желание не придавать гласности какие бы то ни было религиозные события в Пентагоне из-за боязни, что их неправильно истолкуют.

Обед, на котором присутствовало пятьдесят человек, проходил в небольшой столовой. Я коротко выступил с рассказом о произошедших со мной переменах. В конце мы склонили головы и начали молиться — вслух или про себя, в зависимости от того, как кого вел Дух; простые трогательные молитвы произносили рядовые, лейтенанты и адмиралы. Один скуластый армейский сержант — рейнджер, насколько я мог заключить по нашивкам, протянувшимся от нагрудного кармана к мощному плечу, — красноречиво молился о мире между людьми. Святой Дух, Которому лицепрятие чуждо, пронзил сердце этого сурового солдата, чего не мог сделать ни один противник.

К еще большему удивлению я узнал, что обед проводился регулярно; что существовали десятки утренних групп по изучению Библии и по молитве, собиравшиеся до начала 12- и 14-часового рабочего дня, сплошь наполненного кризисными ситуациями.

Для большинства людей, естественно, неожиданная популярность религии в таком городе, как Вашингтон, осталась поводом для циничных комментариев. В моем же случае — для откровенного шутовства. "Колсон уверовал в Христа" заменило для любителей вечеринок "бабушку Колсона". В конце января на ежегодном обеде в Национальном клубе журналистов спикер палаты Карл Альберт вызвал бурю смеха, описав 1973 год, как "год, когда Чарльз Колсон уверо-

вал в Христа... а его бабушка возблагодарила Бога со своей больничной койки".

Арт Бухвальд, широко известный юморист, присоединился к всеобщему веселью и написал фельетон, озаглавленный "Примирение с бабушкой. Наступи ей на руку и помоги подняться". Бухвальд высмеивал мое обращение таким образом:

Когда Чарльз Колсон сделался религиозным, первым делом он решил рассказать об этом бабушке — той самой, которую в 1972 году он поклялся переехать, если это понадобится для переизбрания Никсона президентом.

Он постучал в дверь и тонким голосом закричал:

— Бабуля, это я, Чарльз.

— Уходи, Чарли, — ответила бабушка. — И забирай свою машину.

— Бабуля, ты не понимаешь, я не собираюсь тебя сбивать. Я теперь верующий. Я пришел помолиться с тобой.

Бабушка Колсона открыла дверь на пару дюймов.

— Зачем ты меня обманываешь, Чарли, мальчик мой?

— Это правда, Ба. Я уже больше не тот грязный, неразборчивый политикан, которого ты качала на коленях. Я родился свыше, бабуля.

Она заколебалась:

— А как я могу быть уверена, что это не очередной твой трюк, чтобы выманить меня на улицу и снова в-ж-ж-ж-ж меня своей машиной?

— Я взял с собой сенатора Хьюза. Он подтвердит, что я серьезно.

— Это правда, бабушка, — подтвердил сенатор. — Чарли обрел мир и теперь просит у всех прощения грехов.

— Я не уверена, что готова его простить. Ты знаешь, я полгода не вставала с кровати после выборов 1972 года.

— Бабуля, пожалуйста,пусти меня. Я хочу, чтобы ты убедилась, что я новый человек.

— Ладно, — ответила бабушка Колсона. — Только оставь ключи от машины на крыльце.

Колсон и сенатор Хьюз вошли в дом.

— Может быть, мы вместе преклоним колена? — предложил Колсон.

— Только не я, — ответила бабушка. — Я не могу согнуть ноги в коленях с тех самых пор, как ты крикнул мне "еще четыре года!" и завел свой автомобиль...

Некоторые шутки меня достаточно сильно задевали, но, в конце концов, уставшему от Уотергейта Вашингтону требовалась какая-то разрядка. За всем этим проглядывал вопрос: "Может ли человек дей-

ствительно измениться?" И шутки были тому невольным свидетельством.

Среди многочисленных звонков с предложениями выступить на телевидении был один, поступивший от Майка Уоллеса, ведущего популярной субботней передачи Си-Би-Эс "Шестьдесят минут". Уоллес хотел взять у нас с Хьюзом совместное интервью.

Мы обсудили эту возможность на одной из утренних встреч в понедельник. Даг видел в этом замечательную возможность засвидетельствовать о Христе перед миллионами американцев: два политических противника объединяются во времена жесточайшего национального разделения благодаря любви Христа. Хьюз сомневался; острый, конфликтный Уоллес мог превратить интервью в политический цирк. "Я сказал Майку, — сообщил Гарольд после одного из назойливых звонков Уоллеса, — что мы готовы выступить в его программе, если он потратит необходимое время на то, чтобы участвовать в нашем общении".

Хьюз пошел дальше: "Я согласен работать с Вами, Майк. Мы можем встретиться для молитвы. Я даже буду пояснять Вам неясные моменты, если Вы настроены серьезно". Люди запрашивали большие гонорары за выступление в программе Уоллеса, а такое условие журналисту наверняка ставили впервые — чтобы он искал Бога. На этом переговоры с любым человеком, менее настойчивым, чем Уоллес, могли бы и закончиться; но он, как только пришел в себя от удивления, согласился попробовать, и вместе со своим продюсером, дерзкой рыжеволосой Марион Голдин, он действительно начал встречаться с Хьюзом. Мы с плохо скрываемым нетерпением ожидали исхода этих встреч.

А тем временем каждый день приносил новые встречи, подчас не менее юмористические, чем то, что появлялось обо мне в печати. Я помню одну средних лет служанку из большой старой гостиницы "Шератон Карлтон", которая, узнав, что я сижу в гостиничной парикмахерской, пошла меня искать. Прервав бойкий рассказ парикмахера Милта Питтса, моего старого друга, она попросила меня объяснить, что значит "прийти к Христу". Под сопровождение жужжащей машинки Милта, находясь под удивленными взглядами других посетителей, я попытался как можно лучше рассказать ей про шаги, ведущие к спасению.

Или то воскресенье, когда я посетил вечер молодежного общения в Четвертой Пресвитерианской Церкви Вашингтона. В тот день,

когда незадолго до восьми вечера мы с Патти подъехали к массивному зданию церкви из красного кирпича, в воздухе уже были разлиты первые весенние запахи. Когда мы обменивались приветствиями с пастором Диком Хальверсоном и несколькими прихожанами, я заметил, что невдалеке припарковался побитый белый "Бьюик" с откидным провисшим верхом и проржавевшими бамперами. Из него вышел длинноволосый молодой человек в рубашке без ворота и простых брюках. Я занервничал, вспомнив о демонстрантах, опять появившихся с плакатами в руках на Пенсильвания авеню.

Я подтолкнул Патти: "Осторожно, дорогая. Это может быть опасно". Страсти по импичменту достигали высшей отметки, и улицы Вашингтона вновь были заполнены пикетчиками. Бамперные стакеры типа "дай гудок если считаешь, что он виновен" появлялись со скоростью распускающихся листьев. Не собирается ли этот парень открыть полемику прямо в церкви?

"М-р Колсон, м-р Колсон, — закричал молодой человек, продираясь через толпу. — Могу я поговорить с Вами одну минуту?" Затем он схватил меня за руку и наградил меня яростным рукопожатием, после чего я с возрастающим изумлением выслушал его рассказ о том, как он работает в съедаемом разногласиями Министерстве труда. "То, что Вы с сенатором Хьюзом стали друзьями — просто потрясающе. Это известие послужило настоящей встряской для нашего министерства. У нас появилась надежда, что мы тоже сможем нормально работать вместе. Вы не представляете, что у нас творилось в последние недели..."

Пока он говорил, все, о чем я мог думать, были долгие месяцы, проведенные мной в Белом доме в попытках разработать план реорганизации Министерства труда. Это консервативное министерство настолько погрязло в бюрократических тенетах, что практически не могло функционировать. Все мои измышления ни к чему не привели и были давно забыты. Теперь же казалось, цель была достигнута, и без моего малейшего участия — еще один пример вмешательства Духа Христова: изменяются жизни, отмирающие бюрократические структуры обретают жизнеспособность.

Бог также действовал внутри нашей семьи; однажды вечером Патти призналась мне, что записалась в класс по изучению Библии, который организовала группа женщин из Мак-Лина. Я пытался не выдать своей радости. Я знал, что Патти рано или поздно нечто подобное предпримет; я старался казаться невозмутимым, но в глуби-

не души испытывал горячую радость от сознания, что Бог действует в нас обоих.

Кому-то могло показаться странным, что я был способен смело провозглашать свою веру перед совершенно незнакомыми людьми и в то же время смущался это делать в своей собственной семье. Я сам этого не понимал. Мне хочется думать, что это было водительством Святого Духа, который в один момент делал меня дерзким, а в другой — сообщал мне необходимый такт. Но более вероятно, что будучи начинающим христианином, я допускал массу ошибок, что водится за всяким горящим энтузиазмом верующим.

Теперь я понимаю, что те первые месяцы 1974 года были своеобразным подготовительным этапом. Это было затишьем перед назревающей бурей, временем укрепления моей веры, в то время как силы, разбуженные Уотергейтом, готовились к решающему штурму.

Бад Крог стал первым работником Никсона, которому предъявили обвинение. После того, как летом 1972 года стало известно о проникновении в Уотергейт, Бад под присягой отрицал, что ему было что-либо известно об этом или о проникновении, связанном с Элсбергом и совершенном несколькими месяцами ранее. Затем весной 1973 года он признал, что лично отдал приказ о проникновении в кабинет психотерапевта, наблюдавшего Элсберга.

Это был типичный случай лжесвидетельства, и в такой ситуации единственной линией защиты для Бада было утверждать, что Джон Дин посоветовал ему солгать под клятвой, поскольку это было нужно в целях *государственной безопасности*. Бад, как и я, считал, что все дело Элсберга должно было быть обернуто непроницаемым покровом из этих двух магических слов.

Ожидая повторного обвинения за дачу приказа о проникновении, Бад, очевидно, имел возможность основательно в себе разобраться. В середине декабря он поразил Вашингтон неожиданным признанием своей виновности — никаких сделок с прокурорами, никакого стремления смягчить свою вину, чистосердечное признание, сопровождавшееся мудрым советом будущим государственным работникам: "Всегда спрашивайте себя — правильное ли решение я принял?"

Я знал, что Бад — влиятельный член дворцовой охраны Белого дома, что является достаточно высоким положением для тридцатидвухлетнего отставного офицера морской пехоты, имеющего всего год юридической практики. Я также знал, что Бад разошелся с же-

ной, что некоторое время они не жили вместе. Теперь их семейный союз был восстановлен, и было видно, что он стал еще крепче в тот день, когда Бад признал свою вину, и на ступеньках здания суда их окружило плотное кольцо журналистов и операторов. Бада приговорили к шести месяцам.

За неделю до того, как Бад должен был отбыть с судебными исполнителями и начать отсидживать свой срок в тюрьме "Алленвуд" в Пенсильвании, Даг, Гарольд, Грэм, Ал и я пригласили его встретиться с нами в Доме общения. Мы хотели поддержать его, дать понять, что нам не безразличны мучения его и Сюзанн.

Дождаясь его прихода, я не мог подавить собственных тревожных мыслей. Мне еще не было предъявлено обвинения, но каждый день я жил в мучительном ожидании. А появление этого человека — уставшего, подавленного, отчаявшегося, как мне казалось, — будет прообразом того, что случится и со мной через некоторое время.

Но в тот вечер в конце января, когда Бад Круг приехал в Дом общения, я увидел совершенно другого человека, нежели предполагал. Сухой и мускулистый, Круг со своими мужественными норвежскими чертами всегда считался красавцем. Но в тот день в нем было еще больше жизни, еще больше энергии, чем в лучшие времена в Белом доме. Я одновременно почувствовал облегчение и любопытство — в чем был секрет? Он не заставил нас долго недоумевать.

"Мы с Сюзанн ежедневно по несколько часов внимательно изучаем Библию, — объяснил Бад. — Это может показаться странным, но мы действительно благодарны Богу за то, что с нами произошло".

От удивления мы не могли вымолвить ни слова, так и сидели в полной тишине. Мои тщательно отрепетированные слова ободрения бледнели на фоне его признания. Грэм и Ал смотрели на него широко открытыми глазами. Даже Гарольд, который обычно берет руководство собранием в свои руки, казался притихшим. А что можно сказать человеку, не имеющему ни денег, ни работы, да еще направляющемуся в тюрьму, но демонстрирующему такую веру?

Когда мы заговорили, то ободрять нас стал Бад, а не мы его; все поменялось местами. "Господь заботится обо всем, — пояснял Бад. — Как раз когда мы о Сюзанн молились о том, как свести концы с концами, пока я буду в тюрьме, ей предложили работу в школе, куда ходят наши ребята. Для нее это прекрасная возможность продержаться, и у нас уже все рассчитано по дням; если все будет

хорошо, я вернусь в середине июня. Шестимесячный приговор — это не так уж страшно", — закончил Бад.

Когда все вшестером мы стали молиться, я понял, что Бад не храбрится. Господь уже ответил на его молитвы и дал ему понять, что в тюрьме он будет не одинок. Мы вместе сошли вниз, и я проводил его до машины, стоявшей на краю парковой зоны, примыкающей к Эмбасси Роу. "Бад, пожалуйста, сообщи, как я могу помочь тебе и Сюзанн, пока тебя не будет", — сказал я.

Но на самом деле я просил о другом: "Пожалуйста, сообщи мне, откуда у тебя такая уверенность". Призрак тюрьмы преследовал всех нас, работавших с Никсоном; он преследовал даже президента, что выяснилось во время нашей декабрьской встречи. И виной тому не столько страх оказаться в заключении или потерять положение, карьеру, друзей, деньги. Было и еще что-то, что редко обсуждалось, но лежало, тем не менее, на самой поверхности. В тюрьмах сидит много преступников, для которых государственные чиновники являются "врагами". Чиновники — это часть той системы, которая ловила и сажала этих людей в тюрьму. Более того, именно наша администрация делала на это большой акцент; пополнение тюрем было признаком хорошей работы последователей Никсона в области правопорядка.

В местах лишения свободы существует постоянный поток необъясненных смертей, которые обычно приписывают криминальным междоусобицам. Когда-то этот факт был чем-то далеким, существующим абстрактно. Теперь он непосредственно касался меня — и ужасал.

Проводив Бада, я несколько минут был согрет теплом его веры. Тем не менее, к этому чувству примешивалась какая-то тревога. Не использует ли Господь Бада, чтобы подготовить меня к предстоящему?



15

Обвинение

-М-р Колсон, если только мои подчиненные не предоставят мне большего количества улик, я не стану выдвигать против Вас обвинения в причастности к Уотергейту.

Леон Джаворски, Особый прокурор по Уотергейту, улыбнулся впервые за два часа, которые длилась эта изматывающая беседа. Бывший президент Ассоциации юристов сидел во главе длинного стола в комнате с голыми стенами, в окружении Билла Меррилла и других помощников. Мои адвокаты — Дейв Шапиро, Джуд Бест, Сид Дикштайн — и я настояли на этой встрече, чтобы воспользоваться последней возможностью убедить Особого прокурора и его людей в моем неведении относительно уотергейтского замысла и отвлечь давно нависшую надо мной угрозу обвинения по делу Элсберга.

Выражение лица Джаворски было однозначно благодушным. "Разумеется, — продолжил он после паузы, показавшейся мне бесконечной, — даже если Вы не будете проходить по Уотергейту, все равно остается дело Элсберга".

Я смотрел на Джаворски, впервые за это время чувствуя облегчение, но выжидал, пытаюсь разгадать его тактику. Никто до этого не предполагал, что меня можно обвинить по уотергейтскому делу; предыдущие обвинители считали, что в этом я чист. Но большую часть встречи Джаворски угрожал мне двумя обвинениями! Блефовал ли он, пытаюсь оказать на меня давление?

Джаворски отвел на секунду глаза и затем обернулся к Шапиро. "Почему бы вам, Дейв, не посидеть с Биллом, — сказал он, указывая на Меррилла, — и не посмотреть, что здесь можно придумать? Мне кажется, что на самом деле м-р Колсон *хочет* остаться полезным для общества гражданином и продолжить свою карьеру в качестве адвоката".

На этом он резко поднялся и предоставил Мерриллу с Шапиро решать мою злосчастную судьбу, в то время как я, вне сомнения, должен был ощущать необыкновенное облегчение и благодарность оттого, что перспектива проходить по двум уголовным делам стала менее реальной. Для постороннего человека значение таких юридических терминов, как "*уголовное преступление*", "*уголовно наказуемый проступок*" и "*компромисс по обвинению*" — вещь смутная и расплывчатая. Но для меня они были реальны как воздух и вода. Не говоря ничего напрямик, прокуроры предлагали мне компромисс по обвинению: я признаю себя виновным по меньшему обвинению в обмен на показания против других подсудимых. Компромисс будет означать, что меня обвинят в уголовно наказуемом действии, максимальное наказание за которое — один год; такое наказание обычно бывает условным и дает возможность продолжать занятие адвокатской практикой. Обвинение же в уголовном преступлении чаще всего означает тюремное заключение — вплоть до пяти лет — и запрет заниматься адвокатской практикой. Слова Джаворски относительно моего будущего были умышленным намеком.

Джеб Магрудер и Джон Дин, которые были намечены в качестве главных государственных свидетелей против Хальдемана, Эрлихмана и Митчелла, оба согласились на компромисс по обвинению. Прокурорам был также необходим кто-то из приближенного круга, один из четырех человек, которые, по выражению журналиста Джозефа Альсопа, "могли поразить президента в самое сердце".

Когда я покидал кабинет прокурора в тот день, выбор мне был предельно ясен. Компромисс по обвинению означал, что я признаю себя виновным в подготовке проникновения в офис психиатра Элсберга. Он также означал, что я заранее дам людям Джаворски показания о других участниках Уотергейта в обмен на снисходительность ко мне обвинения. Как может быть человек уверен, что хотя бы подсознательно не испытывает соблазна дать показания, которые больше угодны прокурору, нежели соответствуют действительности? Когда столько положено на чашу весов, разве это не свойственно человечес-

кой натуре? "Ну, будет ребячиться, — убеждают они, — ведь все так и было, разве нет?" И кто достаточно силен, чтобы сказать "нет", когда "да" означает свободу? Я не был уверен, что смогу так поступить. Круг отказался от компромисса с обвинением именно поэтому.

Но каким бы это могло быть для нас с Патти облегчением — раз и навсегда покончить со всеми этими переживаниями, вернуться к нормальной жизни, проводить время с детьми, положить конец страданиям моих родителей, особенно отца, за здоровье которого я переживал. В тот вечер, когда я ехал домой, подобные мысли действовали на меня как приворотное зелье. Мне казалось, что сделай я так, и накрывшее нас душное облако рассеется, и мы вдохнем полной грудью и порадуемся солнечному свету.

В тот вечер я поделился с Патти лишь частью того, что произошло. Не было смысла ее обнадеживать, чтобы потом вдруг разбить мечты — она и так слишком часто за последний год проходила этим замкнутым кругом надежд и разочарований.

Шапиро продолжал вести переговоры с людьми Джаворски, идя для меня на такой компромисс, который подошел бы обеим сторонам и оставил бы за мной возможность заниматься юридической практикой. Всякий раз, возвращаясь, он говорил одну и ту же фразу: "Мы продвигаемся вперед". Затем он пускался в пляс по офису, что у него получалось забавно и неуклюже. "Ну же, улыбнись. Я намерен избавить тебя от тюрьмы — будешь свободным человеком!" — подбадривал он.

Я улыбался не столько от его слов, сколько от вида его 250-фунтовой фигуры, выделяющейся в моем кабинете пируэты наподобие тех, что демонстрируют в цирке неловкие ручные медведи. "Дейв, я не уверен, что пойду на это", — сказал я ему вечером перед второй встречей. Мои слова подействовали на него как ледяной душ.

— Чак, ты, наверное, спятил. Ты сделаешь это, или я тебя упрячу в психушку.

— Я вполне серьезно, Дейв, — повторил я. — Я просто не уверен.

Ответ, каким бы он ни был, невозможно было найти в одиночку, и я понимал это. В следующую субботу вечером я пришел к Гарольду Хьюзу, который ждал меня в подвале своего скромного кирпичного дома, находившегося в двух шагах от нашего. Мы с Гарольдом теперь регулярно встречались в промежутках между встречами по понедельникам в Доме общения.

"Брат, мне нужна помощь", — признался я, когда мы оказались одни в просторном подвале, который Гарольд переоборудовал под кабинет. На плиточном полу лежали вязанные коврики, над пылающим камином висело распятие, большие мягкие кресла были придвинуты к огню, рядом лежали свеженаколотые дрова.

Я тщательно, один за другим, описал Гарольду все свои варианты. С каждым словом его лицо, обычно непроницаемое, все больше выдавало внутреннюю боль, он все больше хмурился, задавая мне по ходу острые вопросы. Ситуация получалась странная. Преданный адыютант президента искал совета у одного из самых яростных его противников по поводу решения, которое могло больно ударить по Никсону. Ибо хотя я по-прежнему верил в невиновность президента и не имел никакого намерения давать против него показания, я понимал, что мои действия могут вызвать к жизни силы, способные сильно ударить по его позициям. По всем политическим стандартам, Хьюз должен был не только всячески призывать меня согласиться на компромисс по обвинению, но и помочь вонзить кинжал поглубже. Но я сомневаюсь, что такая мысль даже приходила ему в голову; наши обязанности как последователей Иисуса Христа и братская любовь друг к другу были единственным, о чем мы думали.

"Я не знаю, — вздохнул Хьюз, когда я закончил. — Что я могу сказать?" Его лоб прочертили глубокие морщины. "Чак, виновен ли ты в том, в чем тебе нужно будет признаться?" — спросил он.

"Юридически нет. Я не отдавал приказа проникнуть в кабинет психиатра. И я ничего не знал об этом до того, как все случилось. Но я не уверен, что в моральном плане существует какая-то разница. Я бы сделал все, чтобы остановить Элсберга, все, что бы ни приказал президент", — возразил я.

"Не в этом дело, Чак. Являлось бы то, что пришлось бы тебе сказать в суде истиной перед лицом Бога?" — переспросил он.

"Нет, — ответил я приглушенным голосом. — Компромиссное решение означало бы, что я должен признаться в том, что знал и одобрял проникновение. Но это была бы ложь". В этот самый момент я понял, что как бы долго мы ни говорили, какие бы доводы ни приводили, именно это был главный вопрос, и Хьюз его затронул.

"Что ж, тебе придется просить ответа у Христа, брат, — признался он. — Если бы речь шла обо мне, о моей семье и так далее, я не уверен, что смог бы отказаться от предложения. Но никогда не знаешь до тех пор, пока не столкнешься лицом к лицу с этим выбором. Я

мог бы дать тебе правильный ответ, но не уверен, что сам последовал бы ему, поэтому как я могу что-то тебе советовать?" Еще до того, как он закончил говорить, я знал, что решение принято.

Мы сидели молча, слушая треск поленьев. Я посмотрел на Гарольда — этого нескладного солдата, водителя грузовика и некогда горького пьяницу, яркого оратора и сострадательного человека, которого я очень полюбил. Он закрыл лицо руками. Он тоже знал ответ.

Важно было сделать так, чтобы меня поняли Патти и дети. Когда я вернулся в ту ночь домой, Патти от всего сердца поддержала меня, сказав, что я не должен идти на сделку, но печаль, два или три раза мелькнувшая в ее глазах во время разговора, выдала ее. Цепочка тревожных дней, растягивающихся в месяцы, а теперь переваливших за год, изматывала ее сильнее, чем меня. Уэнделл был следующим — я позвонил ему в Принстон. Он ответил так же быстро и решительно, как Патти: "Делай то, что правильно, пап". Несмотря на то, что я изо всех сил старался умертвить в себе змея гордости, я невольно почувствовал его легкий укус, когда подумал о характере своего старшего сына. Затем я полетел в Бостон. Ведя обшарпанный старый "Форд", на заднем сидении которого расположилась Эмили, я подходил к вопросу осторожно, объясняя все очень подробно, потому что был уверен, что 15-летняя девочка не поймет разницы между уголовным преступлением и уголовно наказуемым проступком. На середине объяснения я спросил Эмили, понятны ли ей термины.

"Конечно, — ответила она. — Уголовно наказуемый проступок означает тюремное заключение всего в один год". То обстоятельство, что ее отец находится в самом центре уотергейтских событий, ускорило ее образование, по крайней мере, в этом отношении.

Я объяснил, что отказ от компромисса может означать, что мне придется туго на суде; осуждение по обвинению в уголовном преступлении может вылиться для меня в несколько лет тюрьмы.

"Большинство моих друзей и так считают, что ты в тюрьме или вот-вот там окажешься", — ответил Крис.

"Они тебе не очень этим досаждают?" — спросил я.

Крис только пожал плечами, но я видел, что он просто не хочет меня огорчать. *Как несправедливо, что эти двое уже получают от судьбы удары за проступки, которых не совершали*, подумал я. Крис давал мне понять, что вред уже нанесен и что я могу делать, что считаю нужным.

Эмили сидела, съевшись на заднем сиденье, и казалась даже

еще меньше, чем обычно; белокурые прямые волосы безвольно падали ей на плечи. Исчезнувший куда-то из глаз южный задор сменился печальным выражением. Она внимательно вслушивалась в каждое мое слово. "А ты делал то, что они просят тебя сказать?" — спросила она сухо, по-деловому и, выпрямившись, наклонилась к переднему сиденью.

"Нет, не делал", — ответил я.

"Что ж, тогда не признавайся в этом", — сказала она резко. Это был не совет, это был приказ, прозвучавший с суровостью, которой я никогда не подозревал в этой милой, застенчивой девочке. Как просто и прямо! "Не знаю, откуда у ребят такое мужество, но благодарю Тебя за него, Господь", — сказал я про себя, глядя в окно, чтобы скрыть свои эмоции.

Дейв Шапиро сильно рассердился, узнав о моем решении, что, в общем-то, я предвидел. Переговоры между ним и прокурорами прекратились, не приведя ни к чему, кроме ухудшения отношения ко мне со стороны обвинения. Потом прокуроры отрицали, что когда-либо предлагали мне компромисс, и в буквальном смысле это была правда. Но на самом деле единственным основанием для интенсивно проводившихся переговоров была именно сделка по обвинению. Моим адвокатам ясно давали понять, что она будет предложена формально, *если* я соглашусь на нее заранее. И Шапиро, и Кен Адамс позже заявили об этом под клятвой. (Вопрос, однако, так и был оставлен открытым, коль скоро переговоры прервались на ранней стадии.)

Я вовсе не чувствовал себя праведником, приняв такое решение, просто я не мог поступить иначе, в особенности после слов Эмили.

Когда мое долгое томительное ожидание возобновилось, мне захотелось найти какой-то другой выход из ситуации. Я начинал понимать, что защищая день изо дня свое прошлое, мне будет трудно жить полнокровной христианской жизнью, потому что моя фигура все время находилась в центре общественного внимания. Следующее письмо редактору *"Филадельфия Инквайерер"* больно меня задело:

"Так значит, Чарльз У. Колсон пережил определенное религиозное прозрение и теперь утверждает, что "видел свет". Но я, к примеру, не верю, что он воспринял хоть какую-то благодать, коль скоро, зная о своих преступлениях, он упорно не желает, чтобы они стали известны.

Пока он не признается во всем, он будет не больше, чем набожным лицемером. Он произносит прилюдно молитвы, но никому, кроме него самого, от этого не лучше — он же надеется, что они спасут его шкуру".

*Дэн Таннер
Делран, Нью-Джерси.*

О каких преступлениях говорил автор письма? Как в лихорадке, я судорожно вспоминал каждый свой поступок в Белом доме. Были безжалостные политические действия — "грязные приемы", это верно, потому что они вредили людям. Возможно, еще более худшими грехами в глазах Бога были гордость, самоуверенность и эгоизм. То, что моя слепая преданность главнокомандующему спутала для меня все понятия о добре и зле — несомненно, это так. Но преступления, описанные уголовным кодексом — таких не было.

Я, разумеется, мог повесить на Таннера ярлык злопыхателя и непримиримого противника Никсона. Но, если его реакция была типичной, не наносил ли я христианству куда больше вреда, чем пользы той позицией, которую я занял после обращения?

Напряжение росло. Практически ежедневно в прессе появлялись новые слухи о выдвижении долгожданного обвинения: когда оно будет объявлено, кто будет в числе обвиняемых, каково будет его политическое воздействие на ослабленные позиции президента. Влияние Ричарда Никсона заметно падало по мере того, как назначенная Конгрессом комиссия по импичменту все больше пополняла арсенал своих доказательств, готовясь к летнему наступлению. Адвокаты Никсона, Сент-Клер и Базхардт, предпринимали героические усилия, пытаясь удержать позицию, в то время как другие работники Белого дома все глубже погрязали в трясине пустословия и мелочных распрей. Хейг, регулярно встречавшийся с Джаворски, рассказывал, что этот некогда сочувственно настроенный прокурор все больше изменял свое отношение к Никсону по мере того, как менялся политический баланс сил. За всем этим чувствовалась какая-то неотвратимость, словно в последнем акте греческой трагедии.

Меня тоже поджидали большие сюрпризы, как в тот день, когда меня вызвали в Белый дом, и я узнал, что ЦРУ участвовало в Уотергейте. "Меня уволят, если кто-нибудь увидит, что я даю тебе это посмотреть", — сказал один помощник Никсона, протягивая мне шестидюймовой толщины папку с синим штампом **"совершенно секретно"**, наискосок пересекающим первую страницу.

Я провел два часа, внимательно изучая тщательно задокументированную, но редко обсуждаемую роль ЦРУ в уотергейтском скандале. Я обнаружил, что Говард Хант работал на некую фирму "*Роберт Р. Муллен и Компания*", якобы занимавшуюся рекламой, а на деле служившую "прикрытием" ЦРУ. ЦРУ тщательно следило за всеми действиями Ханта и оказалось причастным как к подготовке проникновения в Уотергейт, так и к последовавшим за этим событиям.

Что поразило меня больше всего, так это серия отчетов, рассказывающих о попытках Роберта Беннетта, президента фирмы Муллена, втянуть меня в Уотергейт с целью отвлечь внимание от участия ЦРУ в скандале. К отчету за 1 марта 1973 года была приложена ксерокопия той самой статьи в "*Ньюсуик*", которую мы с Патти читали в Вене почти год назад. Затем на многих страницах описывалось, как ЦРУ давало вашингтонским журналистам — в том числе и Роберту Вудворду из "*Пост*" — компрометирующую меня информацию, большая часть которой была ложью.*

Президент Никсон дважды обсуждал со мной этот отчет и был намерен предать деятельность Управления гласности. Другие люди, прежде всего генерал Хейг, уверяли президента не делать ничего, что могло бы нанести ЦРУ вред. Шапиро передал информацию прокурорам, которые заверили его, что проведут расследование. Но сделано, насколько нам известно, ничего не было до тех пор, пока более поздние разоблачения не послужили толчком для полномасштабного парламентского расследования. Позже компания Роберта Р. Муллена была закрыта.

Дейв считал, что, может быть, прокуроры не станут привлекать меня по делу Элсберга, если я пройду еще одну проверку на детекторе лжи, на этот раз с целью доказать, что мне ничего не было известно заранее о проникновении в офис врача-психиатра. Я вернулся в невзрачный нью-йоркский кабинет и прошел свой второй тест.

Дейв был под таким впечатлением, что устроил третью провер-

* Прим. ред.: Материал из этого файла позже вошел в дополнительный отчет сенатора Говарда Бейкера и вошел в окончательную редакцию материалов комитета Эрвина, оглашенных в июле 1974. В соответствии с отчетом Бейкера, ЦРУ "всячески пыталось создать впечатление причастности Колсона к деятельности Ханта... Далее следует заметить, что Беннетт регулярно давал информацию Бобу Вудворду, который "в знак благодарности" защищал Беннетта, Муллена и компанию".

ку, чтобы показать, что я никогда не обещал Ханту или его адвокату снисхождения или прощения за молчание по поводу уотергейтского дела. Именно это обвинение, как узнал Шапиро, могло заставить Джаворски привлечь меня по делу об Уотергейте.

К данному моменту я уже почти привык незаметно проскальзывать в дом Артура, натянув на глаза шляпу, опасливо оглядываясь по сторонам. Каждый, кто приближается к уголовному миру, я понял, быстро привыкает к его приемам.

Может быть, виной тому было печальное выражение моего лица, когда Артур совершал привычный ритуал подсоединения электродов, может быть, тот факт, что в тот день он уже три раза делал контрольные измерения моего пульса, но после окончания теста, вместо того, чтобы сказать результаты, он посоветовал мне больше не проверяться на детекторе.

"Почему? Я не прошел?" — спросил я, чувствуя как, адреналин заставляет мое сердце ускоренно биться, и краска заливает лицо.

"Нет, Вы прошли. Я не против того, чтобы продолжать брать с Вас деньги (\$350 за сеанс), но с Вами и так все ясно. Я могу сказать, что Вы говорите правду, даже не включая машину, и если Ваши обвинители до сих пор этого не видят, то боюсь, что Вы зря тратите деньги и проходите через все эти мучения", — ответил Артур.

Оказалось, что Артур прав. Меррилл никак не мог поверить в результаты исследований, даже несмотря на то, что отправил в Нью-Йорк агента ФБР с целью проверить качество работы Артура.

Мы по-прежнему продолжали ждать. Меня опять попросили предстать перед Большим жюри, от чего я отказался, потому что оно явно было настроено против меня. Тогда мне прислали повестку. Шапиро опротестовал эту необычную процедуру — безрезультатно. Вторично я был вынужден прибегнуть к пятой поправке, на этот раз напоминая уголовника, пытающегося спрятать свое греховное прошлое перед лицом двадцати с лишним граждан, которым через несколько дней предстоит голосовать о привлечении меня к суду.

Наконец Генеральный Прокурор объявил, что обвинения будут предъявлены в пятницу утром, 1 марта. Всю неделю Вашингтон был наводнен "последними" слухами. У каждого репортера список обвиняемых был свой. В четверг вечером мне позвонил Дан Скорр из Си-Би-Эс: "Прости, что приходится огорчать, Чак. Ты — один из сорока двух обвиняемых. Ты хочешь что-нибудь сказать по этому поводу?"

Это казалось нелепым — сорок два обвиняемых — мы не могли

воспринимать это серьезно. Джек Андерсон, неутомимый судебный обозреватель, позвонил в четверг и сказал, что в списке только пятеро; что меня в их числе нет. Мои друзья в Белом доме говорили, что в "неофициальном" списке, предъявленном Джаворски главе администрации президента, Алу Хейгу, меня тоже нет.

Я мог рассердиться на подобные домыслы, но подчас чувствовал, что мне они почти безразличны. Я бы предпочел все, что угодно, томительному ожиданию. В ту пятницу Патти пошла вместе со мной на работу, на тот случай, если произойдет худшее. Пресса потребует заявления; тогда она будет рядом. В глубине души я знал, что буду среди обвиняемых. Все предшествующие события указывали на это, но внешне я продолжал улыбаться, надеяться, читать двадцать шестой псалом:

"Ибо Он укрыв бы меня в Скинни Своей в день бедствия, скрыв бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня... Не предавай меня на произвол врагам моим; ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою... Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа".

Псалом 26:5, 6, 12, 14

В 9:30 Шапиро вошел в мой офис — уголки губ опущены вниз, глаза исполнены боли и печали. "Только что звонил прокурор, — начал он и после долгой паузы просто опустил большой палец вниз. — Мне очень жаль, очень жаль".

Холли заплакала, а Джуд Бест обнял Патти, которая изо всех сил пыталась отогнать слезы и сохранить свою щедрую, лучистую улыбку, в которой я черпал так много сил.

Всего нас было семеро, обвиняемых в попытке сокрыть уотергейтское преступление. Через два часа позвонил Меррилл. "В следующий четверг выйдет обвинение по делу Элсберга, и в нем Ваш подопечный также будет упомянут", — сказал он Шапиро. То, что началось как игра на устрашение, оказалось реальностью. Официальное предъявление обвинения по обоим делам было назначено на 9 марта, субботу, и должно было состояться в федеральном окружном суде.

Когда в субботу такси высадило нас с Сидом Дикштайном возле здания суда, мы увидели огромную массу народа, толпящегося по обеим сторонам отгороженного канатом прохода, ведущего к глав-

ному входу. Улюлюкающих, выкрикивающих что-то зрителей удерживали полицейские в шлемах, стоявшие в ряд перед ограждением из стоек и канатов. Мне эта картина напомнила те дни, когда демонстранты окружили Белый дом. *Теперь не спрячешься за толстыми железными воротами*, мелькнула у меня паническая мысль.

Телевизионщики и журналисты приметили нас и бросились к нам со всех ног, отпихивая друг друга и стараясь подоспеть первыми; некоторые тащили над головами слепящие, горячие юпитеры. Несколько полицейских были застигнуты этой лавиной врасплох и побежали вместе со всеми, то и дело останавливаясь в напрасной попытке остановить этот людской поток. Один оператор упал, споткнувшись о низенькую изгородь, идущую вокруг газона возле здания суда. Другого чуть было не выпихнули под подъезжавший к тротуару автомобиль.

Через несколько секунд мы оказались в плотном кольце, на нас наставили, подобно копьям, микрофоны на штативах, вопросы посыпались со всех сторон. Я подумал: "Странно, что никто не гибнет в таких давках". Зрители — несколько сотен человек по оценке прессы — были настроены агрессивно, размахивали самодельными плакатами наподобие следующих: **"Конокрадов вешали, и Никсон следующий"**. Некоторые делали неприличные жесты. Один человек, надевший маску из папье-маше в виде головы Никсона, был арестован за то, что ходил в толпе со спущенными штанами. (Позже было установлено, что это комментатор одной из вашингтонских радиостанций.)

Такой взрыв интереса можно было предвидеть: всю неделю прессы только и писала, что о выдвинутом обвинении. На обложке номера *"Ньюсуик"* были изображены четыре больших карандашных портрета Хальдемана, Эрлихмана, Митчелла и Колсона. Через всю страницу, подобно современным огненным письмам, проходила крупная надпись — "Обвиняются". Почти целиком вечерние новости были посвящены только этой теме. *"Ассошиэйтед Пресс"* опубликовала фото улыбающегося Элсберга, явно довольного происшедшим. Во многих газетных комментариях чувствовалась уверенность в виновности обвиняемых, во всех высказывались серьезные претензии. Между выдвиганием обвинения и осуждением границы не проводили; мы становились удобной мишенью для накопившегося у людей недовольства.

После шумной уличной толпы тишина судебного зала казалась

большим облегчением. Заседание вел судья Сирика; все скамейки для зрителей были до отказа заполнены журналистами. Когда очередной обвиняемый входил через боковые двери, по залу проносился шепот, точно порыв ветра; репортеры суетливо записывали свои впечатления, набрасывали первые штрихи той драмы, которой ждали с таким нетерпением. Представитель *"Таймс"* подметил во мне "самоуверенность", в то время как корреспондент *"Пост"* записал, что я был "постоянно погружен в раздумья". Джон Митчелл "обмяк на своем стуле... на сером лице застыло выражение усталости". Джон Эрлихман имел "кисло-сладкое выражение лица", Боб Хальдеман был одет в "хорошо отутюженный и хорошо скроенный светло-синий костюм". Быстрыми и точными движениями карандашей на огромных белых листах создавались портреты, которые появятся вечером на экранах миллионов телевизоров.

Направляясь к Джону Митчеллу, сидевшему вместе со своими адвокатами за столом в другом конце зала, я думал, как вести себя достойно христианина. Прошло уже много месяцев с тех пор, как я виделся или разговаривал с моим старым антагонистом по Белому дому. Сперва мрачный бывший Генеральный Прокурор был поражен, но потом обрадован тем, что я взял его за плечо, пожал руку и пожелал ему успеха. Встреча с Хальдеманом и Эрлихманом также была теплой; было не время для жалоб и обид.

Гордон Страхан, двадцатисемилетний помощник Хальдемана, был одним из трех незначительных фигур, включенных в обвинение; двумя другими были адвокат Кеннет Паркинсон и бывший помощник Митчелла, Роберт Мардиан. Страхан, красивый голубоглазый блондин, старался сдерживать слезы, на его лице застыло безучастное выражение. Я сильно сочувствовал ему. Гордон служил таким обремененным властью людям, как Хальдеман, слепо веря в правоту дела. Мне это чувство было хорошо знакомо. Теперь неожиданным, невероятным образом он попал в зал суда в качестве обвиняемого, его окружала разгневанная толпа, глаза возмущенной нации были устремлены на него.

"Я слышал, что Вы читаете Библию", — сказал он с горечью.

"Да, Гордон", — ответил я. Уже сам вопрос, казалось, придал ему уверенности.

"Мне бы хотелось услышать о том, что Вы пережили", — признался он.

Едва ли это было подходящее место: мы стояли на проходе, и в

зал как раз заходил Леон Джаворски со своими людьми, направляясь к прокурорскому столу. "Я с удовольствием расскажу, когда будет возможность поговорить, — сказал я. — Держись, Гордон. Бог даст тебе сил, если ты попросишь". Гордон улыбнулся, потом закусил губу.

"Все граждане, имеющие предстать перед уважаемым судьей..." — судебный пристав водворил в зале суда тишину. Когда мы встали, судья Джон Сирика в длинной черной мантии с серьезным лицом прошествовал к стоявшему на возвышении кожаному креслу с высокой спинкой, с которого ему предстояло вершить правосудие. Я видел судью Сирика всего второй раз в жизни; лишь несколько месяцев тому назад журнал *"Тайм"* объявил его "человеком года", после того как он двадцать лет незаметно прослужил в судах округа Колумбия. На одной вечеринке в 1971 году мы с ним дружески болтали — он охотно вспоминал то время, когда участвовал в политических баталиях на стороне республиканцев, рассказывал мне о своем восхищении Никсоном. Но тот милый собеседник имел очень мало общего с этим сосредоточенным судьей, с редким упорством срывавшим покров неизвестности, который Белый дом хотел набросить на уотергейтское дело.

Сирика попросил всех семерых выйти вперед и, встав у перил возле его скамьи, отвечать соответственно предъявляемым обвинениями. Слова холодком пробегали по спине: "Соединенные Штаты Америки обвиняют Джона Митчелла... Чарльза У. Колсона..."

Всю жизнь от слов "Соединенные Штаты" сердце замирало у меня в груди, точно от звуков военного марша; как ни банально это звучит, я страстно любил свою страну, носил форму военного пехотинца с особым достоинством и каждый раз испытывал гордость, глядя на флаг. Теперь любимые слова звучали обвинительно, больно укоряя меня и наполняя стыдом. *Не Соединенные Штаты против меня*, хотелось кричать, *а группа политиков!* Не страна обвиняла меня — но, конечно же, именно она. Это страшное осознание, которому я до сих пор противился, принесло чувство какой-то слабости. Ничто — ни суд, ни тюрьма, ни крах карьеры — не могли сравниться с катастрофическим сознанием того, что моя любимая страна обвиняла меня в злоупотреблении ее доверием и моими полномочиями.

И в другом отношении было нечто почти столь же отрезвляющее. У правительства неограниченные ресурсы и возможности: сорок вы-

сококвалифицированных адвокатов Джаворски, имеющих полномочия вызывать в суд кого бы то ни было, большая компьютерная сеть, записывающая, сохраняющая и обрабатывающая горы информации, армия следователей по всей стране. Сто следователей были задействованы только со стороны комитета Эрвина, а он являлся лишь одним из дюжины комитетов в конгрессе, копавшихся в малейших подробностях наших жизней. ФБР и другим организациям были отданы приказы проверять все, что могло бы дать обвинению дополнительные козыри.

Адвокаты нашей фирмы, конечно, не могли угнаться за подобной армией юристов. Мы даже не могли уследить за теми показаниями, которые сотни людей давали в рамках обретающего все больший размах дела, к тому же мой банковский счет должен был истощиться за год. Я понял теперь, что значит практически в одиночку сражаться против государственной машины. Как мало в прошедшие годы я задумывался над правами отдельного человека!

Конечно же, будет суд и, значит, возможность доказать свою невиновность, но уже ничто не смоет уродливого пятна, оставленного этим днем. Я посмотрел в жесткие глаза судьи Сирика, чей силуэт отчетливо и безрадостно вырисовывался на фоне черной мраморной стены. Во рту у меня так пересохло, что я не был уверен, что произнесенные мной слова можно было расслышать: "Не виновен по всем обвинениям".

Я опустил глаза. "Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее... не могут отлучить нас от Иисуса", — писал Апостол Павел римским христианам (см. Рим. 8:38,39). Никогда эти слова не казались мне более важными, чем тогда в зале суда. В тот момент, когда я почувствовал всю силу гнева тех Начал, которым служил, я ощутил и Его присутствие — необыкновенно заботливое и абсолютно надежное.

В последующие дни мне предстояло постигнуть, насколько это присутствие способно изменить все вокруг.



16

Решение

Когда в следующий понедельник я ехал на утреннюю встречу в Дом общения, слова обвинения все еще звучали у меня в ушах. Тот факт, что воскресные газеты сделали меня печально знаменитым на весь мир, еще усугубил мое шоковое состояние.

Даг Коу встретил меня со своим обычным шутовым огоньком в глазах: "Брат, давай посмотрим на это с такой стороны: все хорошо. Христианин попал в сферу внимания средств массовой информации",

Я кисло улыбнулся в ответ. Собравшимся в библиотеке четверем мужчинам я задал вопрос, не дававший мне покоя в течение всех выходных: "Ввиду выдвинутого обвинения, не следует ли мне оставить группу? Двое из вас занимают государственные посты, а случившееся может повредить вашей репутации".

"Мы братья, — веско сказал Кью. — Если тебя обвиняют, то, значит, и всех нас. Мы будем держаться вместе, и только так".

Хьюз утвердительно кивнул. Для обоих подобное обязательство могло означать большие неприятности. Несмотря на то, что Хьюз собирался оставить политику, в сознании многочисленных сторонников по всей стране он был "М-р Незапятнанный". Республиканцу Кью предстояли перевыборы в демократическом штате, и это при том, что все указывало на подавляющую популярность демократов. Хотя его юридическая практика также могла пострадать, Грэм Пур-

селл возмутился громче всех. "Мы теперь повязаны до конца, приятель", — произнес он со своим отчетливым техасским акцентом.

Во время последовавшего за тем разговора и молитвы чувство отчаяния растаяло и ушло, а я еще раз ощутил всю силу Божьего присутствия. В офис я приехал почти умиротворенным. Дейв Шапиро посмотрел на меня уставшими от бессонницы глазами и только головой покачал: "И как только у тебя это получается? Это были худшие выходные дни за всю мою жизнь. Два обвинения, толпа линчевателей у здания суда, единодушное мнение горожан, что тебя надо упрятать за решетку, а ты выглядишь так, словно только что вернулся из отпуска".

В то утро я был готов взять приступом даже Шапиро: "Если ты хочешь, чтобы я действительно объяснил в чем дело, то надо начать с событий двухтысячелетней давности. Вы, ребята, именно тогда опоздали на корабль".

Шапиро усмехнулся. "Займемся делами. Я намерен вывести тебя сухим из воды, Чак. Все эти обвинения ни к черту не годятся".

Вдохновленный молитвенной встречей и бодрыми словами Шапиро, я приготовился к длинному противоборству. Первым делом я ушел из фирмы, после чего она стала называться "Дикштайн, Шапиро и Морин", хотя мы с Холли оставили за собой офис. Затем я объяснил всем своим клиентам, что они могут считать себя свободными от каких бы то ни было обязательств по отношению ко мне. К моему большому удивлению секретарь профсоюза Тимстеров Дасти Миллер употребил практически те же слова, что и Кью: "В трудовом движении мы как братья. Ты обвинен — я обвинен. Вот так". Брейнерд Холмс и Том Филлипс из компании "Рейтеон" предложили мне свою поддержку. "Мы просто поработаем с другими людьми в твоей же фирме, пока ты не вернешься", — заверил меня Брейнерд. Ни один клиент не перешел к другому адвокату.

Поскольку Сент-Клер не мог меня защищать, а большинство судебных адвокатов были уже разобраны другими обвиняемыми, Дейв Шапиро решил возглавить мою защиту вместе с Дикштайн и своим талантливым молодым помощником, Кеном Адамсом. Мы обратились в Ассоциацию юристов, которая разрешила Шапиро меня защищать, коль скоро я ушел из фирмы, и нахождение нового адвоката было связано с большими сложностями.

Из-за того, что одно судебное разбирательство дышало в затылок другому — дело Элсберга в июле, Уотергейт в сентябре, не было

возможности нормально подготовиться ни к тому, ни к другому. К тому же суд должен был состояться во время слушаний по вопросу об импичменте, что создало бы наихудший фон для защиты. Отсрочка одного или обоих дел была, мы полагали, необходима, но учитывая усиливающиеся призывы к "быстрому правосудию", мы опасались, что судья Сирика и Герхард Гессель, назначенный вести дело Элсберга, не удовлетворят нашу просьбу.

"У нас только один выход, — заключил Кен Адамс, внимательно изучив оба дела. — Давайте соберем все газетные статьи за последние два года, в которых вас в чем-нибудь обвиняли. Сложим их вместе, пронумеруем и подадим судье. Существование предубеждения будет веским доводом, который, быть может, убедит его отложить суд". В соответствии с законом, такая отсрочка считается вполне уместной, если до суда складывается отрицательное общественное мнение об обвиняемом.

"Ты шутишь, — ответил я. — Статей, наверное, тысячи. Нам потребуется пятьдесят человек на полную ставку. Это невозможно".

Кен Адамс начал с того, что мобилизовал для работы наш офисный персонал. Секретарши сами предложили бесплатно работать по вечерам — вырезать статьи из огромных стопок газет, сваленных на стол в комнате для совещаний. Некоторые жены адвокатов по вечерам помогали нам управляться с очередными ящиками старых выпусков *"Пост"* и *"Стар"*. С каждым днем задача казалась все более и более невыполнимой, все больше напоминая уборку снега во время пурги; за то время, пока разгребаешь какой-то участок, два оказываются заново погребенными под снегом. Подчас было непросто справиться даже с потоком свежих газет, писавших об импичменте и предстоящих судебных процессах.

Результаты одного частного опроса сделали нашу работу еще необходимее. В соответствии со статистическими данными Альберта Е. Синдлингера, об обвинении знали примерно 91% граждан — примерно то же количество людей, которое способно назвать кандидатов в президенты. В хорошо осведомленном Вашингтоне этот процент был даже выше. В целом по стране 75% из числа имеющих какое-либо мнение считали, что обвиняемые виновны, 7% — что они невиновны; В Вашингтоне соотношение было 84% и 2%. Что касается дела Элсберга, то цифры по Вашингтону были еще хуже — 75% к 1%. Ни по каким законам статистики нельзя было рассчитывать подобрать беспристрастных присяжных. Единственной нашей надеждой

было получить отсрочку суда, коль скоро Вашингтон был не так сильно заражен идеей импичмента, как другие города страны. А помочь убедить судью могли только вырезки из газет.

Даг узнал о нашем бедственном положении и однажды вечером прибыл в офис со своим молодым энергичным другом, бывшим морским пехотинцем по имени Джон Бишоп. Бишоп сразу взял на себя командование, как делал это, будучи капитаном пехотинцев. Две девушки из Дома общения занялись телефонами. На следующий день к нам присоединились: секретарши из государственных заведений, студенты, пожилые пары, доктор с женой, служитель, домашние хозяйки. К концу недели мы приняли около восьмидесяти добровольцев, которые едва помещались в наших офисах: сидели на столах, располагались по-индейски на полу, резали, наклеивали, помечали. Они разделились на смены; кто-то работал днем, кто-то — вечером; была также поздняя смена, которая часто задерживалась до рассвета. Однажды утром, приехав на работу, я застал нескольких молодых людей спящими на полу в библиотеке.

Прежде чем уничтожить сумки сэндвичей и чайники кофе, которые приносили в офис три раза в день, работники собирались маленькими группами, чтобы попросить Господнего благословения на предстоящий день. Часто перед работой волонтеры собирались в круг, брались за руки и просили Христа укрепить их общение и помочь справиться с заданием. Один раз я присоединился к группе, молившейся в комнате, где работали Кен Адамс, еврей по происхождению, и две молодые секретарши из нашей фирмы.

"Прости, Кен, — сказал я ему потом. — Не хотел ставить тебя в неловкое положение".

В ответ Кен улыбнулся: "Все в порядке. Эти люди делают такое потрясающее дело, что я рад быть его частью".

Мало-помалу горы газет стали таять, превращаясь в стопки аккуратно наклеенных и проиндексированных цветным фломастером вырезок, готовых к занесению в очередной из тридцати девяти больших черных томов, подготовленных Адамсом. "Христиане в поддержку Колсона" (как называли себя добровольцы), с радостью делали невозможное, благодаря чему через две недели впереди показалась победа.

Но более важным, чем сама работа, оказался тот факт, что вторжение начало сказываться на всей фирме — произошло то, что К. С. Льюис называет "полезной инфекцией". "Не понимаю, что здесь происходит, — пробормотал однажды вечером Дейв Шапиро. —

Что бы это ни было, это просто невероятно. Я только что поговорил с одним из твоих ребят. Он сказал, что терпеть не может твоих политических взглядов, но тебя любит. Объясни мне это, а?"

Две ворчливые секретарши, проработавшие в фирме много лет, широко открытыми глазами смотрели на работу волонтеров, которые ни разу не позволили себе пожаловаться, когда на ночь выключали кондиционер или кончались бутерброды, или даже, как это часто случалось, что-то было сделано не так и приходилось все переделывать заново. Чем тяжелей была работа и сильнее разочарования, тем больше эти христиане улыбались и тем упорней трудились.

Постепенно, но уверенно настроение работников фирмы становилось все лучше. Один из клерков переживал в то время тяжелые личные проблемы и как-то вечером излил душу молодому человеку из Дома общения, когда они вместе работали на ксероксе. Через несколько недель клерк стал посещать молитвенную группу в Доме общения, а спустя несколько месяцев оставил фирму и стал работать продавцом, что позволило ему общаться с теми, кому, в свою очередь, была нужна помощь. Мне он объяснил, что эти две недели изменили его жизнь.

Ходатайство должно было быть подано 1 мая. В последний день апреля все еще по-прежнему висело в воздухе: офис был завален бумагами, и впереди была огромная работа по ксерокопированию; в соответствии с требованиями суда, мы должны были представить по четыре копии всех документов. Изможденные добровольцы работали всю ночь не покладая рук, и к утру переплетенные тома были готовы к погрузке в фургон, который должен был доставить их к зданию суда. Каждый набор книг возвышался над землей на семь футов и содержал тысячи вырезок.

Через несколько дней судьи Сирика и Гессель отклонили наше ходатайство, не вняв самому впечатляющему собранию материалов по данному делу. Сирика отказался передать дело другому судье, даже несмотря на то, что его публичные высказывания указывали на желание "вывести на чистую воду" проходящих по делу чиновников. Ни один из судей не захотел перенести разбирательство в другой город, что часто делалось, чтобы избавить подсудимых от враждебного отношения местных жителей. Это было для нас жестоким разочарованием. Тем не менее, никакое решение суда не могло заглушить моей радости от той любви Христовой, какой окружили меня прежде совершенно незнакомые люди. "Игра стоит свеч", — сказал я

Холли, и на этот раз на ее лице не было удивленного выражения. Она тоже начинала это понимать.

Тем временем, отделенный от нас несколькими домами, президент объявлял по национальному телевидению о предании гласности совершенно иных книг. Это тоже были переплетенные тома темного оттенка, но содержали они записи сорока семи бесед, которые велись в стенах Белого дома. "Эти документы, — заверил Никсон миллионы телезрителей, — раз и навсегда покажут, что моя роль в уотергейтском деле была именно такой, какой я ее описывал с самого начала".

Он сказал это с такой уверенностью, что я решил, что это очередной неожиданный маневр, наподобие того, который был сделан им в январе 1972 года, когда он поведал о тридцати месяцах тайных переговоров с Вьетнамом. *Наконец-то*, подумал я с облегчением, *он предъявил доказательство, о котором говорил мне все это время*. Глядя на "прежнего" Никсона, я почувствовал, как меня захлестывает восторг. Но почему же он так медлил!

Холли раздобыла копию протоколов на следующее утро. Когда я стал жадно просматривать страницы толстой книги в темно-синем переплете, со спины подошел Дейв Шапиро и стал читать через плечо. То, что я увидел, и то, как застонал Шапиро, заставило мое сердце сжаться. "Глазам не верю", — пробормотал я, увидев на каждой странице пропуски с пометкой *эксплетивное выражение*,* которые явно характеризовали Ричарда Никсона как самого несдержанного президента за всю историю.

"Это бездушный человек в библейской оболочке", — сказал я Шапиро.

"Это бездушный человек и точка, — отозвался Шапиро. — Кстати, преданный слуга Никсона, он нагло врал тебе всю дорогу".

Чем дальше я читал, тем сильнее ощущал душевную боль, понимая, что меня предали. Думая об этом, я не мог не вспомнить слова Боба Хальдемана, сказанные им в конце выборной кампании 1972 года: "Ричард Никсон не посчитается ни с кем. Запомни это. Когда ты перестанешь быть ему нужен, он просто от тебя отделается".

Тогда я от этого замечания отмахнулся, считая, что бесчувствен-

* Т. е. выражение, носящее в речи ненормативный характер. — Прим. пер.

ный Хальдеман пытается таким образом выразить свое мнение о том, как любой президент должен обращаться с подчиненными. *Да я и не против оказаться за бортом*, сказал я себе, *если такова цена службы этому человеку и его благородным целям*. Тем не менее, я был уверен, что каким-то образом чаша сия меня минует.

Теперь протоколы доказали обоснованность слов Хальдемана. Шапиро смотрел на меня в упор. Времени на обиды не было. "Дейв, Никсону остается только уйти в отставку. Выйти из игры с достоинством. Я должен сказать ему об этом", — произнес я.

Шапиро считал, что звонить мне не следует: это могло показаться обвинению подозрительным. Вместо того, он сам отнес мою записку Джиму Сент-Клеру, который, впрочем, не передал ее президенту. Юридические позиции президента, был убежден Сент-Клер, будут только укреплены оглашением протоколов. Но не юридические решения, а грозовые раскаты общественного мнения определяют развитие событий и стран. Присяжные будут решать дело, исходя из моральных соображений, и в таком случае Никсон сам предоставил главный аргумент против себя.

Помимо "эксплетивных выражений" подробные записи разговоров представляли широкой публике Никсона как человека нерешительного, вялого и мелочного, показывали его с худшей стороны. Это был не тот Никсон, который принимал смелые решения, направленные на прекращение войны во Вьетнаме, не тот человек, который тактично отзывался о чувствах других людей, не тот идеалист, который вслух мечтал о чудесном будущем Америки и всего мира.

На какое-то мгновение я почувствовал, что пленки имеют целью выгородить президента. Среди протоколов не было того разговора, в котором я настаивал, чтобы он публично назвал имена вовлеченных в скандал; президент убедил меня, что не знает, кто они. Но теперь, читая документ, я видел, что Никсон знал куда больше, чем давал понять. В то время, как я призывал его назвать виновных, он отдавал указания Митчеллу, Хальдеману и Дину блокировать расследование.

Чем больше я читал, тем тяжелее у меня становилось на душе. То, что Никсон лгал мне, что он не поступал в соответствии с силой собственного характера, было тяжелым ударом, но я по-прежнему хорошо к нему относился. Что было гораздо тяжелее, так это леденящее душу сознание того, что я сам помог создать тот образ Белого дома, который сложился теперь у людей.

Дело было не в ругательствах. Грубая манера разговора была еще одним способом показать, что мы годимся для передовой и можем потягаться со всем миром. Подлинной проблемой было нравственное разложение внутри правительства, которое должно обладать если не благородством, то, по крайней мере, сознанием собственных целей. На фоне вдохновенных и бескорыстных речей тех людей, что служили в Белом доме до нас — Вашингтона, Линкольна, Джефферсона — наши слова казались пустыми и неприличными. Однако у всех президентов были свои недостатки: Айк сквернословил, Трумэн отличался язвительностью, прочие страдали от слабостей нравственного порядка; общество отгораживает себя от таких подробностей, потому что большинство из нас хочет думать о своих лидерах только хорошее.

Итак, нелицеприятная истина стала для меня очевидной. Я сам больше, чем кто-либо другой, запятнал свое возвышенное — может быть, даже идеализированное — представление о poste президента, и записывающая система увековечила это заблуждение. Сознать это было так же тяжело, как слышать слова судебного чиновника: "Соединенные Штаты против Чарльза Колсона". Второй тяжелый удар за те же два месяца.

Следом за опубликованием протоколов Никсона мне пришлось пережить еще один шок, на этот раз совершенно неожиданный. "Чак, мне нужно с Вами увидеться", — по телефону со мной говорил крайне обеспокоенный Дик Говард, молодой человек, два года прослуживший мне в качестве административного помощника в Белом доме и прекрасно справившийся со своей задачей. Дик, которому было немногим за тридцать, высокий, красивый калифорниец, собирался уйти из Белого дома и занять хорошее положение в частной компании. Он со своей женой Марсией и двумя четырехлетними мальчиками-близнецами был нам почти как родной.

"Мне было сказано больше с Вами не общаться", — объяснил он, когда мы встретились в моем офисе. Дик, непоколебимый посреди тяжелейших кризисов, был бледен и мрачен.

"Кто это сказал?" — поинтересовался я.

"Обвинители. Они сказали, что мне собираются предъявить обвинение в лжесвидетельстве", — его голос слегка дрогнул.

"Почему?" — мой собственный голос бесконтрольно полез вверх, в то время как сердце ухнуло куда-то вниз. Говард рассказал

мне, что помощники прокурора подробно допрашивали его обо всем, что происходило в моем офисе. Это была рутинная процедура, хотя я и сомневался в законности их подхода к свидетелю.

Одна молодая девушка, занимавшаяся распределением поисковых назначений, сообщила мне, что ее обвинили в "нежелании помогать следствию", когда ее показания пошли вразрез с теориями обвинителей. В конце долгого разговора двое молодых адвокатов, допрашивавших ее, с изумлением спросили: "Как могла такая хорошая молодая девушка работать у такого прожженного типа?" Ее и других людей, как, например, мою секретаршу Джоан Холл, еженедельно заставляли отвечать на всевозможные вопросы, чем вынуждали тратить тысячи долларов на адвокатов.

Однажды трое прокуроров долго допрашивали Холли, которая была моей доверенной секретаршей во время подготовки защиты. После нескольких часов выслушивания одних и тех же вопросов, терпение обычно мягкой и выносливой Холли кончилось. "Мы можем хоть целый день здесь просидеть, — раздраженно заявила она, — но я вам уже сказала правду, и ничего кроме этого вы от меня не получите". Больше ее ни разу не побеспокоили. Хотя прокуроры охотились за мной, многим людям, меня окружавшим, эта охота обходилась дорого: в отношении времени, денег и нервов. Оказалось, что из тридцати моих бывших работников обвинению не удалось найти ни одного, который дал бы какие-либо показания против меня.

Но теперь Дик Говард попал в действительно тяжелое положение. Если ему предъявят обвинение, то его карьера пропала. Его допрашивали в связи с подозрением в том, что я якобы намеревался нанять каких-то головорезов, которые должны были избить Элсберга. Дик отверг эти обвинения под присягой, но прокуроры ему не поверили. Через две недели против него будет выдвинуто обвинение, сообщили ему. "Послушай, Дик, ты говоришь правду, — успокоил я его. — Просто строго придержишься фактов, и тебя нельзя будет привлечь к суду".

Но внутри я чувствовал себя гораздо менее уверенным, чем могло показаться из слов. Весь остаток дня я не мог сосредоточиться на работе, думал все время о Дике и других невиновных людях, застигнутых врасплох разразившейся бурей. Я ушел из офиса и поехал прямиком домой к Дагу Коу.

"Это, несомненно, требует особой молитвы", — серьезно сказал Даг, когда я объяснил ему ситуацию Дика.

"Даг, я не могу допустить, чтобы Дик и его семья так пострадали, — объяснял я. — У него нет денег. Новой работы он тоже лишится. В Белом доме он уже сказал, что уходит. Послушай, если только это поможет Дику отделаться от прокуроров, я признаю себя виновным. Я скажу все, что они попросят". Мое возбуждение, вероятно, поразило Дага.

"Нет, так нельзя, Чак. Нам нужно понять, чего хочет Господь", — ответил он. Затем он рассказал о выборе, который Господь дал царю Давиду, наказав его за гордость и непослушание: семилетний голод, трехмесячное поражение в битве или трехдневная язва на народ. "Цена лидерства подчас означает страшные страдания, — сказал Даг. — Но не надо переживать о Дике: о нем позаботятся братья. Сейчас Бог испытывает тебя. Тебе нужно только открыться, и ты услышишь, чего Бог хочет".

Дополнительную поддержку я получил из письма Майкла Алисона, молодого члена британской Палаты общин, с которым я познакомился месяц назад в Доме общения. Алисон порекомендовал мне "короткую, сильную, экстренную молитву" наподобие той, что произнес Давид во время противостояния с Авессаломом: "... Господи! Разрушь совет Ахитофела" (2 Царств 15:31).

"На эту молитву последовал немедленный и исчерпывающий ответ, — писал Алисон. — Именно эту молитву я произношу за вас и надеюсь, что вы сделаете то же в отношении тех, кто хочет опорочить ваше имя".

Все последующие дни, приносившие все больше сообщений о том, что моих бывших работников вызывают к людям Джаворски и что давление на нас усиливается, я молился одной и той же молитвой: "Господь Иисус, пожалуйста, разрушь совет моих врагов. Помоги мне найти *Твой* ответ. Укажи мне *Твою* волю".

Подобно открытию шлюза на полноводной реке, опубликование протоколов совещаний в Белом доме вызвало стремительный поток мнений, телевизионных передач и новых сведений для обвинения. Сторонники Никсона оказались в растерянности, его противники получили богатый арсенал доводов. Республиканский лидер Сената Хью Скотт назвал протоколы "убогими". Два лидера фракций в Палате представителей требовали отставки. Вице-президент Джеральд Форд сперва заявил, что записи снимают с президента всяческие подозрения, но после, когда возмущение стало расти, пошел на по-

пятный, признав "сложность сложившейся ситуации". Девятого мая открылась первая сессия формальных слушаний по импичменту в Юридическом Комитете Палаты представителей. Желание скорейшего осуждения все больше напоминало откровенное нетерпение.

По мере того, как росли шум и ярость уотергейтских расследований, я стал замечать повторяющуюся тему в своей почте. Хотя тон писем оставался теплым и ободряющим, все больше слышался призыв исполнить мой христианский долг. Доктор Вернон Гроуз, убежденный республиканец и хороший друг, в своем письме обобщал эти призывы следующим образом: "Будь прямолинеен и предельно честен во всех судебных разбирательствах, касающихся Уотергейта и связанных с ним вопросов".

Я опять оказывался перед дилеммой, с которой сталкивался уже столько раз со времени обращения: попытка жить в двух мирах. Как христианин, я жаждал рассказать все, дать показания на слушаниях по импичменту, но мои адвокаты, руководствующиеся мирской мудростью, уверяли меня хранить молчание. На карту поставлена моя свобода, уверяли они; все, что я хотел сказать, мне следовало придержать до суда, и даже тогда говорить следовало только то, что помогло бы защите. Еще хуже было сознание того, что адвокаты брались защищать мою жизнь *до* того момента, как в нее вошел Иисус Христос; перед судом предстоял *прежний* Колсон, а многое в его жизни мне просто не хотелось защищать. Но как разделить старый мир от нового? Или как жить в обоих?

Посреди всех этих проблем, однажды утром в понедельник Гарольд объявил, что Майк Уоллес относится к нам с пониманием и сочувствием, а это значит, что мы можем выступить в его "Шестидесяти минутах". Даг был необыкновенно рад такой возможности произнести свидетельство перед миллионами телезрителей. Я вовсе не разделял его оптимизма; в душе у меня все сильнее звучали сомнения в том, что я имею моральное право нести Христа людям. Съемки программы были намечены на 16 мая и должны были состояться в подвале дома Хьюза.

Даже погода в тот день была неблагоприятной: жарко и душно. Когда я подъехал к дому Хьюза, его уже окружили грузовики с аппаратурой компании Си-Би-Эс. Проход к дому загромодили прожекторы на треногах и огромные металлические ящики, по газону протянулись толстые черные кабели; с прилегающих участков глядели соседи. С Гарольда, одетого в клетчатый костюм, являвшийся

наиболее консервативным предметом его гардероба, градом катился пот. Ева бегала взад вперед по лестнице с подносами кофе и прохладительных напитков. Майк Уоллес, обычно такой агрессивный на телеэкране, был странно мягок и вежлив.

"То, что Вы делаете, просто замечательно", — сказал он с обезоруживающей улыбкой. Я решил, что Гарольду действительно удалось задеть в нем какую-то струну.

Мы с Гарольдом уединились на несколько минут в его гостиной, где попросили Бога позаботиться об интервью. Спустившись в подвал, мы обнаружили, что продюсер Марион Голдин со своими экспертами из Си-Би-Эс соорудила там импровизированную студию. В ярком свете прожекторов Гарольд сел в свое любимое кресло-качалку, а я устроился на кушетке в раннем американском стиле.

Слова Марион "Хорошо, Майк, камера пошла" прозвучали для Уоллеса как гонг для профессионального боксера. Линия рта стала твердой, глаза смотрели пронизывающе. Мягкий, приветливый малый, с которым мы только что так приятно разговаривали, внезапно превратился в тигра, готового к прыжку.

"Нас увидят двадцать миллионов", — сказал нам перед интервью Уоллес. *Отлично*, подумал я. Столько раз появившись на телевидении, я уже не боялся камер. Но как жарко от прожекторов! Я чувствовал, как от ослепительного белого сияния над верхней губой выступают бусинки пота, поблескивая точь-в-точь, как крошки хрусталя на песке.

Майк говорил резкой скороговоркой: "Сенатор Хьюз, вот человек, который занес Вас в "список врагов" Белого дома, а теперь Вы сидите вместе, как ни в чем ни бывало..."

Хьюз перевел вопрос на меня, и я попытался объяснить, что не готовил никаких "списков врагов", пусть это и не имеет отношения к делу. Христос залечивает раны, Он обладает сверхъестественной силой. Одно очко в пользу свидетельства.

После этого Уоллес пошел на обострение: "Вы делаете что-нибудь помимо того, что молитесь? Предоставили ли Вы какое-нибудь осязательное доказательство своего обращения? Пытались ли Вы просить прощения у тех, кому причинили вред?"

- В своем сердце — да, — ответил я неуверенно.
- Но Вы не пытались... не пробовали извиниться?
- Да, в нескольких случаях...
- Перед кем? — Уоллес давил все сильнее.

Когда я замялся, пытаюсь вспомнить, Уоллес сам перечислил мои грехи: пятно на Бернса, попытка запугать Си-Би-Эс перед лицом Федеральной комиссии по средствам массовой информации, публичные нападки на Джека Андерсона. Уоллес откинулся на спинку кресла и задумчиво произнес: "Разве новообращенному христианину, помимо разговоров с Богом, не полагается покаяться в подобных поступках?"

Несколько очков в пользу Уоллеса, который логично и жестко все расставил по местам. Мои слова о Христовом прощении — все мы, как известно, грешники — прозвучали неубедительно. Вскоре наступил критический момент интервью, оказавшийся для нас смертельным.

Уоллес: Давайте поговорим об известных магнитофонных записях. Свидетельствуют ли они о достойном моральном облике работников Овального кабинета?

Хьюз: Нет, по крайней мере, я хотел бы видеть совсем иные моральные стандарты.

Уоллес: А как считаете Вы, м-р Колсон?

Колсон: Я не хочу сейчас пытаться давать характеристику опубликованным протоколам, потому что не считаю, что допустимо...

Уоллес: Подождите, подождите...

Колсон: Я присутствовал на множестве совещаний в Овальном кабинете, Майк, и даже не подозревал о существовании записывающей системы, Я полагаю...

Уоллес: Нравственно ли это?

Колсон: Я не хочу произносить нравственного суждения на этот счет...

Уоллес: Минутку, минутку. *Позвольте мне тогда немного разобраться в этом новом христианстве.* Вы говорите, что, приняв Иисуса Христа, Вы стали новым человеком. Но мне кажется, что Ваши прежние убеждения берут верх над новой верой.

Удовлетворенно улыбнувшись, Уоллес откинулся на спинку. Еще очки в его пользу, много очков.

Хьюз: Майк, Вы слишком нападаете на человека, который еще только принял Христа; Чак — младенец во Христе, а это означает именно то, что означает младенчество — отсутствие полной зрелости, отсутствие полного понимания. Я скажу, что, конечно, устанавливать записывающее устройство безнравственно. Я также скажу, что безнравственно употреблять те вы-

ражения, которые употреблялись, даже несмотря на то, что это происходило за закрытыми дверьми. И тем не менее, я не стану отрицать, что сам был виноват в подобных проступках за время моей общественной службы.

Колсон: Я не считаю, что, когда человек принимает Христа или принимает решение жить в соответствии с Его учением, он имеет право судить других. К слову сказать, Христос учит совершенно обратному. Только Бог может быть настоящим судьей.

Уоллес: Что ж, должен признать, что в таком случае остаюсь в некотором недоумении относительно сущности вашей веры.

Вот и все. Меня подцепили вопросом о протоколах, проткнули и пригвоздили к стене. Мне хотелось закричать: "Они мерзкие и отвратительные, а я был участником всех этих разговоров наравне с ними!" Но я не сделал этого, потому что мне пришлось бы защищаться потом в суде, проходя через бесконечный лабиринт технических процедур.

Я даже не пытался отереть лицо, когда Уоллес закончил интервью. В слепящем свете прожекторов я однозначно увидел, что нельзя быть одновременно уголовным преступником и учеником Иисуса Христа. Мучительный вопрос, как жить одновременно в двух мирах, снова встал передо мной, на этот раз в полном цвете на экранах национального телевидения.

После интервью с Уоллесом я полетел в Бостон к отцу, который медленно выздоравливал на больничной койке после своего второго сердечного приступа. Мне было больно на него смотреть — из руки тянулись трубки капельниц, нос закрывала кислородная шапочка, в глазах поселился страх. Все любили отца за доброту, за заботливость, за зажигательную улыбку на фоне двух розовых щек и коротко подстриженных седых волос. В день, когда я его увидел, улыбка была на месте, но он был не в силах утаить страх. Мне показалось, что немного бравады с моей стороны его взбодрит: "Не переживай, папа, эти обвинения отскочат от нас как от стенки горох. Прокурорам не удастся добиться осуждения."

Это не возымело никакого действия, потому что опыт адвоката подсказывал ему другое. "Ты невиновен в том, в чем тебя обвиняют?" — допытывался он. До меня, наконец, дошло, что больше всего его беспокоило то, о чем он постоянно напоминал мне в детстве: *всегда говорить правду*. Мои заверения, что я ничего не знал заранее

о проникновении в кабинет психиатра успокоили его гораздо больше, чем бравада. Я не солгал на следствии; я жил по тем правилам, которые он мне внушил, уверил я его. Для него это было много важнее, чем вердикт присяжных.

Я оставил ему *"Просто христианство"*, книгу, которую он охотно собирался прочесть. Мы помолились вместе, и после этого я ушел. Мне хотелось пойти дальше, рассказать ему о тех вопросах, которые я мучительно пытался разрешить на своем христианском пути, но он был для этого еще слишком слаб физически. Когда-нибудь я смогу ему объяснить.

В следующий вторник утром я находился в суде Герхарда Гесселя, который вел заседание по предсудебным ходатайствам, связанным с делом Эллсберга. Решался вопрос о допустимости на судебном разбирательстве такого аргумента, как интересы государственной безопасности. Это была главная линия защиты.

Вскоре Дейв Шапиро уже суетился возле места судьи, доводя до сведения Гесселя ключевые моменты и при этом энергично кивая головой, гремя своим зычным голосом на весь зал. В иные минуты судья казался таким же мягким и добрым, как мой отец. Иногда же его жесткий, суровый взгляд заставлял трепетать сердца стоящих перед ним людей.

Внезапно Гессель перебил. "Цель этого процесса, помимо самой непосредственной, — заявил он, — состоит в том, чтобы указать людям на желательность для правительства опираться на закон, а не на волю его членов. В этом суть судебного разбирательства". Затем судья, седые волосы которого были так аккуратно расчесаны, что казались одним из тех париков, что носят английские судьи, прочел Шапиро и прочим адвокатам сердитую лекцию об основах Конституции.

Все это я помнил из лекций по гражданскому праву для первого курса. Он рассказал об основных принципах американского государства, надежно защищающих граждан от тирании. Когда под угрозой оказываются конституционные права человека, то их нарушение, даже под почтенным предлогом государственной безопасности, просто недопустимо. Я не знал тогда, является ли Гессель верующим или нет, но пока он говорил, я невольно вспоминал слова Льюиса о том, что отдельный человек важнее государства. Льюис и Гессель говорили об одном и том же. Так что же тогда меняет тот факт, что я

не знал заранее о готовящемся обыске? Если я сумею доказать это юридически, то буду оправдан, но в том ли дело? Ведь когда я узнал об обыске, то сразу посчитал его оправданным, как посчитал бы оправданным что угодно, что могло помочь остановить Эллсберга. Почему тогда моя вина или невиновность должны определяться, исходя из того, *когда* я узнал о преступлении? Юридические тонкости превращались в нравственный тупик.

В те самые минуты Бог начал действовать в моем сердце. В тот вечер я пришел домой в состоянии самой тяжелой депрессии, какую переживал за все эти черные дни и ночи. Судья Гессель пока не вынес никакого решения по ходатайствам, он собирался сделать это к концу недели, однако теперь это не имело для меня такого уж большого значения. Что бы он ни решил, это не могло остановить моего самоосуждения. Каким самодовольным я был все те годы, что провел в Белом доме! Ничто не беспокоило меня по-настоящему, коль скоро я оставался незапятнанным. Я просто был очередной марионеткой, которая "ничего не видит, ничего не слышит". А то, что я не был причастен к обыску в кабинете психиатра Эллсберга, так это — чистая случайность. Я пытался травить Эллсберга точно так же, как сейчас меня самого травили в прессе, и примерно теми же способами, какие применяло сейчас ЦРУ, дававшее на меня компрометирующие материалы.

Если мне сошло с рук такое поведение в Белом доме, то любой мог стать жертвой подобных нападков. Мне не удалось, разумеется, совсем уйти от правосудия, но ведь меня и не обвиняли в клевете; но разве обвинение в клевете менее предосудительно, чем причастность к взлому, в чем меня и обвиняли? *Едва ли*, подумал я. Клевета даже хуже: она наносит вред человеческому духу, взлом — собственности.

Вопрос отца с больничной койки, прямолинейный идеализм импровизированной проповеди судьи Гесселя, воспоминания о том, как я считал в Белом доме, что "все приемы хороши, лишь бы закон не нарушить", недоумение Майка Уоллеса и мое неуверенное ковыляние вслед за Христом — все это ложилось мне на плечи тяжелым грузом. Я сопротивлялся, хотел сбросить с себя все это, но ничего не получалось. Мне с трудом удавалось поддерживать разговор с Патти.

"Что с тобой, милый?" — спросила она с ноткой раздражения в голосе, когда я сидел на берегу бассейна, с отсутствующим видом глядя в воду.

"Просто устал, дорогая", — ответил я, понимая, что дело куда серьезнее. Каким-то образом я должен был освободиться от своего прошлого.

Некоторое время назад, в качестве благодарности Дату, я вынужден был дать согласие выступить на ежегодном молитвенном завтраке в небольшом городке под названием Овосо, расположенном в средней части штата Мичиган. Трудно было представить себе более неудобное время для выступления — 23 мая, в четверг. В это время еще продолжались прения о ходатайствах. Суд должен был начаться меньше чем через месяц, и каждая минута была на счету. Мои адвокаты и я работали день и ночь, включая выходные, пытаюсь поспеть к сроку.

Но я сдержал слово, и вот в четверг утром я сидел в актовом зале в здании Христианского женского союза, расположенном на тихой тенистой улочке, совсем недалеко от центра города. Приветливым и открытым жителям Среднего Запада пришлось встать на рассвете, чтобы теперь сидеть плечом к плечу за столами, сдвинутыми длинными рядами. Среди них были старшеклассники, семейные пары среднего возраста, пожилые люди, представители церкви. Не считая 4-го июля, молитвенный завтрак был главным событием в городке. После того, как мы съели толстенные бутерброды с яичницей, прозвучали вступительная речь и молитва, были зачитаны отрывки из Ветхого и Нового Заветов; затем представили меня.

Я обнаружил, что когда я прошу Святого Духа говорить моими устами, то все волнение куда-то уходит. Он ведет речь. В то утро слова звучали уверенней и ярче, чем когда-либо. К тому моменту, когда я уже почти добрался до конца своей 30-минутной речи, я подумал, что мне следует сказать что-нибудь относительно выдвинутых против меня обвинений — рассказать правду, которая помогла бы воспринять мое свидетельство.

"В глубине души я знаю, — пояснил я, — что во многом из того, в чем меня обвиняют, я невиновен..."

Поток слов прекратился, когда до меня дошел смысл сказанного. Во многом, но не во всем?

Наступила неловкая пауза. Я посмотрел на лежавший передо мной конспект, но там не было ничего такого, что могло мне помочь. Я едва ли вообще заглянул в него за время речи. Пауза, вероятно, показалась такой же неловкой аудитории, как и мне. Я почув-

ствовал, что краснею. *Здесь пресса*, сказал я себе. *Лучше поскорей исправь положение.*

"Э-э... невиновен во всем, в чем меня обвиняют", — сказал я, запинаясь. Я продолжил речь, но убежденность из моих слов уже ушла.

Никто, кроме меня, казалось, не заметил оговорки. В прессе ничего не появилось. Но слова "во многом из того, в чем меня обвиняют" беспрерывно звучали у меня в ушах, сливаясь с гулом самолета, доставлявшего меня обратно в Вашингтон. Была ли это подсознательная, по Фрейду, оговорка? Или Сам Бог направил мой язык? "Во многом из того, в чем тебя обвиняют, Чак, но не во всем!"

Мои собственные слова расставили точки над "и". Мое обращение так и не совершится до конца, если я останусь обвиняемым, погрязшим в уотергейтском болоте. Мне необходимо избавиться от такого прошлого раз и навсегда, перешагнуть через него. И если это означает тюремное заключение, так тому и быть!

В своей книге *"Цена веры"* Дитрих Бонхоффер пишет о том, что он называет Великой чертой: "Первым делом Христово призвание отделяет ученика от его предшествующей жизни. Призыв следовать за Христом создает совершенно новую ситуацию. Если человек хочет, чтобы ситуация осталась прежней, то следование за Христом становится невозможным".

Когда-то мне все казалось таким простым — нужно просто прийти к Богу, уяснить, Кто есть Христос и уверовать в Него. Но теперь, независимо от моей готовности идти за Христом, я сам должен был сделать шаг вперед, и другого выбора у меня не было.

Патти была первой, о чем согласии мне следовало побеспокоиться. Мы проговорили пол ночи, будучи при этом не в силах удерживать слезы. Ей было больно. Мы так долго боролись, а теперь я собирался просто признать вину и отправиться в тюрьму.

"Почему? Почему ты хочешь это сделать? — все время спрашивала она. — Дейв говорит, что тебя оправдают. И тогда мы снова сможем зажить нормальной жизнью: ты сможешь работать юристом, мы будем путешествовать".

"Я уже никогда не буду прежним, Патти, — продолжал я. — Поверь мне, что так нам будет лучше. Я просто не могу поступить иначе. Никогда мне не приходилось просить ее о такой жертве, но в конце концов, она согласилась, пусть и с болью в сердце.

Следующим был Гарольд. Мы разговаривали в привычной обстановке его подвального кабинета, где только десять дней назад снялись в "Шестидесяти минутах" Уоллеса. "Гарольд, я принял решение, — сказал я. — Я намерен признать свою вину в том, что я действительно совершил — в попытке очернить Элсберга в то время, когда он был под следствием. Полагаю, что прокуроры снимут остальные обвинения, если я поступлю так. Такое признание пойдет на пользу стране; оно должно помочь предотвратить подобные нарушения в будущем". Еще произнося эти слова, я почувствовал вкус особой, подлинной свободы, которая вскоре должна была стать моей.

Выражение лица Гарольда было серьезным: "Какой срок тебе дадут?"

"Максимум пять лет", — ответил я. Почему-то эти слова не показались мне такими уж страшными.

"Да, это тяжело. Не думаю, что я смог бы решиться на такое", — сказал он.

"Я намерен это сделать, если только ты и другие братья будут согласны. Я убежден, что должен так поступить", — объяснял я.

Суровое выражение исчезло с лица Гарольда, и он расплылся в улыбке. "Аллилуйя! — крикнул он. — Я бы никогда не смог тебе предложить подобное, но этого дня я ждал. Мне тяжело, мне больно, но я просто счастлив!"

Реакцию Дейва Шапиро можно было предвидеть и, когда он взорвался, я отвел от уха трубку: "Ты псих, сумасшедший, ты *мегуша**, вот ты кто!" И затем он действительно высказал все, что обо мне думает.

— Успокойся, Дейв. Я долго вынашивал это решение, и я знаю, что делаю, — пытался сказать я не повышая голоса. Мы с Дейвом часто кричали друг на друга.

— Ну-ну, посмотрим, подтвердит ли психиатр, знаешь ли ты, что делаешь. В понедельник утром я отведу тебя к врачу.

— Дейв, я хочу, чтобы в понедельник ты поговорил с прокурорами. Встреться с Биллом Мерриллом. Скажи ему, что нам не нужна сделка, не нужно ничего закулисного. Просто скажи ему, что я готов признать себя виновным в распространении компрометирующей ин-

* Мегуша (иврит) — сумасшедший. — Прим. пер.

формации в прессе о Даниэле Элсберге в то время, как он проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу.

— Но это не преступление. Как я могу говорить о твоей виновности с прокурорами в таком случае? Никого еще не обвиняли в подобном преступлении.

— А следовало бы. Если я признаюсь, то это послужит прецедентом. И поможет избегать подобного в будущем.

— Ты ненормальный и закончишь свои дни в психушке.

— Знаю.

— Я никуда не пойду.

— Тогда найди мне адвоката, который пойдет.

— Колсон, ты — псих. Я все время это подозревал, но теперь знаю точно. Давай отложим решение до завтра. Завтра поговорим. А сейчас я намерен хорошенько выпить чего-нибудь крепкого.

Шапиро не может пить. С одной рюмки он падает как подкошенный. Мысль об этом заставила меня расхохотаться — впервые за много недель.



17

Виновен, Ваша Честь

Когда в понедельник утром я увидел Дейва Шапиро, он выглядел так, словно вместо лица у него была резиновая маска: под печальными глазами появились морщинистые мешочки, сероватые щеки контрастировали с неестественно белым лбом. Я знал, из-за чего он так переживал; Дейв не привык проигрывать, особенно на судебных процессах. А мое дело было для него проигрышем.

"Ты уверен, что хочешь это сделать?" — спросил он последний раз. Это был тот самый вопрос, какой задала мне Патти, когда я целовал ее на прощание на пороге нашего дома.

"Никогда в жизни я ни в чем не был более уверен, Дейв", — заверил я, впервые за много недель чувствуя подлинную убежденность. После этого Шапиро ушел на встречу с помощником прокурора Уильямом Мерриллом.

Все зависело от согласия между Биллом Мерриллом и судьей Гесселем. Если его не будет, то не будет и никакого признания с моей стороны, а тот факт, что я намеревался его сделать, сильно повредит мне на суде, где он будет рассматриваться как проявление слабости и страха осуждения. В данном случае я опять должен был положиться на Бога.

О предстоящем знали только Патти, Гарольд, Холли и Дейв. Всякая преждевременная информация могла только оттолкнуть прокуроров. Мы решили, что посоветуемся с братьями и остальными чле-

нами семьи только после того, как получим "добро" от обвинения. Каким-то образом я сумею сообщить о решении и своему старому другу в Белом доме, хотя объяснить его будет нелегко. Президент был окружен со всех сторон, и, вероятно, воспримет это как предательство.

Дейв Шапиро позже сказал мне, что Билл Меррилл был так же шокирован моим намерением, как он сам. Надо сказать, что для обвинения, готовящегося начать судебный процесс, это была добрая весть, потому что облегчало их задачу в борьбе с другими обвиняемыми, в особенности с Эрлихманом. Оба юриста немедленно позвонили в Мэйн судье Гесселю, который в то время отдыхал там в своем летнем коттедже. Судья отказался заявлять что-либо определенное по телефону.

"Вы ведь понимаете, м-р Шапиро, что в том случае, если я *соглашусь* на повинную, в качестве наказания высокопоставленным чиновникам будет вынесено тюремное заключение; такой политики я обычно придерживаюсь", — предупредил он.

"Я понимаю это, ваша честь, и м-р Колсон также", — ответил Шапиро.

"Ни о какой сделке речи идти не может, — продолжал судья. — Не может также быть никаких предварительных договоренностей о сроке заключения. Вы с м-ром Колсоном просто приходите ко мне с повинной — и без всяких условий относительно моих дальнейших действий.

В словах судьи было что-то угрожающее. Бад Крог, признавшийся в организации проникновения в кабинет психиатра, получил шесть месяцев тюрьмы. То, в чем собирался признаться я, было меньшим преступлением и должно было означать меньшее наказание. Я, однако, был одной из главных мишеней на процессе, и именно меня с наибольшей вероятностью могли сделать козлом отпущения. Взвесив все "за" и "против", мы пришли к выводу, что скорее всего меня ожидает участь Крога. Тем не менее, в словах судьи было что-то угрожающее. Пять лет тоже были возможны.

По телефону Гессель также предупредил Меррилла и Шапиро, что ему еще надо убедиться, что то, в чем я собираюсь признаться, есть собственно преступление. Признание должно было послужить важным прецедентом. Перед Шапиро соответственно встала совершенно необычная задача: найти юридические аргументы в пользу того, что его клиент на самом деле совершил преступление. Гессель

отказался принимать какое-либо решение до своего возвращения в Вашингтон на следующей неделе.

"Милый, это в самом деле означает, что тебя отправят в тюрьму?" — спросила Патти вечером в среду.

"Боюсь, что так, — ответил я. — Но я там буду недолго, может быть, несколько месяцев, как Бад. Он уже возвращается домой через пару недель. Четыре с половиной месяца пролетят незаметно".

Но мы оба знали, что дело не только в сроке, но и в опасности. Друзья сообщали о Бадe, в общем-то, неплохие новости — он привык, усердно работает в качестве тракториста в Алленвуде.

О каких-либо угрозах его жизни мы не слышали. Говарду Ханту повезло меньше: однажды ночью в вашингтонской тюрьме на него совершили нападение, а потом он слегка обмерз, перебрасывая навоз на Алленвудской ферме в тридцатиградусный мороз. В прессе регулярно появлялись сообщения о гомосексуальных изнасилованиях в тюрьме округа Колумбия.

"Мне страшно, Чак. Не знаю, смогу ли я пережить это", — произнесла Патти. В ее глазах заблестели слезы, когда она крепко сжала мою руку. Патти была очень мужественной — одна из причин, почему я ее так любил — но за годы совместной жизни мы стали очень близки и взаимозависимы. Еще много лет назад я решил никогда не оставлять ее одну в нашем окруженном лесами доме. Когда бы я ни уезжал, с ней всегда оставалась Холли. Мои еженощные звонки помогали забыть о расстоянии, а в длительные поездки мы всегда отправлялись вдвоем. Нам никогда не приходилось расставаться больше чем на два дня за все десять лет брачной жизни. Поэтому, несмотря на светлый склад ее души и попытки сохранить самообладание, я вдруг почувствовал, как ей страшно.

"Дорогая, давай помолимся. Давай попросим Бога защитить нас и помочь нам вынести то, что мы должны вынести", — предложил я.

В глазах Патти Христос, Который раньше казался ей угрозой нашим отношениям, все больше превращался в источник силы. Помогли в этом и несколько месяцев занятий по изучению Библии. Она все больше привязывалась к братьям и их семьям. Тем не менее, не желая давить на нее, я не стал просить помолиться вслух — к этому она еще не была готова. Мы помолились молча. После этого мы поговорили о некоторых тяжелых решениях, которые нам предстояло сделать, — кто останется с ней, кто присмотрит за домом, как ска-

затягивать детям — и все это при условии, что судья Гессель согласится принять меня с повинной.

Во всех наших разговорах на той неделе присутствовала какая-то загадочная уверенность, словно должно было произойти чудо и спасти нас. "Я чувствую, ничего плохого просто не случится", — так заканчивала Патти каждый разговор.

Кропотливая работа по сбору материалов для обвинения была закончена только к воскресенью. Некоторые из помощников Джаворски хотели, чтобы я заранее дал показания. Но мы настояли на том, чтобы публичная дача показаний была отложена до вынесения приговора, за исключением одного заявления под присягой, которое содержало бы только то, о чем я и так уже заявлял. Мы хотели избежать каких-либо действий до вынесения окончательного приговора, потому что в противном случае их могли бы истолковать как попытку задобрить судью.

Извещенный о нашем согласии с прокурорами, судья Гессель пригласил Шапиро и Меррилла прибыть к нему в кабинет в понедельник ровно в 8:30 утра. Если он найдет их доводы убедительными, то в 9:30 он официально примет мое признание в суде.

Оставалось два важных незавершенных дела: первое — очная встреча с Биллом Мерриллом. Дейв назначил ее у себя в офисе на субботу. Меррилл приехал в три часа, сразу протянул мне руку и сказал: "Чак, я восхищаюсь твоим поступком". Он не улыбался, в его глазах застыло почти скорбное выражение. *Победитель может позволить себе быть благородным по отношению к побежденному*, подумалось мне, но вскоре я понял, что чувство Меррилла глубже и искренней.

— Я хотел увидеться с тобой с глазу на глаз, Билл, — начал я. — Чтобы потом не было каких-то неясностей. Я не торгуюсь по поводу своих показаний. Я просто хочу сказать правду.

— А кроме правды нам ничего и не нужно. Я не собираюсь просить тебя о чем-то другом.

Я почувствовал некоторую неловкость, неуверенно пытаюсь объяснить важную для себя мысль.

— Когда все это закончится, попытаетесь ли вы сделать что-нибудь с самой системой, а не только с людьми? И ЦРУ, и ФБР, и суды часто нарушают законность, не только один Белый дом. Ради блага страны нужно многое исправить.

— Я понимаю, о чем ты говоришь, Чак, — ответил он сочув-

ственно. — Ты думаешь, что все, что мы хотим — это загнать в угол Никсона. Не могу тебя обвинять за это, но поверь, что многие из нас работают над этим делом, потому что, действительно, хотят сделать лучше всю систему, исправить то, что не так. Мы не изменим своих намерений, и ты можешь оказать нам большую помощь.

В течение последовавшей получасовой беседы многие из тех ран, что болели месяцами, начали заживать. Неотступное преследование со стороны Меррилла и его непримиримая тактика ожесточили меня, но за время разговора озлобление куда-то ушло. Он был всего лишь обычным человеком, исполняющим неприятную обязанность, но способным переживать как за тех, кого он осуждал, так и за тех, кого брал под свою защиту. Христос, я понял, дал мне возможность увидеть то, что мирская злоба прячет от глаз.

Вторым важным и незавершенным делом было рассказать о своем решении братьям. Мы встретились в воскресенье вечером у меня дома — все, за исключением Ала Кью, который выступал в Пенсильвании и задержался с возвращением из-за грозы, которая бушевала над Вашингтоном весь день.

Грэм, Даг, Гарольд и я спустились в мой отделанный вишневым деревом кабинет и разместились в креслах вокруг круглого кофейного столика. Помня о том, сколько эти люди молились обо мне, какую неоценимую помощь оказали мне волонтеры Дага, было совсем нелегко сказать: "Я решил, в том случае, если судья Гессель разрешит, а вы согласитесь, завтра утром признать свою вину в суде".

Грэм, разглядывавший картинки на стене, подкатил ко мне свое кресло: "Что ты решил!?" Даг заулыбался, и что-то мне сказал, что он сразу все понял. Гарольд промолчал, но было очевидно, что он согласен с решением.

Я рассказал о шагах, приведших меня к такому решению: оговорка во время выступления в Овосо, переживания по поводу того, что я не могу дать показания на слушаниях по импичменту, но более всего, понимание ущербности моего свидетельства о Христе. Нельзя было оставаться таким же беспомощным и неубедительным, каким я предстал во время интервью с Майком Уоллесом. "Я понял, что нужно делать, после того интервью", — признался я.

Грэм отозвался первым: "Но ведь то, в чем ты хочешь признать-ся, никакое не преступление, к тому же они проиграют процессы по обоим обвинениям. Нельзя же просто взять и сесть в тюрьму. И не думаю, что христианину это необходимо".

Гарольд покачал головой: "Всю неделю я молился о том, чтобы Чак пришел к этому решению и чтобы он не сомневался в нем, потому что оно мне кажется правильным. Его пример может помочь другим поступить так же; видит Бог, страна должна, наконец, выйти из этого кризиса".

Даг от всего сердца поддержал меня, но Грэм сморщился, как от боли, когда я сказал о вероятном сроке заключения и о том, что я, возможно, не смогу заниматься адвокатской практикой: "Ребята, даже не просите меня молиться за то, чтобы судья все это принял".

"Это именно то, чего я от тебя хочу, — возразил я. — Но только если ты сам этого хочешь. Шапиро говорит, что есть только пятьдесят шансов, что Гессель пойдет на это. Нам необходимо помолиться".

По предложению Гарольда мы написали на тетрадном листе точный текст моего завтрашнего выступления, если, конечно, мое признание будет принято. Тем временем, Даг, наконец, дозвонился до Ала. Его ответ не заставил себя ждать. "Это потрясающий поступок, — сказал он мне. — Я ждал этого и полностью тебя поддерживаю. Да благословит тебя Бог, брат".

Грэм был единственным, кто еще не сказал своего окончательного мнения; он нервно шагал взад и вперед перед большим каменным камином, время от времени отворачиваясь, чтобы скрыть свои эмоции. Техасский судья, которым он когда-то был, никак не мог позволить ему забыть о тех ужасных бетонных клетках, в которые он отправлял людей на годы. В конце концов он утвердительно кивнул головой: "Если это необходимо, чтобы освободить тебя духовно, тогда я согласен. Но это непростой шаг, ох, непростой".

Мы долго молились.

Было уже далеко за полночь, когда либеральный демократ из Айовы упомянул о политических последствиях.

"А как это отразится на президенте с точки зрения импичмента?" — спросил он, когда я провожал его к машине.

"В чем-то поможет, в чем-то навредит", — отозвался я.

"Я так и думал", — сказал Гарольд задумчиво. Он крепко сжал мне плечо, сел в машину и уехал.

В 9:00 утра в понедельник я раскладывал на своем столе бумаги, перечитывал свою речь и поглядывал на телефон, ожидая звонка. Патти разговаривала с Холли в ее маленьком офисе. Пять минут десятого — никакого звонка. Неужели у Шапиро возникли проблемы с

Гесселем? Я знал, что в трех милях от меня, в белом цементном здании провинциального типа, недалеко от посольства Роу Гарольд, Дат, Ал и Грэм молят Господа позаботиться о нужном решении.

В 9:12 зазвонил телефон. Голос у Шапиро был серьезный: "Можешь выезжать: мы почти у цели. Поторапливайся".

До здания суда пятнадцать минут езды, но прежде нужно сделать один звонок. Знакомый, приветливый голос оператора в Белом доме объяснил, что у президента посетители. "Тогда соедините меня с Фредом Базхардтом. Это срочно", — попросил я.

Базхардт был на совещании старших членов администрации, но через секунду он уже взял трубку.

— Фред, передай это президенту прямо сейчас, чтобы он узнал первым от меня: я сегодня признаю в суде свою вину, но это не значит, что я иду против него. Я только скажу правду.

У Фреда перехватило дыхание, и на мгновение на том конце провода наступила тишина.

— Но почему?

— Только правду, Фред, я должен. Я объясню потом.

Зал суда наполняли знакомые лица журналистов и судебных художников, плюс всевозможные любопытствующие. Я прошел через низенькие воротца в отгороженную ложу для юристов и подошел к столу адвокатов, у которого меня ждал торжественный Шапиро. Патти незаметно проскользнула на последний ряд в зале. Рядом со мной Джон Эрлихман, нежно поглаживая подбородок, разговаривал со своими адвокатами.

За столом сидел самый странный участник уотергейтской драмы — Гордон Лидди, один из "водопроводчиков", человек с ментальностью камикадзе. Несмотря на многомесячное пребывание в окружной тюрьме и двадцатилетнее заключение, которым ему грозил Сирика, он стоически безмолвствовал, страстно поклоняясь одному лишь божеству высшей власти. Увидев меня, Лидди вскочил и отдал честь. Придерживаясь обета совершенного молчания в суде, он не произнес ни слова, но глаза на бледном, истощенном лице сверкнули вызывающе. Меня он считал правительственным первосвященником и бесконечно мной восхищался, потому что я отказывался пойти против президента. Как же демон Уотергейта исказил человеческие понятия и ценности! Всего через несколько минут этот человек окончательно во мне разочаруется.

"Уважаемый суд..." — громкий выкрик резал ухо. Судья Гессель

вышел из угловой двери позади судейской скамьи. Сердце мое заби-лось. Я знал, на что иду, и тем не менее, это была непростая минута. Этот человек, восседающий на возвышении, имел полную власть над моей жизнью и мог распорядиться ею так, как ему одному угод-но. Отдаться на милость суда — это не просто речевой оборот, это означает то, насколько беспомощен обвиняемый перед столь абсо-лютной властью.

Судья объявил, что до того, как перейти к обсуждению вопроса о повестках, суд хочет выслушать одно "заявление". Юристы сразу поняли, о чем может идти речь: только о признании одного из под-защитных; их глаза быстро заскользили по залу: кто бы это мог быть? Когда судья Гессель попросил обвинителя Меррилла выйти вперед, по залу пронесся шепот удивления.

Меррилл представил информацию (так официально называют обвинения, не выдвинутые Большим жури) против Чарльза У. Кол-сона. Мы с Шапиро вышли к кафедре и встали рядом с Мерриллом, который через подошедшего клерка передал документы судье. Года-ми слушающие грязные истории о кражах, убийствах и изнасилова-ниях, судебные приставы и клерки теряют к ним чувствительность, приучая себя к сознательному равнодушию. Наподобие механических существ, лишенных всяких эмоций по поводу окружающего их мира, они незаметно скользят по залу суда, передают бумаги, про-токолируют, сопровождают свидетелей. Но в тот день и они застыли, глядя на меня с недоумением. В какое-то мгновение я был согрет теплом сочувствия, которое прочел в глазах потерявшей бдитель-ность женщины-клерка.

Судья начал задавать мне вопросы. Отказываюсь ли я от Большо-го жури?

"Да, Ваша Честь", — ответил я, с облегчением отмечая, что го-лос звучит твердо, поскольку колени у меня были как ватные.

Затем Билл Меррилл зачитал: "М-р Колсон обвиняется в рас-пространении компрометирующей информации о Даниэле Элсбер-ге, целью чего было дискредитировать м-ра Элсберга в глазах обще-ственности, а также повлиять на ход и результат судебного процесса по делу Элсберга". Только Меррилл, Шапиро и я знали, что этот документ был написан мной самим, что я не только подкрепил его материально, но и попросил, чтобы обвинение было изложено теми самыми словами, которые звучали сейчас в зале. Создание помех на пути правосудия — самое тяжелое из всех возможных обвинений для

адвоката, ибо лишает его честного имени. *Теперь я могу, наконец, освободиться от прошлого*, вынужден я был напоминать себе, чтобы побороть боль, которую у меня вызывало каждое слово.

Лицо повернувшегося ко мне судьи Гесселя было сурово.

— Признаваясь в этом, сознаете ли вы, что лишаетесь соответственных конституционных прав, и суду остается только вынести приговор?

— Да, сэр, — ответил я.

Настала очередь моего заявления. Теперь мой голос, как и я сам, тоже дрожал:

— Я пришел к твердому убеждению, что угрозе официального вмешательства в ход судебного процесса наподобие той, о которой говорится в данном заявлении, следует положить конец; и, признаваясь в содеянном, я, Ваша Честь, соглашаюсь с любым постановлением суда, которое поможет предотвратить подобные нарушения в будущем.

— Вы по-прежнему признаете свою вину? — спросил Гессель, завершая этим ритуал.

— Да, Ваша Честь, признаю.

На все потребовалось немногим менее десяти минут. Вынесение приговора должно было состояться 21 июня. Времени едва хватало на то, чтобы собрать все письма и рекомендации, которые могли бы убедить судью быть снисходительным. Необходимо было торопиться. Скоро мне предстояло предстать перед Юридическим комитетом палаты представителей, и мне хотелось быть приговоренным до этого, чтобы даже подсознательно мои показания на Комитете не зависели от того, как они могут повлиять на исход суда. Судья Гессель сразу отослал меня к приставу и с согласия Меррилла освободил без залога.

Пресса, сидевшая в задней части зала, сорвалась с мест и бросилась к телефонам. Из числа ближайшего окружения Никсона я первый вышел из игры, и на это не было даже намека заранее. Хотя Вашингтон давно уже перестал бурно реагировать на ежедневные разоблачения в уотергейтском деле, это сообщение, я знал, вызовет большое потрясение; я надеялся, что хоть отчасти оно послужит во благо.

Билл Меррилл первым подошел ко мне, когда я возвращался в зал. "Удачи, Чак. Я искренне тебе этого желаю", — произнес он, сжимая мне руку. Сент-Клер стоял всего в нескольких шагах за спи-

ной у Меррилла. Два месяца назад он сказал мне, что даже будучи убежден в моей невинности, он, тем не менее, может дать мне только пятьдесят шансов на победу; сейчас он предпринимал геркулесовы усилия, пытаясь спасти Ричарда Никсона, шансы которого были еще меньше. "Желаю тебе всего наилучшего", — с трудом выговорил он.

Внутри маленькой конторки пристава мое онемение прошло, и я начал ощущать, что значит быть осужденным злоумышленником. Сейчас клерк заполнит мое дело, точно так же, как он это делал ежедневно, занимаясь уголовниками, насильниками, автомобильными ворами и торговцами наркотиками. Конечно, я оказался здесь по собственной воле, но от этого было не легче. Теперь я был в руках судебных приставов, исполнителей, тюремных охранников. Потеря власти над собственным телом была тем ощущением, которое я не совсем представлял себе раньше.

Я держал себя крепко в руках, но от вида Дага Коу, помахавшего мне рукой из-за двух преградивших дорогу охранников в темно-синей форме, в горле у меня встал плотный ком. Даг всегда был рядом и всегда в самый нужный момент. Я попросил полицейских пропустить его, и вместе с ним ко мне прошли несколько человек из Дома общения, среди которых был д-р Джон Карри с женой Бетси, несколько недель работавшие круглые сутки в моем офисе над наклейкой газетных статей на отдельные листы. Когда мы обнялись, я подумал: *понимают ли окружающие, что значит иметь таких друзей?*



18

В ожидании решения суда

Сообщая собравшимся у здания суда репортерам, что признал свою вину, чтобы иметь возможность говорить правду независимо от того, выгодна она или не выгодна мне или другим, я не мог отделаться от впечатления, что меня едва слушали. Фред Грэм из Си-Би-Эс задал единственный вопрос, который волновал журналистов: "Собираетесь ли Вы дать показания против президента?" В ответ я мог сказать только то, что с моей стороны неуместно делать на этот счет какие бы то ни было заявления до решения суда.

"Признание Колсона вызвало в Белом доме переполох", — сообщила на следующий день *"Бостон Глоуб"*. "Признание Колсона встревожило Белый дом", — писала *"Пост"*.

Журналистка Мэри Мак-Грегори, взявшая интервью у Хьюза, Кью, Пурселла и Коу, так написала о нашей встрече в воскресенье вечером: "Молитвенное собрание, которое привело к признанию в суде". В последнем абзаце Мак-Грегори, которая своей яростной антиниксоновской позицией заработала себе одно из первых мест в президентском "списке врагов", заявляла: "Для Ричарда Никсона перемена, произошедшая с Колсоном, может оказаться самой большой неприятностью с тех пор, как Джон Дин дал свои показания".

Сообщение о молитвенном собрании вызвало очередной всплеск фельетонов и карикатур. Олифант из *"Денвер пресс"* изобразил меня в одеянии священника, вышагивающего перед Белым домом с пла-

катом: "Покайтесь! Ибо, видит Бог, я все выложу на заседании Юридического комитета!"

Всеобщее мнение было таково, что, уверовав в Христа, я раскрылся и теперь поведаю те бесчисленные темные секреты, которые хранит мое прошлое. Я опасался, что подлинность моего обращения в глазах людей будет прямо пропорционально зависеть от количества страшных грехов, в которых я признаюсь.

Те, кто считал, что мое решение обращало меня против бывшего шефа, особенно охотно приписывали его высоким мотивам. Карл Рован, к примеру, ликовал: "Если дьявол заставил Чарльза Колсона все это сделать, а благой Бог — во всем этом признаться, то конец уотергейтского кошмара уже близок... Я словно предчувствую, что человек, которого мы считали одним из самых грязных типов, когда-либо работавших в здании №1600 по Пенсильвания Авеню, может вполне оказаться тем, кто, рассказав правду, поможет этому народу очиститься".

"Бостон Глоуб", которая еще несколько месяцев назад во всеулышание поносила мое обращение, теперь приветствовала его и восхваляла "мастерство" Джаворски, позволившее ему перетянуть меня на свою сторону. Ее примеру последовало множество других анти-никсоновских газет.

Через неделю после моего признания демократическая фракция палаты представителей Конгресса выбрала члена комитета Родино для встречи с сенатором Гарольдом Хьюзом, который, как они считали, разделяет их взгляды. Он, считали они, подскажет им, как воспользоваться моими показаниями, чтобы припереть к стенке м-ра Никсона. Хьюз, которого ситуация даже позабавила, ответил своему коллеге: "Колсон никому не собирается ставить ногу на грудь. Он просто хочет сказать правду. Если же при этом у кого-то в доме посыплется штукатурка, будь то у президента или у кого-то другого, делать нечего". Товарищи Хьюза по Конгрессу поверили ему не больше, чем пресса некогда мне.

Когда же президент отправил генерала Александра Хейга, своего главного полевого командира, разведать обстановку, я попытался убедить его, что в моих действиях нет никакого тайного злого умысла. "Я просто хочу, чтобы мне ничто не мешало говорить правду", — сказал я.

В день моего признания я получил от Никсона написанное от руки послание (см стр. 276).

БЕЛЫЙ ДОМ
Вашингтон

3 июля, 1974

Дорогой Чак!

Я знаю, какой это тяжелый день для тебя и твоей замечательной семьи.

Я хочу, чтобы ты знал, что в равной мере этот день тяжел и для меня.

Ты, однако, должен верить в то, что твое безаветное служение на благо этого народа будут помнить еще долго после того, как этот печальный инцидент станет всего лишь незаметным фактом истории.



Но на следующий день Никсон уже полностью сфокусировал свое внимание на тактике, которой требовала угроза импичмента. В тот вечер он позвонил мне в начале десятого. "Скажи своим мальчикам, что они могут гордиться своим папой, — начал он. — Это преступление, что Эллсберг выходит сухим из воды, а ты вынужден идти с повинной. Ты не был замешан в этом деле; ты невиновен".

Президент оставался странным образом глух к изменениям морального состояния народа, происходившим по всей стране, часть которых объяснялась опубликованием его же протоколов. Я объяснил, что *действительно* совершил то, в чем покался; каждый из нас должен руководствоваться собственной совестью. Хотя Никсон и недооценивал ополчившихся на него сил, он как всегда был предельно собран и внимателен, учитывал каждый голос, на который мог рассчитывать на заседании Юридического комитета по импичменту и затем — если понадобится — в Сенате.

Под конец беседы я сказал, что вне зависимости от допущенных им ошибок, только благодаря ему мои сыновья не должны идти на войну. Для меня это важнее всех неприятностей, важнее самого тюремного заключения. Я говорил совершенно искренне; его нравственные ориентиры несколько сбились, но я не мог забыть тех попыток, которые он упорно и прозорливо предпринимал с целью создания более устойчивого мирового порядка. Я тогда не знал, что

среди километров магнитной пленки, хранящихся в недрах Белого дома, находились доказательства допущенных этим человеком ошибок, которые скоро приведут его к краху, развеют все мечты.

Президент воспринял мои замечания как признак того, что я по-прежнему его рыцарь, что мое признание было, вероятно, крайним шагом, на который меня толкнула преданность, что я, другими словами, бросился на меч. На следующий день помощники Никсона заявили прессе, что президенту нечего опасаться показаний Колсона.

В качестве примирения с Юридической комиссией палаты представителей, Шапиро устроил Джону Дору и его людям несколько неформальных встреч со мной в своем офисе. Вопрос — ответ; вопрос — ответ. Так продолжалось целый день.

"Когда Вы последний раз разговаривали с президентом?" — спросил Берни Носсбаум, главный помощник Джона Дора, на второй день наших бесед.

"На прошлой неделе", — ответил я.

"Вот как?" — брови Носсбаума удивленно поползли вверх.

"Он звонил мне", — объяснил я и пересказал суть разговора. Носсбаум смотрел на меня недоверчиво.

"Он еще написал мне письмо", — добавил я.

Носсбаум попросил показать письмо, и я дал ему листок. Долгое время он молча его изучал, затем положил на кофейный столик со стеклянной столешницей и посмотрел на меня озадаченно.

"Но... как Вы можете оставаться друзьями?"

В тот вечер я узнал, что Юридический комитет вычеркнул меня из списка свидетелей.

Когда вести об этом дошли до Белого дома, Сент-Клер немедленно потребовал, чтобы я был привлечен в качестве его свидетеля. В течение двух последующих недель комитет усиленно решал, чьим свидетелем мне быть. Тем временем, следователи комитета продолжали тщательнейшим образом допрашивать меня — в целом более пятидесяти часов — обо всем, что связано с выдвигаемыми против Никсона разнообразными обвинениями. Только накануне последних слушаний комитет пришел к мнению, что меня следует вызвать на заседание, *несмотря* на дружеские чувства, которые я испытывал к президенту.

Посреди всех этих разочарований, вызванных тем, что меня, словно мяч, перебрасывают от одной фракции к другой, мелькнули и приятные известия. Прокуроры сообщили Дику Говарду, что он

больше не представляет интереса для обвинения и не обязан появляться перед Большим жури. Радостный, беззаботный голос Марсии Говард по телефону был самым счастливым голосом, который нам доводилось слышать за последние несколько месяцев. Один за другим мои бывшие работники звонили мне, сообщая подобные известия.

Что же касается меня, то мое ожидание становилось все более напряженным. Малоутешительным было то обстоятельство, что 7 июня бывший Генеральный Прокурор Ричард Кляйндинст получил условный срок. Кляйндинст сперва дал ложные показания перед Конфессиональным комитетом, затем пошел на компромисс по обвинению, в результате чего обвинялся только в уголовно наказуемой проступке. Благосклонность к нему судьи Харта вызвала небольшой скандал, в газетах появилась масса статей с требованиями более жесткого приговора. Хотя я и радовался за Дика, но я был следующим по счету уотергейтским обвиняемым, и ничего доброго мне это не сулило.

В иные дни, впрочем, у меня появлялась надежда, особенно, когда до меня доходили слухи о потоках писем судье Гесселю, многие из которых оставались невостребованными, но в большинстве своем содержали просьбы о снисходительности. Может быть, Гессель приговорит меня к условному заключению? Одно из этих писем было написано молодым чернокожим парнем, которого я пять лет тому назад представлял в суде; копию этого письма переслали мне:

Уважаемый судья Гессель!

М-р Колсон очень помог мне, когда у меня были большие проблемы с законом, и я нуждался в помощи и защите. Как малолетнего преступника меня судили за незаконное проникновение в женский монастырь. В то время я был старшеклассником, не имел денег и не интересовался учебой; ранее я неоднократно нарушал закон.

Гораздо важнее того, что м-р Колсон сделал для меня с юридической точки зрения (обвинение было снято), оказалась его человеческая поддержка. После завершения судебного разбирательства он объяснил мне как никто другой, что впереди меня ждет крах. Он так проникновенно говорил со мной о честности, правде, честности и моем долге по отношению к другим людям, что я до сих пор помню его слова. С тех пор я ни разу не нару-

шил закон. Теперь я женат, имею интересную работу и являюсь порядочным гражданином.

*С глубоким уважением,
Ричард Остин.*

Меня также ободрило представление моего дела суду, сделанное прокурорами, в котором они писали, что большая часть обвинений против меня основана на моих же показаниях: "Колсон предоставил обвинению ряд документов, за которые он мог быть потенциально привлечен к ответственности... и которые могли бы никогда не попасть в руки обвинения, не предоставь их Колсон добровольно". Отчет содержал мнение, что мое признание "имеет большое значение для оздоровления всей юридической практики", учитывая права подзащитных в знаменитых судебных процессах. От этих слов Шапиро чуть было опять не пустился по офису в пляс.

Прокуроры даже признались прессе: "Роль Колсона в подготовке и сокрытии проникновения было бы труднее доказать, чем подобную роль других обвиняемых... потому что этот человек стоял в стороне от непосредственного участия в правонарушении". Все это, однако, не имело теперь большого значения. Мое решение не зависело от того, насколько выгодно выглядело бы мое дело в суде.

Все уголовные преступники, чья вина доказана, должны быть допрошены одним из судебных чиновников, отчет которого послужит основой для вынесения судьей приговора. Преступнику следует взять с собой на собеседование по возможности максимальное количество родственников: такова часть ритуала, целью которого является помочь преступнику психологически. Я возражал против того, чтобы Патти присутствовала на допросе, но Джуд Бест, эксперт нашей фирмы по приговорам, настоял на том, чтобы она пошла с нами.

Патти, Джуда и меня провели в неприглядного вида комнату, служившую кабинетом Горасу Смит, человеку пятидесяти с лишним лет, с лицом кирпичного оттенка; он сидел за исцарапанным дубовым столом, заваленным бумагами. Мы расположились на трех жестких стульях с прямыми спинками, в то время как он раскачивался вперед-назад на скрипучем деревянном вращающемся кресле. Смит был большого роста, постоянно курил и отличался некоторой сутуловатостью — словно на него давил груз лет, которые он провел, слушая рассказы о горькой судьбе и неправдоподобных тяготах жизни, внимая жалостливым просьбам о снисхождении.

Он начал с рутинных вопросов. "Опишите характер выдвигаемых против Вас обвинений", — попросил он, дойдя до очередной пустой графы в своей многостраничной анкете. Я искренне попытался это сделать, в то время как он почесывал голову, ничего не помечая карандашом. "Не знаю, как мне это записать, — признался он. — То, что Вы говорите, не совсем обычно". Затем Патти ответила на вопросы, касающиеся нашей семейной жизни.

Когда анкета была уже почти заполнена, Смит неожиданно откинулся на спинку стула и посмотрел в лишенное занавесок окно: "Хотя это может показаться несколько излишним, коль скоро я столько читал о Вас в газетах, но все же расскажите о Вашем религиозном опыте, отношениях с сенатором Хьюзом и общении с братьями".

В этом вопросе уже не было ничего рутинного. Что-то подсказывало мне, что вопрос его искренний, но одновременно что-то предостерегало от попыток завоевать его симпатию рассказом об обращении.

"Но это ведь не имеет большого отношения к тому, что мы здесь делаем, не так ли, м-р Смит? — спросил я. — Если Вас это интересует, когда-нибудь я обязательно приду и обо всем расскажу".

"Нет, мне хотелось бы услышать об этом сейчас, — возразил он. — Просто объясните, как это произошло".

Я стал вкратце пересказывать произошедшее, намеренно исключая из рассказа все эмоциональные подробности, чтобы нельзя было сказать, что я использую религиозность, чтобы вызвать к себе жалость. Когда я дошел до случившегося после вечера у Филлипсов, Смит перебил. "Пожалуйста, поподробнее, м-р Колсон, — попросил он. — Я действительно хотел бы знать, что с Вами произошло".

Неожиданно что-то странное произошло в этой полупустой комнате. Сухое лицо этого уставшего от бесчисленных историй бюрократа оттаяло. Анкета была отодвинута в сторону. Передо мной сидел человек, которого мучила жажда, и моя роль заключалась в том, чтобы протянуть ему кружку с водой. Я закончил рассказывать двадцать минут спустя, и за все время рассказа Смит ни разу не свел с меня глаз.

"Вот решение, — произнес он. — Вот решение всех безобразных проблем, которые есть сегодня в мире".

Его голос дрогнул: "Понимаете, я знаю цену общению; я был в прошлом алкоголиком".

Чиновник извинился, что задержал нас так долго, пожелал мне удачи и с каким-то сожалением добавил, что, наверное, сенатор Хьюз мог бы ему помочь. На следующий день Хьюз и Горас Смит три часа провели за беседой и молитвой.

Отчет Смита, как я узнал позже, содержал твердое мнение, что мое обращение искреннее, к чему он приложил выдержки из более чем 150 красноречивых и трогательных писем. Горас отмечал, что тюремное наказание является излишним, однако все же рекомендовал его, учитывая, какое общенациональное значение имеет дело. Мое свидетельство никаким образом не повлияло на отчет Смита, но еще один человек приобщился ко Христу.

С братьями за те восемнадцать дней ожидания мы стали ближе, чем когда-либо. Мы часто встречались в кабинете у Хьюза, в Доме общения или семьями, когда к нам с Патти кто-нибудь заезжал скоротать вечерок. Их молитвы и постоянное присутствие напоминали мне, что нынешняя ситуация — это только короткая остановка на том пути, который я избрал. Вскоре я буду свободен, прошлое останется позади, и "победа в Иисусе", как выражался Гарольд, будет моей.

Даг Коу помог мне разрешить одну из насущных проблем семейного характера; будущей осенью, когда наши мальчики уедут учиться, его очаровательная 23-летняя дочь обещала переехать с подругой по колледжу к нам домой, чтобы не оставлять Патти одну.

Семья тоже смыкала ряды. Уэнделл, звезда университетской команды по гребле, должен был поехать летом в Швейцарию на международные соревнования. Для Уэнделла это было большим достижением, и он с нетерпением ожидал поездки. Теперь же, без единой просьбы с моей стороны или со стороны Патти, он отказался от выступлений и переехал на лето в Мак-Лин, где работал плотником и по вечерам делал за меня хозяйственную работу по дому; он намеревался быть рядом во время вынесения приговора и после того, каким бы ни было развитие событий. Уэнделл носил с собой записную книжку, в которую записывал, что потребуется сделать, пока меня не будет.

Эмили и Крис тоже прилетели в Вашингтон. Эмили перед этим пришлось много вынести от ее товарищей-десятиклассников и некоторых учителей, настроенных против Никсона. Я опасался, что ей, необыкновенно чувствительному ребенку, будет тяжелее всех

пережить сложившуюся ситуацию. Я устроил так, чтобы она вернулась в Бостон к маме до того тяжелого момента, когда мне вынесут приговор. Прежде чем посадить ее на самолет, отправляющийся в Бостон, я отвел ее в ту часть зала ожидания, где мы смогли остаться наедине.

"Эмили, — сказал я, — я очень надеюсь, что ты не стыдишься меня. И пусть тебя не огорчает то, что говорят другие. Я делал в своей жизни ошибки, но теперь, можешь быть уверена, я пытаюсь делать то, что правильно".

"Папа, — вырвалось у нее. — Я тобой горжусь". Пятнадцатилетняя девочка обвила меня руками, и эмоции, которые мы сдерживали в себе, в первый раз вырвались наружу. Слезы, которые пролились, были нам необходимы. Крис, с другой стороны, был необычно тих и сдержан, всю боль носил в себе. Я тогда не знал, что ему будет тяжелее всех пережить предстоящее.

Помощь и поддержку предлагали мне и другие — как старые друзья, так и совсем неожиданные люди. Кен Белью, мой давний политический товарищ, а теперь брат во Христе, позвонил однажды вечером: "Чак, сейчас не время сентиментальничать. Просто хочу тебе сообщить, что у нас для Патти есть комната, машина и несколько тысяч в банке. Это все — твое, если только ты этого хочешь". Я отказался, так и не сумев найти слов, которые хотел сказать.

От остальных друзей я получал сходные предложения, в том числе и от своего бывшего помощника, Майка Бальзано, который пытался отдать мне свои сбережения.

Артуру Бернсу позвонил один репортер, который надеялся получить какую-нибудь информацию для своей антиколсоновской статьи. Газетчик хотел извлечь из-под пыли историю 1971 года, когда я дал в прессу компромат на Бернса, и надеялся, что Бернс поделится с ним еще парочкой свежих обид. Вместо этого он услышал о нашем примирении, о совместных молитвах и был заверен, что мое обращение подлинное. Озадаченный журналист все это описал в своей статье, но все же добавил, что по-прежнему существует большой список извинений, которые бывшему "исполнителю" следовало бы принести (см. "Чарльз Колсон: время извиняться?" Том Браден, *"Вашингтон Пост"*, 18 мая 1974г.).

Джек Андерсон всю жизнь поносил меня в своих статьях на чем свет стоит, обвиняя во всех мыслимых и немыслимых проступках.

Мы в Белом доме считали его одним из наших главных недругов, и в связи с этим я тогда предложил провести расследование. Поскольку я нуждался в деньгах, то согласился провести с ним телевизионные дебаты. В студии ничего необычного не случилось, но вот то, что произошло за кулисами, я никогда не забуду. Пока меня подкрашивали и пудрили в гримерной, Джек подошел к Патти и попросил разрешения сказать ей несколько слов наедине: "Только не говори Чаку, он слишком гордый, но если, пока его не будет, тебе понадобятся деньги для семьи, позвони. Господь был благ ко мне. Вы — порядочные люди, а подобное могло случиться с кем угодно; буду рад помочь, чем могу". Я только потом узнал, насколько религиозным человеком являлся Андерсон — качество, которое он всегда скрывал от внимания публики.

По мере того, как шли дни, и подобных эпизодов становилось все больше, Шапиро делался все оптимистичней: "По максимуму, как мне кажется, ты можешь получить шесть месяцев; в крайнем случае, девять, но я ставлю на шесть". Патти верила, что заключение вообще будет условным, и никакие трезвые доводы с моей стороны не могли ее разубедить. Она молилась об этом, и я переживал, что суровый приговор может плохо отразиться на ее набирающей силу вере.

В середине июня вернулся из тюрьмы Бад Крог; он и Сюзанн пригласили нас провести у них тихий вечер. В тот июньский вечер, когда мы подъехали к кирпичному дому Крогов, расположенному на границе небогатого черного квартала, было знойно и душно, как бывает в Вашингтоне большую часть лета. Когда Крог устроился на работу в Белый дом, одно из его первых назначений было связано с округом Колумбия*; с присущим ему идеализмом он решил, что должен поселиться в том районе, с которым связан по работе.

Подъезжая на машине к дому, мы увидели, что навстречу нам спускается Бад. На его лице не было никакого следа "тюремной бледности", взгляд был ясный и живой, пожатие руки, как и прежде, железное. Все, казалось, вошло в обычное русло в доме Крогов. Двое детей Крогов во время ужина постоянно перебивали нас: спер-

* В округе Колумбия 70% населения составляют чернокожие американцы. — Прим. пер.

ва просились пойти поиграть на соседском дворе, затем хотели, чтобы мама им почитала. Сюзана подавала бифштекс, от чего я почувствовал себя неловко, зная, как много они задолжали за время отсутствия Бада.

"Жизнь порознь оказалась не такой уж невыносимой", — сказала Сюзанн за ужином. Она преподавала в местной школе и писала в газеты статьи, чтобы как-то наскрести на еду и вовремя уплатить взнос за жилье. Каждые выходные она на своем стареньком "Вольво" ездила с детьми к тюрьме "Алленвуд" и обратно, тратя на дорогу по семь часов. Ее молодое лицо по-прежнему выдавало усталость. "Посещения — вот тяжелая вещь, к тому же охранники бывают грубы. Но мы с Бадом параллельно проходили курс изучения Библии. Мы брали на неделю один и тот же урок и потом при встрече в выходные обсуждали его. Это сблизило нас еще больше", — рассказывала Сюзанн.

После ужина, пока Патти и Сюзанн мыли посуду, мы с Бадом сидели в гостиной. "Ну хорошо, дружище, а теперь, пока девочки нас не слышат, скажи мне, каково там на самом деле", — предложил я.

"Это ад, Чак. Но ты крепкий, ты справишься. Только будь осторожен и смотри, с кем связываешься. Ты увидишь много мерзости; парню однажды раскроили череп за то, что он переключил программу во время телепередачи. Просто не вмешивайся в это и занимайся своим делом. Черные будут тебя проверять; если сумеют найти какое-нибудь слабое место — все, твоя песенка спета", — сказал Бад.

Прокуроры сказали мне, что покуда я буду нужен для дачи показаний, меня будут держать в "Форт Холаберд", бывшей военной базе в Балтиморе. "Ты увидишь, как там отвратительно, — продолжал Бад. — Забор с колючей проволокой примыкает прямо к зданию, и повсюду крысы — то есть ребята-информаторы. Но там лучше, чем в городской тюрьме. Первые двенадцать дней я просидел в камере предварительного заключения в округе Монтгомери. Некоторые из сидевших со мной ждали суда за убийство, также было несколько действительно крутых; всего в камере было двенадцать человек. Я спал на полу рядом с отхожим местом, и как-то ночью один кретин помочился прямо на меня. Я хотел ему врезать, но их было больше, поэтому я просто с ним поговорил, и слава Богу, потом такого не случилось".

Бад достаточно свободно рассказывал о тюрьме, но был странно

сдержан относительно других вопросов. Было очевидно, что в тюрьме он отгородился от всего окружающего, стал жить своим внутренним миром. Когда тем же вечером мы включили телевизор, чтобы посмотреть выпуск новостей, он вышел из комнаты. Я не мог удержаться, чтобы не задать ему вопрос, который все время вертелся у меня на языке: "Бад, почему ты перестал следить за тем, что происходит вокруг. Такое ощущение, что ты отгородился от мира".

Он подумал какое-то время и ответил: "Просто мне это показалось естественным. Я рассматривал тюремный срок как возможность очиститься и заглянуть себе в душу. Мне это было нужно. Если смотреть на вещи подобным образом, то тюрьма принесет пользу. Но это значит отказаться от всего, что было в прошлой жизни, кроме семьи, разумеется. Я совершенно умышленно решил на это".

По дороге домой я спросил Патти, не заметила ли она какой-нибудь перемены в Баде.

"Еще бы, — отозвалась она. — Мне казалось, что он где-то за миллион миль от нас".

"И это меня по-настоящему пугает, дорогая. Я не могу поверить, что тюрьма могла такое сотворить с Крогом всего за несколько месяцев. Ведь у него железная воля", — сказал я.

Не то чтобы тюрьма сломала Бада, нет. В чем-то он стал даже лучше, чем был, но все равно создавалось впечатление, что он бесконечно далек от реальности, что живет в каком-то одному ему известном мире. Могло ли подобное случиться и со мной? *Не должно*, решил я про себя.

Для меня это было бы медленной агонией души. Когда-то, много лет назад, когда сама мысль оказаться в тюрьме просто не могла прийти мне в голову, один мой друг, работавший с бывшими заключенными, сказал, что никто не возвращается из тюрьмы прежним. "Даже года достаточно, — сказал он, постукивая пальцем по виску. — Они слегка трогаются, замыкаются в себе".

В ту ночь, обеспокоенный произошедшей с Бадом переменой, охваченный тревожными предчувствиями, я все равно не мог в полной мере представить, каким испытанием окажется тюрьма.



19

Удар судейского молотка

Утром 21 июня, в самом начале десятого, мы с Патти прибыли в зал суда № 6. В помещении стояла атмосфера всеобщего ожидания. Почти превосходя по количеству журналистов, в зале находилось множество доброжелателей, друзей, работников нашей юридической фирмы. Адвокатская ложа, впрочем, была пуста, коль скоро сегодня не намечалось никаких дебатов. Только в одиннадцать часов Дейв Шапиро должен был произнести в мою защиту речь, которую несколько представителей обвинения выслушают молча, и затем судья объявит о своем решении.

По договоренности с клерком, Гарольда, Ала, Дага и Грэма пропустили сквозь низенькие воротца в отделение, обычно занимаемое адвокатами. Они приехали в четверть десятого и торжественно сели на длинную скамейку.

Я шел по проходу, пытаясь бодро поприветствовать каждого из друзей. В зале я увидел несколько секретарш, которые работали со мной в Белом доме, также много подруг Патти. Их лица выражали беспокойство и сочувствие. Я поговорил с Диком Говардом и его женой Марсией, которая подбадривала меня блеском своих черных глаз. Дику удалось слабо улыбнуться.

Марион Голдин, продюсер Майка Уоллеса, находилась на заднем ряду среди зрителей. Мне показалось это любопытным, так как

она пришла сюда не за новостями. Не почувствовала ли она, какую роль ее передача сыграла во всем происходящем?

Двое наших с Патти ближайших друзей, Том и Кэй Изли, тоже хотели присутствовать, но я настоял на том, чтобы они не приезжали, а Кэй могла бы побыть с моим папой в больнице и отвлечь его от телевизора, по которому он мог узнать о приговоре. Я хотел позвонить ей после суда, чтобы она сама сообщила новость; так ему будет легче.

Патти села в первом ряду, зарезервированном для членов семьи. *Как на похоронах*, подумалось мне. Уэнделл сел рядом с ней. В последние недели мой старший сын стал выглядеть куда взрослее своих двадцати лет. Дейв Шапиро сидел за столом защитника, просматривая перед заключительной речью свои записи, сделанные в толстом черном блокноте. Дейв так уповал на это последнее слово, что во время предыдущей встречи с судьей он попросил его не сразу выносить решение, но сделав небольшой перерыв после выступления Дейва, покинуть судейскую скамью и взвесить все еще раз.

После выкрика глашатая судья Гессель, запахнув длинную черную мантию, величественно взшел на помост и расположился на судейском стуле с высокой спинкой. По слухам, ходившим в юридических кругах, многое зависит от того, в каком настроении Гессель находится в день суда, что он очень своевольный человек, способный переменить решение, входя в зал. Если это было правдой, то мои дела плохи. Судья сердито занял свое место, еще раз обвел взглядом помещение, коротко объявил о программе сегодняшних слушаний и резко сказал: "Ну хорошо, м-р Шапиро, выйдите с м-ром Колсоном вперед".

Я начал читать свое заявление, в котором объяснял, почему считаю свое признание "правильным как с точки зрения закона, так и с точки зрения совести". Я еще раз перечислил все обстоятельства, сопутствовавшие опубликованию пентагоновских документов, рассказал о том, что Генри Киссенджер, президент Никсон и я смотрели на поведение Эллсберга, как на "измену", шаг за шагом прослеживал собственные действия. Затем я перешел непосредственно к нарушению закона.

"Президент неоднократно настаивал на том, чтобы я распространил дискредитирующую информацию о Даниэле Эллсберге", — сказал я, повторив то, что не являлось уже большой новостью, поскольку я давал подобные показания раньше. Тем не менее, шепот

удивления донесся из той части зала, где размещалась пресса. Я тогда мало представлял, как мои слова потрясут Капитолий, вызвав новый поток призывов к импичменту. Если я виновен, то виновен и Никсон, будут утверждать его противники.

Свое выступление я закончил, обратившись к судье с такими словами: "Я сожалею о содеянном и всю оставшуюся жизнь потрачу на то, чтобы стать более достойным человеком".

Гессель кивнул, словно по привычке, начал было улыбаться, но остановился и, обратившись к Шапиро, сказал: "Я понимаю, Вы хотите выступить с заявлением; Вы можете начинать".*

Я вернулся к столу защитника и сел. Шапиро начал свою речь сперва тихо, как бы раскачиваясь. Я посмотрел на братьев; они сидели со склоненными головами — в молитве, хотелось мне верить.

"Я утверждаю, что Чарльз Колсон был обвинен несправедливо", — заявил Дейв звенящим от негодования голосом. Он утверждал, что тюремное наказание может быть вынесено только как результат общественного предубеждения, созданного "мошенничеством, мошенничеством, Ваша Честь, посредством самой возмутительной кампании по приписыванию этому человеку всех мыслимых и немыслимых грехов и грязных поступков, кампании, проводимой преимущественно правительственными организациями, которые распространяли через прессу заведомо ложную и клеветническую информацию о подсудимом". Шапиро подготовил долгий пересказ всех компрометирующих меня статей, в надежде убедить судью в искусственности общественного мнения, направленного против меня.

Но судье Гесселю все это показалось ненужным. "Вы занимаетесь бесполезным делом, м-р Шапиро, — перебил он Дейва. — Меня не интересуют предубеждения, существующие в обществе. Это не имеет ни малейшего отношения к тому, что я намерен сделать. Вы напрасно тратите свое время". У меня вдруг возникло ощущение, что мое сердце стукнулось о сиденье стула. Какое бы решение Гессель не вынес, он уже все заранее обдумал, и теперь слова Шапиро его просто раздражали.

Пораженный выпадом судьи, Шапиро, покачнувшись, обеими руками ухватился за кафедру, не веря своим ушам.

* Прим. ред.: Все цитаты взяты из протокола заседания суда.

Гессель подавил в себе нетерпение, но не раздражение. "Вы можете продолжать, — сказал он, — но хочу, чтобы Вам было понятно, что Вы просто теряете время... Вы представляете этого человека и можете говорить то, что сочтете нужным, и я Вас выслушаю, но я просто хочу, чтобы Вы понимали это".

Шапиро попытался оправиться от удара, но страсть и сила ушли из его голоса. Последняя едва теплившаяся надежда на то, что тюремного заключения удастся избежать, исчезла. Теперь оставался единственный вопрос: сколько? Шесть месяцев? Девять? Больше? Десять месяцев — таков был самый большой срок, который выносил Гессель по уотергейтскому делу, но человек получил его за два лжесвидетельства, к тому же в результате суда присяжных. Приговоры тем, кто проходит через присяжных обычно суровее, чем для тех, кто делает чистосердечное признание.

Тем не менее, я был непосредственным приближенным Никсона, а во время разбирательств по предсудебным ходатайствам Гессель как-то произнес гневную тираду против Никсона, чуть ли не обвинив того в нарушении закона за нежелание публиковать записи разговоров. Кроме того, именно он был судьей на процессе, целью которого было запретить газете *"Вашингтон Пост"* публиковать документы из Пентагона. Тогда Гессель принял решение в пользу *"Пост"*. И все же его считали одним из справедливейших судей. *То, что было раньше, — решил я, — не повлияет на него сегодня.*

Шапиро стал методически перечислять — теперь для проформы — все те ложные обвинения, что изо дня в день бросали мне в лицо с газетных полос, упомянув и документальное подтверждение того, что ЦРУ тоже помещало обо мне ложную информацию (см. стр. 201). Закончил он выступление словами, которые должны были прозвучать страстно и убедительно, но вместо этого отдавали холодком; весь зал сидел словно в оцепенении. "Если Вы, Ваша Честь, действительно считаете, как и я, что высшая цель этого суда — встать между обвиняемым и разъяренной толпой, то пусть об этом узнают все!"

Когда, неделю назад, Шапиро опробовал свою речь на мне, то в это последнее предложение он вложил столько страсти, что ему казалось, в зале раздастся одобряющий топот слушателей, зазвучат в отдалении трубы, а расчувствовавшийся судья встанет с места, чтобы пожать ему руку. Теперь же в зале была мертвая тишина. Судья

вновь попросил меня и Шапиро подойти к нему. Нам ничего не оставалось, кроме как просто ждать удара судейского молотка.

Судья Гессель не стал делать паузу перед вынесением приговора, напротив, сказал, что очередное разбирательство ограничивает суд во времени. Хирургическим, лишенным всякой эмоции голосом, он объявил, что "подсудимый умышленно создал препятствия на пути правосудия, воздействуя на ход федерального судебного разбирательства". Холодок пробежал у меня по спине; прокуроры обвиняли меня только в попытке сделать это, но единодушно признавали, что мне это не удалось.

"Нравственность важнее целесообразности, — продолжал он, глядя в лежащие перед ним записи. — Суд признает, — голос его немного смягчился, — что публичный имидж м-ра Колсона был несколько искажен... Внимательное изучение жизни м-ра Колсона дает нам примеры успешной службы обвиняемого на пользу общества, сострадания к оказавшимся в беде, выявляет те качества подсудимого, которые сделали его незаменимым человеком для семьи и друзей, а также для клиентов, интересы которых он добросовестно представлял".

Я почувствовал руку Шапиро на моем плече; он слегка сжал его, словно подготавливая меня к тому, что предстояло услышать. Теплые слова должны были всего лишь смягчить удар. Я делал глубокие вдохи, изо всех сил стараясь подавить в себе эмоции. *Я должен держаться*, сказал я себе, краем уха услышав сдавленные рыдания где-то у меня за спиной. Судья объяснил, что пришел к такому решению, используя в качестве указателя все прочие приговоры этого года по обвинению в создании препятствий на пути правосудия.

Гессель поднял молоток вверх. "Суд приговаривает подсудимого к лишению свободы от одного до трех лет и денежному штрафу в размере 5.000 долларов". Деревянный молоток резко опустился на деревянную же подушку, издав пронзительный звук, похожий на выстрел. Откуда-то сзади раздался приглушенный женский крик: "Нет!.." Снова воцарилась мертвая тишина. У меня появилось какое-то странное ощущение, точно в мое тело воткнули множество иголок. Затем прихватило живот. Шапиро сжал мое плечо чуть сильнее, и я закурил губу, молясь, чтобы выкрикнувшей "нет" женщиной оказалась не Патти.

Что говорил Гессель о тюрьме, дате поступления в тюрьму, снятии прочих обвинений, я уже не слышал. Дейв, отвечая на вопросы

судьи, продолжал сжимать мне плечо, его голос был глухим и надтреснутым. Молоток стукнул опять. Р-р-раз!

Судья поднялся и сошел с возвышения. Я обернулся и увидел Дорнету, чернокожую секретаршу из нашей фирмы, которая рыдала, согнувшись. Другие пытались ее успокоить; это она закричала после объявления приговора. Затем я поймал взгляд Патти, горестный, но бесслезный. Уэнделл онемел от потрясения. Мои братья по-прежнему сидели с склоненными головами. Остальные просто стояли, не шевелясь.

На этот раз никакой беготни со стороны журналистов не было, они покидали зал медленно. Новость, конечно, важная, самый большой срок заключения по уотергейтскому делу, но плюс-минус несколько минут сейчас не играли большой роли.

Я вернулся к столу защитника, чтобы собрать бумаги. Шапиро, сидевший за столом, без конца повторял: "Это невозможно, нет, невозможно". Патти прошла сквозь деревянные створки ограждения, потом почти побежала ко мне, пытаясь, как всегда, улыбаться, несмотря на комок в горле. "Все будет хорошо, милый, вот увидишь", — сказала она, крепко меня обняв. Пристав предоставил нам маленькую комнату без окон. Нас — братьев, Патти, Уэнделла и меня — провели туда, чтобы мы могли несколько минут побыть наедине. Мы мало что могли сказать друг другу — слова были не нужны. Удивительное ощущение любви стало переполнять наши сердца. Даже Уэнделл, который всегда чувствовал себя неловко, оказавшись в одной компании с молящимися, приободрился, когда мы стали просить у Бога сил в эту тяжелую для всех минуту.

Беспокойство Гарольда по поводу того, что я позволю себе озлобиться, оказалось излишним. "По непонятной мне причине я даже чувствую некую симпатию к судье Гесселю", — произнес я тихо.

"Что ты скажешь прессе, когда мы выйдем?" — спросил он.

"Честное слово, не знаю". Я не приготовил никакого заявления и вовсе не был уверен, что смог бы его прочесть, если бы приготовил.

"Тогда мы просто попросим, чтобы Святой Дух повел тебя", — заключил Гарольд. Когда мы подошли по длинному мраморному коридору к стеклянным дверям, то снаружи нас ждала огромная толпа — телекамеры, юпитеры, большее, чем обычно, количество репортеров. Сопровождающие нас приставы предложили обойти толпу

и выйти через автостоянку, но я понимал, что нельзя сейчас избегать прессы.

Микрофоны, камеры, любопытные лица — все теперь казалось менее враждебным, чем раньше. "Случившееся сегодня в суде, — услышал я собственные слова, — было волей суда и Бога. Я отдал свою жизнь Иисусу Христу и смогу потрудиться для Него как на свободе, так и в тюрьме".

Такие были даны мне слова и с ними — совершенно новая глава в моей жизни.



20

За решеткой

Я проснулся от того, что операторские бригады располагали свое оборудование на гравийной дороге у нашего дома. Было утро 8 июня — последнее утро перед расставанием на год или больше, последнее утро, в которое мы могли побыть вдвоем и насладиться совместным завтраком. Потирая заспанные глаза, я открыл окно спальни и крикнул: "Я уезжаю только в два. Возвращайтесь к этому времени — я никуда не денусь. Даю слово".

Круглолицый дружелюбный оператор из Эй-Би-Си с американским флажком в петлице широко улыбнулся. "О'кей, м-р Колсон, увидимся в два. Желаю хорошо провести утро!"

Они сложили свое оборудование и уехали, хотя в предыдущие разы всегда оставались на своих позициях. *Не смешно ли*, — подумал я, — *что теперь, когда я получил тюремный срок, эти непробиваемые циники из прессы вдруг мне поверили.*

Мы посмотрели программу "Сегодня", в которой показали третью часть интервью, которое я дал неделей раньше. После интервью Барбара Уолтерс сказала в прямом эфире: "Это интервью было записано на прошлой неделе, когда м-р Колсон пришел к нам в студию со своей очаровательной женой Патти, оказывающей мужу удивительную поддержку. Мы подчас забываем о том, какие личные трагедии стоят за всем происходящим, но сегодня утром я не могу не задуматься о чете Колсонов". И глядя прямо в камеру, она про-

должила: "Поэтому я обращаюсь к Вам, м-р Колсон, если Вы сейчас меня слышите, и в особенности к Вам, миссис Колсон: мы искренне сочувствуем вам".

Мы с Патти умышленно сдерживали свои эмоции, чтобы сегодняшнее утро ничем не отличалось от других, но неподдельность интонации Барбары застала нас врасплох. В последние дни перед заключением жена поражала меня стойкостью своего характера, но в эти минуты твердость изменила и ей, и мне.

Грэм Пурселл предложил отвезти нас в Балтимор, где мне предстояло быть помещенным в тюрьму "Форт Холаберд". Точно в назначенное время он подъехал к нашему дому; выглядел он нервным и усталым. Я уже давно понял, что под его грубоватой маской техасского ковбоя скрывается мягкое и даже чувствительное сердце. Вместе с Джудом Бестом, который хотел присутствовать при моем поступлении в тюрьму, мы забрались в большой "Седан" Грэма и направились к воротам, у которых нас уже поджидала толпа журналистов и телеоператоров.

Когда журналисты начали забрасывать меня вопросами, мне показалось уместным немного пошутить. Что я чувствую, направляясь в тюрьму? То же, что Авраам Линкольн, когда его вывалили в дегте и перьях и отвезли за город. Когда его спросили, как ему это понравилось, он ответил: "Если бы это было сделано не для того, чтобы оказать мне честь, я с таким же успехом мог бы уйти пешком".

Кто-то из репортеров выкрикнул: "Какие книги Вы с собой берете?"

"Только два перевода Библии", — ответил я. Когда это заявление опубликовали, оно вызвало целый поток Библий, присылаемых мне по почте, которые я потом раздавал товарищам по заключению. Интервью прошло в хорошем ключе; былая враждебность куда-то ушла.

Грэм, разнервничавшись от вида такой толпы и целого кортежа машин, потянувшихся за нами вслед, помчался по узенькой Баллантре Лейн на скорости 70 миль в час и влетел прямо в самую гущу плотного потока машин, направлявшегося по одной из главных магистралей Мак-Лина, шоссе 123. Обстановка едва ли располагала к веселью, но мы не могли удержаться, чтобы не пошутить по поводу возможных заголовков в завтрашних газетах: *"Колсон попадает в цепную аварию из девяти машин по пути в тюрьму"*. Юмор висельников, так это, наверное, называется.

Государственные чиновники делали все, чтобы сохранить атмос-

феру таинственности вокруг "Форт Холаберд", которую называли не иначе как "местом содержания государственных свидетелей в Вашингтонско-Балтиморском районе". Поскольку многие из заключенных "Холаберд" были членами мафии, согласившимися дать показания против лиц "теневого" мира, то обеспечить им надежное убежище было просто необходимо. "Холаберд" была также назначена местом содержания всех государственных свидетелей по уотергейтскому делу, которые должны были давать показания на предстоящих судебных процессах.

Возле одной из центральных балтиморских гостиниц нас встретили четыре работника федеральных органов, там же нас в последний раз засняли телевизионщики, и я распрощался с Патти и двумя друзьями. Теперь официально конвоируемого заключенного, меня запихнули на заднее сиденье машины без номеров и объездным путем повезли по грязным маленьким улочкам, под старой железнодорожной эстакадой, к некогда новеньким воротам армейской базы "Холаберд", теперь практически заброшенной.

Когда мы въехали в ворота, я невольно вспомнил о городах-призраках из старых голливудских вестернов. Красные кирпичные здания времен первой мировой войны стояли вперемешку с закопченными бараками второй мировой. Широко раскинувшаяся база медленно приходила в полный упадок, окна были заколочены досками, постройки обросли травой и кустарником, в том числе и весь ряд вместительных коттеджей, составлявших некогда Офицерскую улицу. Все улицы были пусты.

Наша машина остановилась возле построек зеленого цвета, которые отличались от прочих в двух отношениях: их окружал девятифутовый забор, по верху которого бежала спираль колючей проволоки. Кроме того, это был единственный живой островок на совершенно заброшенной базе.

Из небольшой постовой будки вышли два крепко сложенных охранника с пистолетами 38 калибра на бедрах и отперли ворота. Я заметил, что между воротами и самим зданием тюрьмы протянулись 20 футов зеленого газона. Мне вспомнились слова Бада Крога: "Расстояние до забора становится все меньше". Мы оставили машину и прошли сквозь ворота, резко хлопнувшие у меня за спиной. Дейв Шапиро всегда называл тюрьму "хлопушкой". Теперь я знал, почему.

Армейские бараки внутри оказались такими же удручающе безра-

достными, как и снаружи. Со стен свисала облупившаяся краска, трубы парового отопления бежали в самую глубину здания по темным коридорам, освещенным через каждые 30 футов тусклыми лампочками. Затхлый, грубый запах доносился из крошечной кухни справа. Небольшая столовая находилась непосредственно слева от входа, за продырявленной во многих местах дверью.

Заместитель начальника тюрьмы провел меня в контрольную комнату, находившуюся в стеклянном офисе посреди первого этажа. Началось оформление: дополнительные отпечатки пальцев, фото на "Полароид", досмотр моего багажа и личных принадлежностей, тщательный допрос относительно наркотиков и контрабанды, заполнение бесконечных форм.

— Какой у Вас номер? — спросил заместитель.

— У меня нет номера.

— Как это понимать — у Вас нет номера? У каждого федерального заключенного есть свой номер.

— Вероятно, Вы должны мне его присвоить, сэр.

— Ох уж, эти чиновники в Вашингтоне, — проворчал заместитель, — словно не знают, что у меня здесь за заведение.

Затем я допустил ошибку, сказав: "Я не знаю. Не могли бы Вы мне рассказать что-нибудь об этом заведении?"

— Нет! Вам важно запомнить, что самое главное — ничего не запоминать. Никто не знает, что это место существует. Вы здесь встретитесь с очень необычными людьми; не обсуждайте с ними свои дела и их самих ни о чем не спрашивайте. А когда выйдете, забудьте, что Вы когда-либо встречались с ними. В любом случае, Вы будете знать их только по именам. Так что подчиняйтесь правилам и не интересуйтесь чужими делами.

Меня перепоручили некоему Джо, смуглому парню с косматыми волосами, едва говорившему по-английски.*

Он провел меня в мою крошечную комнату под самой крышей на втором этаже — девять на двенадцать футов, деревянная кровать, обшарпанный стенной шкаф и маленький письменный стол со столешницей, исписанной поколениями прошедших через эту комна-

* *Прим. ред.:* Здесь и далее имена заключенных были изменены в целях их безопасности, за исключением тех случаев, когда было получено особое разрешение.

тушку прежде меня армейских лейтенантов и федеральных заключенных. Температура превышала 100 градусов по Фаренгейту.* Для Балтимора это была самая жаркая пора в году.

При встрече с другими заключенными Джо меня представлял. Пит, молодой итальянец, сказал, что он тоже в прошлом пехотинец; Анджей, приятный, общительный парень оказался выходцем из нью-йоркской "Маленькой Италии". Пэт и Энди, я потом узнал, были одними из центральных фигур в большой мафиозной организации, торговавшей наркотиками. Эдди и Джимми содержались отдельно от остальных, потому что раньше работали полицейскими в Балтиморе. Бывшие полицейские и гангстеры в одном здании — странное сочетание.

Был еще похожий на мускулистого зверя Майк, блондин с длинными развевающимися волосами и отчетливым бостонским акцентом. Заключенные были разных национальностей: итальянцы, кубинцы, французы; был один человек, покрытый с ног до головы цветными татуировками.

Когда я спросил у Джо, как запирается дверь, он расхохотался: "Никаких замков здесь нет; живем, как одна дружная семья". Я никогда не видел фильма "Крестный отец", а то слово "семья" прозвучало бы еще удручающей.

В "Холаберд" я встретил человека, с которым был знаком раньше, Герба Калмбаха, личного адвоката президента, который сделал чистосердечное признание за неделю до меня и теперь, как и я, ожидал своей очереди давать показания на слушаниях по импичменту. На его комнату мне указал Джо. Когда я заглянул внутрь, Герб — высокий, красивый городской мужчина пятидесяти с лишним лет — вскочил со своего стула. "Как я рад тебя видеть! Не здесь, разумеется, но так замечательно встретиться со старым другом". Произошло возобновление нашей дружбы, которая потом окажется важной для нас обоих.

Предупреждение заместителя начальника я принял всерьез и старался не проявлять любопытства в отношении других заключенных. Из-за отсутствия спортзала время текло медленно. Стояла жуткая жара. В какой-то момент я начал понимать, почему Бад Крог изолировался от всех и превратился в своего рода остров. Джимми, моло-

* 40 градусов по Цельсию. Прим. пер.

дой бывший полицейский, попавший в тюрьму за взяточничество, время от времени старался разогнать всеобщую подавленность шутками-прибаутками, особенно во время еды.

Во время одного ужина мальчишка Пит как-то особенно разошелся, наполняя своим звонким голосом небольшую столовую, где едва помещались двадцать человек. Джимми прошептал мне на ухо: "Смотри не связывайся с ним; у него иногда бывают такие заскоки. Он был одним из главных людей в нью-йоркской наркомафии".

"Этот мальчишка?" — переспросил я.

"Этот мальчишка, — отозвался Джимми, — был на самом верху. Говорят, что после его показаний несколько сотен человек окажутся за решеткой. Не трогай его. Он, глазом не моргнув, выпустит тебе ножом кишки". Джимми кивнул в сторону блестящего на солнце хлебного ножа, лежавшего по центру стола, затем показал на Майка: "Вот этот был одним из их убийц".

"Этот, что всегда молчит? Великан из Бостона?" — удивился я. Майк, сидевший в другом конце комнаты, механически поедая свою порцию; выражение глаз холодное и жесткое.

"Я думал, ты все про Майка знаешь, — продолжал он. — Ты ведь сам из Бостона? Много шуму было, когда его поймали. Говорят, он прикончил 28 человек".

Я посмотрел на Джимми с сомнением: "Человек? Двадцать восемь человек?"

"Да, у киллера работа такая, знаешь ли. Убивать людей", — Джимми явно иронизировал надо мной.

Я с трудом удержался от улыбки. Киллер и исполнитель грязной работы — что за удивительный тандем получился бы из нас с Майком! Вновь сделавшись серьезным, я спросил: "Почему же он здесь, а не где-нибудь в камере смертников, если столько прикончил?"

Джимми пожал плечами: "Они вынуждены его защищать. Правительству он нужнее живой, чем мертвый".

Стараясь не глядеть на Майка, я подумал, что мне очень хочется оказаться в камере с надежным замком на двери.

Посещения Патти и братьев скрашивали череду однообразных дней, несмотря на то, что сами встречи проходили под надзором и длились недолго. Особенно нелегко было нам с Патти — долгая разлука прерывалась несколькими часами нормального разговора, но при этом все время приходилось поглядывать на часы, а затем переживать боль расставания. Тем не менее, через несколько месяцев

наши разговоры о вере стали глубже; мы уже лучше разбирались в Библии, но все же я еще не осмеливался просить, чтобы она со мной помолилась.

Однажды в июле, после очень насыщенного разговора, Патти написала мне такое письмо: "Дорогой, я молилась о нас всю дорогу, пока возвращалась домой, и, мне кажется, было бы замечательно, если бы мы перед расставанием всегда молились вместе..."

Получив письмо на следующий день, я чуть не закричал от радости. Всю следующую ночь я ощущал тот потаенный восторг, который был знаком мне по самым тяжелым часам жизни, когда я вдруг понимал, что игра стоит свеч. С тех пор каждый раз, когда Патти меня навещала, мы брались за руки и молились, независимо от того, были ли мы одни или на людях. В будущем такое духовное единство поможет нам пережить более тяжелые времена.

Конец президента Никсона был уже много месяцев как предreshен. Человек, который три года назад, стоя в разгоряченном физкультурном зале школы, сказал, что "ошибкой будет не проиграть, но сдаться", теперь вел долгую и одинокую битву с самим собой. Этот же человек июльским вечером 1973 года подумал вслух о том, что, может быть, стране будет лучше, "если я уйду", а затем несколькими месяцами позже предположил, что "Америке нужен приятный и чистый Джереми Форд". Но подлинный Никсон был там, в школе; подлинный Никсон не мог заставить себя отступить.

Для меня его отставка не являлась актом капитуляции. Он спокойно покинул свое кресло, когда все кругом, за исключением семьи и двух упрямых помощников Кена Клоусона и Роза Вудса, признали, что это абсолютно необходимо. Ал Хейг, глава администрации президента, сказал мне в январе 1974: "Если импичмент неизбежен, то нам лучше уйти тихо, мирно. Нет необходимости тянуть за собой все правительство". Хейг готовился к этому много месяцев — уповал на чудо, но все же приучал себя к мысли об уходе, что и пришлось сделать в августе.

"Система сработала", — гордо заявляли один за другим политики, когда Никсон подал в отставку. Я вовсе в этом не уверен. Под конец скандала официальные правительственные структуры потеряли способность действовать решительно, сенат проводил уже много месяцев в жарких спорах, суды буксовали, президент терял власть. Никогда, как мне представляется, не грозила американскому прави-

тельству большая опасность, даже когда Капитолию угрожали переправлявшиеся через Потомак войска генерала Ли.

В то время как правительство совершенно потеряло курс, армейский генерал в последние дни правления Никсона почти полностью взял на себя контроль за государственным аппаратом, вел переговоры с будущим президентом, убеждал Пентагон не обращать внимания на какой бы то ни было приказ их конституционного начальника, а в последние часы вел тонкую закулисную работу для того, чтобы госсекретарь и лидеры Конгресса убедили президента подать в отставку. Подобные обстоятельства в иных странах приводят к бескровным переворотам. К счастью для Америки, генерал Хейг оказался честным и ответственным человеком.

Итак, м-р Никсон, истощенный отчаянными попытками выправить положение, так до самого конца и не смог осознать ни заблуждений, с которыми жил, ни процессов, причиной которых они стали. Представления о том благе, которого он пытался достичь, заслонили от его взгляда маловажные, с его точки зрения, проступки некоторых членов администрации. Затем, подобно человеку, цепляющемуся изо всех сил за выступ камня в ревущем потоке и совершенно обессилевшему, он сделал последний вдох и разжал пальцы — и был смыт бурлящими водами.

Во время его первой инаугурации рука Ричарда Никсона покоилась на семейной Библии, открытой на Книге Пророка Исаии. Оттуда он выбрал стих, который должен был стать лозунгом его правления, направленного к достижению мира: *"И перекуют мечи свои на орала"* (см. Исаия 2:4). Трагично, что ни он сам, ни мы, окружавшие его, не разглядели того предупреждения, что звучит всего семью стихами ниже: *"Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унижится"*. (Исаия 2:11). Мы все потерпели неудачу. Был ли Ричард Никсон виновником злого предначертания, которое лежало на его судьбе президента, или жертвой — в те мрачные августовские дни было неважным. Достоинство и изящество, с которыми он покинул свой пост, были достаточным доказательством его благородства как президента и как человека, а именно этим я всегда в нем восхищался.

То обстоятельство, что отставка была необходима, не делало ее менее ужасной, особенно если узнаешь об этом событии из крохотного телевизора, установленного в импровизированной тюрьме, окруженной несколькими рядами колючей проволоки. Я не мог отде-

латься от впечатления, что за всем этим стоял Божий промысел, потому что ход истории легко мог поставить на место генерала Хейга человека менее порядочного, имеющего менее благородные цели. Для меня это было достаточным доказательством того, что именно сердца людей определяют развитие человеческой истории в лучшую или худшую сторону, а никак не созданные человеком учреждения.

Как я ни переживал за президента в эти мучительные дни, те из нас, кто служил Никсону, тоже испытывали своего рода агонию. Как-то раз, много месяцев назад, он сказал мне: "Придет день, когда я все поставлю на свои места". Я знал, что он имеет в виду: главнокомандующий не оставляет своих солдат на поле боя. Когда он вновь почувствует силу, то простит своих помощников, сидящих в тюрьме по уотергейтским обвинениям.

Наши надежды разлетелись на мелкие куски, когда вертолет президента в последний раз поднялся с Южного газона. Ни слова не было сказано о тех, кто совершил преступления — и не ради себя, а с тем, чтобы защитить его. Я был морально готов отсидеть свой срок и вынести положенное мне наказание, но было необыкновенно мучительно видеть, как свобода, казавшаяся такой близкой, оказывается всего лишь призраком. После потрясшего всех заявления президента Форда о полном и безоговорочном прощении Ричарда Никсона, поползли слухи, что мы будем следующими. Два дня спустя пресс-секретарь Форда объявил, что возможность амнистии для всех обвиненных по уотергейтскому делу изучается.

Прощение Никсона вызвало немедленный взрыв возмущения наподобие того, который произошел после снятия с должности Кокса. Мгновенный опрос общественного мнения, проведенный Эн-Би-Си, показал, что из каждых трех опрошенных двое не согласны с решением Форда. Мы упали духом. Следующий опрос показал, что более 50% высказываются теперь в пользу нашего освобождения. Мы воспряли духом.

Патти за всю свою жизнь ни разу не давала интервью по телевидению, но в эти дни отважно согласилась выступить в программе "Сегодня" от моего имени. Вопрос о прощении взволновал всю страну. Звонили друзья из прессы: решение будет принято с часу на час; нас освободят. Репортеры сутками дежурили возле нашего дома, лишь бы не прозевать момент моего счастливого возвращения домой. Но политическая обстановка складывалась не в пользу Форда, кото-

рый пробыл на посту президента еще только месяц; он объявил, что прощений больше не последует. Те, кто находится в тюрьме, в тюрьме и останутся, а уотергейтский процесс будет продолжаться. Президенту Никсону так и не удалось победить Уотергейт.

Для Патти и других жен замкнутый круг из радостных предчувствий и надежд, сменившихся полным разочарованием, был особенно тяжел.

Но посреди отчаяния во мне вдруг начинали звучать слова, которые я где-то читал: "Чем больше сгущаются тучи вокруг нас, чем безнадежнее наше положение в этой временной жизни, тем ярче свет Господень светит нам, тем сильнее мы ощущаем в себе силу Святого Духа".

Еще одно упоминание силы Святого Духа. Я мало знал об этом Лице Троицы, но чувствовал потребность в Его силе. Входил ли в меня Святой Дух, когда я призывал Божье имя и просил о помощи? После решения, принятого в Мейне, я порой ощущал, что во мне происходит какая-то внутренняя работа. Означало ли это, что Святой Дух уже действует? Или мне следует искать Его?

Потребность в особой внутренней силе усиливалась одиночеством и ежедневным неприятным общением с членами организованной преступности, а также чувством безнадежности, которое я испытывал, думая о будущем. Надо мной постоянно висела угроза физической расправы со стороны других заключенных.

Как-то вечером я долго не ложился, будучи занят подготовкой показаний, которые мне предстояло дать на следующий день. Было уже около часа ночи, когда я проковылял к постели, задержав шторы на окнах, чтобы не мешали огни прожекторов, всю ночь освещавшие территорию перед тюрьмой. Вдруг я услышал за дверью какой-то шорох. Вглядываясь в темноту, я услышал, как стала медленно поворачиваться ручка двери. Сердце сильно застучало. Ночное нападение?

"Господь, — помню, взмолился я, — избавь меня от этого или хотя бы дай мне, чем защищаться". Я протянул руку к краю кровати. Патти привезла мне маленькую — весом не больше фунта — пластиковую лампу, чтобы я имел возможность читать по ночам. Она была совершенно бесполезна в качестве оружия, но, быть может, если запустить ей в противника, она могла бы его ошарашить и разбудить охрану. Дверь медленно открылась, и я увидел в дверном про-

еме грузный силуэт. Значит, мне не почудилось; сердце бешено колотилось, в кровь поступал все новый и новый адреналин. Нужно было что-то делать, но что? Позвать на помощь? Резко вскочить? Швырнуть в посетителя лампы?

Человек вошел в комнату, помедлил секунду и направился к моей кровати. Я вскочил, схватил лампу и закричал: "Кто это?" Силуэт почти что съезжился прямо у меня на глазах. "О, Боже! — простонал человек. — Я извиняюсь".

Я включил свет, и оказалось, что передо мной, бледный и дрожащий, стоит один из младших охранников. В промежутках между какими-то глубинными, всхлипывающими звуками он тщетно пытался извиниться. Я напугал его куда больше, чем он меня. Вероятно, он на секунду представил себе, что на моем месте оказался Майк.

Он объяснил, что был поставлен в ночную смену и, думая, что эта комната пустая, надеялся прилечь немного поспать. Он тайно прокрался сюда, опасаясь, что его заметит начальник. На следующий день я рассказал своим товарищам о происшедшем. Описал все в юмористическом свете, так что история понравилась пристально смотревшим на меня мафиози. Я решил, что маленькая ложь была позволительна и представил себя таким храбрецом, готовым отправиться на тот свет всякого непрошеного гостя.

От одного из охранников стало известно, что вскоре в "Холаберд" поступит Джон Дин. Уотергейтский скандал сделал нас с Джоном ярыми врагами: он — обвинитель президента, я — защитник. В течение первых дней слушаний в комитете Эрвина при одном упоминании имени Дина все во мне закипало. Был ли я по-прежнему настроен непримиримо? Когда я вспоминал о настоятельном требовании Христа не просто прощать наших врагов, но и любить их, мое озлобление куда-то уходило. С прощением особых трудностей не было. На самом деле, я даже ощущал некое восхищение мужеством Джона, рискнувшего противопоставить себя могуществу президента. Но полюбить Джона — это уже не так просто.

Его привезли поздно вечером, когда уже стемнело. Я был в столовой, когда Джон прошел к своей камере в сопровождении пяти охранников. Решив не рисковать своим главным свидетелем на уотергейтском процессе, прокуроры издали особое распоряжение, в соответствии с которым он не допускался к общению с остальными

заключенными и должен был все время находиться в своей комнате, вход в которую 24 часа в сутки охранял часовой.

"Нельзя его весь день держать в комнате одного, — засмеялся молодой Пэт. — У него крыша поедет".

Эта мысль сломала мое предубеждение против Джона. Поздно вечером в тот же день Дин появился на кухне в сопровождении вооруженного охранника. Я бросился к нему и протянул руку: "Что бы ни было между нами в прошлом, Джон, забудем: Если я могу как-то тебе помочь, скажи мне".

Дин был удивлен не меньше охранника и едва смог проговорить в ответ: "Спасибо, Чак, я даже не знаю, что сказать. Спасибо". Охранник быстро нас развел, но и за краткие секунды разговора исчезли многие былые обиды.

Мы с Джоном стали теперь общаться всякий раз, когда попадался сговорчивый охранник, который разрешал нам поговорить. Мы не говорили ни об Уотергейте, ни о прошлом, но всегда о том, как будем жить дальше. Выяснилось, что когда-то, еще в аспирантуре, Джон работал в группе, занимавшейся современным переводом Библии, и основательно разбирался в ее содержании. Кроме того, его вера стала крепче в результате переживаемых им испытаний. Это стало началом новой дружбы.

Как-то утром в понедельник я был немало удивлен, застав в комнате ожиданий Патти. Посетителей не пропускают в здание тюрьмы до четырех часов дня. По горестному выражению ее глаз я догадался, в чем дело.

"Папа, да?" — спросил я.

"Да, Чак, но он отошел легко — сегодня утром", — ответила Патти.

Я прижал ее к себе, сдерживая слезы. Она знала, как близки мы с отцом были всю жизнь. Сотни мыслей пронеслись в моей голове в ту секунду. Горечь от того, что его больше нет, благодарность за то, что уход был тихим и безболезненным. Воспоминания о том, как мы виделись в последний раз в больнице, когда произошел разговор о моем признании. Тревога за мать, которая осталась теперь совсем одна. Но более всего — тяжелый укор совести за то, что отец оставил этот мир с сознанием, что его единственный сын в тюрьме. Как это было непохоже на ту гордость, которую он испытывал от слов президента, хвалившего своего советника по особым вопросам.

Он умер у мамы на руках, когда они — вопреки настояниям врачей — укладывали вещи, чтобы навестить меня. Его сердце не вынесло ужасного известия о моем заключении.

В тот день телефонная линия между Вашингтоном и тюрьмой "Холаберд" была постоянно занята; чиновники обсуждали мою просьбу о поездке на похороны отца. Вечером Вашингтон в моей просьбе отказал. Несмотря на столь уважительную причину, как смерть отца, заключенному "не положено" увольнение. Я мог присутствовать только на закрытых похоронах, и то в сопровождении двух охранников, которых ко мне приставят. Их услуги оплатить должен я.

В Бостон мы с Патти полетели вместе с охранником. В аэропорту Логан в самолет вошли двое широкоплечих мужчин и проводили меня к машине. В течение двух последующих дней эти двое не отходили от нас ни на шаг — спали в нашей гостиной, смотрели, как мы едим, в какой-то мере даже разделяли наше горе.

В эти дни, просматривая вещи отца, я узнал его еще лучше. Прежде я очень не хотел, чтобы он встречался со мной в тюрьме, опасаясь, что вся тюремная атмосфера будет неприятна его впечатлительной натуре, но теперь с удивлением обнаружил, что он успевал интересоваться тюремной реформой конца тридцатых при том, что работал по двенадцать часов в сутки и вечером посещал юридическую школу. Среди его бумаг я обнаружил удивительно трогательные письма, которые он адресовал правительству с ходатайством за людей, попавших в тюрьму за незначительные проступки. В некоторых случаях ему удавалось добиться смягчения наказания.

Меня очень заинтересовал тот факт, что папа был причастен к созданию в некоторых тюрьмах дискуссионных обществ. Он активно участвовал в деятельности Объединенной ассоциации тюрем, организации, целью которой было реформирование системы наказаний. Я все больше увлекался, просматривая его папки. Я несомненно имел все основания продолжить его работу, и мне казалось странным, что мы так мало говорили о ней при его жизни.

Трагедия сблизила и нас с мамой, с которой мы продумывали детали похорон и строили планы на будущее. Отпевание должно было пройти в Уинтропе, в Епископальной церкви Св. Иоанна — той самой, в которой крестили отца, его сестру и братьев. Скромная церковь была как бы частичкой Новой Англии — крытая коричневатой дранкой крыша, изящные витражи стекол, обветренные камен-

ные стены и вид на океанское побережье. Церковь располагалась на одной из задних улиц в старой части города, посреди двух- и трехэтажных каркасных домов.

Мы с мамой помолились над гробом отца. В него я опустил его масонскую ленту и американский флаг, который он каждое утро поднимал на флагштоке у дома и каждый вечер приспускал. После незамысловатой службы мама, Патти и я в сопровождении двух охранников стояли у края могилы. Мы наблюдали, как гроб с телом отца медленно опускался, исчезая из виду; от могилы была видна школа, где он учился, и бейсбольное поле, на котором он играл в молодости. С моря, бывшего столь значительной частью его и моей жизни, дул свежий солоноватый бриз. Мой самый близкий друг ушел в иной мир — во "дворец Господень", как мне хотелось верить.

Вечером того же дня я вернулся в тюрьму и стал размышлять о том, что хотел сказать апостол Павел, когда предостерегал учеников от отчаяния. *"Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие"* (Деяния 14:22). Я чувствовал истинность этих слов. Отца, которого я так любил, больше не было, человек, которого я почти боготворил в течение четырех лет, вынужден был подать в отставку, меня самого ожидал скорый перевод в настоящую тюрьму в Алабаме.

По всем понятиям я должен был пасть духом, но странным образом совсем не ощущал безысходности. Мы с Патти были близки, как никогда, произошло примирение с Джоном Дином, и мне казалось, что у Господа есть некий замысел, который Он постепенно мне откроет.



21

"Не вмешивайся"

Перевод из "Форт Холаберд" в тюрьму, расположенную на военной базе "Максвелл", прошел гладко. Двое охранников передали меня в аэропорту Монтгомери местному охраннику, который усадил меня на заднее сиденье своей машины. Я облегченно вздохнул, когда понял, что он не собирается надевать на меня наручники — унижительная, болезненная процедура, обязательная при перевозке заключенных. Мы миновали военную авиабазу Монтгомери, несколько площадок для гольфа, проехали заброшенный лесной массив и оказались возле группы из нескольких оштукатуренных приземистых строений. На большом плакате я прочел: **Федеральная тюрьма.**

Территория, окружавшая тюремные здания, создавала ощущение простора, открытости, виднелись ухоженные лужайки и розовые кусты, стояли высокие тенистые деревья. Когда мы вошли в административный блок, двое суровых охранников в синих рубашках взяли меня под конвой и провели по коридору с двумя толстыми стальными дверями, в каждой из которых находилось по небольшому зарешеченному окошечку. Заглядывая на ходу в окошечки, я видел по ту сторону темные голые камеры, где не было ничего, кроме скамьи и туалета. Это была, как мне сказали, "дыра", в которую бросают провинившихся заключенных. Чувство простора сразу исчезло.

Пришли мы в совершенно блеклое, высокобленное помещение без окон, служившее приемной и располагавшееся всего в несколь-

ких шагах от "дыры". В углу стоял душ; все новые поступающие проходили тщательное мытье, чтобы избавиться от вшей, которых так часто заносили из местных тюрем. В другом углу я увидел фотоаппарат "Полароид". Последовали новые фото и дополнительные отпечатки пальцев. За деревянным прилавком улыбался заведующий хозяйственной частью, м-р Блевен.

"Раздевайтесь", — скомандовал он. Контрабанда наркотиков в тюрьме процветает, и заключенные славятся тем, что стараются пронести "зелье" в самых укромных частях своего тела. Блевен внимательно исследовал каждый дюйм моей одежды и все личные принадлежности. "Это нельзя, и это, и это", — перечислял он вещи, которые следовало отправить домой.

"Тоже нельзя, — произнес он после секундного размышления, имея в виду мои трусы. — Вы сможете их носить, только если мы не найдем вам пары здешних". Список теперь занимал две страницы. Затем настала очередь бумажника, документов, удостоверяющих личность, фотографий Патти и детей. Как мне не хотелось расстаться с моими документами! "Все драгоценности нужно снять", — добавил Блевен почти что извиняющимся тоном, глядя на мое переклассное кольцо.

"Это мое обручальное кольцо, — возразил я, — не уверен, что смогу его снять". Его мне подарила Патти.

"Мне очень жаль, но таковы правила. Я должен его забрать", — ответил Блевен.

Я не стал напоминать о цепочке с серебряными крестом и голубем, висящей у меня на шее. Он не попросил, чтобы я их снял.

"Примерьте вот эти", — Блевен бросил мне пару заношенных трусов с перечеркнутым порядковым номером. Я старался не думать, сколько людей их носило до меня, и был настолько рад что-нибудь на себя надеть, что даже ни слова не сказал о том, что они жали. Затем мне выдали основательно поношенные носки, носовой платок и, наконец, ужасно сидевшую на мне армейскую рабочую робу, перекрашенную в шоколадный цвет. Первый шаг в целенаправленном процессе деиндивидуализации был сделан. Впереди меня ждали другие.

"Колсон, на выход", — скомандовали из коридора, после чего меня отвели обратно в "контрольную", из которой, как из башни, сквозь выпуклые толстые стекла был виден каждый уголок тюрьмы. Теперь я ждал назначений, от которых зависела моя будущая жизнь:

корпус Е и мой номер — 23226. Дежурный — здоровенный малый по имени Пратер — деловито выкрикивал приказы в микрофон системы оповещения.

Мне выпала минутка, чтобы разглядеть через окно тюремный двор. Небольшие покрытые травой участки земли были пересечены бетонными дорожками и двумя рядами одноэтажных бараков. В дальнем конце виднелась столовая. На территории тюрьмы жило 250 человек, но наблюдать за ними сквозь стекло было все равно, что смотреть немое кино в замедленном режиме. Однообразные фигуры с опущенными плечами бесцельно и вяло слонялись по двору; другие подпирали собой стены бараков или сидели группками на скамейках. Все двигались как-то нарочито медленно. Я вскоре узнал, что в тюрьме никто не ходит быстро.

Не только форма была у всех одного тоскливо коричневого цвета; такими же одинаковыми и тоскливыми были выражения лиц. *Что-то здесь не так.* Затем, внезапно, я понял: *никто не улыбался.* Несмотря на то, что день был ясный, во двор тюрьмы солнце не попадало. Все цвета, подобно выражениям лиц, сливались во что-то серое и неразличимое.

Зычный голос Пратера нарушил эту странную немоту. "Колсон, напишите на посылке Ваш адрес", — скомандовал он, повернувшись в кресле и указывая на мой чемодан, который теперь был завершен в коричневую бумагу. Я склонился над чемоданом и тщательно вывел имя Патти и наш адрес, пытаясь не думать при этом ни о ней, ни о нашем доме.

"Колсон, все это Вы переживете, — произнес он. — Только послушайте моего совета. Думать здесь надо тем, на чем сидишь. В таком случае время идет быстро; а если о доме и о том, что делается снаружи, то это место покажется сущим адом".

Холодок пробежал у меня по спине, и я смог только кивнуть в ответ. Совет Пратера, который он давал всем вновь прибывшим, я уже слышал в несколько иной форме от Бада Крога. Не думай. Приспособливайся. Возведи вокруг себя стену. *Нет уж, спасибо, м-р Пратер,* подумал я с горечью. *Умертвить мой разум я не дам.*

Пересекая тюремный двор, я почувствовал, что известие об участнике Уотергейта уже дошло до заключенных. Люди замолкали, когда я проходил мимо; рассматривали меня. Мои неуверенные попытки улыбнуться натывались на подозрительные взгляды. Мне придется побороться за место под солнцем.

Снаружи корпус Е ничем не отличался от прочих зданий тюрьмы "Максвелл" — белое оштукатуренное здание с красной черепичной крышей, вроде бы в неплохом состоянии. Но внутри мне сразу бросились в нос запах пота и табачная затхлость. Пыль лежала повсюду. Сразу после входной двери вдоль стен шли два ряда шкафчиков, в которых заключенные держали дозволенные предметы личного обихода. С одной стороны я увидел две комнаты отдыха, одна из которых предназначалась для чтения и игры в карты; в ней стояли столы, заваленные кипами эротических журналов, по углам прятались ведра и швабры для мытья полов. Вторая комната была побольше, в ней находились стулья с рваной виниловой обивкой и старый черно-белый телевизор.

За тесным проходом виднелся уже и сам барак — два ряда двухэтажных коек вдоль стен и два посередине, с расстоянием от нижней до верхней койки где-то в 4 фута. Пары коек были разделены между собой железными ночными столиками. Неогороженный туалет находился в дальнем конце барака.

В тюрьмах нестрогого режима таких, как "Максвелл", заключенных теперь содержат именно так: в общих бараках, а не в камерах. Предположительно, это должно создавать более приемлемые условия существования, но мне вскоре предстояло услышать много совсем противоположных мнений. В камерах есть хотя бы минимальная приватность, они в какой-то степени гарантируют покой заключенного. В бараке постоянно шумят, и невозможно остаться наедине с собой. Последние исследования совершенно справедливо показали, что совместное отбывание наказания не решает главных проблем, что барак может даже стать "кошмаром для заключенного", по выражению авторов *"Борьбы за справедливость"*, книги, изданной Американским комитетом дружественной помощи.

Был прачечный день, и матрацы на койках были лишены белья. Несколько мужчин лежали; кто спал, а кто просто смотрел в потолок. Лопасти большого рокочущего вентилятора под потолком скорее месили пыль, чем освежали воздух. Повсюду на окрашенных желтых стенах и потолке виднелись очаги облезающей краски, из которых, словно ручейки, струились трещины. Примерно в течение года это место будет моим домом.

Джимми, дружелюбный чернокожий молодой человек, представился как "домашний хозяин", что включает в себя целый ряд хозяйственных обязанностей. Помогая мне отыскать койку, он начал

давать полезные советы: "Продуктовая лавка открыта только по средам, поэтому запасайся впрок. Никогда не оставляй без присмотра часов и все более-менее ценное запирай в шкафчик". Взгляд Джимми упал на Библию, когда я распаковывал свои немногочисленные личные принадлежности: "О Библии не беспокойся; этого у тебя никто не стянет". Он улыбнулся, и это была первая улыбка, увиденная мной здесь.

"Колсон, Колсон, подойдите в «контрольную»", — проскрежетал голос из громкоговорителя. Пратер предупредил меня, что замедленная реакция на приказ сразу повлечет за собой экстремальную ситуацию: заключенные будут немедленно собраны для расчета, чтобы удостовериться, что никто не сбежал. Ненавистный громкоговоритель вещал пронзительно и без передышки. Я ринулся через двор к "контрольной", но мне сказали подождать во дворе; надзиратель скоро меня вызовет. Довольный небольшой передышкой, я попробовал подытожить полученные советы.

"Вы Колсон?" — мне протянул руку для пожатия высокий, лысеющий мужчина, державшийся уверенно и просто. Если бы не коричневая роба, я мог бы вполне принять его за надзирателя. Улыбнувшись, он представился доктором — "доком" Креншоу. Я слышал о нем: бывший работник Американской ассоциации медиков, получивший срок за нарушение норм безопасности. Он сказал мне, что отсидел уже девять месяцев, но тюрьма его не сломила.

Улыбка неожиданно исчезла с его лица: "В первое время тебе будет нелегко. Здесь нужно быть мужиком. Сам я уже скоро домотаю (то есть досижу свой срок) и хочу дать тебе один совет, — сказал он, щурясь за толстыми стеклами очков. — Будь готов ко всему. Вполне возможно, что ты увидишь чью-нибудь смерть. Ты когда-нибудь видел умирающего человека?"

"Да, — отозвался я. — Я почти все видел в жизни".

"Ну, тюрьмы ты не видел. Тебя наверняка шокирует многое из того, что будет здесь происходить и с тобой, и с остальными. Помни главное — *не вмешивайся*. И не жалуйся. Занимайся своими делами, и все у тебя будет нормально. Я таким образом пережил этот год".

"Пройдите, Колсон", — охранник жестом приглашал меня пройти в офис. Я посмотрел с секунду на Креншоу и поспешил к административному зданию. Слова дока все еще звенели у меня в ушах: "Не вмешивайся". Круг тоже предупреждал меня, чтобы я не совал нос в чужие дела. Товарищи по "Холаберд" предупреждали:

"Не доверяй никому". Пратер сказал то же самое, но со ссылкой на анатомию, и вот теперь леденящие слова дока.

Этот совет был чем-то большим, чем просто тюремное клише, он, вне всяких сомнений, был формулой выживания. Я находился лицом к лицу с преступниками, живущими по своим особым законам. Если я хотел вернуться домой и отстроить заново свою жизнь, то мне следовало прислушаться к тем, кого научила мудрости сама тюрьма.

Я ожидал, что кабинет надзирателя окажется таким же неопрятным и холодным, как и все в этой тюрьме. Вовсе нет. Ни Роберт Гранска, ни его кабинет не вписывались в антураж тюремного заведения. Надзиратель, атлетичный, красивый мужчина бальзаковских лет с проседью в волосах, встретил меня очень радушно. "Присаживайтесь, м-р Колсон, э-э, Колсон. Устраивайтесь поудобней", — предложил он, указывая на мягкий стул с прямой спинкой, стоящий непосредственно подле двери.

"Людей сейчас не хватает, — пожаловался Гранска, осанисто располагаясь за своим столом и покручивая в пальцах карандаш. — У нас заключен контракт с воздушной базой, по которому мы обязаны поставлять им ежедневно 150 человек для подсобного труда — стрижка газонов, уборка, в таком духе".

Гранска пытался нащупать какое-нибудь связующее звено. Разъяснения о работе тюрьмы, ее связи с базой ВВС и роли надзирателя были всего лишь отправным пунктом. Позже я обнаружил, что "Максвелл" не многим отличалась от исправительно-трудового лагеря и что тюремная политика, увольнения, рабочие программы и образование, столь необходимые для реабилитации заключенных, были вторичны по отношению к потребностям военной базы в полтора раза бесплатных работников в день.

Затем, дружески улыбаясь, Грански сказал: "Я хочу, чтобы Вы знали, что у нас здесь демократия. Когда я Вам понадобится, не стесняйтесь, заходите смело".

Не знаю, что заставило меня задать подобный вопрос, ведь человек отнесся ко мне вполне порядочно, но я выпалил: "А это относится ко всем заключенным?"

Надзиратель был явно удивлен моим вопросом и встревоженно заерзал в кресле: "Как, конечно же. Я принимаю всех, кто хочет со мной поговорить; по мере возможности, потому что здесь очень много дел".

Я объяснил, что мне, вероятно, будет непросто вжиться в коллектив заключенных и что я хотел бы, чтобы ко мне относились так же, как и ко всем остальным. Разговор продолжился, но теперь сдержанней, с более подробными объяснениями относительно тюремных распорядков, поведения и политики предоставления отпусков. "Вы услышите много жалоб относительно отпусков, — сказал Гранска. — Не обращайтесь на это внимания. В плане отпусков мы ничем не отличаемся от других тюрем. Однако, если он потребуется Вам, скажем, чтобы появиться в суде, то..."

Гранска спохватился и прервал себя на полуслове: "Не беспокойтесь, я прослежу, чтобы к Вам относились, как и ко всем остальным. Пресса будет интересоваться Вами, и именно это я им и скажу. У нас для всех одни правила; это единственный способ управлять подобным заведением".

Разговор закончился, и начальник тюрьмы проводил меня до двери. Одет он был очень опрятно: свеженакрахмаленная рубашка в синюю полоску с ярко-синим галстуком и хорошие брюки. Я же придерживал свою поношенную коричневую рубашку, на которой не хватало двух пуговиц, незаметно оттягивая книзу брюки, которые были мне коротки дюйма на два. Он взялся за ручку двери, но помедлил: "Меня часто спрашивают относительно Вашего христианства; многие читали об этом в газетах. Вы хотите, чтобы я что-нибудь им передал?" Я заметил, что серебряный зажим для галстука у него в виде очертания рыбы — символ христиан первого века. Он, казалось, был обрадован, когда я обратил на зажим внимание.

Я сказал, что написанное правда, что я считаю себя рожденным свыше христианином: "Я полагаю, у вас есть библейские курсы для заключенных".

"Да, и Вы можете помочь в их проведении", — ответил Гранска. (Впрочем, в течение первых недель моего пребывания в "Максвелл" единственными запланированными христианскими мероприятиями были церковные службы, проводившиеся два раза в неделю наезжающими священниками.)

В то время как мне надзиратель показался человеком добрым и отзывчивым, от других я уже слышал отзывы о нем, как о "бездушном и жестоком тиране" и "садисте". Я также узнал, что хотя заключенные ненавидят всех тюремщиков, главным объектом ненависти всегда является надзиратель тюрьмы. Они видят в нем только начальника, который спешит с ежедневными инспекциями через тюремный двор;

он — символ абсолютной власти над их жизнями. Человеческие качества надзирателей, которые рознятся точно так же, как и среди других групп людей, в расчет не принимаются. Понятие "они" — или "система" — включает в себя адвокатов, прокуроров, судей, присяжных, судебных исполнителей и, наконец, тюремное начальство. Система наказывает, причиняет боль; ее цель — "припереть" заключенного. Озлобленность — замечательный материал, из которого вырастают стены, разделяющие заключенных и тюремщиков.

Несомненно, у меня было куда больше общего с надзирателем, чем с большинством заключенных, но я прекрасно знал, что попаду в большую беду, если только меня уличат в "братании с врагом": с "крысами" не церемонятся. Из слов Грански я понял, что мог бы устроиться работать клерком в административный блок — стоило только попросить. Но внутри меня что-то говорило "нет", убеждало не искать никаких особых привилегий.

Из кабинета надзирателя меня отвели к одному из двух загнанных делопроизводителей, которые занимаются бумажными и личными делами всей тюрьмы. Бен Браун, плотный, улыбчивый человек дал мне скороговоркой массу указаний и одно четкое предупреждение: "Забудьте о том, что Вы адвокат". Будучи одним из двух заключенных-адвокатов, сказал он, я услышу много обращений за помощью, но всякая подобная деятельность запрещена правилами. Указание Брауна только подтверждало все предыдущие советы не высовывать головы.

Покидая административное здание, я увидел молодого негра с широкой улыбкой на лице, сжимавшего в руках лист бумаги. Он нетерпеливо шагал взад-вперед перед секретарем, который заполнял на машинке какие-то формы. Никто в тюрьме так не улыбается, выяснил я позже, кроме тех, кого освобождают. Я узнал, что этого молодого человека освободили в соответствии с указом президента Форда об амнистии всем уклонявшимся от призыва. Их дела должны были быть пересмотрены в Комиссии по смягчению наказаний, что было частью плана президента Форда.

Я был счастлив за молодого человека, радовался тому, что кто-то покидает это заведение, но ирония происходящего все равно больно меня задела. Бывший капитан морской пехоты, прошедший половину сознательной жизни на военной и государственной службе, сменял на тюремных нарах дезертира, которого освободил своим приказом президент!

Когда я вышел во двор, все уже окутывали сумерки, удушливая жара сменилась приятным ветерком, дувшим с реки Алабама, которая ограничивала тюрьму с одной из сторон. Чтобы лучше ознакомиться с территорией, я пошел вдоль поля для игры в софтбол, обошел тюремные бараки вдоль сплошного забора и оказался за административным зданием в зоне для посетителей, огороженном участке с аккуратными рядками столиков и стульев из железа, расположенными под тенистыми деревьями. Я смотрел на площадку, не отрываясь, и мысли мои были далеко, когда тишину нарушил грубый окрик: "Колсон, назад". Высоченный злой охранник в синей рубашке бежал трусцой по направлению ко мне. "Убирайся отсюда. Вход в зону для посетителей запрещен".

Я сперва подумал, что он шутит. Никто мне ничего не сказал о запрещенных участках территории. Но выражение его лица убедило меня: "Убирайся отсюда — быстро!" — заорал он, подгоняя меня обратно к тюремному двору. Запрет, как я потом узнал, имел целью отвадить от этого уголка заключенных, которые влюбленно засматривались на него, тоскуя по общению с внешним миром. Я извинился за допущенную ошибку, но охранник был на меня по-прежнему зол. "Надо читать правила, Колсон", — проворчал он, отвернулся и медленно пошел в "контрольную", покачивая головой.

Один заключенный, видевший сцену, быстрым шагом подошел ко мне: "Плюнь ты на этого "трафарета". Этот один из самых сволочных здесь". Я и раньше слышал, что тюремных охранников называют "трафаретами", но считал это слово незаслуженно оскорбительным. С того дня я тоже стал называть их трафаретами. Как охранники, так и заключенные быстро привыкают оскорблять друг друга.

С приходом ночи я во всей полноте ощутил, что значит сидеть в тюрьме. Я почувствовал себя запертым в клетку и совершенно одиноким, несмотря на то, что меня окружали сорок человек. Нельзя сказать, чтобы я не был знаком с одиночеством — я испытывал его какое-то время в школе, когда мне было двенадцать лет, затем были долгие дни и ночи дальних заграничных плаваний в морской пехоте, однажды я ощутил его в лесу, когда решил, что заблудился. Дело было не в тоске по дому, но в окружавшей меня пустоте, в лежавших рядом людях, похожих на маски, в том чувстве отчаяния, которое, подобно затхлому воздуху, наполняло пыльный, тускло освещенный барак.

Люди лежали на койках с остекленевшими глазами, глядя в пус-

тоту. Кто-то вяло разговаривал, но в отличие от разговоров, к которым я привык на свободе, не слышалось ни смеха, ни добродушного подшучивания. Грубое словцо, злобная вспышка и хлопанье закрываемых шкафчиков — вот и все, что можно было услышать помимо разговоров и мерного жужжания вентилятора.

Я сидел на краю своей койки, пытаюсь описать все это в письме к братьям из Дома общения. Зная, что этот грязный пыльный барак навсегда впечатается в мою память, я все же сознавал, что со временем, когда чувствительность притупится, я привыкну к нему. "Я хочу, чтобы вы, братья, прочли мне это письмо, когда я выйду отсюда и буду стараться забыть первоначальные шоковые ощущения, — писал я. — Я хочу, чтобы мне напомнили, как важно для заключенного обрести достоинство и сделаться полноценным человеческим существом. Сердце мое обливается кровью..."

После того, как письмо было закончено, настало время познакомиться с некоторыми из обитателей барака. Завхоз, м-р Блевен, дал мне на этот счет дружеский совет: "В первую ночь отыщи старого самогонщика, "парня с деревни", и поговори с ним. После этого пройдет слух, что ты вовсе не заносчивая шишка, как думают". На койке возле двери сидел молодой парень по имени Пол Крамер: внешность располагающая, на груди большой крест, признак того, что он христианин. Я уже перекинулся с ним парой слов и чувствовал, что мы станем друзьями. Но "парень с деревни" явно не он.

Большая часть черных собралась в ближайшем ко мне углу, но на мои улыбки они никак не реагировали. Прямолинейный подход к ним ничего не даст — только пробудит у них недоверие. Пожилой мужчина с волевым, резким лицом и грубыми мозолистыми руками, лежавший на следующей койке, мог вполне сойти за самогонщика. Днем он крепко пожал мне руку и назвался Хомером Уэлшем. Хомер показался мне то ли настороженным, то ли очень застенчивым, потому что во время нашего разговора все время пятился назад. Сейчас он спал.

Дальше я увидел несколько человек, с которыми уже успел познакомиться. Они держались открыто, особенно худой и гибкий молодой человек по имени Джек, ходивший с надвинутой на глаза старой грязноватой кепкой. Джек выделялся из числа других, потому что все время мне улыбался, обнаруживая несколько недостающих передних зубов. Со своим крошечным подбородком, с этой улыбкой он ужасно напоминал Мортимера Снерда. Вскоре мы уже разговари-

лись, и я с увлечением выслушивал его контрабандистские истории. (Совет Блевена оказался дельным; на следующий день, когда весть о моем разговоре с Джедом разнеслась по тюрьме, враждебность по отношению ко мне уменьшилась.)

Спал я плохо. Всю ночь заключенные храпели, стонали, издавали какие-то звуки. Некоторых мучила бессонница, и они то вставали, то снова ложились, некоторые курили, не переставая. В темноте постоянно слышалось чье-то шарканье. Пыльный воздух был пропитан запахами табака, пота и мочи.

В первую ночь каждые два часа охранники будили меня светом своего фонарика. Такова часть ритуала пересчета заключенных, совершаемого как днем, так и ночью. Раздается пронзительный свисток, и все заключенные, где бы они ни находились, обязаны вернуться на свои койки для подсчета; производится пересчет людей во всех бараках, и цифра сообщается в "контрольную", после чего по громкоговорителю объявляют, что "расчет окончен". Сперва я воспринимал эту процедуру как мелкую неприятность, но вскоре она сделалась частью выматывающей нервы рутины, чем-то наподобие китайской пытки водой: одна капля — ничто, но когда так продолжается несколько дней подряд, каждая капля напоминает удар грома.

Один раз в первую ночь я совершенно потерял ориентацию и, проснувшись, решил, что вижу дурной сон. Лишь потом я обнаружил, что некоторые люди месяцами испытывают это чувство внезапного отстранения от реальности, просыпаясь посреди ночи с уверенностью, что они на свободе.

Однообразное течение дел было нарушено только раз, во вторник, когда в тюрьму приехал со своим регулярным визитом брат Эдмон Блоу, местный баптистский проповедник из Южной конвенции. Тридцать человек собрались в пустой комнате, в которую вкатили покрытый красным вином алтарь. В верхней части алтаря находился несимметричный металлический крест с выдавленными словами: "Правительство Соединенных Штатов". Рядом поставили старое пианино.

Брат Блоу оказался высоким костлявым человеком, который понимал евангельское указание провозглашать свою веру с дерзостью в буквальном смысле. За один час, который длилась встреча, я услышал больше восклицаний *"Аминь"*, *"Слава Богу"* и *"Аллилуйя"*, чем за всю предыдущую жизнь. Но, к моему собственному удивле-

нию, я громко подпевал и испытывал от службы большое наслаждение.

"О, как я люблю Иисуса Христа! — провозгласил брат Блоу так громко, как только мог, и подбросил руки кверху, причем пиджак, слишком маленький для него, натянулся по швам. — Он *мой* Спаситель — *наш* Спаситель!" Его голос достиг верхнего предела: "Спасибо, Господь Иисус, за то, что Ты спас этого несчастного законченного грешника!"

Затем его руки безвольно упали, повиснув вдоль туловища, и он склонил голову; из глаз потекли слезы. *Этот человек, кажется, на самом деле говорит с Иисусом*, подумал я. Я никогда не видел, чтобы пасторы в моей церкви, державшиеся обычно с большим достоинством, выражали свои чувства подобным образом. Тем не менее, под конец собрания я обнаружил, что выкрикиваю "*Аминь*" наравне с остальными.

Когда я собирался уходить, брат Блоу встретился со мной взглядом. К моему огромному удивлению он подошел и неуклюже заключил меня в объятия. "Аллилуйя, это Вы! — воскликнул Блоу. — Аллилуйя и слава Богу!" Он протянул слово "слава" так долго, как я никогда до того не слышал. Выступающие скулы придавали его худощавому лицу суровость сельского жителя из Алабамы, но глаза светились теплом и любовью.

Брату Блоу предстояло сыграть свою роль в удивительных событиях последующих недель, а на тот день было довольно, что я нашел брата, когда больше всего в нем нуждался.



22

Никаких привилегий, пожалуйста

В эти первые дни случилось много неожиданностей, но главная была еще впереди. Когда в конце первой недели я стоял в очереди в столовой, ко мне, перегнувшись через прилавок, наклонился повар по имени Джерри и прошептал: "Нужно с тобой встретиться — для твоей же пользы".

Что-то подсказало мне, что он говорит искренне. Когда мы встретились с ним после обеда, он указал на площадку для игры в софтбол, место, где заключенные могли быть уверены, что их не подслушают. На пути к площадке я решил рассмотреть Джерри. Это был худощавый лысеющий мужчина лет, вероятно, сорока; он сказал, что родился в Нью-Орлеане.

Когда мы отошли на безопасное расстояние, Джерри замедлил шаг и произнес:

— У тебя здесь есть враги?

— Не знаю. А почему ты спрашиваешь?

— Я хочу сказать, такие, которые хотели бы тебя прикончить?

— То есть убить? — мое сердце забилося, по спине опять побежали мурашки.

Джерри кивнул утвердительно: "Это, вообще, не мое дело, но ты вроде ничего; лучше, чем мы думали".

Я подумал, *не ловушка ли это?* Может, меня хотят проверить? Заключение обычно строго придерживаются правила "ни во что не вмешиваться". Почему же тогда Джерри пошел на этот шаг?

Словно догадавшись о моих мыслях, Джерри пожал плечами и произнес:

— Я конечно дурак, что все это тебе рассказываю, но я слышал, как тот тип сказал своему дружку, что хочет тебя убить. Народ иногда болтает просто так, но этот, вроде, говорил серьезно.

— Ты можешь мне его указать?

— И не думай. Я не крыса.

Я не сводил с него глаз в течение всего разговора. Похоже было, что он говорил вполне серьезно. А если он меня проверял, то мне ни в коем случае нельзя было показать испуга. "Если я сообщу об этом трафаретам, ты меня прикроешь?" — спросил я холодно.

Джерри идея явно не понравилась, он начал пинать песок на площадке: "Послушай, Колсон, я ведь мог тебя и не предупреждать. Просто мне показалось, что так будет лучше. Но на этом все. Теперь ты думай, а я исчезаю. Договорились?"

Я впервые ему улыбнулся: "Спасибо, Джерри, что предупредил. Я знаю, как о себе позаботиться". Когда мы в молчании пошли назад к барaku, мне сильно захотелось чувствовать такую же уверенность внутри, как на словах. Кто это мог быть? Кто-то, кто ненавидел Никсона? Призрак убийцы Майка! Теперь я должен думать еще об одном киллере. Если верить Джерри, то этот настроен всерьез, и надо мной нависла большая угроза.

Был уже вечер, когда я вернулся из наряда и мог сосредоточиться на своих мыслях. В полной растерянности я сел на газон возле нашего барака. Как мне отреагировать на предупреждение Джерри?

Я мог поговорить с дежурным офицером прямо тогда, а мог предупредить тревожную ночь и на следующий день встретиться с надзирателем тюрьмы. Но могли ли они мне помочь? Джерри ничего не подтвердит. Если же это была проверка и я побегу жаловаться охранникам, то предстоящий год будет для меня адом. Охранники все равно не могли меня защитить; они не могли помешать нападающему тихо прокрасться ночью и убить человека во сне. Я слышал, что такое случалось и в "Максвелл", и во всех прочих тюрьмах. Существует множество возможностей прикончить жертву даже при свете дня.

Чего я добьюсь, сообщив об угрозе? Вероятнее всего, меня переведут в какую-нибудь другую тюрьму. Сейчас через прессу стало из-

вестно, что я в "Максвелл": как они объясняют мой перевод? Тюремное ведомство, скорее всего, обвинят в протекционизме, скажут, что я надавил на какие-то рычаги, чтобы меня перевели. Еще худшим вариантом мог быть перевод в тюрьму строгого режима, где я находился бы под постоянным наблюдением. Это, конечно, обеспечит мою безопасность, но какой ценой!

Выбора не было, решил я. Я должен буду справиться с ситуацией сам и надеяться, что Господь меня направит. Опять Он вынуждал меня обратиться к Нему за помощью. Прежде чем заснуть в ту ночь, я попросил Христа в молитве быть со мной и защитить меня. Моя вера была еще слабой, так как, несмотря на физическую усталость, я все время беспокойно ворочался и, едва погрузившись в поверхностную дрему, просыпался от малейшего шума. Иногда я напряженно всматривался в темноту и лишь потом заставлял себя закрыть глаза, и пробовал уснуть. Утром я встал раздраженным с невыспавшимися глазами.

Кроме всего прочего, как охранники, так и заключенные пронзали меня испытующими взглядами. Я чувствовал это постоянно. Как я реагировал на пищу, которая оказалась на удивление хорошей? С кем пытался завести дружбу? Сколько получал писем? Вскрывались ли мои письма, как письма всех остальных? (Вскрывались.) Какую работу я выберу? Все это покажет, не пытаюсь ли я раздобыть себе привилегии. Малейший признак покровительства был бы мгновенно и с радостью подмечен, потому что это подтвердило бы то, во что и так верило большинство: что система несправедлива и что высокопоставленные чиновники не могут ее вынести; или и то, и другое.

Слух о том, что я не пытаюсь выхлопотать себе административную работу, вызвал удивленную реакцию. Я не делал этого совершенно намеренно, зная, что все заключенные гонятся за хорошими распределениями, главным образом пытаюсь избежать тяжелых обязанностей уборщика или работника на кухне. Когда бы ни собралась комиссия по назначению на работы, по тюрьме прокатывалась чуть ли не эпидемия заболеваний позвоночника, загадочных болей и прочих тяжелых недугов; обычно сонные как мухи мужчины могли подняться до высот трагедийного жанра.

Я рьяно брался за временные ежедневные назначения, состоявшие в навошивании полов, уборке листьев и выносе мусорных баков, словно от этого зависела моя жизнь, что в какой-то степени могло оказаться правдой. Завоевать "приятие" заключенных и твердо

встать на ноги было сейчас так же важно, как некогда — пусть сравнение и странное — покорить брахминские бастионы Бостона и доказать, что я "достоин" службы в морской пехоте. Мне придется прокладывать дорогу самому, и на этот раз будет тяжелее, чем когда бы то ни было. Ибо это означало не только преодолеть газетное представление обо мне, как об "отрицательном" человеке, но и развеять атмосферу тотального недоверия, свойственного каждой тюрьме.

Тюремную жизнь часто сравнивают с армейской службой. У них есть, несомненно, общие черты — тесные бараки, стандарты коллективной жизни, строгое подчинение начальству. Но есть и куда более серьезные различия. В тюрьме человек, с которым ты находишься в дружеских отношениях, все равно в любой момент может стянуть у тебя носки; заключенные всегда начеку — даже с теми, кого они хорошо знают.

Основная цель любого заключенного — это выжить, скоротать время, избежать неприятностей и выйти на свободу. Освобождение — самая желанная мечта, и ее воплощение зависит фактически только от самого человека. Товарищи по заключению могут повлиять на срок пребывания человека в тюрьме только в худшую сторону, втянув его в какое-нибудь запрещенное дело, но они практически бессильны его сократить. Армейских служащих, напротив, приучают действовать на основе взаимовыручки. Жизнь человека в военных условиях зависит от действий товарища.

"Колсон, Вы по-прежнему отказываетесь говорить, на какие работы Вы хотели бы быть назначенным?" — спросил меня круглолицый Бен Браун, заведующий назначениями, глядя на меня в упор с другого конца стола с никогда не сходящей с его лица полуулыбкой. Рядом с ним сидели два лейтенанта, заведующий тюремным образованием и несколько других администраторов. Пришло время комиссии решать, куда же меня определить.

— Да, сэр. Я хочу быть назначенным туда, куда Вы сочтете нужным.

— Это Ваш последний шанс заявить о своем желании.

— Я понимаю.

Браун затем попросил меня подождать за дверью. Через несколько минут меня позвали обратно и сообщили: "Колсон, Вы будете работать в прачечной". Затем последовали инструкции о том, что мне позволено делать, а что нет.

Мне сильно хотелось спросить заведующего тюремным образованием, имеет ли назначение хоть малейшую связь с тестами, которые все заключенные сдавали в течение двух дней. Я ни разу в жизни не запускал стиральную машину у себя дома, а каждый, кто видел, как я пытаюсь починить двигатель автомобиля, знал, что я способен испортить любое устройство. Тем не менее, чем больше я думал о назначении, тем больше радовался. Тюремное начальство пошло на компромисс, поручив мне нечто среднее между офисной работой для избранных и ненавистной уборкой мусора. По крайней мере, мои товарищи по заключению увидят, что я не любимчик надзирателя.

Прачечная находилась в большом здании, напоминающем склад, где летом стояла невыносимая жара; я был занят тем, что бесконечно сортировал влажное от пота нижнее белье и коричневые арестантские робы, стирал все это в машинах и ежедневно выдавал заключенным чистую одежду. Были у этой работы и плюсы: я работал на м-ра Блевена, приятного человека, который оформлял меня при поступлении в тюрьму, и мог ходить в чистой одежде, что есть не последний фактор в поддержании здоровья. Мусорщиков иногда выстраивали на дворе по шиколотку в воде, под проливным, почти тропическим дождем. Заключенным не выдавали плащей, а лишь ежедневно меняли полотенце, футболку и носки. После одного из таких построений я сильно простудился и проболел две недели.

Работая в прачечной, я также имел возможность стирать себе трусы и носки; другим приходилось довольствоваться тем, что им выдавалось ежедневно. Эти маленькие преимущества были очень важны. Кроме того, назначение в прачечную продолжило, я уверен, разрушение моей гордыни. Я несомненно получал урок смирения, стирая чужую одежду, что уже не так далеко от мытья чужих ног.

Несмотря на то, что работа в прачечной должна была сблизить меня с остальными заключенными, произошло это или нет, я по их реакции определить не мог. Надо мной стали подшучивать. Типичной стала фраза о том, что "теперь эта вашингтонская шишка стирает мои носки". С несколькими людьми у меня завязывалась дружба, но большинство все же относилось ко мне настороженно. Изголодавшись по отношениям, которые у меня были с людьми в Доме общения, я вспомнил о парне с крестом на груди и отыскал его.

В свои двадцать семь лет Пол Крамер был мускулистым, прямолинейным человеком, к тому же лучшим вторым бейсменом в тю-

ремной софтбольной команде. После службы морским пехотинцем во Вьетнаме он вернулся в свой родной город Атланту, штат Джорджия, и поступил там в колледж. Чтобы нагнать упущенное время и свести концы с концами, он устроился сразу на две работы. Возникли проблемы с невестой. В какой-то момент он просто сломался, стал употреблять и продавать наркотики. Продержался в бизнесе четыре месяца, затем его поймали и приговорили к трем годам заключения. Находясь в Тексаканской тюрьме, он, по его словам, по-новому взглянул на свою загубленную жизнь и "принял Господа".

"Пол, мне хотелось бы организовать здесь небольшую группу, — сказал я. — Почему бы нам не найти еще несколько христиан и не начать встречаться пару раз в неделю с тем, чтобы поговорить о наших проблемах и помолиться?"

Пол задумался над моим предложением: "Не знаю, Чак. Здесь над христианами смеются, как над чокнутыми. Достанешь Библию, и тебя тут же станут подначивать. Здесь никогда не пытались устроить что-нибудь христианское".

"Ну и что, давай попробуем, — не сдавался я. — Начать придется тебе. Я здесь новичок, и не хочу, чтобы кто-нибудь решил, что я рвусь в командиры. Ну как, согласен?"

Но он отрицательно покачал головой: "Нет, это нельзя просто организовать. Может быть, нужно помолиться и посмотреть, чего хочет Господь".

Я был удивлен его отказом, но настаивать не стал. Мы вместе помолились в ту ночь, только он и я, в темноте тюремного двора о том, чтобы Бог сплотил заключенных; то, как Бог ответил на нашу молитву, потрясло меня до глубины души.

Всю неделю я с нетерпением ждал субботы, когда должен был состояться первый визит Патти. Я поднялся с койки еще до 6 утра, зная, что Патти будет стоять у ворот для посетителей ровно в 8.00, когда их отпирали. После особенно тщательного бритья я попытался разгладить мятую коричневую робу, которую взял взаймы. Я стоял перед туалетным зеркалом, беспомощно оттягивая слишком короткую футболку. В зеркале, заляпанном брызгами зубной пасты и пены для бритья, виделось лицо, которое вскоре предстанет перед Патти. Мне хотелось надеяться, что морщины — следы беспокойства — не слишком заметны.

Только трое или четверо из заключенных готовились к встрече с

родными, и я чувствовал себя немного неуютно. Другие заключенные провели здесь месяцы, даже годы, и боялись приближения выходных, когда время течет медленно. Многие предпочитали, чтобы их вообще не навещали, не желая встречаться с родными и друзьями в своем отвратительном облачении, в обстановке тюрьмы. Иные считали, что время течет быстрее, если нет ожидания, отхода от ежедневной рутины, нет боли расставания с теми, кого они любят. Однако для большинства препятствием к встрече были чисто материальные затруднения: их семьям дорога была просто не по карману. Эти заключенные не имели иного выбора, как заниматься своими привычными делами и смотреть, как минуты складываются в часы, часы — в дни, а дни недели — в один долгий сон.

Мы с Патти решили быть вместе, когда только возможно. Быть может, привыкнуть к заключению было бы легче, не воспаряя по выходным и не срываясь в пропасть тоски в обычные дни, но я не был еще готов превратиться в тюремного зомби. Целый час перед впуском посетителей я в нетерпении шагал по двору.

Посетителей сперва проверяли и регистрировали в приемной административного здания, где, в соответствии с правилами, их должны были обыскивать (хотя многих и не обыскивали). О желании посетителей приехать требовалось известить заранее, подать список тех, кто должен был прийти на встречу. Приносить что-либо в комнату свиданий заключенным запрещалось, а получить они могли только четыре пачки сигарет. Обменивать что-либо запрещалось. Имелись особые правила поведения в комнате для свиданий, занимавшие две страницы и включавшие, в частности, пункт о запрещении обниматься когда бы то ни было, за исключением приветствия и прощания. Как только заключенный оказывался в комнате для свиданий, он уже не мог вернуться в тюрьму; если же он возвращался, встреча заканчивалась. Окончание приемного времени — 4 часа дня.

Ровно в восемь из репродуктора раздались слова: "Колсон, к Вам посетитель". Точно первоклассник, спешащий домой после уроков, я ринулся к приемной, совсем позабыв, что надо отметить в "контрольной". Запахавшийся охранник вернул меня, отчитав, как сержант проштрафившегося солдата.

Когда я ворвался в комнату для свиданий, Патти, в ярком зеленом свитере и зеленых слаксах, просияла улыбкой. Мы оба старались сдерживать эмоции, как и весь остаток дня. Я ничего не сказал ей о неудобствах тюремной жизни, ни об угрозах в мой адрес, объяснив,

что люди в тюрьме ничем не отличаются от тех, которых мы знаем, что они просто жертвы обстоятельств. Патти никак не могла оторвать взгляда от моего неуклюжего одеяния, и я чувствовал, что она сильно переживает.

Тем же утром одну навещавшую женщину попросили покинуть помещение для встреч, а заключенного пройти в "контрольную". "Что произошло?" — спросила, встревожившись, Патти.

— Трудно сказать. Вероятно, заметили, что она пытается что-то передать.

— И что с ним будет?

— Вероятно, отправится в "дыру".

— Куда?

— В специальную камеру, для одиночного заключения.

Патти некоторое время была подавлена, но вскоре просветлела — так много нужно было рассказать о доме, друзьях, братьях, о курсах по изучению Библии, которые она посещала. К полудню мы познакомились с другими супружескими парами и даже шутили по поводу моего зеленого исподнего и старого коричневого хаки.

Несмотря на то, что в осеннем воздухе чувствовался первый холодок, мы целый день просидели во дворе за одним из круглых столиков. И мы могли бы забыть, где находимся, если бы не охранники, курсировавшие по площадке для посетителей. Я испытал огромное облегчение, пробыв эти два дня с Патти, и огромную радость от совместного посещения церковной службы на территории тюрьмы в воскресенье. В то же время нам быстро становились понятными те болезненные переживания, о которых рассказывали Бад и Сюзанн. Вернувшись в воскресенье вечером в барак и вновь почувствовав опустошающее одиночество, я невольно задался вопросом, сколько еще смогу вынести подобных уик-эндов.

Со временем я ко многому привыкну: к возне тараканов в тумбочках возле головы, когда пытаешься заснуть, к постоянному запаху, пропитывавшему одежду после нескольких дней носки, к крысам обоих типов — грызунам и доносчикам. Но когда в то воскресенье я увидел, как со стоянки уезжает машина Патти, избежать депрессии было невозможно. Патти могла остановиться переночевать в мотеле всего в нескольких милях от тюрьмы, но если бы я ей понадобился, то не смог бы оказаться рядом. Я не мог протянуть руку и дотронуться до нее, а вынужден был в нетерпении ожидать следующего уик-энда.

Во время встречи с Патти я впервые с момента поступления в тюрьму раскрыл Библию. Чувствуя угрызения совести, в понедельник я встал рано с намерением начать изучение Библии по курсу "Как стать учеником", выпущенному издательством "Навигейторз"*.

Его мне дал Даг Коу.

Первый отрывок, который рекомендовалось прочесть, был взят из 2 главы Послания к Евреям и представлен как "сообщающий ценные сведения о человечности Христа".

"Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честит Иисус, Который немного был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящий многих сынов в славу, Воздя спасения их совершил через страдания. Ибо и Освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братьями..."

Евреям 2:9-11

"Ибо не Ангелов восприимлет Он, но восприимлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для умилоствления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь".

Евреям 2:16-18

Перечитывая раз за разом эти слова, я был убежден, что Бог обращается непосредственно ко мне. Я оказался в тюрьме, потому что должен был здесь оказаться, должен был сделать этот принципиальный шаг, чтобы окончательно отделаться от прежней жизни и жить новой. Он, вероятно, подготавливал и очищал меня для будущего, но *какого?* И тогда что-то безошибочно указало мне на то, что ответ был непосредственно перед моими глазами: прочти, вдумайся, речь здесь о том, как Бог смог понять Своих детей, как Он на некоторое время стал человеком и через это познал Своих детей как братьев. Этот пример должен о многом тебе сказать.

* "Навигейторз" — известное христианское издательство в США, специализирующееся, главным образом, на выпуске учебной христианской литературы. — Прим. пер.

Неожиданно эти слова озарили меня удивительным и прекрасным внутренним светом. Бог, как я уже понял, сотворил нас в качестве Своих доверенных лиц по Своему образу. Мы должны были стать Его орудиями. Но с самого первого акта непослушания в Эдемском саду и на протяжении всей ветхозаветной истории человек не смог оправдать ожиданий Бога. Однако вместо того чтобы излить на человечество Свой гнев, как в былые дни, или совершенно разорвать с людьми отношения, Бог стал одним из нас. Он жил среди нас, чтобы понять наши грехи и соблазны, испытать страхи, которые терзают нас. Он имел возможность обратиться к нам на нашем собственном языке, простить нас и предложить путь спасения. Что за невероятное чувство — знать Бога как *Брата* через Личность Иисуса Христа! Какое удивительное общение стало возможным благодаря Ему! От одной мысли об этом у меня забегали мурашки по коже.

В первый раз в жизни значение Троицы стало мне понятным. Бог — Творец и Отец — послал Иисуса, Своего Сына, чтобы Он жил среди нас; наконец, после распятия и воскресения Иисуса Он дал нам Святого Духа, Который стал нашим Утешителем и Помощником. До этого момента я просто принимал Троицу, как часть Благой Вести, принимал на веру, но не совсем понимал значение Третьей Личности. Теперь же я понимал, что Дух — это источник подлинной силы, что Он логично вписывается в Божий замысел. Прежде, прося, чтобы Дух меня вел, я чувствовал, что Он это делает, но плохо понимал, что со мной происходит. Теперь это стало таким понятным.

Затем меня поразила другая мысль, имеющая самое непосредственное отношение ко мне лично: что если, подобно тому, как Бог стал человеком, чтобы помочь людям, и я должен был стать заключенным, чтобы постичь страдание и лишения? Если Бог решил сойти на землю и познать нас как братьев, тогда, быть может, Его замысел для меня таков, что я должен был оказаться в тюрьме среди грешников и познать таких же грешников, как я сам? Мог ли я постичь ужас тюремной жизни, находясь вне стен тюрьмы? Я слышал внутренний голос: конечно, нет. Никто не смог бы этого понять, не побывав здесь, не пережив всех тревог, не ощутив своей беспомощности, всего одиночества. В несравнимо меньшем масштабе это напоминало приход Христа к людям.

Конечно, конечно, конечно, думал я, я нахожусь здесь с определенной целью, может быть, даже с миссией, к которой меня призвал Господь. Как христианин, я искренне верил в утверждение Льюиса о

том, что отдельный человек несравненно ценнее государства. А это, несомненно, относится и к заключенному.

На всю жизнь я запомню, что значит находиться в тюрьме, это упорное, постепенное разьедание человеческой души, словно радиация, медленно убивающая живую ткань. Точно так же, как Иисус Христос не постыдился назвать нас Своими братьями, так и мне не следовало стыдиться называть всех моих товарищей по заключению братьями. Более того, я должен любить каждого из них. А смог бы я выполнить эти требования, не окажись я здесь? *Никогда*, признался я себе.

Постепенно эти поразившие меня догадки стали складываться в откровение, заключавшееся в том, что мне давалось тюремное служение — и здесь, внутри тюремных стен, и когда-нибудь за их пределами. Я уже видел и понимал, что тюремная жизнь не обеспечивает таких необходимых условий для обучения и перевоспитания заключенного, чтобы он мог начать новую жизнь, когда выйдет. Все было направлено на то, чтобы использовать людей в качестве рабочей силы, при необходимости наказывая и не придавая их духовным потребностям ни малейшего значения.

Чтение Послания к Евреям перевернуло меня и вынудило изменить свое отношение к вопросу о вмешательстве и невмешательстве. Внутренний конфликт напоминал тот, что я переживал, когда мучительно решал, идти с повинной или нет: избрать мирской путь или Христов? Тогда я избрал последнее. Неужели на этот раз я соскальзывал назад к мирскому? Совет дока Креншоу был разумен, но подходил ли он мне?

Затем я вспомнил слова, которые были мне даны на ступенях суда после того, как судья Гессель вынес приговор: "Я могу послушать Ему как в тюрьме, так и на свободе".

Если мое новое видение было действительно от Бога, а в тот день это казалось несомненным, то мне потребуется "вмешаться" в тюремную жизнь и надеяться, что Бог даст мне необходимую мудрость и мужество.



23

"Когда двое или трое собраны во Имя Мое"

В 6:00 утра дребезжание звонков и треск громкоговорителей прорезали предрассветную тишину. Тюрьма, ворочаясь и тяжело вздыхая, стала медленно пробуждаться; свет поочередно зажегся во всех бараках, люди стали набиваться в душевые, заспанные повара включили пар под прилавками раздачи, охранники в темно-синих рубашках зашуршали по бетонным дорожкам тюремного двора.

Так повторялось изо дня в день, но в следующий понедельник вся тюрьма, казалось, застыла в напряженном ожидании. Приглушенное нетерпение висело в воздухе, словно статическое электричество, его можно было прочесть в сосредоточенных выражениях лиц и неестественной тишине, установившейся в бараках и столовой. Какие бы разговоры ни велись в то утро, все касались одной темы: слушаний по условным освобождениям, которые должны были начаться в тот понедельник.

Каждые два месяца три чиновника-экзаменатора из Атланты приезжали на четыре дня в тюрьму, чтобы принять решения относительно примерно сорока человек, представленных к условному освобождению. Один за другим заключенные предстают перед комиссией, и росчерком пера трехлетние приговоры сокращаются до одного года, а люди с пятилетним сроком остаются до "истечения

определенной меры наказания", как это называется на официальном языке.

Переживания вполне оправданы. В соответствии с принятой практикой назначать неопределенные сроки, человек получает как минимальную, так и максимальную меру наказания — в моем случае, это один и три года. В соответствии с законом, условное освобождение рассматривается, когда заключенный отбывает минимальный срок наказания, и имеет целью освобождение тех людей, которые хорошо себя вели и более не считаются опасными для общества. Но, являясь бюрократической структурой, Совет по условному освобождению установил целый ряд особых правил — положений, определяющих минимальные наказания за соответствующие преступления. В результате, заседание по условному освобождению может стать вторым приговором, к тому же освобождение редко дается, пока человек не отбыл треть срока. Стандарты все время изменяются, превращая заседания комиссии в розыгрыш, лотерею, вызывая у заключенных чувство неуверенности, которое порождает озлобление и агрессивность.

За несколько дней до приезда комиссии все внимание сосредоточено на вынесенных на обсуждение делах. Заключенные на удивление хорошо осведомлены о подробностях каждого из них. Исход представляется важным не только для тех, чье освобождение непосредственно зависит от решения комиссии, но и для остальных, чьи дела со временем будут вынесены на обсуждение.

Когда назначенная на тот день комиссия, наконец, начала работу, по тюрьме разнеслись первые слухи: "Первые три просьбы отклонены; Поп пойдет на повторное заседание; Смитти послушали всего пять минут и решили не выпускать; эти... положения держат нас всех под колпаком".

К 16.00 результаты первого дня работы комиссии повергли тюрьму в мрачное уныние: из двенадцати кандидатов освободили только двоих. Тяжелые предчувствия этого утра обернулись вечером отчаянием. Я был шокирован этим известием, потому что, подобно 99% своих коллег, я слепо верил, что условное освобождение происходит чуть ли не автоматически, особенно когда речь идет о "незлостных" нарушителях, содержащихся в тюрьмах нестрогого режима, таких как "Максвелл".

Если в первую ночь общая атмосфера в бараке показалась мне мрачной и гнетущей, то в тот вечер барак превратился в черную без-

дну отчаяния. Нервы большинства заключенных казались натянутыми до отказа. Требовалось совсем немного, чтобы человек в таком состоянии бросился на другого с кулаками. Многие заключенные, даже в таких тюрьмах, как "Максвелл", имеют записи об участии в драках. Большинство же драк вспыхивает из-за таких вещей, как выбор программы по телевизору или расстояние между койками, коль скоро пространство в тюрьме большая ценность, и даже из-за того, что кто-то хлопнул дверцей шкафчика, когда другой пытался заснуть. Дерутся из-за мелких краж. Я однажды слышал, как разъяренный здоровенный малый орал, что убьет того, кто стянул мыло из его тумбочки.

В тот вечер, когда я укладывал свои вещи в шкафчик, недалеко от моей койки вспыхнула драка между двумя молодыми заключенными. Потом я узнал, что за обоими числится длинный список уголовных преступлений. Эти молодчики, густо покрытые татуировками, с недостающими передними зубами, не имели недостатка в шрамах, следах предыдущих столкновений. Началось все в шутку; они попихивали, подталкивали друг друга, но вскоре уже дрались всерьез. Я какое-то время наблюдал за дракой, застыв на краю койки. Когда удары стали яростными, я встал между ними. Оба немедленно обернулись ко мне, подняв кулаки; я улыбнулся; они смотрели на меня с ненавистью.

В бараке сделалось тихо, заключенные почувствовали, что запахло жареным; еще немного, и прольется моя кровь. Один плюнул на пол и потер руки. Меня прошиб пот. Может быть, кто-то из этих двоих и есть тот, кто угрожал меня убить? Если так, то у него была прекрасная возможность это сделать.

"Да что с вами, ребята?" — выдохнул я, очень надеясь, что они не слышат, как бешено колотится мое сердце. Никто не пошевелился. Никто не собирался приходить мне на выручку. "Вы что, не видели, что трафарет только что был у окна? Вы сегодня оба будете ночевать в «дыре»", — продолжал я. Это был чистейшей воды обман, исключительно способ защитить себя.

Когда я произнес эти слова, кулаки разжались, руки безвольно опустились вниз. "Ты почему раньше не сказал?" — спросил меня один, когда я отступил в сторону. Драка прекратилась. Они отошли, обняв друг друга за плечи, в недоумении от моего поступка, качая головой. Я вернулся на свою койку, колени дрожали.

Зачем я это сделал? Я действовал инстинктивно, грубо нарушая

принцип невмешательства. Дух ли побудил меня помешать кровопролитию? Если так, то едва ли тот же Дух побудил меня солгать, чтобы уберечь от телесных повреждений. Я подумал, что Бог едва ли пошел бы на нарушение принципа правды.

Чем больше я размышлял, тем больше убеждался, что я поступил правильно, попытавшись помешать насилию, но что потом я положился на привычную колсоновскую хитрость, чтобы избежать неприятностей. Правильно было бы, я решил, полностью довериться Богу в момент опасности и сказать дерущимся чистую правду.

Доверие. Сколько мне еще предстояло узнать об этом принципе! В нем ключ к тому, чтобы избавиться от страха в беспокойные ночи; я должен довериться Помощнику. Он мог избавить меня от ночного страха внезапного нападения. Он мог помочь мне преодолеть соблазн лечь спать днем, заменить мою усталость свежими силами.

Сон был ловушкой для многих заключенных. День молодого парня, занимавшего соседнюю со мной койку, представлял собой нечто жалкое и удручающее. Утром он вставал в самый последний момент. После обеда он возвращался на койку, где оставался до выхода на дневные работы, то есть до 12:30; после обеда в 4:00 он спал примерно до семи, после чего мог почитать часок-другой порнографический журнал и засыпал до утра.

Поражаясь его способности столько спать, я не мог одновременно не видеть, что он теряет силы с каждым днем. Его походка стала замедленной, плечи обвисли, а сероватое лицо редко что-либо выражало. Я сомневался, сможет ли он, когда окажется на свободе, позаботиться о самом необходимом, не говоря уже о том, чтобы справиться с рабочими или семейными обязанностями.

И он был не единственным; другие тоже проводили свободные часы на койке и, если не спали, то, словно загипнотизированные, смотрели в потолок. Некоторые часами занимались каким-нибудь мелким делом, например, вновь и вновь начищали бляху ремня. Это называется "убивать время", делать все что угодно, лишь бы как-то скоротать ничем не заполненные дни. Привычка ходить медленно также является характерной чертой тюремной жизни; особенно отличаются этим "сони", которые ходят шаркающей походкой, словно исполняют роль в замедленном действии. Подобно полчищам саранчи, пустые часы выедают человеческую сердцевину. Скоро наступает почти полная дезориентация: человек смотрит на часы, а стрелки никогда не движутся; исчезает понимание времени и места.

Один "соня" занимал койку рядом с выходом, звали его Ли Корбин; он работал на одном из самых тяжелых назначений: подстригал траву, целый день таскал тяжелую газонокосилку, возвращался в барак мокрым от пота и лишенным сил. Когда однажды вечером я увидел, что он читает Библию, то подошел и представился.

— Я тебя знаю, — сказал он в ответ. — Это было здорово, когда ты уверовал. Я сам когда-то был христианином.

— Был христианином?

Он откинул голову назад, по его румяному лицу расплылась широкая улыбка: "Ха, если б ты только знал! Я по-настоящему пал, думаю, мне уже не выкарабкаться".

Мне хотелось расспросить его. Трудно было поверить, что такой искренний, трудолюбивый человек совершил непростительный грех. "Давай как-нибудь поговорим об этом", — предложил я.

"Не думаю, что это заслуживает твоего внимания, но если хочешь, поговорим", — ответил он. Тем не менее, когда я вечером проходил в последующие дни мимо его койки, он спал. Ничего, случай поговорить будет, я это знал.

Глядя на бродящих по тюрьме лунатиков, двигавшихся словно космонавты в открытом космосе, я принял твердое решение не ложиться в течение дня и стараться выспаться ночью. Случались дни, когда веки наливались свинцом и соблазн распластаться на койке и поспать часок-другой был велик, но я сопротивлялся этому желанию, даже когда знал, что сон мне нужен.

Когда позже я прочел "Письма и записки из тюрьмы" Дитриха Бонхоффера, то обнаружил, что он пришел к тому же решению. В своем жестком расписании дня он записал, что должен вставать рано, принимать холодный душ и работать целый день без сна. Помещенный в одиночное заключение, он твердо решил не поддаваться искушению занять горизонтальное положение, которое ослабило бы его самоконтроль и стало бы "первой стадией капитуляции".

Человеку, отказывающемуся быть частью системы и изо всех сил старающемуся сохранить собственную личность, очень часто угрожает опасность начать бороться ради самой борьбы. Борьба обычно переходит в непокорность, которая потом превращается в ненависть, переворачивая всю систему ценностей человека, сперва только в отношении тюрьмы, а потом и всего общества.

Требуется что-то совершенно незначительное, чтобы такой человек потерял рассудок; внутреннее напряжение способно натянуть до

предела те нити, на которых держится человеческое мышление. И я был тому свидетелем. Его звали Джеймс Говард — это был красивый молодой мужчина примерно тридцати с небольшим лет, с блестящими голубыми глазами и светлой рыжеватой шевелюрой, энергичный и бодрый. Вне тюремных стен он виделся мне в качестве брокера или предприимчивого представителя корпорации IBM. Поскольку мы с Полом Крамером часто говорили о Библии, однажды вечером он попросил меня помолиться за Говарда. "Вот уже несколько дней он совершенно невменяем. У него ужасная трагедия. Он к тому же не очень много рассказывает", — вот и все, что сообщил мне Пол.

Когда на следующий день я увидел в столовой Говарда, одиноко сидящего за столиком, то подсел к нему. После нескольких вводных фраз и кое-каких расспросов в разговоре часто наступали длинные неловкие паузы. Какие-то эмоции он проявил только один раз, когда начал страстно отрицать свою причастность к автомобильной краже. Меня все время не покидало тревожное ощущение, что мои слова пролетают мимо его сознания, не задерживаясь, а он вращается в каком-то собственном недоступном мне мире.

Говард жил в одном бараке с доктором Креншоу. Когда я спросил того о Говарде, он посмотрел на меня взглядом, убеждавшим не вмешиваться в это дело: "Лучше не говорить об этом, Чак, — сказал он. — Ему же будет хуже, если о его состоянии узнают и начнут его терзать".

"Но я всего лишь хочу помочь", — ответил я.

На это док поморщился, как от боли, и объяснил, что с его точки зрения Говард пережил нервный срыв. В один день получить отказ от комиссии по досрочному освобождению и письмо от жены, сообщаемой о своем уходе, оказалось для него слишком большим испытанием. "Чак, такое могло случиться с кем угодно. Я стараюсь уговорить Харта (тюремного врача) определить его в больницу, хотя бы для простого обследования, но Харт не может сказать, был у него нервный срыв или нет. Он вообще считает, что мы все чокнутые и, вероятно, прав", — пояснил док.

Док рассказал, что три дня назад Говард проснулся посреди ночи и закричал. Никто не обратил на это внимания; кошмары — обычное дело в бараке, где находятся сорок человек. С тех пор Говард ходил как в тумане, безразличный ко всему, словно из него ушла жизнь. "Что этому человеку нужно, так это психиатрическое лечение, но этого не будет. Отсюда переводят только тех, кого

надо выносить вперед ногами или тех, кто провинился. Так что забудь; просто постарайся быть с ним поласковее", — посоветовал Креншоу.

Через несколько дней Говарда поместили в двухкоечную больницу. Диагноза поставить не удалось, и его перевели обратно в барак. Я опять начал беседовать с ним за завтраком. Как-то во время разговора он перегнулся ко мне через стол и шепотом спросил: "Что ты обнаружил в моем деле?"

Я был озадачен: "В каком деле, Говард?"

Оглядевшись воровато по сторонам, он снова прошептал: "Помнишь, в тот вечер, когда ты был в "контрольной", у тебя в руках была папка с моим делом. И вы все там его обсуждали. Что ты там обнаружил?"

"Честное слово, Говард, я никогда не держал в руках твоего дела. Клянусь, я ничего не знаю об этом", — попытался объяснить я.

Он кивнул мне с заговорщическим, всезнающим видом: "Понимаю. Ты просто не можешь об этом говорить, не так ли?" У меня замерло сердце; было очевидно, что он болен паранойей. Креншоу не мог ему помочь; администрация не захочет этого делать. Я поклялся себе каким-то образом помочь Говарду, но наблюдать, как ежедневно увеличивается разрыв между этим молодым человеком и реальным миром, все равно было невыносимо больно.

Очень немногие заключенные, обнаружил я, были способны сохранить ощущение собственной личности и при этом не пропитаться отвращением к окружающей их несправедливости. Причины для недовольства крылись даже не в самой тюремной жизни, а были глубоко укоренены в судебной-криминальной системе. После стольких лет работы юристом, после всех усилий, потраченных на изучение идеалов справедливости, я начинал видеть закон в совершенно ином свете. Заключенные, разумеется, часто преувеличивают; и я легко сбрасывал со счетов многое из того, что слышал. Тем не менее, я понял, что многие истории были абсолютно правдивыми.

Например, среди заключенных был один деревенский парень, который за два года до того приобрел подержанный грузовик-тягач. Начав подобным образом, он открыл ставшую процветающей ремонтную мастерскую и заправочную станцию. Однажды поздно вечером он выплатил клиенту деньги по правительственному чеку на сумму в 84 доллара. После того как чек был отклонен банком, к нему пришли сотрудники ФБР и зачитали ему права: выяснилось, что чек

был краденый. Несмотря на то, что ранее молодой бизнесмен никаких столкновений с законом не имел, его осудили на шесть месяцев тюремного заключения. Человек лишился шести тысяч долларов, уплаченных адвокату, который признался, что ни разу до того не бывал в федеральном суде, восьмидесяти четырех долларов за краденый чек и шести месяцев собственной жизни.

Это случай поразительный, но не скажешь, что необычный. Один из моих соседей по бараку, мелкий предприниматель из Северной Каролины, был осужден по трем статьям за то, что не уплатил акцизного сбора. На самом же деле, он просто разозлил каким-то неосторожным замечанием судью, и в результате проступок, за который редко кого сажают в тюрьму, стоил ему восемнадцати месяцев тюремного заключения, причем судья рекомендовал комиссии по досрочному освобождению выдержать его полный срок. Что комиссия и сделала.

Другой человек, с которым мы позже подружились, отсидывал четыре года за уклонение от уплаты налогов на сумму в 4.000 долларов. ВНС предоставила ему шанс сделать добросердечное признание и отделаться штрафом, но мой будущий друг настаивал на своей невиновности. После нескольких лет судебных разбирательств, несмотря на то, что он был оправдан по большей части обвинений, утомленный судья вынес жесткий приговор.

Может быть, были еще какие-то факторы, сыгравшие свою роль в этих случаях, и я признаю, что многие из тех, кого действительно следует наказывать, уходят оправданными. Но по мере того, как подобных рассказов становилось все больше, а я старался, как мог, их проверять, я начал понимать, что неадекватность наказания является главной причиной недовольства тех, кто сидит в тюрьме. Несправедливость системы, особенно болезненно ощущаемая, когда сталкиваешься с жертвой лицом к лицу, вызывает презрение к закону даже у тех, кто получил наказание по заслугам.

Особенно мне хотелось помочь с составлением ходатайств неграмотным людям, но я отчетливо помнил суровое предупреждение не заниматься в тюрьме адвокатской практикой. Мне сказали, что адвокатов, которые так поступают, немедленно переводят в другие тюрьмы. Креншоу не позволяли помогать по медицинской части, даже несмотря на то, что на соседней военной базе врачей не хватало, а в тюрьме не было вовсе. Правила очень жесткие. Мне скоро предстояло пройти в этом отношении проверку.

Чтобы избавиться от мрачной атмосферы, царившей в бараке после первого дня слушаний, я направился в библиотеку, находившуюся в задней части Контрольного здания. В маленькой библиотечной комнате вдоль одной стены стоят крохотные стойки для письма, а вдоль другой идут книжные полки, набитые старыми романами в бумажных обложках, потрепанными словарями, устаревшими экземплярами Уголовного кодекса, газетами и старыми журналами. Заключенные обычно собирались за двумя большими столами, стоявшими в обоих концах комнаты, где обсуждали составляемые предпринимчивыми товарищами заявления и апелляции, играли в карты или читали. Даже учитывая это, здесь было тише, чем в бараке, и светлее, а белые стены создавали ощущение хоть какой-то чистоты. Работавший библиотекарем Пол Крамер проводил здесь почти каждый вечер.

Поглощенный писанием писем, я обычно не обращал внимание на шум чужих голосов. Но в тот вечер я стал прислушиваться к разговору группы людей, собравшихся вокруг Пола в углу комнаты. Больше всех говорил человек по имени Текс, яркая личность, бывший евангелист, много лет разъезжавший по той части страны, где было развито Движение возрождения.* Потом он оставил служение и стал переправлять краденые автомобили. Во время шестимесячного заключения он покался и вернулся к Господу со всей страстностью новообращенного.

Текс был рыжеволос, с глазами навывкате и выступающей нижней челюстью. Его шея была кирпичного цвета, руки короткие и мускулистые. Рядом с ним стояли двое других заключенных. Один из них — негр, с чем-то властным в лице, работал в загородной гостинице в Колумбусе, штат Джорджия. После того как его условно освободили из тюрьмы, где он сидел за торговлю наркотиками, у него нашли спортивное ружье, и он на девять месяцев вернулся за решетку. Другой, тихий человек с копной курчавых волос, часто сидел в библиотеке, читал Библию или работал над библейскими курсами по переписке.

* Движение возрождения — христианское движение, начавшееся в 60-х гг. XX века на западном побережье США. Связано с обновлением духовной жизни посредством нисхождения на верующего силы Святого Духа — возрождения. — Прим. пер.

Текс громким шепотом объяснял бедственное положение одного заключенного по имени Боб Фергюсон, который должен был на следующий день предстать перед комиссией по условному освобождению: "Боб в ужасной форме. Сегодня весь вечер он просто на ушах стоит. Но, слава Богу, мы должны ему помочь. Бедняга — у него жена, пятеро детей и ни цента денег. Если его не выпустят, им не выжить. Слава Богу, мы должны ему помочь. Может, помолиться с ним. Он просто с ума сходит".

Я подошел к этой маленькой группе. "Извиняюсь, но я все слышал про этого беднягу Фергюсона. Я бы тоже хотел с ним помолиться", — предложил я.

Текс с горящими глазами схватил меня за руку: "Присоединяйся к нам, брат. Присоединяйся. Слава Богу!" Один из мужчин пошел за Фергюсоном. Пол послал за своим близким другом Амосом, аптекарем из Атланты, который отсиживал шесть месяцев за то, что выписывал на докторских бланках рецепты, в которых была превышена допустимая доза наркотиков. Через несколько минут собралось семь человек. Мы некоторое время посовещались перед дверью в библиотеку о том, куда нам лучше пойти. Охранники всегда очень настороженно относились к собраниям заключенных в неприметных уголках тюрьмы, так как обычно это означало, что они курят марихуану. Молиться в библиотеке мы не могли, потому что в ней, как и в бараке, были другие заключенные. Актный зал находился в запретной зоне. У Пола были ключи от двух примыкавших к библиотеке небольших классных комнат, которые запирались на ночь и также находились в запретной зоне.

Классные комнаты показались нам лучшим вариантом. Мы зашли туда и заперли за собой дверь. На меня сразу нахлынули воспоминания о начальной школе. Три колонки незатейливых деревянных полированных парт с аккуратно поставленными стульями, учительский стол на фоне внушительной доски, на которой мелом было написано: "Джон бежит. У Джона есть кошка. Кошка коричневая". Здесь регулярно преподавали основы чтения и письма, потому что из населявших тюрьму людей примерно 15% совершенно не владели грамотой. В основном это были жители горных деревенских районов, самогонщики из крошечных шахтерских общин в Алабаме, Теннесси, Кентукки и обеих Каролин. Являясь в большинстве своем простыми, богобоязненными людьми, имеющими свои понятия о добре и зле,

они не могли справиться со всеми тонкостями Кодекса по внутреннему налогообложению, сложными законами общества и армиями федеральных агентов.

Фергюсон был как раз из таких деревенских людей — тридцати с лишним лет, без половины передних зубов, с красными глазами и встревоженно-смущенным выражением на лице. Фергюсон не сказал ни слова. Да этого и не требовалось; весь его вид взывал о помощи. Пол, как выяснилось, тоже должен был предстать на следующий день перед комиссией. Текс начал с того, что мрачно перечислил исход слушаний того дня. Перспективы тех, чье слушание было назначено на завтра, были не лучше; члены комиссии по условному освобождению не проявляли особой мягкости, строго придерживаясь разработанных положений.

Человек, изучавший Библию, прочел несколько псалмов и затем ряд мест из Евангелия от Иоанна, в которых говорилось о заступничестве за нас Христа. После этого Текс предложил, чтобы мы начинали молиться — про себя или вслух, как кто хочет, и вскоре все семеро стояли коленопреклоненные на холодном линолеуме классной комнаты. Текс начал говорить первым. В своем воображении я легко представлял его жарким летним вечером под навесом, в окружении нескольких десятков сельских жителей, которые со всей страстностью повелевают сатане удалиться во имя Иисуса, призывая всех собравшихся грешников выйти вперед и покаяться в своих грехах или быть проклятыми и осужденными на вечное пребывание в аду.

"О, Господь, — воскликнул он, — просто пощади этих людей, что завтра пойдут на комиссию по освобождению. Мы славим Тебя, Господь. И мы просим Тебя об этом, дорогой Господь, во имя Иисуса. Мы все — грешники, но стоим здесь на коленях и просим Тебя! Мы знаем, дорогой Господь, Ты услышишь нас. Мы любим Тебя, Иисус". После каждой фразы Текс глубоко вбирал воздух, вздыхал и дрожащим от переполнявших его чувств голосом начинал опять.

Следующим тихо и коротко помолился Пол, затем и остальные. Я молился последним: "Господь, смягчи сердца работников комиссии, очерстневшие за годы общения с преступниками, как с неодушевленными существами, — сказал я. — Пожалуйста, дай им мудрости, любви и сострадания".

Когда мы медленно поднялись с колен, я вдруг обнаружил, что обнимаю чернокожего великана. Текс прыгал с одной ноги на другую, славя Бога за то, что Тот наполнил его Святым Духом. Фергюсон, не стесняясь, плакал. Мы тихо покинули помещение класса и группами по два и три человека вернулись в свои бараки — как раз вовремя, чтобы успеть к расчету в 10:15. Никто из охранников не помешал нашему маленькому собранию, но каким странным оно показалось бы, случись кому-то заглянуть в классную комнату!

Следующим вечером по тюрьме быстро разошлись очередные новости: условно освобождены пять человек, и Фергюсон среди них. Мало кто ожидал этого: Фергюсон не подлежал освобождению в соответствии с разработанными правилами. Статистика была поразительной: из семи представших перед комиссией пять выпущены на свободу — невероятная перемена по сравнению с прошлым днем. Это был самый удачный день даже на памяти местных старожилов. Среда прошла почти с таким же успехом; значительно больше, чем половине людей были назначены даты слушаний на предмет условного освобождения. Пол был в их числе.

Пол не готовился к встрече с комиссией, как это обычно делают. На встрече с его стороны никто больше не присутствовал. Он даже добровольно предоставил информацию о том, что, несмотря на то, что женат (это всегда очко в пользу заключенного), вероятнее всего, будет скоро женой оставлен. Когда его спросили о том, каким он видит свое будущее, Пол не стал приукрашивать свое положение и рассказывать о каких-то невероятно радужных планах, а просто сказал, что уверовал в Господа и Тот, наверное, укажет ему путь. По словам Пола, комиссия выслушала его в недоумении; тем не менее, назначила слушание на март.

Пол вернулся в барак совершенно потрясенным, с каким-то отсутствующим взглядом: "Я не могу поверить в это, Чак, просто не могу поверить... По правилам мое дело можно рассматривать только после того, как я отсижу два года. А они сказали, что вызовут меня на комиссию весной. Если я буду вести себя благоразумно, меня выпустят. Просто невероятно; слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я даже ничего не чувствую, словно оцепенел".

Это, действительно, было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Исход слушаний поднял дух всего лагеря. В столовой было полно

улыбающихся лиц. Кое-что стало также известно о нашей молитве в понедельник. Некоторые из семерки во вторник стали мишенью для многочисленных подшучиваний, но в среду все шутники прикусили язык, а к вечеру в среду даже самые закоренелые циники прониклись благоговением к тому, что произошло в маленькой классной комнате. Многие желали верить, что за этим что-то было, хотя и не понимали, что именно.

К Библии также стали относиться с уважением. "Теперь будьте начеку; а то кто-нибудь может ее стащить", — улыбнувшись, предупредил меня Джимми, наш домохозяин.



24

Рука помощи

"Вы, ребята, каждый вечер вместе молитесь?" — прозвучал вопрос. На выходе из столовой передо мной стоял Ли Корбин, который как-то вечером признался, что его грехи слишком велики и прощения ему уже нет. "Знаешь, я ведь на самом деле верю в то, что вы делаете", — сказал Корбин с чувством.

"Давай, присоединяйся к нам", — предложил я. Первый опыт молитвы оказался настолько вдохновляющим, что Пол, Амос и я на следующий вечер встретились вновь, чтобы помолиться за Текса, который на следующей неделе должен был выйти на свободу. Нужд оказалось так много, что мы продолжали встречаться ежедневно.

Значительную часть той ночи я провел, беседуя в темноте с Ли. "Я обманул столько людей, — признался он. — Даже если бы у меня были деньги, чтобы возместить им ущерб, я просто не смог бы их всех отыскать". Корбин потряс меня своим рассказом о том, как он сделался настоящим виртуозом мошенничества. Начал он в качестве фиктивного, но пользовавшегося успехом проповедника. Корбина, обладающего зычным голосом и хорошим знанием Библии, скоро пригласили вести еженедельные проповеди на нескольких алабамских радиостанциях. "Но я проповедовал не Христа, а Ли Корбина", — признался он.

Через некоторое время он настолько увлекся различными бизнес-проектами, что совершенно оставил свою роль проповедника.

Последовало несколько махинаций с целью быстро разбогатеть: банковские займы для прекративших существование корпораций, фальшивые концессии на установку торговых автоматов, поддельные кредитные карточки; каждая новая махинация становилась все изощреннее.

"Это была сплошная ошибка, и я все время это понимал, но я был связан по рукам и ногам: сотысячный дом, новые машины, яхта. Все было так просто. Мне было жаль тех, кого я обманывал, и я ненавидел себя, но остановиться не было сил", — рассказывал Ли.

Семь лет Ли колесил по южным штатам, оставляя за собой шлейф обескураженных, подавленных, а зачастую и разоренных людей, плюс огромное количество разъяренных полицейских. Затем все стало рушиться; ему была предъявлена серия обвинений, и он превратился в беглеца. Когда его арестовали, он, по иронии судьбы, присутствовал на Служении возрождения в Южной Каролине.

"Господь выловил меня прямо из толпы. И я заслужил это", — добавил он.

Корбину грозило поразительное количество обвинений: почтовое мошенничество, присвоение чужой собственности, подделка документов. "Меня могли упрятать за решетку на всю жизнь, и, думаю, все к тому и шло", — сказал он. К большому удивлению, Корбина судили только за почтовое мошенничество, приговорив к одному году тюрьмы, все же прочие обвинения были сняты.

"Но мне никогда не возместить убытки тем, чьи деньги я присвоил, — убеждал он меня. — Даже если я буду работать для этого всю оставшуюся жизнь. А как Господь может меня простить, пока я этого не сделал?"

В ту ночь мы говорили о прощении. Корбин изучал Библию, но, казалось, лучше знал Ветхий Завет, чем Новый. Содержащееся в книге Левит 6:2-5 указание о том, что если человек неправедно присвоил себе собственность другого, то обязан все вернуть, плюс уплатить пострадавшему 20% от стоимости присвоенного имущества, огненными письменами было запечатлено в его сознании.

Мы открыли Евангелие, и я обратил внимание Ли на тот факт, что Иисус пришел спасти грешников; взойдя на крест, Он стер всяческое упоминание о наших грехах. Вчитываясь в тот вечер в Священное Писание, мы оба пришли к заключению, что Иисус потребует от Ли только открытого сердца, полного покаяния, возмещения ущерба насколько это возможно и возобновленной преданности.

Дальнейшее подтверждение мы нашли в 7 главе Послания к Римлянам, где Павел пишет о дилемме ветхозаветного человека, который знал Закон и старался жить по нему, но делал нечто совершенно противоположное, потому что не мог совладать со своими человеческими слабостями. "Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех" (Римл. 7:19,20). Суть слов Павла состоит в следующем: пытаюсь жить по Закону, мы совершаем тот самый грех, которого стремимся избежать.

Но этого Корбину показалось недостаточным для того, чтобы увидеть ловушку, в которую он попал. Ключ к ответу мы нашли в следующей главе Послания к Римлянам: "Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти" (Римл. 8:2).

Именно эта проблема — как попросить Святой Дух взять нашу жизнь в Свои руки — мучила меня с того времени, как я принял Христа. Я чувствовал, что Его Дух во мне пребывает. Тем не менее, я не вполне понимал, как убрать свое греховное "я" с Его пути и дать Ему возможность полностью завладеть моей жизнью. Странно, что именно в тюрьме я обрел эту свободу.

Корбин стал посещать наши вечерние молитвы. На четвертый день Пол предложил Ли открыться Богу, попросить прощения и помолиться Святому Духу, чтобы Тот снова вошел в его жизнь. Ли начал молиться и молился так искренне, как я еще никогда не видел; он умолял Бога принять его обратно и изгнать сатану из его жизни. В какой-то момент в его речи что-то изменилось, слова сделались непонятными, напомнили мне григорианский распев, который я слышал однажды в католической церкви. Сам я никогда не молился на языках и даже не слышал, как это делается, но в тот момент я ни секунды не сомневался, что именно Дух направляет речь Корбина. Когда он закончил молиться, казалось, все силы до последней капли оставили его, и он рухнул на пол.

В последующие дни я наблюдал за происходившей в нем переменой. Корбин перестал по вечерам спать, читая вместо этого Библию, стал энергичнее, почувствовал осмысленность своей жизни. Мог ли я в точности объяснить это с точки зрения Библии и богословия, я не знал, но видел, что перемена подлинная. Теперь я с радостью оказался бы с ним в одном окопе во время боя; Ли неожиданно стал твердым, ответственным и надежным.

Теперь мы регулярно встречались вчетвером для молитвы. Вдохновленные крепостью нашего общения, мы решили вовлекать в него других. Независимо от того, с кем мы сидели за столом, перед едой мы всегда просили Господа благословить пищу. Отстояв в очереди с подносом, мы находили свободное место и, склонив головы, просили о благословении.

Сперва товарищи смотрели на нас широко открытыми глазами. Тем не менее, насмешек и выходок в наш адрес не было. Вскоре наш пример подействовал: то тут, то там кто-нибудь склонял голову и делал то же, что и мы. К моему удивлению, даже когда я присаживался за столик, где люди уже ели, они прекращали есть и разговаривать и склоняли головы вместе со мной. Было впечатление, что мы создали в "Максвелл" плацдарм для вторжения Святого Духа!

Несмотря на то, что мы каждый вечер встречались в классе, большинство новичков предпочитало приходить в понедельник. Через несколько недель встречи по понедельникам стали регулярными и превратились в курсы по изучению Библии. Мартин Гей, христианский работник из Монтгомери, присоединился к нам, чтобы вести обучение.

Считала ли нас основная часть заключенных "психами?" Некоторые, вероятно, да. Но это не имело значения: мои приоритеты изменились. Как-то вечером один из "крутых" заключенных, молодой парень, намеренно завел со мной разговор, когда мы натирали пол на машинах-полотерах. "Небось, никогда не занимался этим в Белом доме, а?" — спросил он.

Я улыбнулся ему: "Я делал это, когда тебя еще на свете не было".

Удивленный, он только слабо улыбнулся и вернулся к навошиванию пола. Один из старожилов отвел меня в сторону. "Можешь не утруждать себя так сильно, — сказал он. — Мы знаем, почему ты это делаешь, можешь не переживать. Мы все обсудили. Ты нормальный мужик".

Итак, вот оно случилось. *Нормальный мужик* — это волшебные слова. Я выдержал испытание на прочность, и теперь большая часть заключенных считала меня нормальным человеком. Разумеется, в этом не было ничего официального, но по негласному кодексу я стал равноправным среди остальных. Это означало конец насмешкам, любопытным взглядам и подозрительности. Мне, впрочем, по-прежнему придется быть начеку в отношении одиночек, тех, кто не

принадлежит к системе. Угроза моей жизни, вероятнее всего, исходила как раз от одного из таких "чеканутых". Но теперь, по крайней мере, у меня будут хоть какие-то союзники. Обычные заключенные будут держать ухо востро и предупредят меня, если что, поскольку всегда подстраховывают друг друга. Забавно, что я стал для них "своим", когда уже перестал к этому стремиться.

С первых недель пребывания в "Максвелл" я мучительно переживал запрет заниматься юридической помощью заключенным. Возможно, на установление такого правила были свои причины, но учитывая отчаянную нехватку в тюрьме юристов, не использовать свои знания казалось мне зарыванием в землю таланта. В глазах заключенных это было еще одним шагом к планомерному обезличиванию; людей, лишенных чувства достоинства и уважения к себе, легче контролировать. С другой стороны, моя жизнь в тюрьме резко изменилась после откровения, которым послужила для меня 2 глава из Послания к Евреям. С тех пор я стал вмешиваться.

Разрешить сомнения мне помог Хомер Уэлш, седой мужчина, занимавший соседнюю со мной койку. Хомер был настолько робким, что вскакивал с постели каждый раз, когда я к нему обращался, и продолжал называть меня "сэр" даже после того, как я попросил его этого не делать. По маленьким кусочкам мне удалось вытянуть из него следующие факты: он работал на угольных шахтах в восточной части Теннесси, очень любил свою жену и пятерых взрослых детей. У него был собственный дом. К несчастью, в качестве хобби он избрал домашнее изготовление виски.

Изготовление спиртного считается у этих горных людей почетной и уважаемой профессией. Выгода же обычно мала, по крайней мере по сравнению с тем каторжным трудом, который требуется от самогонщика. Многие самогонщики не имеют других умений и навыков; их профессия передается от поколения к поколению. Быть впереди "легальщиков" — вот единственная настоящая задача этих людей; они сознают незаконность своего занятия, но не считают его аморальным. Многие, будучи пойманными, так и не отправляются в тюрьму, потому что существует некое "негласное соглашение" между местными судьями и профессиональными самогонщиками. Те же, кто все-таки попадает за решетку, не могут взять в толк, почему они оказались в одном месте с людьми, которые лгут, мошенничают и крадут, да еще с примерно одинаковым сроком наказания. Самогон-

щики — это обычно трудолюбивые, богобоязненные, читающие Священное Писание люди.

Именно таким был Хомер. Вечерами он читал Библию короля Иакова в потертом кожаном переплете. После того как я предложил ему свою Библию в переводе Филлипса, он стал ее брать, но все равно каждый раз очень церемонно просил разрешения. Во время одного из таких обменов Хомер набрался мужества и решил, наконец, попросить меня еще об одном одолжении.

— М-р Колсон, если Вы откажетесь, то я прекрасно это пойму, но, как Вы думаете, не могли бы Вы мне помочь с письмом к моему судье? Он сказал мне, что я просижу здесь только четыре месяца. Я никак не могу встретиться со своим социальным работником, а ведь я здесь уже четыре месяца. Мне кажется, меня не собираются условно освобождать, как обещал судья. Я подумал, что, может быть, мне следует ему написать, и он как-то мне поможет. Если меня выпустят, то в ноябре я получу работу, а если нет, то они не станут ее придерживать. Не могли бы Вы мне помочь, сэр?

Я объяснил, что мне запрещено этим заниматься, и он тут же стал извиняться: "Простите, что побеспокоил, сэр. Я все понимаю. Надеюсь, я не очень Вас потревожил своей просьбой".

Просьба Хомера не выходила у меня из головы всю ночь. Он мой сосед и честный человек. Он явно не мог позволить себе нанять адвоката, а если и мог, то процедура найма была ему, вероятно, не по зубам. Социальные работники слишком заняты, чтобы оказать ему реальную помощь, а работу человеку в его возрасте найти нелегко. К тому же была вероятность, что он потеряет свой дом. На следующее утро я предложил Хомеру свой вариант. Коль скоро я не имел права писать за него письмо, пусть он напишет черновик, а я взгляну на него и посоветую, какие изменения нужно туда внести.

Лицо старика просветлело: "Конечно, сэр. Я его напишу. Я начну прямо сегодня. Спасибо, м-р Колсон".

Каждый вечер Хомер сидел на краю своей койки и корпел над листком белой линованной бумаги. *Послание, наверное, будет длинным*, подумал я.

Прошла неделя, прежде чем я поинтересовался, как он продвигается. "Думаю, все уже готово", — сказал он, протянув руку к тумбочке и достав из нее всего один белый листок. Практически неразборчивый текст занимал только полстраницы, причем это были

даже не предложения, а набор слов. "Это все, что я смог сделать, — смущенно пояснил он. — Но все факты здесь есть".

Как же я был слеп! Хомер не умел писать. Каждый вечер он мучительно бился над тем, чтобы на бумаге появились хоть какие-то слова, и стеснялся мне об этом сказать. Мы вместе пошли в библиотеку. Через двадцать минут я составил письмо к судье, употребляя при этом самый простой язык в надежде, что оно будет выглядеть так, словно его написал Хомер. Пол отпечатал его, и на следующий день оно ушло с утренней почтой.

С этого момента в моей жизни наметился новый курс: я не мог больше отказывать тем, кто нуждался в помощи. Это были мои братья. Господь указал мне путь, и теперь я на него встал. С того дня большую часть вечеров я был занят составлением заявлений о досрочном освобождении, просьб об увольнении и других всевозможных прошений, которые люди подают в надежде на освобождение или справедливое к себе отношение. Я придерживался правила не составлять судебных документов или жалоб на тюремных работников, что было бы прямым нарушением установлений.

Однажды днем, когда я следил за подачей белья в стиральные машины, в прачечную вошел новенький по имени Дэн, молодой человек из Теннесси, и стал искать "адвоката, который сидит за Уотергейт". Раздраженный тем, что он так беззастенчиво говорит об этом в присутствии охранников, я сказал, что не занимаюсь адвокатскими делами. Сияющая улыбка тут же исчезла с его лица, и он стал так похож на побитую собаку, что я смягчился и предложил ему подойти ко мне вечером после работы. Лицо Дэна снова просветлело: "Спасибо! Спасибо!"

В тот вечер Дэн ждал меня в дверном проеме барака со своей широкой улыбкой на лице. Мы нашли укромный уголок, и я попросил его рассказать, в чем дело. "Понимаете, сэр, — начал он, — я не знаю, на какой срок меня посадили, и я подумал, что, может быть... Ребята мне сказали, что вы можете мне написать судье письмо".

"Не морочь мне голову, — сказал я нетерпеливо. — Каждый знает, на сколько его посадили. За что ты сидишь?"

Я устал и, должно быть, вел себя раздраженно, потому что Дэн все время повторял "честное слово, честное слово". После знакомства со столькими жертвами системы, людьми, которые испытали

на себе самые невероятные удары со стороны закона, я мог бы и не удивляться так сильно.

— У тебя что, нет адвоката? — спросил я.

— Судья дал мне одного, который сказал, что я должен делать. Он сказал, что они с прокурором что-то для меня "сварганили". Когда я оказался перед судьей, то он смотрел на меня с такой злобой, что у меня все поджилки тряслись. Я не знаю, что он сказал. Что-то насчет четырех лет. Потом что-то насчет того, что наказание условное. Это мне понравилось. По крайней мере, мой адвокат говорил, что все будет условно. А потом два полицейских надели на меня наручники и увели. Адвоката я больше не видел и вот теперь сижу здесь.

Я смотрел на него в полном недоумении. Я верил, что Дэн говорит мне правду. Я также знал, что подобное случается; иногда назначаемые судом адвокаты не желают забивать себе голову подобными делами и наспех заключают с обвинением сделку, а ничего не подозревающего подзащитного оставляют на милость судьи. Поразило меня другое: передо мной был приличный розовошекий пацан, который оказался в тюрьме и даже не знал, за что и на сколько. Потом, когда Дэн принес мне свои бумаги, я увидел, что ему присудили четыре года за покупку краденой машины. Было трудно поверить, что за подобное нарушение последовало столь жестокое наказание. Я согласился сделать все возможное, чтобы помочь ему.

Решение отступить от совета Креншоу производило во мне незаметные внутренние изменения. Я стал испытывать еще меньше озлобленности по отношению к тем силам, которые привели меня к тюремному заключению, стал понимать, что несправедливость — это, прежде всего, часть жизни. Разрешение печальных юридических проблем других заключенных оставляло мне мало времени на мысли о себе и сделало очевидным существование в нашем обществе определенной потребности. Вскоре у меня почти не осталось возможности заниматься собой, я стал спать еще меньше, чем раньше, проводя в задымленной комнате отдыха много времени за составлением документов и консультированием заключенных.

Прежде я целыми днями жил с ощущением нависшей надо мной угрозы, спал чутко и все время приглядывался, не увижу ли полный ненависти взгляд, который выдаст вероятного убийцу. Теперь же, когда Божий Дух так активно действовал внутри этих стен, я смог

довериться Ему даже в этом. Когда время придет, я обязательно встречу с этим человеком лицом к лицу. А до тех пор у меня есть и другие дела.

Другое изменение заключалось во все возрастающей благодарности за то, что у меня есть семья и друзья. Я сознавал, что за стенами тюрьмы есть еще много людей, ненавидящих "исполнителя грязной работы". Но куда более важным было то, что мне писали простые американцы, желающие поддержать меня в трудную пору моей жизни. Одна семья — чета Гилверсов из Бивер Фолз в Пенсильвании — написала, что они меня усыновили. Каждую неделю я получал небольшие послания от детей Гилверсов, карандашные рисунки, смешные открытки, книги, маленькие, но исполненные глубокого смысла подарки неизменно с выражениями христианской любви.

Регулярные визиты Патти по выходным были, конечно же, самым светлым временем. На день рождения она подарила мне то, о чем я мечтал все эти месяцы, проведенные в тюрьме, — свадебную праздничную ленту, на которой она написала: "4 апреля 1964 года — навсегда". Это, возможно, был забавный подарок для двух давно женатых людей, но эта лента должна была ежедневно напоминать мне о том, что нас связывает, причем слово *навсегда* приобретало совершенно особый смысл для нас обоих.

На день рождения я получил письмо от президента (см. стр. 352).

Визит моих бывших партнеров по фирме Чарли Морина и Джорджа Фендера, навестивших меня в день моего рождения, тоже получился памятным, но иначе. Как адвокатам, им удалось получить особое разрешение посетить меня в середине недели. Поскольку помещение для свиданий было закрыто, нас проводили в кабинет под названием "Капитанский", со вкусом обставленную комнату с большим деревянным письменным столом по центру. Несмотря на опасение, что у меня самого развивается паранойя, я не мог отделаться от подозрения, что Капитанский кабинет прослушивается. Помещение использовалось для дисциплинарных заседаний, запись которых, что вполне логично, должна была интересовать тюремное начальство.

Я знал, что все телефонные переговоры заключенных прослушиваются и, вероятно, даже записываются, коль скоро один из осужденных видел записывающее оборудование. (Тюрьмы различаются той степенью свободы, какую они допускают в отношении телефонных звонков. В "Максвелл" нам разрешалось делать неограниченное

16 октября 1974

Дорогой Чак!

Вот уже два месяца после моей отставки, как мы находимся в Калифорнии, и я окружен докторами; хочу, чтобы ты знал, что в течение всего этого непростого времени ты постоянно присутствовал в моих мыслях и молитвах.

Когда я вспоминаю ту удивительную щедрость, с которой ты служил Администрации, твою преданность мне лично, твою дружбу, сердце мое исполняется болью при мысли о том, какое тяжелое испытание ты сейчас переживаешь.

К счастью, ты молод, полон сил, и у тебя чистое сердце, поэтому нынешнее положение временно, и настанет день, когда мы будем смело смотреть жизни в лицо.

Да благословит тебя Бог! До встречи,

с уважением,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rick Warren", with a long horizontal stroke extending to the right.

количество звонков за счет адресата по двум телефонам-автоматам, но в строго определенное время дня. Учитывая, что перед автоматами всегда стояли большие очереди, 10-минутный лимит для одного разговора соблюдался строго. То, что заключенные получили реальную возможность звонить по телефону, являлось очень важным фактором в поддержании их морального облика.)

Всю отправляемую и поступающую почту, за исключением посланий от адвокатов, просматривали и читали. Чувство, что за тобой постоянно наблюдают, было одним из самых неприятных во всем тюремном быте. Поэтому, пока Джордж Фендер блистал анекдотами и смешными историями из жизни фирмы, я невольно пытался отыскать, где в комнате спрятаны подслушивающие устройства. В конце концов, я написал Чарли Морину записку: "Комната, вероятно, прослушивается".

Чарли прочел и понимающе кивнул. Джордж прочел записку, заглянув Морину через плечо, и затем попытался приподнять письменный стол, но тот оказался привинченным к полу. Он черкнул мне ответную записку: "Ты прав, шнуры от микрофона идут по ножкам стола и под пол — стандартная технология".

Теперь я уже не мог подавить своего любопытства и пошел в соседнюю комнату, якобы поинтересоваться у секретарши, по какой линии Морин может позвонить. Она смутилась, вскочила и вывела меня из комнаты, но не раньше, чем я успел хорошенько разглядеть на ее столе большой магнитофон с вращающимися катушками, на которые, очевидно, что-то записывалось.

Затем я припомнил, что те немногие визиты, которые мне наносили в течение недели, также проходили в этой комнате. Уолли Хенли, местный проповедник, с которым мы одно время вместе работали в Белом доме, встречался со мной несколько раз, и все время встречи проходили в этой комнате. Мы молились о вопросе, который мучил меня в течение первых дней: если начальник тюрьмы или другое официальное лицо потребует, чтобы я предоставил информацию о каком-нибудь заключенном, как мне избежать "стукачества" и в то же время не солгать? Несмотря на то, что других заключенных склоняли к "стукачеству", меня — никогда. Не могло ли это произойти оттого, что они слышали наши молитвы?

Нам не удалось провести несколько часов встречи спокойно и непринужденно, как мы хотели. Увидев меня в тюремном облачении и не имея возможности быть самими собой, мои друзья только еще

больше погрузнели. Я же, побыв с двумя хорошими друзьями и зная, что они могут беспрепятственно выйти из этих стен, вдруг резко захотел на свободу. Сознание того, что наш разговор, вероятно, записывается, еще больше нас обескуражило. Затем мне в голову пришла одна идея.

Быть может, Бог таким образом дает нам возможность помочь Говарду! К большому удивлению моих друзей, меня вдруг охватило праведное негодование: "Этот заключенный, Джим Говард, пережил нервный срыв, а тюремному начальству нет до этого никакого дела. Это преступление, — начал я вещать. — Говард не покинет эти стены, пока не сойдет с ума или не покончит с собой. Это не что иное, как человекоубийство, настоящая преступная халатность. Начальник тюрьмы так обеспокоен поставкой рабской рабочей силы на воздушную базу, что даже не думает об отдельных людях. Находясь в тюрьме, я ничего не могу с этим поделать, но уж когда выйду..." Надеюсь, что начальник тюрьмы услышит мои слова, я постарался произнести их как можно суровей и серьезнее. Друзья быстро сообразили, к чему я клоню, и стали мне подыгрывать.

На следующее утро, работая в прачечной, я услышал, как м-ру Блевену было приказано принять срочный заказ на стирку одежды и белья от заключенного, которого переводили в другую тюрьму. Он вышел из своей конторы, удивленно покачивая головой: "Не могу понять, что происходит. Что-то странное творится. Никого так не переводят".

В тот же день Джим Говард в сопровождении двух охранников был перевезен в тюремную больницу в Атланте, а мы с Полом, Амосом и Ли в тот же вечер от всего сердца возблагодарили Бога.

Эту неделю Патти, решив не возвращаться в Вашингтон, провела в Монтгомери. Уже много лет заключенные со своими женами по вторникам посещали службы брата Блоу, а по четвергам присутствовали на службе методистов. Пары сидели вместе, но жены уходили немедленно после службы. Мне бросилась в глаза аккуратность, с которой каждая из пар соблюдала это правило. Никаких посещений, только служба.

Патти приехала во вторник вечером в сопровождении брата Блоу и его жены. Дождь лил как из ведра. Несмотря на то, что в зале было холодно и промозгло, служба нас быстро согрела. Брат Блоу, баптист-южанин, был в замечательной форме, и служба произвела на

Патти такое же сильное впечатление, как в самый первый раз и на меня. Должно быть, до начальства дошло, что на службе со мной присутствовала жена, потому что на следующий день меня вызвали в кабинет. "Женам заключенных запрещено приходить на тюремную службу", — отчитал меня дежурный офицер.

"А мне сказали, что они это делают уже много лет", — ответил я.

"В таком случае, здесь что-то не так, — ответил офицер. — Если жены посещают церковные службы, мы положим этому конец немедленно".

У меня сжалось сердце. Неужели мы с Патти испортили жизнь всем остальным?

"Люди здесь отбывают наказание", — отчеканил он, ударив ладонью по тыльной стороне другой: жест, слишком часто выражающий философию тюрьмы "Максвелл". "А когда жены присутствуют с мужьями на службе в течение недели, это называется посещением", — заключил он.

Заключенный, служивший помощником капеллана на военной базе, пошел ходатайствовать к начальнику тюрьмы. "Вы обязательно должны прийти послушать брата Блоу лично, м-р Гранска. Он очень любит Бога", — упрашивал он.

"Это хорошо, что любит; любовь ему понадобится, когда я буду с ним разбираться", — ответил Гранска ледяным тоном.

Были и более резкие выражения. В конце концов, надзиратель принял решение: церковные службы — это привилегия, никак не право. Жены заключенных нарушали распорядок. Я не мог не заподозрить в подобной реакции отголоски дела Говарда.

По лагерю быстро разнеслась новость, что теперь женам запрещено ходить на будничные службы. Я чувствовал себя особенно подавленным, потому что понимал, что именно присутствие Патти положило конец этой давней традиции. Указ начальника тюрьмы подействовал на обитателей тюрьмы удручающе: не то, чтобы все заключенные посещали службы со своими женами, но отказ в любви, пусть малейшей, привилегии воспринимался очень болезненно. Возникла угроза тем необыкновенно тонким отношениям, что установились между осужденными и начальством. Также это оказалось предзнаменованием еще больших неприятностей, ожидавших нас впереди.

С того дня на посетителей стали оказывать все большее давление. Однажды на уик-энд из Вашингтона прилетели Даг Коу и Фред Ро-

удс, заменившие переутомленную Патти. Фреда, бывшего тогда председателем Комиссии по почтовым ставкам, остановил охранник и грубо обыскал его дипломат, ворча при этом что-то в адрес все время улыбавшегося Фреда. Огорчила нас именно грубость этого охранника, никак не сам обыск, который не выявил ничего, кроме дозволенных предметов.

Фред пришел к выводу, что некоторые из охранников свободны еще меньше, чем сами заключенные: "Давай помолимся за них, Чак". Мы помолились прямо там, на площадке для посетителей, произнеся, вероятно, вообще первую молитву о том охраннике, если, конечно, не считать молитв, в которых говорилось о его переводе в другую тюрьму. Позже мы вернулись к молитве о нем во время нашего тюремного общения.

Тем временем Даг, со свойственной ему неудержимостью пере-знакомился почти со всеми заключенными, находившимися тогда в зоне для посетителей: ободрял, наставлял, сближался. Фред завел тихий разговор с Ли Корбином. К Дагу и Фреду присоединился Джим Хиски, который по всей стране вел служение для профессиональных игроков в гольф. Втроем они привнесли внутрь тюремных стен атмосферу любви, несмотря ни на какие препятствия. Потом на следующей неделе Ли Корбин не спал целую ночь, мастера из лески оригинальную модель яхты, которую послал Фреду Роудсу. Фред в ответ прислал ему Библию в издании "Скотфильда". Председатель Комиссии по почтовым ставкам и человек, осужденный за почтовое мошенничество, делились верой — по почте.

В тот вечер я написал Дагу: "Я не могу тебе передать, как много значат для меня эти посещения. Я часто чувствую себя так, словно служу на далекой границе вдалеке от духовного дома и братьев. Впрочем, я знаю, что это Божий замысел, и принимаю его с радостью. Однако с такой же силой, с какой я скучаю по своему физическому дому и Патти, я скучаю по своему духовному дому и нашему общению. Господь действует здесь с поразительной силой, и есть мало других мест, где Его присутствие было бы столь же необходимо, как здесь, в этом городе заблудших душ. Потребность в присутствии Божиим есть, должно быть, и в других тюрьмах..."

Когда мы встретились в первый раз, брат Блоу попросил меня выступить во время одной из проводимых им по вторникам служб. Тогда я отказался, сославшись на то, что сперва мне нужно завое-

вать доверие товарищей по заключению. Но события последних недель убедили меня в том, что пришло время попытаться рассказать моим товарищам об обращении. Я согласился выступить на следующей неделе.

Приказ начальника тюрьмы, запрещающий женам присутствовать на службе по будним дням, еще больше заставил людей сплотиться вокруг брата Блоу. В следующий вторник на службу пришло вдвое больше заключенных, плюс прихожане из церкви, где проповедовал брат Блоу. С приближением момента выступления я все больше впадал в беспокойство и нервничал. Нелегко мне будет рассказать о своей жизни в Белом доме сидящим передо мной самогонщикам и простым селянам. Что я могу сказать им полезного?

Брат Блоу начал службу со своим обычным энтузиазмом. После исполнения гимнов, песен под гитару, на которой играл один из заключенных, и короткой проповеди Блоу слово было предоставлено мне.

Я начал с молитвы, в которой попросил, чтобы Господь направил мою речь. Затем слова потекли сами собой, сперва неуверенно, но все четче по мере того, как я рассказывал о том, что гордостью и эгоизмом был отделён от Бога, а собственными грехами заключен в тюрьму. Теперь же, всего 18 месяцев спустя, несмотря на тюремное заключение, я был свободен в духе.

"Слава Господу", — воскликнул брат Блоу вместе с остальной аудиторией.

Сперва мне было очень неловко говорить сквозь раздающиеся постоянно *"Аминь"* и *"Аллилуйя"*, потому что много раз за время моей политической карьеры враждебно настроенные аудитории своими возгласами норовили смутить меня, сбить с мысли. На память мне пришел Ирландский обед в 1972 году в Нью-Йорке, когда меня практически вынудили уйти со сцены сторонники Ирландской республиканской партии. Тогда, пытаясь перекричать толпу, я совершенно сбился с мысли и запутался.

Сейчас же чем больше я кричал, тем больше энтузиазма проявляли Блоу и его сторонники. Потом я вдруг обнаружил, что меня это больше не отвлекает. Напротив, я как бы двигался с залом в общем ритме. Мои слова были исполнены нового для меня вдохновения и силы, комнату переполняла любовь и радость. То, что началось как тихое свидетельство, заканчивалось почти как собрание возрождения. Некоторые из заключенных тоже принимали участие в службе. В зак-

лючение я сказал: "Слава Господу за то, что я в тюрьме и имею эту возможность свидетельствовать о Христе".

Брат Блоу вскочил со стула, ринулся к алтарю и почти задушил меня в своих объятиях. Прижимая меня своей длинной рукой, он помолился, а затем призвал желающих выйти к алтарю. "Аллилуйя! — прокричал он. — Выходите или просто поднимите руку, и прямо сейчас вы получите спасение от Иисуса Христа и омоетесь кровью, пролитой Им на Голгофе".

Заключительный гимн был пропет так громко, что мне показалось, его мог услышать даже надзиратель, если бы находился в гостининой комнате своего дома, расположенного за несколько сот ярдов от входа в тюрьму. Реакция прихожан брата Блоу на мое выступление была положительной, но я не был уверен, что мой рассказ как-то затронул заключенных. Может быть, я говорил слишком высокопарно? Может быть, представил себя таким героем? Считают ли они меня по-прежнему своим? Я прошел в дальний конец комнаты, где собралась большая часть присутствовавших заключенных. Ли, Пол и Амос стояли вместе, и на их лицах сияли самые широкие улыбки, которые я когда-либо видел. Выражение их лиц было ответом на мои вопросы.

В течение последующей недели интерес к тюремному общению усиливался. Бог действительно воспользовался моим свидетельством: люди стали искать ответы на волнующие их вопросы. Тревога и напряжение не исчезнут из нашего быта, и я знал это, но чувствовал, что, вопреки всем тяготам тюремной жизни, Дух Божий действует среди нас. Я начинал все лучше и лучше видеть, как Господь направляет мою жизнь. Одно сознание этого придаст мне уверенности в предстоящих нелегких испытаниях.



25

Неожиданный дар

С появлением в осеннем воздухе первых признаков мороза м-р Блевен сказал, чтобы я выдал заключенным зимнюю одежду, по большей части представлявшую собой темно-коричневые армейские полевые куртки. Когда мы вскрыли коробки, нашим глазам представало самое жалкое собрание поношенного старого тряпья, какое я когда-либо видел: с рукавов свисали обтрепавшиеся нитки, ткань во многих местах прорвалась, локти протерлись насквозь. Может быть, раньше эти вещи и были теплыми, но после столь нещадной носки и стольких стирок едва ли могли защитить от промозглой, холодной алабамской зимы.

Раздавая одежду заключенным, я вновь попытался отыскать по враждебным глазам своего потенциального убийцу. Безрезультатно. Многие были откровенно злы, но это было вызвано плохим состоянием вручаемой им зимней одежды.

Однако это была не единственная причина для огорчений. На складе мы обнаружили корзины со старыми, но малопоношенными армейскими куртками на меху, которые предприимчивый зав. складом выудил со свалки на территории военно-воздушной базы. Тем не менее, мы не могли их использовать: они все были светло-зеленые, а по тюремным правилам вся верхняя одежда должна быть темно-коричневого цвета. Тогда мы начали экспериментировать с ними, загружая по две в стиральные машины и применяя к ним разнообраз-

ные темные красители. Удача! После такой обработки они садились и выглядели еще более потрепанными, но зато приобретали настоящий темно-коричневый цвет. Отсутствие внешнего лоска — небольшая плата за тепло и комфорт в зимние дни.

Загвоздка была в красителе. Он не входил в список поставляемых в тюрьму бытовых химикатов, а средства, предусмотренные на мелкие расходы, м-р Блевен уже истратил. Краситель — вот то единственное, что отделяло 250 заочечневших заключенных от 250 теплых пуховиков. Когда по тюрьме распространился слух о наличии пуховиков и моей готовности их перекрасить, в помещении прачечной, обычно утром в понедельник, стали появляться заключенные с маленькими коричневыми коробочками в руках. Блевен, с сочувствием относившийся к нуждам заключенных, учтиво отворачивался в сторону, когда очередной человек передавал мне контрабанду. К середине октября мой благотворительный бизнес процветал. Меня беспокоило то обстоятельство, что краску приходится проносить в тюрьму контрабандой, но желание обойти идиотские правила всегда меня подстегивало, к тому же стремление помогать людям стало теперь целью моей жизни.

Увлечшись этим делом, я прибег к помощи Вуди, приятного и хорошо образованного молодого человека, получившего полтора года тюрьмы за куплю-продажу краденых автомобилей. Сгорая от нетерпения получить теплую куртку, Вуди предложил пронести в тюрьму необходимую контрабанду.

В середине октября Патти неохотно привезла из Вашингтона шесть упаковок красителя. Встретившись во дворике для посетителей, мы завели разговор с Вуди и его очаровательной молодой женой. Оглядевшись по сторонам и проверив, не смотрит ли охранник, Вуди под столом взял протянутые Патти две упаковки красителя и сунул их в карманы брюк. Угрызений совести я не чувствовал; чем больше курток я выдам товарищам, тем будет лучше. Пронос предметов личного обихода был делом уже почти привычным, хотя по-прежнему опасным. Иногда пойманных за этим занятием переводили в другую тюрьму. Как минимум они попадали на пару дней в "дыру".

Патти переживала, но Вуди держался совершенно беспечно. Именно он настоял на том, чтобы пронести краситель, уверяя меня, что его ни за что не станут обыскивать. При входе и выходе из зоны для посетителей охранники делали выборочную проверку, но обычно досматривали только тех, кто был осужден за торговлю нар-

котиками. В конце дня мы с Вуди покинули зону для посетителей и направились к нашей привычной точке двора, из которой была видна улица и мы могли помахать на прощание нашим женам. Проходя мимо "контрольной", Вуди находился на несколько шагов впереди меня. Внезапно нам преградили дорогу два охранника.

"Сюда", — скомандовал один, указывая на дверь. Другой взял Вуди под руку и протолкнул в комнату.

Я не посмел остановиться, лишь замедлил шаг, но этого было достаточно, чтобы расслышать резкий приказ охранника: "Раздеться!"

Неужели они хотят отправить его в "дыру"? Может быть, кто-то видел, как он брал у Патти упаковку с красителем? Или кто-то "настучал"? У меня замерло сердце, когда я вспомнил, что на следующий месяц Вуди должен был идти на комиссию по досрочному освобождению. "Что я натворил?" — ужаснулся я про себя, чувствуя, как сжимается сердце. Если мой молодой друг попал в беду, то виноват в этом я. Он еще почти мальчишка; я уже вроде как сложившийся мужчина. Весь план был изначально глуп и неверен. Каким бы нелепым ни казалось мне правило, я взял на себя обязательство уважать тюремные порядки.

Я вернулся в барак, разыскал Пола и все ему рассказал. К тому моменту краситель наверняка уже обнаружили, и Вуди был посажен в "дыру". Следующий день, понедельник, был праздничным: в восемь жена Вуди уже будет с нетерпением ожидать встречи с мужем. Я не смогу вынести гримасу боли на ее лице, когда она узнает о случившемся. Вполне может быть, что сегодня ночью ее мужа переведут в городскую тюрьму, где он будет ожидать дальнейшего перевода. Так случалось часто, и члены семьи неделями не видели друг друга.

"Хорошо, брат, что мне делать? — спросил я Пола. — Я должен взять ответственность на себя. Стоит ли мне пойти к лейтенанту и все ему рассказать?"

Пол отрицательно покачал головой: "Расколовшись, ты только добьешься того, что тебя переведут в другое место, а Вуди не поможет. Начальник тюрьмы наверняка не станет делать для тебя исключений: к контрабанде он относится очень серьезно. Давай сперва выясним, что с Вуди".

Вуди, если бы его выпустили, наверняка пришел бы к нам в барак. Минуты тянулись бесконечно. Он не появлялся. Я был уже уверен в том, что случилось худшее. На ужин мы не ходили — ждали. Затем Пол вызвался пойти проверить, не у себя ли он в бараке, на

всякий случай, а затем наведаться к "дыре". Если на посту окажется понимающий охранник, то Полу, может быть, удастся поговорить с Вуди. Сейчас я был уже уверен в собственных действиях: если Вуди действительно окажется в "дыре", я пойду с повинной. Я должен.

Пол, мрачнее тучи, вернулся минут через десять и сообщил ужасную новость: "Он в «дыре» и хочет с тобой увидеться. Его собираются переводить в другое место".

Следующие несколько мгновений напоминали агонию: почему я оказался настолько безмозглым, что разом испортил все, что с таким трудом мне удалось здесь создать? Я забыл о собственной записи в дневнике — напоминание самому себе о том, что ни в коем случае нельзя поддаваться мелким искушениям тюремной жизни. "Как христианин, я не могу участвовать в некоторых пустых затеях, к которым прибегают заключенные, чтобы сделать свою жизнь в тюрьме чуть-чуть более сносной, — писал я. — Я обязан избегать маленьких хитростей и обманов, пытаться обойти правила".

Прочитав эти слова, я почти в буквальном смысле почувствовал тошноту. Как мог я оказаться таким лицемером — написать одно, а сделать совсем другое? Положение дел в тюрьме таково, что для того, чтобы получить увольнение, заключенные лгут, преувеличивают, разыгрывают трагедии. Тюремные же власти сами ждут этого — с тем, чтобы в их бумагах все было должным образом обосновано. В тюрьме, как и везде, играют в игры, и обе стороны придерживаются правил.

Пока я сидел на краю своей койки, бессмысленно таращась на Пола, мне в голову пришла ужасная мысль: неужели Уотергейт так ничему меня и не научил? Как я мог забыть, что привычка лгать по мелочам может постепенно исказить понимание больших и серьезных вещей? Несколько месяцев назад на одной из утренних встреч в Доме общения мы решили, что небольшая ложь так же вредит человеческой душе, как и большая; различие лишь в количестве этого вреда и сроках его проявления. Теперь же я сам угодил в эту ловушку.

Я сказал Полу о своем решении, и мы направились к комнате лейтенанта. В моей голове проносились мысли одна хуже другой; Пол, как мог, пытался меня утешить. "Может быть, они простят тебя на первый раз. Может, вас с Вуди направят в одну и ту же тюрьму".

Наполовину перейдя двор, мы оказались возле входа в барак

Вуди. Пол схватил меня за руку и с загадочным видом произнес: "Давай сперва зайдем сюда, Чак".

"Пол, не имеет смысла откладывать. Давай лучше побыстрее все закончим", — сказал я безрадостным тоном.

Но Пол настаивал. Наконец, его лицо расплылось в широкую улыбку: "Сперва позовем Вуди, и тогда вы пойдете и сядите вместе".

Я смотрел на него в ошеломлении, чувствуя, что бледен как полотно: "Ты шутишь".

"Да ну же, — рассмеялся он. — Вуди прилег поспать".

Моему другу удалось проскочить проверку. Охранники искали наркотики и не обратили внимания на пачки красителя. Я никогда не видел, чтобы Пол так хохотал: от смеха он сгибался пополам. Я был слишком счастлив, чтобы злиться, слишком измотан переживаниями, чтобы что-то говорить.

Я усвоил этот урок. Как просто пойти на попятный, незаметно поддаться сиюминутному искушению. Меня заботила только помощь другим — так мне, по крайней мере, казалось, но на самом деле в какой-то мере мною руководил прежний Колсон. *"Сэтим справится Чак"* — вот та фраза, которую я так любил слышать в Белом доме.

Странно делаются дела в тюрьме. Когда я объявил, что контрабанде красителя положен конец, м-р Блевен устроил так, что вся необходимая краска была закуплена официально. В скором времени все заключенные получили теплую зимнюю одежду.

То, с какой легкостью я вернулся к своим прежним привычкам в вопросе с красителем, потрясло меня до глубины души. Как это случилось? Я общался с христианами, молился с людьми. По идее, кто-нибудь из собравшихся должен был спросить меня: "Чак, по поводу этой краски. Там все честно — ну с тем, что вы делаете? Я знаю, это нужно на доброе дело, но разве правда и неправда могут давать в сумме правду?" Такой вопрос должен был бы меня остановить: ситуация вновь напоминала Уотергейт. Цель оправдывает средства. Эта философия способна стать настоящей западней!

Должен быть иной способ достижения благих целей, помимо сомнительных приемов. Какую особую силу может дать Христос, чтобы сделать это возможным? В течение пятнадцати месяцев тщательного изучения Его жизни Он дал мне ответ. И все же Он ускользал от меня. Я вновь внимательно просмотрел Библию. Вот и ответ — в первой главе книги Деяний Апостолов. Иисус сказал своим учени-

кам: "Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый..." (Деяния 1:8).

Я уже разобрался в том, что такое Троица, стал понимать, как различаются Отец, Сын и Святой Дух, являясь при этом одним и тем же. Я уже просил Святого Духа направлять меня и вести по жизни. Тем не менее, неожиданно я понял, что не просил, чтобы Святой Дух наполнил меня силой.

И затем случилось нечто чудесное, показав, что у Бога на все есть свое время. В тот же понедельник Мартин Гей объявил, что следующее занятие будет посвящено Святому Духу. "Можно, — объяснил негромким голосом наш учитель, — обратиться к Святому Духу в молитве и попросить Его наполнить вас силой". "Это проверено, — сказал он. — Нам нужно просто подчиниться Ему полностью".

В течение оставшихся перед занятием дней я повторил все, что мне было известно о Святом Духе, начав с книги Деяний Апостолов. Я отметил, что все апостолы были не слишком эффективными посланниками до того дня, когда они оказались в горнице в ожидании сошествия Духа. Затем был ветер и языки пламени — так ученики исполнились Святого Духа. Некогда застенчивые, они внезапно сделались дерзновенными глашатаями, мужество пришло на смену страху. Они получили силу, чтобы установить на земле Церковь.

Тем не менее, в последующие века выражение "Святой Дух" превратилось для большинства церквей просто в теологический термин. Но в последние годы харизматическое движение (движение Святого Духа) ворвалось в наш мир, пробуждая церкви, изменяя формы поклонения, вызывая к понятию "пятидесятничество" большое уважение. Вновь исполненные Духа люди обретали силу и дерзновение провозглашать Божьи заветы. Я видел проявление некоторых даров Духа, но сам мало что о них знал. Ли Корбин молился на языках, и я чувствовал, что его жизнь наполняется новой силой. Но очень многого о Духе я не знал.

В следующий понедельник Мартин Гей рассказал о предмете урока простыми словами. "Попросите, — посоветовал он, — и Святой Дух будет руководить вашей жизнью. Он возьмет ее в Свои руки, если вы откроетесь Ему навстречу и будете *искать* Его — наподобие личного устремления к Иисусу Христу, но на более глубоком уровне, чем просто признание существования Бога".

Пока двое сомневающихся на дальнем конце стола забрасывали Гея вопросами, я склонил голову. "Отец, — попросил я шепотом, —

пожалуйста, наполни меня Своим Духом. Наполни меня так, чтобы не осталось больше места ни для чего — ни для ненависти, ни для обиды, ни для усталости. Поставь меня выше всего этого, Отец..."

И прямо там на скамье, в классе, полном людей, споривших по поводу теологических терминов, все мое тело пронизало совершенно особое, непонятное ощущение. Это было чем-то наподобие очищения, которое я пережил после вечера, проведенного у Филлипсов. Я не отступал и продолжал молиться. Если бы Гей обратился ко мне, я бы его не услышал. Затем щекочущее ощущение сменилось легким ознобом, как во время простуды, но ознобом приятным, успокаивающим и освежающим. Меня переполняла радость и ощущение силы.

Я так и сидел, склонив голову, пока Пол легонько не толкнул меня локтем в бок. "Ты что, спишь?" — прошептал он вопросительно.

"Если я сплю, то последуй моему примеру", — ответил я и, посмотрев на Пола, увидел, что он поднес палец к губам; я понял, что сказал это слишком громко. Гей смотрел на нас сквозь толстые очки.

"Брат Гей, сегодня удивительный урок!" — воскликнул я, но больше ничего не сказал. Остальные сидящие за столом еще хотели многое уяснить, и я не хотел их отпугнуть.

Меня часто интересовал вопрос, как человек узнает о том, что он исполнился Духа. Никакой индикатор не зажигается, как в случае с непристегнутым ремнем в машине. В тот день мои сомнения рассеялись. На следующее утро я сделал в дневнике следующую запись: "Это напоминало то, что я пережил, когда уверовал — исчезло темное облако; очистить свой дух — незабываемое ощущение".

Я слышал о людях, принявших эту силу и переменившихся за одну ночь. Алкоголик совершенно потерял тягу к алкоголю; наркоман испытал такое освобождение, что даже был избавлен от ломки. Я верю, что сила Святого Духа способна совершать в нас такие невероятные перемены. Чаше, я полагаю, Дух находится в нас в качестве источника особых сил и является нашим Помощником в процессе духовного становления.

С момента исполнения Духом я стал с особенной, обновленной остротой воспринимать окружающий мир. Я стал лучше понимать тюремное начальство и сильнее любить товарищей по заключению.

Я, наконец, попросил Господа сказать мне, могу ли я забыть о нависшей над моей жизнью угрозе, либо указать человека, который

желает мне зла. Все это слишком долго меня беспокоило. Временами я вдруг понимал, что по-прежнему вглядываюсь в лица, пытаюсь распознать потенциального убийцу. Тогда я решил спрашивать непосредственно у Него: "Господь, этот?" — о мрачном человеке, сидящем напротив меня за завтраком. "Может быть, он?" — пройдя во дворе мимо неприветливого заключенного, который не ответил мне на приветствие.

Однажды я проснулся посреди ночи и сел в койке, потому что был убежден, что чувствую опасность. Долгие секунды я сидел, слушая, как колотится мое сердце, но кругом мне были видны только спящие фигуры; люди храпели, кашляли, что-то бормотали во сне.

Сперва я решил, что это кто-нибудь из черных. Все они с большой враждебностью относились к политике Никсона. В тюрьме черные обычно держались отдельно. Некоторые тихо и замкнуто. Но по прошествии времени многие сделались моими друзьями.

Несколько раз я интересовался у Джерри, не играет ли он со мной, но он каждый раз решительно подтверждал сказанное и столь же решительно отказывался указать на человека, грозившего меня убить.

Через несколько дней после случившегося в классе я шел по двору в сторону своего барака. Впереди меня шли двое. Первый был красивый молодой брюнет, всегда ходивший в черных очках, второй — крепкий мужчина лет сорока пяти, с низко, по-бычьи посаженной головой на широких плечах. Оба имели загорелые лица и черные, острые глаза; вполне вероятно, оба были выходцами из Восточной Европы. Эти бывшие полицейские, как я потом узнал, всегда держались вместе, никогда не улыбались. Когда я приблизился к ним вплотную, внутренний голос, казалось, шепнул: "Вот оно, Чак".

Я ускорил шаг, поравнялся с ними и услышал собственные слова: "Вы хотели со мной поговорить?"

Старший, крепко сбитый мужчина повернулся ко мне, лицо стало красным, колючие глаза посмотрели на меня с ненавистью.

"Я хотел с вами поговорить", — сказал я.

Какое-то время он тарасился на меня, не говоря ни слова, при этом выражение его лица стало еще недовольнее. Молодой повернулся к нему и сказал: "Ну же, выясни все сейчас. Спроси его".

Старший продолжал смотреть на меня в упор. Затем глубоким хрипловатым голосом неприветливо спросил: "Вы знаете, что со мной произошло?"

— Догадываюсь, — ответил я. — Вас выгнали из полиции, верно?

— Нет, меня уволили, когда я работал в Чикаго лейтенантом полиции. А уволили меня из-за вас, политиканов в Вашингтоне. Меня подставили мерзавцы из Белого дома, вот как.

— И Вы обвиняете в этом меня?

— Вас это удивляет? Именно Вы распорядились начать Чикагское расследование, или я не прав?

В его голосе зазвучал гнев, когда собственные слова напомнили ему то время.

"Послушайте, лейтенант, — спокойно возразил я. — Я знаю все о расследовании по делу мэра Дейли. Я знаю, кто его начал. А начал его не Белый дом, а Министерство юстиции. Если же за этим стояли какие-то политические мотивы, то ко мне это не имело никакого отношения. Такова правда; Вы можете мне верить, а можете не верить".

Глядя в его горящие злобой глаза, я понял, что, наконец, нашел человека, угрозы которого подслушал Джерри. "И, кстати говоря, — добавил я, — я знаю, что такое быть политической мишенью. Поверьте, я прекрасно понимаю, каково Вам". Слова были сказаны с подлинным сочувствием.

"Наверно, знаете. Да, скорее всего", — его голос смягчился, но глаза по-прежнему меня буравили.

Мы обменялись рассказами о том, как нас осудили. В его рассказе были сфабрикованные показания, ложь свидетелей, которые утверждали, что он виновен, возможность уйти от наказания, свалив все на вышестоящие чины; он, однако, не стал этого делать. Я рассказал ему о своих обвинителях, о предвзятом расследовании, о давлении на моих работников, о том, как я мог пойти против Никсона, но не сделал этого.

"Я думаю, мы похожи", — наконец сказал он. Железное пожатие его руки означало, что мы больше не враги. Насколько серьезны были его угрозы, я, наверное, никогда не узнаю. Но, слава Святому Духу, благодаря Ему я смог отыскать своего врага и обратить враждебность в понимание.



26

Духовное противостояние

Во второй половине октября тихий седовласый старик Хомер Уэлш заболел. Мы думали, что у жителя гор просто грипп. Несколько дней он не выходил на работы и проводил время на своей койке. Еще до болезни Хомер начал посещать наши вечерние молитвенные собрания, и после того, как он заболел, мы каждый день перед отбоем собирались у его койки и молились за его выздоровление. Пол носил ему еду, к которой он едва прикасался, и холодное питье, о котором он просил из-за больного горла.

Поскольку Хомер не поправлялся, его поместили в больницу военной базы для сдачи анализов, а потом перевели в крохотную двухместную палату рядом с тюремным лазаретом. Там Уэлш оставался все то время, пока огромные дозы антибиотиков боролись с его 40-градусной температурой.

Когда пришли лабораторные пробы, один из лежавших в лазарете шепнул нам на ухо неутешительные известия: в легком у Уэлша нашли пятно, в лучшем случае это пневмония; в любом случае, плохой признак для человека, значительную часть жизни проводившего в прокопченных шахтах. В моче Уэлша была обнаружена кровь, а количество белых кровяных телец превышало норму. Признаки неутешительные.

В течение той же недели имела место целая серия несчастных случаев, вспышек насилия и прочих неприятностей. Все эти непри-

ятные и непонятные события дали понять, что мы столкнулись лицом к лицу с невидимым врагом. До того, как я стал христианином, все разговоры в моем кругу относительно дьявола велись в шутовском тоне. Я считал, что то зло, которое человек совершает, есть часть человеческой натуры. Даже после того, как я принял Христа и осознал, что Его Дух и сегодня с нами, я все еще считал демонологию чем-то вроде черной магии.

Свое мнение на этот счет я изменил в тюрьме. Я быстро обнаружил, что четкой границы между добрыми и злыми людьми нет. Многие из тех, кого можно было назвать порядочными и честными людьми, совершали большие проступки, когда словно находились во власти некой злой силы. Я больше не мог соглашаться с мыслью, что люди просто злы от природы. Все люди — грешники, говорило Священное Писание, все люди находятся между двумя полюсами: Бога и сатаны, добра и зла. При этом не важно, представляем ли мы себе сатану одетым в ярко-красный наряд и держащим в руке вилы, или думаем о нем, как о невидимой силе. Как бы мы это ни называли, в мире существует злая сила, которая вторгается в жизнь людей.

Даг Коу сказал мне однажды, что сатана не станет тратить времени на тех неверующих, которые поступают по обычаям этого мира; со временем они попадают к нему в сеть сами. Но те, кто принимает Иисуса Христа, становятся главными врагами дьявола, потому что угрожают его власти. Как и всякий умный полководец, дьявол припасает свои отборные силы для борьбы с лучшими частями своего врага. Все горячие верующие были испытаны и искушены яростными нападками сатаны.

Очевидно, что сатана давно считал "Максвелл" своей территорией и не собирался отдавать ее без боя. Религиозные службы, проводившиеся время от времени, не очень его беспокоили, но перемена человеческих сердец требовала пристального к себе внимания. Что же касается призвания в тюрьму Святого Духа и объединения людей в молитвенные группы для молитв друг за друга и за тюремное начальство, то это взывало к мощной контратаке.

Небольшой случай, что-то похожее на студенческую выходку, положил начало испытаниям. Однажды вечером двое заключенных выскользнули из барака, отыскиали в одном из подсобных помещений, находившемся за пределами двора, банку с желтой краской и принялись за работу. Вскоре стены тюремных зданий и старенький тюремный автобус украшали бранные эпитеты, обращенные к на-

чальнику тюрьмы. Рано утром на следующий день надзиратель ходил по двору и, плотно сжав губы, разглядывал работу вандалов. Потом, едва сдерживая бешенство, Гранска большими шагами направился обратно в контору. Через час по громкоговорителю мы узнали о первой реакции начальства: "С сегодняшнего дня вся территория за бараками и газоны за дорогой объявляются запретной территорией после наступления темноты. Запрет вводится до особого распоряжения".

Несмотря на дотошное расследование, надзирателю так и не удалось отыскать виновных. Настоящего взаимопонимания между заключенными и начальством не бывает почти никогда. То, что может показаться спокойной обстановкой, на деле является отсутствием конфронтации. После этих событий напряжение, копившееся внутри тюремных стен, стало возрастать со стремительной скоростью.

В ту ночь двое заключенных из другого барака затеяли спор о чем-то тривиальном. Вскоре уже замелькали кулаки, один стал швырять другого на койки. Никто не вмешивался до тех пор, пока не прибыли охранники. Обоих отправили в больницу, где молодому потребовалось налагать на рассеченную правую бровь швы. Затем их посадили в "дыру". На следующий день стали вершить тюремное правосудие. Кто начал драку, казалось, не имело никакого значения. Не было ни разбирательства, ни апелляций, ни испытательного срока. Обоих заковали в наручники и передали судебным исполнителям для пересылки в другие тюрьмы.

Патти была знакома с молодой женой одного из этих заключенных. Позже она выяснила, что ему даже не позволяли звонить ей, хотя та находилась непосредственно в Монтгомери. Прошло несколько недель, прежде чем девушка смогла отыскать своего мужа. Вот так СКТ (Система координации тюрем) справляется со своей работой по перемещению заключенных. Система КТ внешне выглядит логично, но на самом деле оказывается одной из суровейших форм наказания.

Когда возникает необходимость перевести заключенного в другое место, тюремные власти извещают об этом Вашингтон, где в Государственном центре судебных исполнителей соответствующую информацию заносят в компьютер. В том же компьютере содержится информация о перемещениях всех судебных исполнителей. С помощью машины заключенным выделяют определенных исполнителей. Возможно, это экономично и неплохо работает в теории, но зато

заключенных перемещают наподобие багажа, часто "теряя" на долгие недели в местных тюрьмах, где они дожидаются своего судебного исполнителя.

Во время этого временного бессмысленного содержания в открытых цементных камерах, битком набитых матерыми преступниками, молодые неопытные заключенные часто испытывают настоящие муки. Окружная тюрьма "Фалтон" в штате Джорджия часто служит пересылочным пунктом для заключенных из "Максвелл". Там, в этом столетнем заведении, где летом все раскаляется от жары, а зимой покрывается льдом, шестнадцать человек порой по несколько дней содержались в крошечной открытой камере площадью в двадцать четыре квадратных фута. В этой лишенной окон камере был только один туалет, одна раковина и четыре деревянных настила в качестве кроватей. Сокамерниками могли оказаться опустившиеся пьяницы, убийцы в ожидании суда или федеральные заключенные, ожидающие пересылки. Я встречал людей, которые после нескольких дней, проведенных в подобных местах, впадали в состояние шока. Некоторые проводили в пересылке по системе КТ месяцы, причем жизнь их в это время становилась неопишуемым кошмаром, оставляющим шрамы на всю жизнь.

Несколькими вечерами позже, когда мы по-прежнему старались придумать способ помочь женам пересыльных, из репродуктора донеслись слова: "Всем вернуться в свои бараки на построение". Затем раздался пронзительный свисток. Прошло десять минут, чего обычно хватало, чтобы закончить переключку. Чувствуя, что случилось что-то из ряда вон выходящее, мы собрались у дверей и подсмотрели, что делается во дворе. Там как угорелые во всех направлениях носились охранники, что-то крича в сторону "контрольной", которая теперь вся светилась прожекторами. Кто-то из заключенных сбежал.

Вскоре мы узнали, что беглец — худощавый незаметный негр, переведенный в "Максвелл" после пятнадцати месяцев в тюрьме строгого режима. Ему оставалось отсидеть только несколько месяцев, но не выдержали нервы. Каждый новый день заключения был для него пыткой. Когда пару дней спустя его поймали, он получил к своему сроку дополнительно несколько лет.

В начале той недели доктор Креншоу должен был выйти на свободу. Накануне освобождения он выяснил, что его бумаги еще не были готовы. Док сорвался и стал в бешенстве орать на тюремного чиновника. "Я почти что ударил его, Чак, я чуть было не потерял

над собой контроль", — сказал он мне в тот вечер. Настолько сильно было напряжение последних дней заключения, что даже у такого уравновешенного человека, как док, чуть было не сдали нервы.

Противостояние усиливалось, в значительной степени подогреваемое заключенным по имени Найт, который получил год за подделку чеков. Сообразительный и заносчивый, Найт вскоре после прибытия обосновал свой "офис" в библиотеке. Через некоторое время он уже вовсю составлял для себя и десятка других заключенных всевозможные апелляции и жалобы, которые они намеревались подать в суд. Каждый вечер я наблюдал, как он методически готовит свою атаку, советуясь с другими заключенными, внимательно изучая потрепанный сборник судебных форм, во всю печатая на старенькой машинке, собирая аргументы против принятой в тюрьме отпускной политики, плохих медицинских условий, недостатков процедуры досрочного освобождения и целого ряда других вещей, определяющих жизнь заключенного.

Найт испытывал особое наслаждение от конфронтации с надзирателем. В течение той жаркой недели он ежедневно печатал и вывешивал объявления, в которых перечислял поданные жалобы, описывал реакцию тюремной администрации и их репрессивные контрмеры. Каждый вечер он вывешивал свои бюллетени у входа в каждый барак. Охранники затем прочесывали территорию, срывая их со стен.

Однажды надзиратель лично посетил все бараки. Я наблюдал, как он раздраженно открыл стеклянную раму доски объявлений, сорвал со стены бюллетень и смял его. Затем хлопнул рамой так, что едва не разбил стекло, и ушел прочь. Была назначена комиссия, которая должна была определить, на какой машинке печатались бюллетени. Потом вышло новое распоряжение — запрет на использование машинок, кроме как в служебных целях.

Казалось, даже искренние попытки наладить какое-то взаимопонимание были обречены на неудачу. Как-то я стоял за высоким заключенным в очереди в столовой. За прилавком раздачи начальник тюрьмы проверял качество супа в большой кастрюле. Когда человек, шедший впереди меня, поравнялся с прилавком, Гранска поднял глаза. Они встретились взглядом. "Как дела, приятель?" — весело спросил Гранска.

Заключенный был настолько поражен (ему, вероятно, никогда прежде не доводилось говорить с надзирателем), что он на мгнове-

ние потерялся, а затем сказал начальнику тюрьмы, что телевизор в бараке уже неделю не работает. "Может быть, можно его починить?" — спросил он заискивающе.

Улыбка с лица надзирателя тут же исчезла. "Починим, как только люди научатся вести себя как следует", — отрезал он. Сказав это, он повернулся и зашагал прочь, оставив парня в полном замешательстве.

Одним из тех, кто попал на той неделе в "дыру", оказался средних лет уроженец Техаса по имени Родригез. С первых дней его пребывания в "Максвелл" было ясно, что это алкоголик, которому требуется психиатрическая и медицинская помощь. Все ночи он просиживал на койке, курил одну за другой сигареты и трясся в конвульсиях; затем начинал нервно ходить по двору. До этого он пережил уже два апоплексических удара.

В начале этой тяжелой недели Родригез потерял сознание и упал на пол в бараке. Из военной больницы вызвали скорую помощь, и двое санитаров унесли его на носилках. Его накачали транквилизаторами и на следующий день вновь отправили в тюрьму. На следующее утро Родригез повздорил в столовой с здоровенным громилой, который ударом кулака отправил его на пол. О происшествии сообщили в "контрольную", и Родригеза отволокли в "дыру". Ударившему же все сошло с рук, потому что он был любимчиком начальства.

Родригез провел весь день в "дыре", крича от боли или бессмысленно глядя в зарешеченное окошко двери, через которое он пытался дозваться доктора. На его крики никто не обращал внимания. Вечером того же дня к стенам тюрьмы подъехал фургон судебного исполнителя. Двое мускулистых охранников отперли дверь камеры и надели на Родригеза наручники. "Куда меня везут?" — кричал он. Обычно заключенным этого не сообщают, но на этот раз охранник сказал: "В Монтгомери, в городскую тюрьму".

"Нет, нет, — взмолился Родригез, — позовите доктора. Разве вы не видите, что у меня кровь идет из уха?" Из ушной раковины Родригеза сочился темно-красный ручеек, сбегавший по шее к влажно-му от крови, порванному воротнику.

Охранники посмотрели на ухо, потом друг на друга и пожали плечами. Один из них бросил: "Сейчас доктора нет, а у нас приказ перевезти тебя немедленно. Фургон уже прибыл. Мы не можем заставлять судебного исполнителя ждать". Я, бессильный что-либо сделать, стоял и смотрел, как двое охранников уносят бьющегося зак-

люченного к дверям. Родригез обернулся ко мне и выкрикнул: "Колсон, ты ведь видишь, что у меня из уха идет кровь?!"

"Да, вижу, — сказал я твердо. — Тебе нужен доктор".

Охранники остановились как вкопанные и, обернувшись, уставились на меня. На мгновение мне показалось, что они одумаются и отведут Родригеза в лазарет. Но это длилось только мгновение. Вместо этого здоровые ребята в синих полосатых рубашках подхватили Родригеза под мышки и, подняв над полом, понесли к фургону. Стало тихо, только на полу виднелось несколько кровавых пятен. Я почувствовал себя беспомощным, в животе появилось неприятное ощущение. Я так никогда и не узнал, что произошло с этим несчастным.

Как-то на той же беспокойной неделе, когда я работал в прачечной, ко мне подошел Пол. В его глазах читалась тревога и боль, когда он, не говоря ни слова, протянул мне маленький лист бумаги. Это было короткое сухое извещение от директора региональной Комиссии по условному освобождению: "Нет оснований изменять наказание, предусмотренное за Ваше преступление... ждите истечения срока заключения. В условном освобождении Вам отказано". Этот клочок бумаги шел вразрез с информацией, данной Полу две недели назад, обрекая его на два дополнительных года заключения.

Вспомнив, каким чудесным образом были получены ответы на наши молитвы о Поле и Фергюсоне, мы оба подумали: *неужели Бог покинул Пола, неужели Он разрушит собственное дело?* Едва ли. Он нас испытывал.

"Не переживай, Пол. Мы подадим апелляцию и выиграем дело, — сказал я. — Теперь я стал самым лучшим тюремным адвокатом". Пол не смог даже улыбнуться в ответ на мою вымученную шутку. Задача, стоявшая перед нами, была ясна: с Божьей помощью бороться за свободу Пола.

Следующим стал Ли Корбин. Он подошел ко мне однажды вечером на той же неделе, когда я сидел в библиотеке; губы дрожат, лицо побледнело. "Что случилось, Ли?" — спросил я.

"Чак, мне нужно поговорить с тобой. Мне нужна помощь, Чак", — произнес он. Мы нашли темный уголок непосредственно у двери в библиотеку, и он продолжил: "Чак, у меня проблема с женой. Она хочет уйти от меня; я не знаю, что делать".

Этого высокого, мощного морского пехотинца била дрожь, пле-

чи вздымались оттого, что он пытался сдержать слезы. Мне было больно, когда он рассказывал все подробности: после ареста он продал свой большой дом в Атланте и перевез жену с двумя маленькими детьми в Эшвилл в Северной Каролине, чтобы она оставалась с его родственниками. Его жена устроилась на ночную работу на текстильный завод, и ей едва хватало денег на то, чтобы кормить детей и платить взносы за трейлер, который Ли купил на последние деньги перед самой отправкой в тюрьму. Сперва она присылала письма регулярно, затем реже, пока, наконец, совсем не перестала писать. Она не могла навещать Ли, потому что их старая машина сломалась. Телефона у нее не было. Обеспокоенный всем этим, Ли позвонил шурина, который жил в нескольких милях от сестры. Именно тогда он и узнал плохие новости.

"Наверное, я заслужил это, — произнес он, всхлипывая. — Это не ее вина. Ее брат сказал, что она по-прежнему любит меня, и я тоже так ее люблю! Она сейчас поехала домой к родителям. Мне нужно увидеться с ней, иначе я ее потеряю. У меня кроме нее и наших малышей ничего не осталось на свете; и я им нужен. Если только я доберусь домой, то спасу наш брак".

Разумеется, администрация тюрьмы признает, что это самая настоящая экстренная ситуация, подумал я. В соответствии с правилами, одной из причин для увольнения является "спасение семейных уз".

Однако, когда Ли попросил дежурного офицера об экстренном увольнении, ему было отказано. "Если произошел несчастный случай или кто-то смертельно болен, о чем сообщил по телефону доктор, тогда я могу позвонить надзирателю, — сухо объяснил офицер. — В противном случае — не имею права".

Отрезвленный отказом, Ли обратился ко мне: "Я все равно сегодня отсюда выберусь. Уйду через забор. Тебе не следовало бы об этом знать, потому что я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня неприятности. Но я должен это сделать". Корбин был спокоен, в словах чувствовалась железная решимость. С конца зимы он не получил ни одного дисциплинарного замечания, до истечения срока наказания ему оставалось всего несколько месяцев. Он прекрасно знал, что ждет его за побег, но в ту минуту ничто не имело для него значения, кроме встречи с семьей. Ли — мужчина крупный и сильный; я не смог бы удержать его силой.

Я сказал единственные слова, которые могли бы его остановить:

"Ли, если только ты не поклянешься перед Богом, что не станешь этого делать, я иду к лейтенанту и выкладываю ему все о твоих намерениях. Я сделаю так, что он засадит тебя на ночь в "дыру". Я не позволю тебе разрушить собственную жизнь".

Ли понимал, что я исполню свою угрозу. "Может быть, так и нужно сделать, — сказал он. — Я теряю над собой контроль. Меня нужно упрятать в «дыру»".

Когда Ли успокоился, я объяснил, что если он обо всем расскажет, то лишит себя шанса на увольнение и, вполне возможно, его переведут в тюрьму строгого режима. Разговор вернул Ли на землю. Несколько минут мы тихо молились; затем Ли ушел пытаться дозвониться жене.

Потом Ли рассказал мне, что поговорил с женой и попросил ее помолиться за него прямо по телефону: "Она сказала, чтобы я не говорил о религиозной чепухе, но у меня было такое чувство, что Господь совершает в ней свою работу. Она сказала, что по-прежнему любит меня и не станет делать никаких глупостей, если я смогу скоро вернуться". Напряжение понемногу спало, хотя тревожное состояние не сразу покинуло Ли.

В тот вечер я был в административном офисе и увидел молодого человека с прыщеватым лицом и впалыми щеками, который подошел к Пейтону, дежурному администратору: "У меня умер брат. Мне нужно попасть домой на похороны". Горестный взгляд молодого человека молил о помощи.

"Что ты от меня хочешь, — ворчливо процедил Пейтон. — Иди, заполни бланк и потом принеси мне. Я ничего не могу сделать без соответствующего письменного заявления. Ты должен это знать".

Не было ни слов сожаления, ни сочувственного выражения лица. Когда молодой заключенный поплелся прочь, Пейтон заорал ему вслед: "И смотри, заполни все правильно с первого раза! Ничто меня так не раздражает, как переписывать за вами заявления!" Пейтон грузно сидел в кресле, вытянув вперед ноги, недовольно качая головой оттого, что молодой человек был к нему так непочтителен.

Я прикусил язык и отвернулся, сдерживая злость. Мне было противно смотреть на Пейтона. Христос велел любить притесняющих нас, но в тот момент я чувствовал только бесконечное отвращение к этому бездушному охраннику и ко всему лагерю, ко всей несносной прошедшей неделе.

Мне хотелось каким-то образом забыть все это: изможденное бо-

лезную тело Уэлша, когда его увозили в больницу; кровавую стычку, еще больше запутавшую жизни двух заключенных и их семей; несчастного беглеца, у которого не выдержали нервы; жестокое обращение с Родригезом; исполненный боли взгляд Пола, когда ему было отказано в освобождении; потерявшего покой Корбина, испугавшегося, что его бросит жена. И, наконец, гнусный разговор между Пейтоном и молодым заключенным, довершивший эту невыносимую, тяжелую неделю.

Слава Богу, что я исполнился силы Духа за неделю до этих испытаний! Окруженный со всех сторон, я призывал Его, и Он помогал мне выстоять, не допускать глупостей и оказывать поддержку окружающим. Наша четверка продолжала встречаться по вечерам в помещении класса. По крайней мере, этого места нас еще не лишили. Мы приняли в качестве отправной точки тот факт, что тюрьма является благодатной почвой для воинов сатаны. Насколько Бог есть любовь, настолько сатана — ненависть. А ненависть — и с нею сатана — распространяется в любой тюрьме, как плесень в мокрую погоду, и приносит обильные плоды, подогреваемая подозрительностью, завистью, злобой и подавленностью. Ненависть в течение этой недели росла в "Максвелл" как грибы, угрожая поглотить всех несогласных. Мы молились, чтобы солнечный свет нашей веры остановил рост этой отвратительной слизи.

На свои молитвы мы получили ответ. Началось с Пола. Первое время он был так обескуражен решением комиссии по условному освобождению, что целыми днями молчал и сокрушался о своей горькой судьбе. Но к концу недели он вырвался из этого настроения. "Чак, — сказал он, — я знаю, что это испытание, и не позволю своей вере ослабнуть".

На душе у меня стало светлей. Слишком многие считают, что вера в Христа автоматически избавит их от всех тягот и опасностей жизни, что Он обеспечит им все — от умения играть в гольф до освобождения из тюрьмы. Огорчения, встречающиеся на этом пути, делают нас только уязвимей для нападков дьявола. Пол научился выдерживать испытания с Господней помощью. Он опять в своей ненавязчивой манере стал оказывать людям душевную поддержку, специально отыскивая тех, кто в ней нуждался. На следующей неделе он привел к Господу молодого человека, который переживал очень непростой период своей жизни.

Затем Ли Корбин тоже почувствовал, что Господь действует в его

жизни. Он решил, что не может выйти из тюрьмы с чувством хотя бы малейшей обиды на свою жену. Ему лишь хотелось, выйдя из тюрьмы, разделить вместе с ней любовь и веру. Его улыбка сделалась светлее. Другие заключенные стали тянуться к нему за помощью. Во время службы в следующий четверг он выступил с импровизированной речью, в которой еще раз признал, что был "поддельным проповедником". Он пал, но снова пытается встать на ноги. То обстоятельство, что тюремные чиновники отказывают ему в увольнении, никоим образом не отразилось на присутствии в нем Божьего Духа.

Будучи в морской пехоте, я узнал, что стандартная тактика борьбы с врагом — это отрезать его от главной базы. Сатана именно это и пытался сделать на прошедшей неделе; мы были так поглощены нашими неприятностями, что забывали прибегать к силе Святого Духа, чтобы отразить атаки. Как только мы вспомнили об этом, тучи над нами рассеялись, и вновь засияло солнце. Наша дружба стала крепче. Мы вновь обрели силу.

Хомер Уэлш не проявлял никаких признаков выздоровления. Он по-прежнему лежал на одной из коек в тюремном лазарете, теряя надежду, мучаясь от продолжительного жара. Мы с Полом поочередно дежурили у его кровати, приносили ему прохладительные напитки, которые покупали в тюремной лавке. Хомер умудрялся улыбнуться, когда мы приходили, но его исполненные страха глаза совершенно нас убивали.

В первую субботу ноября мы узнали, что Хомер находится в критическом состоянии. Амос, медик, сказал, что десятидневная лихорадка может оказаться для старика катастрофической. На введение антибиотиков его организм не реагировал; все тело покрылось красноватой сыпью. Шансы, что он получит нормальную медицинскую помощь, были очень невелики. Могла пройти целая неделя, прежде чем его переведут в больницу военной базы.

"Ребята, вы все верите в исцеляющую силу Христа?" — спросил я своих троих братьев, лица которых были строги и печальны.

Ли ответил первым: "Я — несомненно".

Пол на секунду задумался и потом кивнул. Амос оказался скептичнее других: "Я не очень доверяю всем этим исцелениям верой, но должен признать, что другого выхода все равно нет".

Тогда я рассказал о том, как усиленная молитва всех братьев и полное доверие Господу избавили Гарольда Хьюза от необходимости

ложиться на сложную операцию. "Но, — предупредил я, — каждый из нас должен верить. Если у кого-то есть сомнения, пусть он их выскажет сейчас. Мы должны быть едины в нашем убеждении, что Христос исцеляет и сегодня точно так же, как две тысячи лет назад".

Хотя я и верил во все, что говорил, внутри я чувствовал такой же страх, как и братья. Одно дело знать что-либо в теории и совсем иное — довериться и почувствовать дерзновение. Всегда есть страх потерпеть неудачу, опозориться в глазах людей. Но на этот раз я решил, что уж лучше опозорюсь, если так будет надо, чем откажусь от попытки помочь доброму седовласому старику, беспомощно прозябающему на влажных от пота простынях.

Мы решили хорошенько подумать еще несколько часов. Если у кого-то окажутся сомнения, то такой человек не станет принимать участия в молитве. В противном случае мы условились встретиться в палате Уэлша в 9 часов вечера. Я справился о последней сводке о состоянии здоровья Уэлша у медбрата, который, казалось, знал свое дело: "Температуру сбить не удалось, а анализы в целом очень отрицательные. Не говорите ему, но доктор на военной базе сильно обеспокоен. Возможны осложнения. Может быть, где-то есть злокачественная опухоль. Поговаривают о досрочном освобождении, чтобы он мог умереть дома".

В девять часов мы вчетвером собрались у койки Уэлша. Пришли все. Хомер был рад нас видеть, но настолько истощен, что несколько раз засыпал, пока мы с ним говорили. Мы сказали ему, что верим в исцеляющую силу Христа и что если он будет верить и помолится с нами, то он, мы убеждены, исцелится. Хомера не нужно было ставить в известность относительно медицинских отчетов: он и так знал, что безнадежно болен. Он посмотрел мне в глаза, затем на каждого из разместившихся вокруг кровати братьев. Никто не сказал ни слова. Тогда он кивнул и одними губами прошептал: "Спасибо".

Вчетвером мы встали на колени. Хомер повернулся к нам, закрыв лицо руками. Мы стали поочередно молиться вслух. Начал Корбин — во имя Иисуса он повелел сатане выйти из тела Хомера. Затем попросил силу Святого Духа наполнить Хомера и стал молиться на языках. Я чувствовал, что Дух наполняет комнату по мере того, как молитва Корбина делалась все эмоциональней.

"Господь, — стал молиться я. — Заранее благодарю Тебя за исцеление". Затем я провозгласил победу.

Пол, обычно молившийся тихо, в этот вечер дерзновенно провозгласил свою веру в силу Иисуса Христа исцелять наши тела точно так же, как Он исцелил наши сердца. Амос поблагодарил Бога за совершающееся чудо и в знак полной покорности опустил голову на пол.

Мы представляли бы собой странное зрелище, зайдя кто-нибудь в тот вечер в палату: бывший "исполнитель" из Белого дома на коленях перед постелью старого шахтера из Теннесси; Корбин, в прошлом выдающийся мошенник, вопиет к Христу, издавая при этом совершенно нечленораздельные звуки; Крамер, некогда торговец наркотиками, распростершись на полу, славит Бога — все трое в прошлом суровые, прагматичные воспитанники морской пехоты. Наконец, Амос, фармацевт, от которого словно исходит тихий свет доброты, человек, разбирающийся в науке, но смиренный.

Мы молились больше получаса. Когда мы закончили, я почувствовал тот же прилив радости, какой испытал неделей раньше во время занятия по изучению Библии. Словно какая-то сила распрямила меня, я вскочил на ноги и воскликнул: "Аллилуйя!" Раньше я никогда так не делал, потому что обычно находился после молитвы в задумчивом состоянии.

Корбин поднялся на ноги с улыбающимся лицом. Затем склонился над кроватью и горячо обнял сбитого с толку селянина. На какое-то мгновение мне показалось, что он вытащит Хомера из постели. Корбин продолжал обнимать старика, не обращая никакого внимания на то, что тело того было мокрым от пота. Мы все стояли и широко улыбались, словно праздновали некую победу. Никто из нас не сомневался, что исцеление началось.

На следующее утро я встал рано и пошел проведать нашего пациента. Не желая будить Хомера, я приоткрыл дверь в палату буквально на миллиметр и заглянул внутрь. Хомер бодро восседал на своей кровати. Он посмотрел в сторону двери, заметил меня и закричал: "Слава Господу! Дорогие мои! Дорогие мои братья!"

Я стоял в дверях, как громом пораженный. Даже когда он был здоров, Уэлш всегда говорил таким тихим и застенчивым голосом, что мне приходилось напрягаться, чтобы расслышать, что он говорит. Сейчас же его голос сделался твердым, звонким, уверенным. Казалось, он совершенно переменился — и не только физически, но и характером. К моему большому облегчению, он больше не называл меня сэром. Хотя он был по-прежнему бледный и исхудалый, но уже сиял во все лицо счастливой улыбкой.

"Температуры нет, — закричал он мне. — Ее нет! Она прошла сразу после того, что вы, ребята, сделали. Я всю ночь спал как убитый — первый раз за неделю. Я уже совсем здоров. Господь исцелил меня!"

Я был настолько счастлив, что побежал в барак и разбудил остальных. Одевшись, они поспешили со мной к Уэлшу. Мои ноги едва касались земли, и я непрерывно благодарил Бога за то, что Он позволил мне оказаться в этой тюрьме: "Этому заведению Твой человек нужен куда больше, чем доктор. Спасибо, что позволил мне здесь оказаться. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Ради этого момента стоило все претерпеть".

Вечером того же дня мы снова собрались возле Хомера, который сидел в кровати, сияя улыбкой. Во вторник его обследовали в больнице. Все показатели — кровь, моча, рентген — оказались в норме, и на следующий день его уже перевели в барак. "Мы не станем разубеждать Сквиба и докторов в том, что это их заслуга, — рассмеялся Ли, — но мы-то лучше знаем, Кого благодарить".

В тот день я заметил, что в тюрьме что-то изменилось. Исчезла гнетущая, недобрая атмосфера. Люди стали менее напряженными и более раскованными. Говорить стали спокойнее. Даже самые меланхоличные личности, казалось, ожили и повеселели. Невидимая битва с самой мощной силой этого мира была завершена — до поры до времени.



27

Время быть свободным

Перевод в тюрьму "Холаберд" в Балтиморе, состоявшийся в середине ноября, оказался для меня неожиданным. Мне предстояло еще раз выступить в качестве свидетеля, на этот раз на уотергейтском процессе против Боба Хальдемана, Джона Эрлихмана и Джона Митчелла.

Покидая "Максвелл", я испытывал смешанные чувства: ненавидел само место, но любил столько же его обитателей. Прощание с Поллом, Ли, Амосом, Хомером и другими было по-настоящему трогательным. Как и четверка из Дома общения, эти люди стали теперь моими братьями во Христе. Мы многое пережили вместе; мы искренне заботились друг о друге.

Хомер Уэлш проводил меня до "контрольной". Исчезло то подбострастие, с которым он раньше всегда ко мне обращался. "Я буду молиться за тебя, Чак", — сказал он с улыбкой.

"В следующие несколько месяцев мне это потребуется как никогда", — ответил я, не подозревая, насколько верным окажется мое пророчество.

Когда я направился к машине судебного исполнителя, Хомер встал у дороги, чтобы посмотреть мне вслед. Я обернулся, чтобы помахать на прощание; старик стоял, залитый последним осенним солнцем, и глаза его блестели.

В "Холаберд" мало что изменилось. Какие-то лица исчезли, появились новые. Герб Калмбаха и Джон Дин встретили меня очень приветливо. Со стороны Джеба Магрудера чувствовалась некоторая сдержанность. Наша бывшая враждебность как представителей противоположных лагерей заметно уменьшилась, но все равно отношения между нами требовали исцеления.

Мои показания на уотергейтском процессе вызвали яростные нападки — сперва со стороны обвинения, затем защиты. Несмотря на то, что я был привлечен как свидетель защиты, именно адвокат Митчелла подверг меня самому мучительному перекрестному допросу. Моя простая правдивая позиция не устраивала ни одну из сторон, которые придерживались заранее избранной стратегии.

Мэри Мак-Грегори написала обо мне разгромную статью, будучи не в состоянии понять, что я видел свой долг в преданности одной лишь истине, а не обвинению, в чьих руках я находился, и не тем, кому я когда-то служил. Некоторые писали, что я неожиданно пошел против своих бывших коллег; другие предполагали, что я помогаю Эрлихману. Большинство же откровенно терялось, пытаясь истолковать мои показания. Для меня это все не имело большого значения. Обвинители, на радость зрителям и присяжным, проигрывали километры президентских магнитофонных записей. Подзащитные пытались отрицать свои часто плохо различимые слова. Исход дела предсказать было нетрудно: мои прежние соратники приближались к осуждению с такой же неотвратимостью, с какой двумя столетиями раньше представители французской аристократии должны были склониться перед ножом гильотины.

Когда накануне Нового года было объявлено о том, что подсудимые признаны виновными, Дин ворвался в мою комнату, радостно потирая руки: "Меня оправдали!"

Я молча уставился на Джона. Не могло быть победителей среди замешанных в Уотергейте, я был убежден в этом; репортеры получают премии, некоторые из нас напишут после тюрьмы книги воспоминаний, в центре внимания страны окажутся неизвестные политики, сменив тех, кто запятнал свою репутацию, но какая заплачена за это цена! Конечно, надо было извлечь из случившегося все уроки, но как же мне хотелось, чтобы страна начала двигаться дальше и чтобы пострадавшие отстроили свои жизни заново.

Хотя мы с Джоном Дином не были непосредственными союзниками в судебных схватках, мы сблизились, стали подолгу разговари-

вать по вечерам, строя планы, обсуждая какие-нибудь места из Библии, обмениваясь идеями относительно книги, которую мы тогда замыслили написать. Я ценил ум Дина. За время Уотергейта он возмужал, пересмотрел свою систему ценностей, стал более цельной натурой, чем до того, как над нами разразился этот скандал.

С Гербом Калмбахом мы тоже стали хорошими друзьями. Я с удовольствием наблюдал, как сперва неуверенный, а иногда и унылый, Герб обретает в результате этих долгих испытаний внутреннюю силу.

Уотергейт четче обрисовал характер Джеба Магрудера. Он принял Христа при большом содействии группы верующих из вашингтонской Национальной Пресвитерианской Церкви и ее неугомонного пастора Луиса Эванса, которые навещали Джеба еженедельно. Мы с Джебом иногда вместе молились.

Другие раны тоже затягивались. Сенатор Лоуэлл Уиклер начал независимое расследование о злоупотреблениях со стороны ЦРУ. Через судебных исполнителей он поинтересовался, соглашусь ли я помочь ему, дав несколько интервью. Надо сказать, что это произошло спустя всего несколько месяцев после того эпизода, когда мы едва не подрались. Но теперь все это осталось позади. Искренне веря в необходимость подобного расследования, я согласился помочь. В течение тех часов, что мы провели вместе, наши старые противоречия сгладились, и я увидел сенатора в ином свете: то был человек необыкновенно ответственный и искренне заботящийся о благе своей страны.

Ал, Грэм, Даг и Гарольд ездили в Балтимор так часто, насколько это позволяли им судебные исполнители. К концу года они стали приезжать каждую субботу. После трех часов общения и молитв они уходили через железную калитку и садились в тот же самый старый "Бьюик", что доставил меня к судебным исполнителям полгода назад. В какой-то степени расставание давалось им тяжелей, чем мне: видеть, как один из них, вынужденный остаться за железной дверью, машет на прощание сквозь зарешеченное окошко.

Прокуроры решили держать четырех раскаявшихся никсоновцев в "Холаберд" столько, сколько будет длиться сам процесс. Я был бесконечно этому рад. Только в "Холаберд" я понял, как устал за предыдущие месяцы без дневного сна, часто допоздна засиживаясь с нуждающимися в помощи. В "Холаберд" я стал спать по двенадцать часов, пока не вспомнил о предостережении Бонхоффера и не заставил себя перейти на более строгий режим.

Для Патти это тоже было большим облегчением, потому что давало ей возможность передохнуть от изматывающих путешествий в Алабаму. Моя мама, теперь оставшаяся одна, тоже получила возможность меня навещать, что и делала часто. Несмотря на возраст и неважное здоровье, она сама приезжала на машине из Бостона и по много часов проводила в компании заключенных, немало веселя нас своими остроумными замечаниями.

Несмотря на то, что условия жизни в "Холаберд" были значительно лучше, чем в "Максвелл", я очень скучал по братьям из Алабамы. Когда я читал первое письмо Пола Крамера, у меня невольно перехватывало дыхание:

Чак, все спрашивают, когда ты вернешься... Наша группа растет — и в количестве и в духе... Чак, хочу тебе сообщить, что мы молимся за тебя на наших собраниях каждый вечер. Мы словно видим, как ты сидишь здесь с нами — в своих шортах, футболке и с трубкой в зубах... Мы сблизились за эти дни, стали настоящими друзьями, совсем как ты хотел. Носим бремена друг друга... Мы любим тебя и скучаем по тебе больше, чем ты можешь представить. Да благословит Бог тебя и Патти.

Пол и другие...

Накануне Рождества мне было так тяжело при мысли о заключенных в далекой "Максвелл", что большую часть ночи я провел за написанием писем Полу и остальным. Коль скоро нам было отказано в праве посещать полуночные службы в местной балтиморской церкви, мы вчетвером собрались в комнате Дина. Мы с Джебом вслух читали стихи из Библии, в которых говорилось о рождении Христа. Мы негромко помолились друг за друга и за наши семьи, а я также попросил дополнительного благословения для заключенных "Максвелл".

После Рождества, когда присяжные все еще были заняты на уотергейтском процессе, поползли упорные слухи о нашем скором освобождении. Четыре наших заявления с просьбами о сокращении срока заключения были стандартной процедурой. Чаще всего эти просьбы, не задумываясь, отклоняют. Но судьи еще не вынесли по ним никакого решения. Они чего-то ждали, мы это чувствовали, возможно, окончания процесса. Наши надежды крепили по мере того, как слух об освобождении распространялся со скоростью эпидемии.

Мы с Джебом решили заняться этим делом — подать прошение в Министерство юстиции, завалить письмами президента Форда, направить новые ходатайства судьям. Дин тоже разрабатывал свою тактику. Первым из тех, кто должен был предстать перед комиссией по досрочному освобождению, оказался Калмбах, но на его пути появились какие-то бюрократические преграды. У него были все основания потерять терпение; вместо этого, он был из нас самым сдержанным.

"Послушайте, ребята, — сказал Герб как-то вечером вскоре после Нового года, — я сделал все от меня зависящее; мои адвокаты тоже делают все, что могут. Я намерен просто довериться им (он помедлил, глядя на меня) и Господу".

Герб был прав; его слова отрезвили меня, словно ушат ледяной воды. Я постепенно стал делать то, что я хотел. Как просто споткнуться и упасть на нашем христианском пути! В декабре Гарольд говорил мне именно об этом: "Послушай, Чак, до тех пор, пока ты не смиришься полностью перед Господом, пока не доверишься Ему настоящему, ты просто наказываешь себя. Благодари Его за все. Поляжись на Него во всем, и почувствуешь себя свободным".

"Конечно, — парировал я. — Тебе легко говорить. Ты сегодня вечером будешь дома. У меня же здесь день за днем — одна и та же бесконечная рутина, ощущение загнанности, пойманности в ловушку. Это ад, Гарольд". Гарольд был прав, и я знал это. Но я так отчаянно хотел на свободу, что опять начинал борьбу.

В какой-то момент доверенное лицо из суда и адвокаты вместе с Гербом, Джоном, Джебом и мной решили, что либо нас выпустят всех вместе, либо никого. Дин и Магрудер были государственными свидетелями, что породило определенную к ним благосклонность, но в то же время их проступки были куда серьезнее, чем мои или Герба. Наши сроки были сопоставимы, а Герб уже отсидел несколько дольше положенного. Нет уж, либо мы выходим все, либо никто.

Восьмого января я был в Вашингтоне, где давал показания прокурорам по поводу некоторых других дел. Наша встреча была прервана еще в начале срочным звонком: звонил адвокат Дина. Он объяснил, что Джон находится в "Холаберд" и не может со мной связаться, поэтому попросил это сделать его. Джон хотел, чтобы я узнал это в первую очередь от него.

"Узнал о чем?" — спросил я нетерпеливо.

"Сегодня судья Сирика освободил Джона", — сказал адвокат.

Мое сердце забилося как в ту минуту, когда президент Форд объявил, что по отношению к нам рассматривается возможность амнистии. Я ждал, чтобы он сообщил мне добрую весть. "Джон хотел, чтобы Вы узнали об этом от него, а не по радио", — продолжил он.

"Но почему, — удивился я. — Новость ведь замечательная".

"Да, но она касается Джона, — ответил он, — а также Джеба и Герба, но что до Вас, то тут все не так радостно..."

Какое-то время я не мог поверить своим ушам. Магрудер, Калмбах и Дин, приговоренные судьей Сирикой, были освобождены. Я — нет. Определяемая другим судьей, Герхардом Гесселем, моя участь еще находилась под вопросом.

К тому времени, как я вернулся в "Холаберд", Джон, Герб и Джеб уже уехали домой. Темная пелена опустилась в ту ночь на полуразрушенные бараки. Я прошел по коридору и заглянул в комнату Дина, в которой вчетвером мы встречались каждый вечер. В ней ничего не было, кроме кровати, на которой остался только грязный матрас, двух стульев и небольшого столика. Было странно тихо. У себя на столе я нашел написанную от руки записку:

Дорогой Чак!

Трудно что-либо сказать, кроме того, что я знаю, что скоро ты будешь свободен. Будь уверен, что я подниму вопрос о твоём освобождении при первой же встрече с журналистами.

В самом скором времени я с тобой свяжусь, и мы обо всем поговорим.

Я молюсь о тебе и сделаю все возможное, чтобы тебе помочь,

Твой друг

Джон

Вечером телевидение освещало освобождение трех моих друзей, показывали радостное возвращение домой Магрудера, теплую встречу перед домом, соседей, пришедших поприветствовать Джеба, брали семейные интервью. Патти с трудом смогла все это вынести. Каждый уик-энд она приезжала ко мне вместе с другими семьями. Она, Гейл Магрудер и Мо Дин стали подругами, по-товарищески сплотившись в качестве жен заключенных.

На следующий день я не выходил из своей комнаты — читал Библию и ждал телефонного звонка, который сообщит мне об освобождении. Под стать обстоятельствам того мрачного дня, 9 января,

урок в христианском учебном пособии "*Хлеб наш насущный*" назывался "*Философия терпения*". Ключевая цитата была такой: "Покопись Господу и надейся на Него" (Псалом 36:7).

Единственный звонок, раздавшийся в тот день, был от Шапиро. "Пока никаких новостей, — сказал он, — а слухи не внушают надежды. Гессель не любит, чтобы думали, что он идет на поводу у Сирики. Так что, парень, держись".

Дни и ночи слились для меня в одно сплошное ожидание. Время, казалось, стоит на месте. Я подолгу глядел в окно на мотки колючей проволоки над забором, пытался читать или писать, но не мог сосредоточиться. Судебные исполнители сочувствовали мне, практически все барьеры между нами, как между заключенным и тюремщиками, были сняты. Высокий худощавый южанин по имени Джек, человек безоглядно верующий, оказывал мне поддержку больше прочих. "Господь позаботится о Вас", — сказал он с уверенностью.

Часы посещений ценились теперь на вес золота, но они стали тяжелее, ибо было невыносимо видеть, какие страдания причиняет Патти затянувшееся ожидание, как надежды на освобождение — и мое собственное возвращение домой — тают с каждым днем. Мы поддерживали друг друга совместными молитвами, ставшими теперь горячее.

Двадцатого января Верховный Суд Вирджинии объявил о том, что я лишен права заниматься юридической практикой. Можно было этого ожидать. Большинство замешанных в Уотергейте юристов стали удобной мишенью для тех, кто ратовал за реформы: "Очистить наши суды от негодяев!" Комитет Эрвина отослал в юридические ассоциации каждого штата компьютерные распечатки всех выдвинутых против нас обвинений, независимо от того, были ли они подтверждены или нет.

Мои надежды оказались напрасными. Члены юридических ассоциаций, хотя и не могли присутствовать на слушании в Верховном Суде Вирджинии, отнеслись ко мне с пониманием, рассказывали Морин и Мейсон, представлявшие в суде мое дело. Мы попросили суд отложить решение до тех пор, пока я не получу возможность появиться в нем лично, но на этот раз нам было отказано.

Через два дня меня вызвали в тюремную канцелярию. "Звонит ваш адвокат", — сказал мне дежурный исполнитель, передавая телефонную трубку. Упрямый молоточек снова застучал у меня внутри.

Я все еще наивно полагал, что каждый звонок может принести мне весть об освобождении.

— Чак, ты готов к неприятной новости? — со мной говорил Кен Адамс. *Сколько еще неприятных новостей предстоит мне услышать*, подумал я.

— Выкладывай, Кен.

— Твой сын Кристиан арестован за хранение наркотиков. Он сейчас в тюрьме, но через несколько часов мы заберем его оттуда на поруки.

Я не мог отвечать; у меня было такое ощущение, словно кто-то ударил меня ногой в живот. Крис, который сейчас был первокурсником в университете Южной Каролины, никогда не причинял нам никаких неприятностей, никаких хлопот. Он был тем человеком, которого все любили. Мы говорили с ним о наркотиках, и я был уверен, что он никогда их не употреблял. Но новость была чистой правдой. Крис получил вперед стипендию за рождественские каникулы и вложил сто пятьдесят долларов в 12 унций марихуаны. Он намеревался перепродать их и на вырученные легкие деньги заменить свою старую машину на другую в несколько лучшем состоянии.

А мне казалось, я прошел через все испытания, какие один человек может вынести. То, что мой сын оказался в тюрьме, стало самым тяжелым ударом. Я знал, что Крис очень переживает из-за всего, что со мной произошло, но я никогда не думал, что это толкнет его на такой шаг.

"Теперь вы заполучили нас обоих", — сказал Крис полицейскому, который его арестовывал. Эта фраза попала на передовицы газет. Крис просто сорвался, что вполне естественно для 18-летнего молодого человека, озлобленного на мир из-за того, что случилось с его отцом. Самым болезненным для меня было то, что я не мог быть рядом с моим мальчиком в эту трудную минуту.

Мне, тем не менее, ни разу не пришла в голову мысль, что Бог меня оставил. Он испытывает и наставляет меня, думал я. Я знал все цитаты из Библии, говорящие о том, что мы должны славить Его независимо ни от чего, но в ту ледяную, серую январскую ночь я просто не мог заставить себя это сделать. Уж конечно, Бог не мог ожидать, что я стану Его славить за загубленную жизнь моего сына!

И сколько еще должна длиться эта агония? Лицензии адвоката у меня больше не было, сын сидел в тюрьме, отец умер, товарищи были на свободе, а надо мной по-прежнему висело больше двух лет

тюрьмы — то, что осталось от трехлетнего приговора. Хотя я и понимал, что сдаваться нельзя, последующие несколько дней были тяжелейшими из проведенных мной в тюрьме, возможно, самыми тяжелыми в жизни.

Прошел слух, что в течение первой недели февраля меня переведут в "Максвелл", потому что "Холаберд" должна закрыться. Это будет хорошо, потому что я увижусь с братьями, но я сильно беспокоился за Патти, которая и так уже слишком много пережила за последние два года. Как она вынесет бесконечные поездки в Алабаму и обратно? Нежная, замечательная Патти была на грани срыва.

Чарли Морин почти забросил свои адвокатские дела и навещал меня по несколько раз в неделю, попутно организуя кампанию по обращению к президенту Форду с просьбой о моем освобождении. Кен Адамс все свое время использовал на подачу ходатайств и заявлений о назначении комиссии по условному досрочному освобождению. Оба часто меня навещали. Я также получал со всей страны множество теплых писем, в которых люди выражали свое сочувствие относительно того, что других освободили, а я по-прежнему находился в тюрьме. Их поддержка очень мне помогала.

Наряду с Чарли и Кеном, мне на помощь поспешили братья из Дома общения. 28 января, во вторник, позвонил Ал Кью: "Чак, я тут думал, чем еще мы можем тебе помочь. Сегодня мы все подписали письмо президенту с просьбой о помиловании, но может быть, есть что-то еще?" Голос на другом конце провода был совсем не похож на голос Ала; говорил он медленно и печально.

"Ал, вы же делаете все, что в ваших силах, — ответил я, — и за это я вас люблю. Я просто не знаю, что еще вы можете для меня сделать".

"Должно же быть что-то еще, Чак. Я тут думал... (последовала длинная пауза) есть одна старая статья, мне кто-то о ней сказал; я собираюсь справиться у президента, могу ли я отбыть остаток срока за тебя", — произнес Ал.

Совершенно потрясенный, я смог только выдать что-то в качестве протеста. Ал Кью, прослуживший в Конгрессе двадцать лет, по рейтингу был шестым республиканцем в Палате, одновременно являясь старшим членом Комитета по труду и образованию и одним из самых уважаемых общественных деятелей Вашингтона. Он не мог говорить серьезно.

— Я вполне серьезно, Чак, — сказал он. — Это решение далось мне непросто.

— Я не дам тебе этого сделать, — возразил я.

— Ты нужен своей семье, а я все равно не могу спать, пока ты в тюрьме; мне кажется, я буду значительно счастливее, если окажусь в ней сам.

Комок, плотно перекрывший мне горло, лишил меня возможности сказать Алу, что значит для меня его предложение, но что я не могу на него согласиться.

На следующий день Даг прислал мне небольшое, написанное от руки письмо. Он объяснял, что все братья готовы отбыть за меня остальной срок, и добавлял:

В последние три недели я думал о тебе постоянно... Чак, Бог собирает по всему миру преданных людей. То, о чем ты мечтал для страны — мир и лучшие условия жизни, может стать реальностью, только теперь вся слава за это достанется Богу. Но Богу нужны до конца преданные люди, и тогда мобилизация Его ресурсов для благоденствия всех народов может действительно произойти...

Я бы с радостью отдал жизнь, только бы ты мог использовать Богом данные тебе таланты во славу Бога.

Я люблю тебя, дружище, и все твои друзья тоже!!!

*Всегда твой
Даг*

Это показалось мне каким-то пределом той любви, которую один человек может испытывать к другому. Любовь Христова. Ал Кыо был готов пожертвовать своей карьерой, Даг Коу отдать свою жизнь — то же, я знаю, сделали бы Грэм и Гарольд. Не в этом ли все дело? Не такое ли обретение Иисуса Христа делает все остальное "тщетой"? В этот день я узнал Его лучше, чем когда-либо. Я всегда ощущал Его присутствие, но теперь я знал Его силу и любовь, выраженную в глубокой заботе обо мне четырех людей. Боль, которую переживали мое тело и ум, показалась мне незначительной на фоне этой любви.

Именно в ту ночь в тишине своей комнаты я полностью смирил себя перед Господом, завершив то, что началось возле дома Фил-

липсов долгих полтора года назад: "Господь, — сказал я, — если в этом все дело, то я благодарю Тебя. Я славлю Тебя за то, что Ты оставил меня в тюрьме, за то, что у меня отобрали лицензию адвоката, благодарю — да, даже за то, что мой сын оказался в тюрьме. Я славлю Тебя за то, что через этих людей Ты дал мне почувствовать свою любовь, за то, что Ты Бог, просто за то, что позволил мне жить с Иисусом".

Сделав это, я испытал самый большой в своей жизни прилив радости — радость окончательного освобождения, радость полного доверия Богу, о которой говорил мне брат Гарольд. В последовавшие за этим часы я ощутил такую внутреннюю силу, какой раньше не ощущал никогда. Это действительно был какой-то апогей чувств. Весь окружающий мир засиял любовью, радостью и красотой. Впервые в жизни я ощутил себя подлинно свободным, пусть это и было в тот момент, когда фортуна, казалось, совершенно от меня отвернулась.

Сорок восемь часов спустя, в пять часов вечера в пятницу, судья Гессель позвонил Дейву Шапиро: по семейным обстоятельствам (из-за того, что произошло с Крисом), меня собирались немедленно освободить из тюрьмы, и уже готовился соответствующий приказ.

Через несколько часов Джек, судебный исполнитель, так мне симпатизировавший, подбежал к входу в "Холаберд", где мы с Патти прощались с несколькими заключенными.

"Господь действительно заботится о Своих людях, — сказал Джек. — Я как чувствовал, что Он вас сегодня освободит".

"Спасибо, брат, — ответил я, — но Он сделал это два дня назад".



"...наша дружба стала крепнуть и развиваться совершенно неожиданным для нас образом". Лицом к Колсону сидят Ал Кью, Даг Коу, Гарольд Хьюз, Грэм Пурселл (*"Кэшен"*/Стаут).



С тех пор...

Через пять дней после выхода из заключения Чарльз Колсон отправился в тюрьму "Максвелл", где посетил Пола Крамера и других заключенных, с которыми сблизился за время, проведенное в этой тюрьме. Это был первый из множества визитов Чака Колсона в места лишения свободы по всей стране, которые в результате привели его к созданию тюремного служения.

В июне 1975 года Тюремное бюро одобрило предложение сенатора Гарольда Хьюза и Колсона о предоставлении заключенным мужчинам и женщинам из некоторых федеральных тюрем увольнений с целью посещения 14-дневных курсов в прилежащих к Вашингтону областях. Эти люди отбираются не тюремным начальством, а членами Фонда общения и только по прохождении подробных собеседований. Обучение под патронажем Фонда сосредоточено главным образом на развитии навыков лидерства и изучении Библии.

Первая группа — двенадцать заключенных из шести федеральных учреждений на востоке страны — прошла обучение в начале ноября 1975 года. Главный акцент делался на доверие: отобранные заключенные — десять мужчин и две женщины (шесть белых и шесть черных) — были отвезены в Вашингтон на частных автомобилях и размещены в помещении Миссии "Благая Весть". Помещение не охранялось, и приехавшие имели полную свободу передвижений.

Результаты не только убедили скептиков, но и превзошли все ожидания. Занятия проходили в деловой, сосредоточенной обстановке. Между учителями и учениками происходило постоянное общение.

Заключенные вызвались свидетельствовать в близлежащей Арлингтонской окружной тюрьме и Лортонской исправительной колонии для малолетних преступников. Один из участников группы написал песню для тех, с кем он познакомился в Лортонской колонии. В свободное время в основном пели и славили Бога. Во время одной поездки по Вашингтону двое заключенных отбились от остальной группы, но самостоятельно нашли дорогу к зданию Миссии "Благая Весть", полностью оправдав оказанное им доверие.

По окончании двухнедельного курса заключенные вернулись в свои тюрьмы, чтобы в качестве учеников служить Богу и товарищам по заключению. Основной миссией их было организовывать тюремные общения. В тюрьме им будет оказываться постоянная дружеская поддержка, в день освобождения их будут ждать рабочие места. На 1976 год запланировано обучение шести подобных групп в районе Вашингтона.

Развивая это тюремное служение, Чарльз Колсон передает в его фонд гонорары за публичные выступления и часть прибыли от продажи данной книги. Старый друг Колсона, Фред Роудс, досрочно оставил в 1975 году пост в правительстве и в качестве его брата и сподвижника посвятил себя служению Господу.

В январе 1976 года вышел из тюрьмы Пол Крамер, который теперь живет в здании Миссии "Благая Весть", где работает с Колсоном, Биллом Симмером (главой миссии) и многими другими участниками Фонда общения. Мужчины и женщины из Миссии "Благая Весть" и Фонда общения преданно служат Господу, помогая тем, кто еще находится за железными дверьми.

Тем временем Хомер Уэлш и Ли Корбин вышли на свободу. Хомер чувствует себя прекрасно, работает и при каждой возможности с радостью свидетельствует о своем исцелении. Ли Корбин, жизнь которого вошла в нормальное русло, снова трудится для Господа в качестве евангелиста.

Господь исцеляет и те раны, которые Уотергейт нанес семье Колсонов. Кристиан, сын Колсона, был выпущен из тюрьмы и начал принимать участие в социальной работе с молодежью. Спустя четыре месяца штат Северная Каролина прекратил судебное преследование, и Крис продолжил обучение в колледже; его успеваемость растет. Неприятный эпизод, за который Колсон сперва не мог благодарить Бога, еще больше сблизил отца и сына.



С благодарностью...

Ни эта книга, ни рассказанная в ней история не являются только моими.

Без такой любящей, заботливой жены мне не хватило бы ни сил пережить эти годы, ни решимости в деле предания моих воспоминаний бумаге. Мы с Патти честно делили пополам и радости, и печали. Мы разделили с ней и эту книгу. Патти работала под диктовку, печатала горы рукописей, терпела перепады в моем настроении и неизменное требование тишины в доме — и все это с улыбкой и юмором.

После смерти папы мама проявила подлинную твердость характера и разделила со мной многие тяжелые моменты заключения. Господь благословил меня удивительно сплоченной и преданной семьей — Крисом, Уэнделлом и Эмили, которые придавали мне сил, каждый по-своему.

Поразительные редакторские способности Лена Ле-Сурда не переставали меня удивлять и учить. Даже в то время, когда пол в "корректорской" был завален лишними кусками моего текста (у писателей есть веские причины недолюбливать редакторов), подлинное общение сближало нас больше и больше. Лен умеет сделать любую работу радостью. Его жена, Катрин, а также Джон и Элизабет (Тибби) Шеррилл, остальные трое работников издательства "Чоузен Букс", значительно помогли мне своей конструктивной критикой и моральной поддержкой.

О роли Тибби Шеррилл стоит сказать особо. Она трудилась несколько недель, отшлифовывая окончательную версию моей книги, что сделала с поразительным мастерством. Тибби была в числе тех демонстрантов, что еще в 1971 прошли перед воротами Белого дома с маршем протеста против войны во Вьетнаме. Я в это время находился внутри президентского дворца, переполненный к демонстрантам самыми отрицательными чувствами. В мире, лишенном Бога, Тибби Шеррилл в руки не взяла бы рукопись Колсона; схожим образом, и Колсон на пушечный выстрел не подпустил бы к своей рукописи Тибби Шеррилл. Но поскольку мы оба верим в Христа, мы смогли работать ради достижения общей цели, а противоположные политические взгляды часто помогали нам лучше оценить написанное и внести в него соответствующие поправки.

Наряду с Патти помогали печатать и перепечатывать заново многие другие: Дотти Хелльер из Дома общения, бывшая моей секретаршей последние шесть месяцев, дни и ночи неутомимо печатала один черновик за другим; Холли Холм, человек яркий и с твердым характером, верно прошедшая со мной все: и Белый дом, и Уотергейт, и начальные главы этой книги. Джозефин Инглат, моя старая знакомая, помогла напечатать несколько первых глав; Патриция Оуэнс, секретарша Чарли Морина, дружбой которой я бесконечно дорожу уже много лет; наконец, Конни Отто, старшая дочь Гарольда Хьюза.

Без помощи же братьев — Дага Коу, Гарольда Хьюза, Грэма Пурселла и Ала Кью — вероятно, никакой книги вообще бы не пришлось писать. Они распахнули навстречу мне свои сердца и остались тверды, когда все остальные бежали прочь от расплзающегося пятна Уотергейта. Вчетвером мы познали теснейшие узы, которые могут связывать людей. Том Филлипс оказался для меня надежным ориентиром, когда моя жизнь разваливалась на куски. *"Рожденный заново"* — это история о том, как Бог эффективно использует таких людей, как Том. За его роль в этой истории, и тем более в моей жизни, я всегда буду ему благодарен.

Книга *"Рожденный заново"* своим появлением также обязана Полу Крамеру и тем, кого я встретил и полюбил в тюрьме. Они останутся для меня братьями и незабываемой страницей в моей одиссее.

Двое работников Фонда общения, Пол Темпл и Винстон Уивер, предоставили нам с Патти свои загородные дома, когда мы нуждались в спокойном месте для работы (в горах Испании и Вирджинии

соответственно). Кен Адамс, Артур Мейсон, Джуд Бест, Чарли Морин, Сид Дикштайн, Майрон Минц, Генри Кэшен, Гордон Рэмси и все остальные работники моей бывшей фирмы не только замечательным образом защищали мои права, но и оказали значительную помощь в работе над рукописью. Кену Адамсу я особо благодарен. Он не только преданно служил мне как адвокат, но весьма заинтересовался моей книгой и в свободное время помогал как рецензент и советчик.

Фред Роудс, с которым мы плечом к плечу работали этот год, оградил меня от многих ненужных вещей во время работы над книгой, а из наших совместных молитв я черпал силы как для книги, так и для иных дел.

Значительная часть материала для данной книги была собрана благодаря газетным вырезкам, которые наклеили и проиндексировали неутомимые волонтеры из Дома общения. Хотя судебное ходатайство, для которого они предназначались, и было отклонено, их труд не пропал даром. Поэтому сердечное спасибо Джону и Бетси Карри, Руфи Мак-Вильяме и множеству других людей, пришедших на помощь брату.

Чарльз Морин, бесценным общением с которым я наслаждаюсь вот уже двадцать лет, ежедневно напоминает мне о том, что такое настоящая дружба. То же касается и многих других: Майка Бальзано, Джесси Калхуна, Фрэнка Фицсиммонса, Брайнерда Холмса, Дика Говарда, Александра Ланкера, Билла и Гвен Джордан, четы Изли, Билли Малоуни — и это далеко не все.

Затем следует сказать о тех людях, живущих в Вашингтоне и по всей стране, кто своими письмами и молитвами поддерживал и ободрял меня все это время. Как описать свои чувства человеку, знающему, что сотни мужчин и женщин, большинство из которых он, вероятно, никогда не увидит на этой земле, постоянно молились за него? Ничто так не укрепляло моей веры и не заставляло двигаться дальше.

И теперь всем, кто разделил со мной это путешествие, я говорю: сердечное вам спасибо.

ЧАРЛЬЗ У. КОЛСОН

Чарльз У. Колсон

РОЖДЕННЫЙ ЗАНОВО

Издательство "Кредо"
и "Санкт-Петербургский Центр
христианской литературы и информации"
198332, Санкт-Петербург, а/я 74.
Тел. (812) 528-22-59, тел./факс (812) 325-91-26.
E-mail: vadim@chris.spb.su.

Перевод *Усатенко С.*
Редактор *Аграновская Я.*
Корректор *Кумбашева Ю.*
Обложка *Канторович С.*
Верстка *Кодак А.*

Лицензия ЛР № 030681 от 12.03.96.

Формат 60X90 ¹/₁₆. Печать офсетная. Гарнитура TimesET.

Объем 25 печ. л. Тираж 5 000 экз. Заказ № 399

Подписано в печать 10.09.97.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в Санкт-Петербургской типографии № 1 ВО "Наука" РАН.
199034, Санкт-Петербург, В-34, 9 линия, д. 12